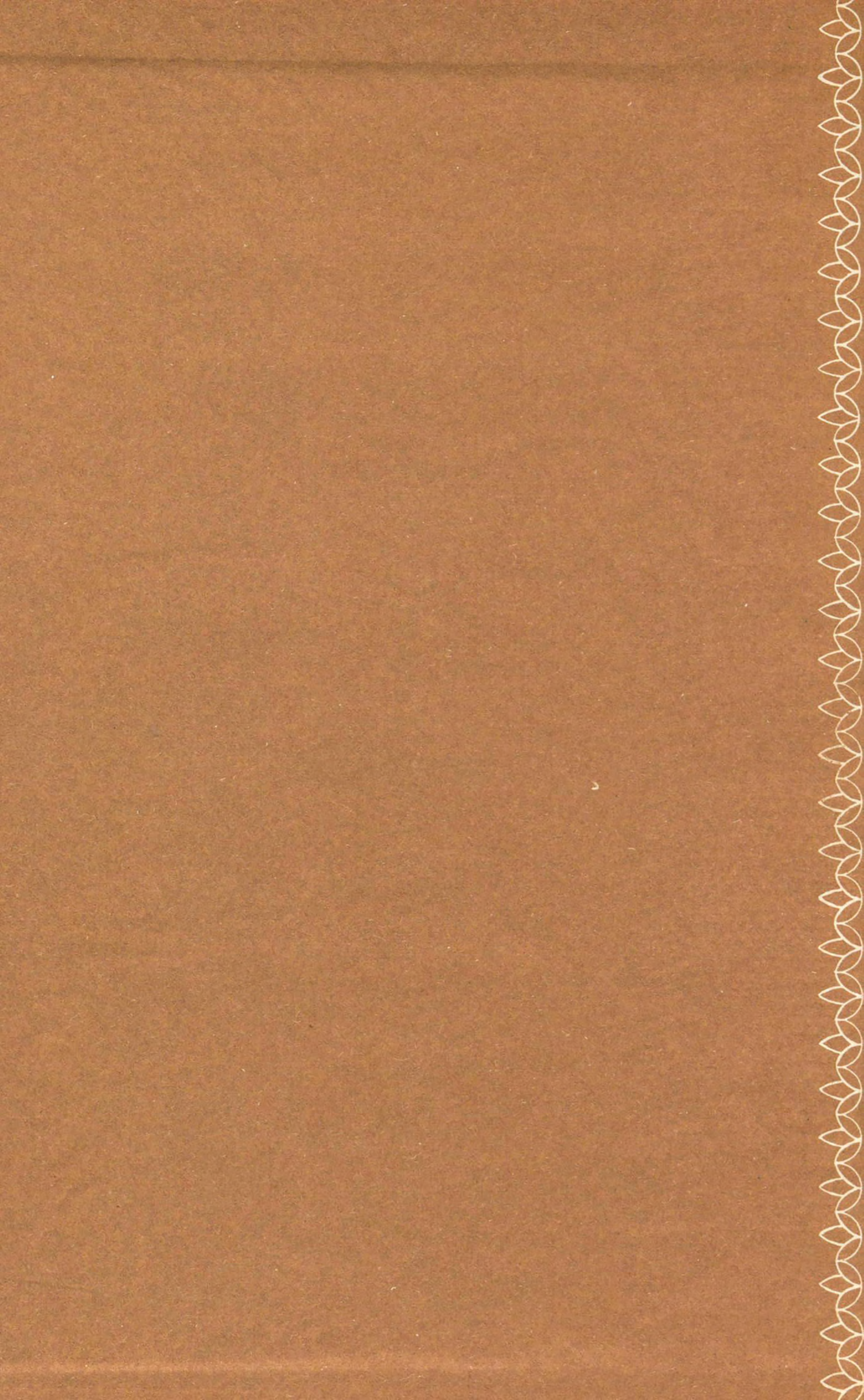
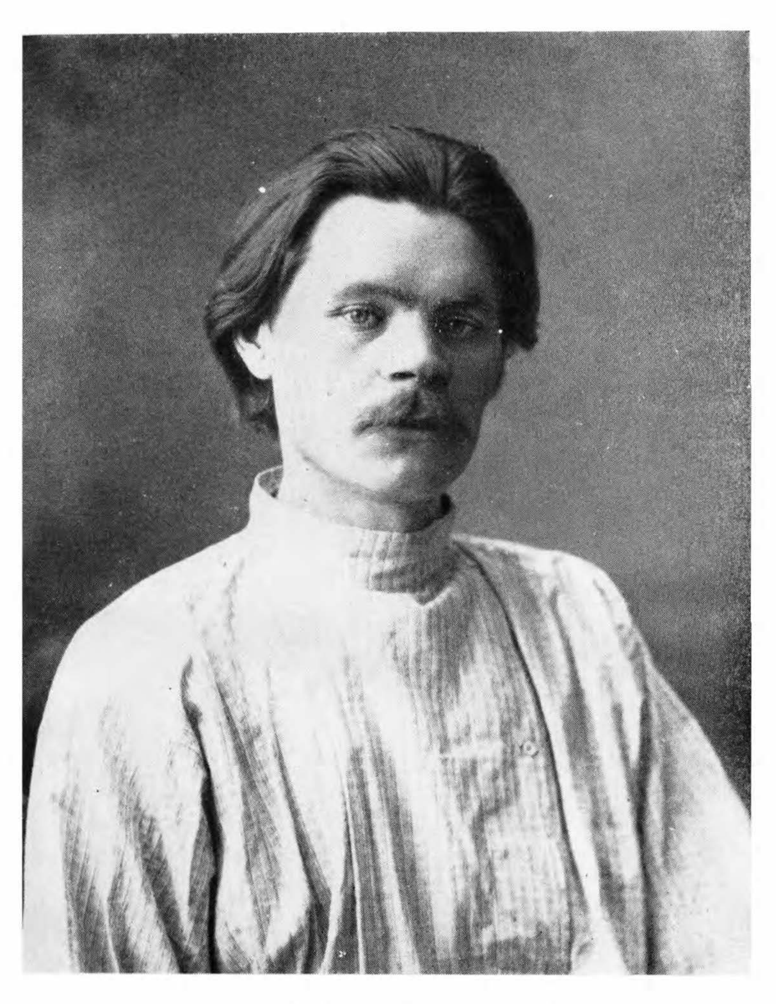
# М. ГОРЬКИЙ

# В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ









А. М. Горький. Нижний Новгород. 1900.



# СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Под общей редакцией

В. Э. ВАЦУРО

Н. К. ГЕЯ

С. А. МАКАШИНА

А. С. МЯСНИКОВА

В. Н. ОРЛОВА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
198[illegible]

# МАКСИМ ГОРЬКИЙ
## В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

8Р2
Г71

*Вступительная статья и примечания*
И. С. ЭВЕНТОВА и А. А. КРУНДЫШЕВА

*Составление и подготовка текста*
А. А. КРУНДЫШЕВА

*Рецензент*
А. И. ОВЧАРЕНКО

*Оформление художника*
В. МАКСИНА

*Фотоматериал взят из коллекций*
*Музея А. М. Горького АН СССР*



Г $\frac{70202\text{-}378}{028\ (01)\text{-}81}$ 51-80 4603010102

# ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРЬКОМ

## 1

Имя Максима Горького давно известно всему человечеству. Его наследие вошло в золотой фонд мировой литературы. И, естественно, о его жизни и творчестве написано много. Однако нельзя сказать, что художественный опыт писателя, история его жизни освещены с необходимой полнотой. Чтобы узнать поэта, говорил Гете, надо отправиться в страну поэта. Эти слова относятся к любому художнику. Понимание написанного и сказанного Горьким не будет достаточно глубоким, если мы не представим себе личность самого писателя. Не надо забывать, что «подобно тому, как у Гоголя были не только Чичиков, Хлестаков, Плюшкин, но был и сам Гоголь, так и у Горького были не только мещане и дачники, но и сам Горький, его раздумья о жизни, о людях. И если чего-то еще не хватает нашему горьковедению ⟨...⟩, так это именно ощущения личности Горького — величайшего художника, который создавал вечные ценности» [1]. Увидеть личность Горького помогают нам не только его художественные произведения, статьи, выступления, письма, документы, но и воспоминания о нем.

К сожалению, биография Горького еще далеко не изучена. С научной обстоятельностью и аргументированностью освещены только некоторые периоды жизни писателя. Это первые десятилетия его жизни и первые литературные шаги (Илья Груздев. Горький и его время. М., 1962), последние годы жизни на Капри (К. Д. Муратова. М. Горький на Капри, 1911—1913. Л., 1971). Создание научной биографии писателя — одна из важнейших задач, стоящих перед советским горьковедением. И выявление любого материала, в том числе и мемуарного, тщательное изу-

[1] Из выступления Б. Бурсова на совещании писателей и критиков в июне 1977 г.— «Вопросы литературы», 1977, № 9, с. 84.

чтение его — насущная необходимость. Ценность мемуаров в том, что они содержат сведения, которых нередко нет в других источниках, раскрывают круг и характер связей их героя с современниками, рисуют реальное историческое лицо в его неповторимом индивидуальном облике.

Свидетельства современников помогают нам лучше представить личность великого писателя; рассказывая о встречах с ним, об его отношении к людям и событиям, вводя в атмосферу его духовных интересов, поисков, напряженного писательского труда, общественных контактов, они способствуют также более глубокому пониманию его творчества. Мемуары о Горьком, как и его произведения, убеждают нас в том, что подлинное искусство сильно своими связями с действительностью, что настоящий художник черпает вдохновение в жизни народа.

Отношения Горького с современниками были на редкость богатыми и многообразными. Человек необычной судьбы, он встречался с огромным количеством людей самых разных взглядов, профессий, социального положения и не случайно сказал однажды, что мог бы написать десять тысяч портретов — так много людей встречал он на своем пути. О Горьком оставили воспоминания рабочие, профессиональные революционеры, писатели, артисты, композиторы, художники, политические и общественные деятели, ученые.

Имя Горького по многогранности его личности, широте и разносторонности интересов, значимости созданного им стоит в одном ряду с именами таких гигантов человечества, как Леонардо да Винчи, Шекспир, Гете, Пушкин, Лев Толстой. Проницательно заметил П. А. Павленко: «Горький не только гениальный писатель. Он гениальная натура. Он ломоносовской породы» [1].

Гений Горького созревал и развивался в атмосфере напряженной духовной жизни, постоянного взаимодействия и общения людей высокой интеллектуальной культуры, смелой мысли, больших чувств. Горький находился в тесном общении с В. И. Лениным, Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, Л. Н. Андреевым, И. А. Буниным, Ф. И. Шаляпиным, К. С. Станиславским, И. Е. Репиным, В. В. Стасовым, А. Барбюсом, Р. Ролланом,— да всех и не перечтешь. Это широкое общение с современниками обстоятельно освещено в мемуарах.

Воспоминания рисуют облик Горького таким, каким он преломился в сознании и памяти людей разных поколений, разного общественного положения, разных индивидуальностей. Живые, непосредственные свидетельства современников, соприкасавшихся с писателем в разные годы, отражают разнообразную политиче-

---

[1] «Знамя», 1954, № 7, с. 137.

скую и общественную деятельность писателя, вводят нас в мир его творческих мыслей, напряженного литературного труда, революционного дела, показывают его страстный интерес к социальным явлениям, передают трепет живой горьковской мысли, его темперамент, безграничную преданность гражданскому и литературному долгу.

Все это придает воспоминаниям о Горьком значение документа, который может послужить важным источником для изучения не только выдающейся во всех отношениях личности писателя, но и его ближайшего окружения и той беспримерной по богатству событий эпохи, в которую ему довелось жить и творить.

## 2

Удивительной была судьба Максима Горького, писателя и человека. Всего за какие-нибудь семь — десять лет, прошедших с момента появления первого рассказа в провинциальной газете, имя Горького приобрело всероссийскую известность, стало одним из популярнейших писательских имен. И это не случайно: он сразу стал выразителем самых сокровенных чаяний народа.

Начало революционной и писательской деятельности Горького отражено в воспоминаниях А. С. Деренкова, А. М. Калюжного. В них рассказано о жизни Алексея Пешкова в Казани и Тифлисе, о пытливом, любознательном юноше, много и серьезно думающем о жизни, выбирающем себе тот путь служения обществу, который вскоре приведет его в ряды передовых русских людей. Привлекают внимание воспоминания А. А. Смирнова, А. Д. Гриневицкой, С. Г. Скитальца, рисующие Горького-журналиста, фиксирующие живое и заинтересованное отношение его к жизни, любовь к простому человеку. Горький устраивал кружки и группы молодежи, общался с видными деятелями социал-демократических организаций, помогал партии в различных делах. Особую ценность приобретают в связи с этим многочисленные свидетельства современников о Горьком-революционере. Заботливый друг писателей, активный участник общественной жизни и революционной борьбы встает перед нами в мемуарах Н. Д. Телешева, И. А. Белоусова, В. Д. Бонч-Бруевича, Н. Н. Накорякова и других.

Огромный вклад в подготовку социалистической революции внес Горький и своим творчеством. Его книги будили сознание широких читательских масс. «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике» стали, как свидетельствуют Н. Д. Телешов, В. А. Десницкий и другие, поэтическими манифестами первой русской революции. В политические демонстрации превращались постановки

горьковских пьес (воспоминания К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, В. Р. Гардина). «Огромное, исключительное значение Горького,— писал А. В. Луначарский,— заключается в том, что он является первым великим писателем пролетариата, что в нем этот класс, которому суждено, спасая себя, спасти все человечество, впервые осознает себя художественно, как он осознал себя философски и политически в Марксе, Энгельсе и Ленине»[1].

Горький и сам активно участвовал в первой русской революции. В. Д. Бонч-Бруевич, встретившийся с ним в апреле 1905 года в Крыму, где писатель отдыхал после заключения в Петропавловской крепости, вспоминал: «Я увидел перед собой человека искреннего, убежденного, растущего, как русский богатырь, не по дням, а по часам, все более врастающего в социал-демократическую среду и кровно заинтересованного в успехах рабочего движения». В ноябре того же 1905 года Горький впервые встречается с В. И. Лениным. Он участвует в Москве в декабрьском вооруженном восстании, о чем живо рассказывают В. А. Десницкий, Ф. И. Драбкина, В. О. Арабидзе.

Вынужденный покинуть родину после поражения революции, Горький и в изгнании — на острове Капри — остается видной фигурой общественной жизни России. Он внимательно следил за тем, что происходит на родине, встречался и переписывался с сотнями русских людей. О Горьком каприйских лет вспоминают Н. Е. Буренин, И. И. Бродский, Ш. И. Манучарьянц и др.

Важной вехой горьковской биографии стало участие его в работе V съезда РСДРП, общение с передовыми рабочими, делегатами съезда, с Лениным. Воспоминания Н. Н. Накорякова и М. Ф. Андреевой обстоятельно рассказывают об этом.

Жизнь Горького была озарена тесной дружбой с Владимиром Ильичем. Вождь партии не раз подчеркивал, что «Горький — безусловно крупнейший представитель *пролетарского* искусства, который много для него сделал и еще больше может сделать»[2].

Еще до первой их встречи Ленин стал для Горького великим авторитетом. «Подлинную революционность,— отмечал Алексей Максимович,— я почувствовал именно в большевиках, в статьях Ленина, в речах и в работе интеллигентов, которые шли за ним» (т. 24, с. 439)[3]. Ленин со своей стороны внимательно следил и за

---

[1] А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2. М., «Художественная литература», 1964, с. 141.

[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 19, с. 251.

[3] Сочинения М. Горького цитируются по Собранию сочинений в 30-ти томах (М., Гослитиздат, 1949—1956). В тексте статьи указываются только том и страница этого издания.

творчеством писателя, и за его революционной работой, высоко ценил его мастерство агитатора. «Учиться у него нужно, как смотреть и слушать! — нередко говорил о Горьком Владимир Ильич, вспоминает В. А. Десницкий,— и постоянно жаловался на бедность фактического содержания, на худосочие речей и корреспонденций многих партийцев, в общих фразах которых исчезало все своеобразие конкретного момента, данной ситуации».

Однако дружба двух великих людей не исключала сложностей в их отношениях. Ильич не раз сурово осуждал писателя за ошибки и заблуждения, за непонимание некоторых явлений общественной жизни. Так, в статье «Автору «Песни о Соколе» Владимир Ильич критиковал Горького, подписавшего «шовинистически-поповский протест» [1], в котором буржуазные либералы пытались оправдать захватническую войну. Правда, Горький и сам еще до ленинской статьи сожалел, что «подписал второпях» указанное обращение и что это его «очень мучает». Воспоминания рассказывают, как крепли у Горького антивоенные настроения, его убежденность в приближении революции. «Горький с болью говорил о грабительской войне (...)— пишет Д. Н. Семеновский о своих встречах с писателем в те годы,— горел мужественной, жгучей ненавистью к бездарному царскому правительству, толкавшему на гибель многомиллионный талантливый народ».

Антивоенные, антиимпериалистические настроения Горького нашли свое выражение в журнале «Летопись», который выходил под его редакцией с декабря 1915 года. Создавая его, Алексей Максимович писал: «Кровавые события наших дней возбудили и возбуждают слишком много темных чувств, и мне кажется, что уже пора попытаться внести в эту мрачную бурю умеряющее начало разумного и критического отношения к действительности» (т. 29, с. 342). Этим мыслям писателя отвечали страницы журнала, бичевавшие военно-шовинистическую идеологию буржуазии. Прогрессивная общественная позиция Горького сказалась и в литературно-художественном отделе журнала, где сотрудничали В. Я. Брюсов, В. Я. Шишков, М. М. Пришвин, А. П. Чапыгин, В. В. Маяковский, С. А. Есенин, где начинали свой творческий путь Вс. В. Иванов, Ф. В. Гладков и другие. Цензура жестоко преследовала «Летопись», квалифицировав ее как издание «большевистского, а значит, и пораженческого направления» [2].

На самом деле журнал этот не был ни последовательным, ни революционным. Политико-философским отделом овладели меньшевики. Горький не заметил, как в их руках этот отдел превра-

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с. 96.
[2] «Революционный путь Горького». М.—Л., ГИХЛ, 1933, с. 121.

тился в средоточие всякого рода меньшевистско-ревизионистских писаний. Не случайно Ленин назвал эту группу редакторов и публицистов «архиподозрительным блоком», сожалея при этом, что Горький порою попадает под их влияние[1].

Позднее, в 1917—1918 годах, когда революция придвинулась вплотную и, наконец, свершилась, Горький оказался перед новыми трудностями. Он мало знал жизнь деревни, да и те нечастые случаи, когда он с ней сталкивался, были весьма для него неблагоприятны. Теперь же он, человек повышенной эмоциональности, испугался за революцию, опасаясь, что «серая» крестьянская масса задушит ее, на этом этапе он совсем не верил в потенциальную революционность самого массового класса России. В то же время Горький преувеличивал роль интеллигенции, значительная часть которой на деле боялась пролетарской революции. Эти заблуждения писателя проявились в его выступлениях на страницах газеты «Новая жизнь». И опять Ленин ведет борьбу за Горького. Позицию газеты он определил как «сменное, вечное шатание между буржуазией и пролетариатом», а «преобладающим настроением» в ней считал «интеллигентский скептицизм, прикрывающий и выражающий беспринципность»[2].

С интеллигенцией Горький был прочно связан всей своей деятельностью, и писательской, и общественной. А в среде ее, после победы Октября, оказалось, к сожалению, немало людей, которые враждебно относились к революции, и потому играли на временных трудностях, на сложности обстановки, пытаясь дискредитировать революцию и добиться уничтожения ее завоеваний. Эти люди ныли, жаловались на притеснения со стороны новой власти, осаждали Горького просьбами личного порядка. Он не всегда мог противостоять домогательствам, не всегда мог за этим расчетливым нытьем видеть рождение нового мира.

Ленин понимал болезненную остроту впечатлений Горького, вызванных контактами с людьми, в общем чуждыми ему. 31 июля 1919 года вождь революции послал ему обстоятельное письмо: «...«остатки аристократии» ⟨...⟩ великолепно умеют извращать все и вся, великолепно хватаются за любую мелочь для излияния своей бешеной злобы против Советской власти. ⟨...⟩ Их настроение на Вас болезненно влияет... Вы поставили себя в положение профессионального редактора переводов и т. п., положение, в котором наблюдать нового строения новой жизни нельзя, положение, в котором все силы ухлопываются на больное брюзжание больной

---

[1] См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, с. 299—300.
[2] Там же, т. 34, с. 319, 104.

интеллигенции, на наблюдение «бывшей» столицы в условиях отчаянной военной опасности и свирепой нужды»[1].

Как бы документально подтверждая ленинские слова, М. Л. Слонимский в своих мемуарах воссоздает обстановку тех дней. Воспоминания эти помогают нам лучше понять, почему Ленин так настойчиво советовал Горькому уехать из Петрограда, переменить среду. В ошибках писателя Ленин видел заблуждения друга, боролся за него и помог ему встать в первые ряды строителей новой, советской жизни.

Включенные в настоящую книгу воспоминания М. И Ульяновой, В. А. Десницкого, М. Ф. Андреевой, А. В. Луначарского, Б. Ф. Малкина и др. раскрывают огромное взаимное уважение Ленина и Горького, сердечную теплоту, заботу и неизменный интерес Ильича к писателю, который теперь уже навсегда и прочно связал себя с делом партии и своего народа.

## 3

С самого начала нынешнего века Горький проявил себя деятельным и энергичным собирателем литературных сил русской демократии. Он представлял собой новый тип художника-организатора, заботы которого распространялись на широкий круг литераторов, способных вместе с ним бороться за искусство народное, искусство жизненной правды. Эта деятельность Горького имела большое, непреходящее идейно-эстетическое и просветительское значение.

В ряде мемуарных источников прослеживается история основанного Горьким в 1902 году издательства «Знание», в котором он объединил писателей-реалистов (Л. Н. Андреева, И. А. Бунина, А. С. Серафимовича, Н. Д. Телешова, С. Г. Скитальца и др.), вступивших в литературу почти одновременно с ним. Это объединение диктовалось требованием времени — необходимостью противопоставить агрессивному декадентскому искусству здоровые силы литературной демократии. Оно обуславливалось также плачевным положением писателей-демократов, которых издавали с трудом, малыми тиражами, платили мизерные гонорары. Доход от изданий, выпускавшихся «Знанием», почти целиком шел авторам, что было подлинным переворотом в практике русского издательского дела: так, Л. Н. Андреев получил за свою первую книгу рассказов почти в двадцать раз больше, чем предлагал ему крупнейший книгоиздатель И. Д. Сытин. «Горький,— вспоминал А. С. Серафимович,—

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 51, с. 24—25.

сумел сгруппировать вокруг издательства «Знание» все лучшее, что было среди писателей. Все же гнилое гнал беспощадно и ярο. Горький был не только гениальный, незабываемый пролетарский писатель, но и удивительный организатор».

Встреча с Горьким, общение с ним определили путь в литературу многих талантливых писателей. Знаньевцы («созвездие Большого Максима», как их называли современники) были обязаны своими лучшими произведениями влиянию и прямой помощи Горького. «...его ласка, пылкая дружба,— признавался С. Г. Скиталец,— его похвалы моему первому серьезному труду значительно подняли мой дух, ободрили, воодушевили, вызвали к жизни мои силы». «Все смелое и буйное в моей повести принадлежит Вам»[1],— писал А. И. Куприн Горькому о «Поединке». Сборники «Знание», проникнутые идеями демократизма и гуманизма, выражали зреющий в широких массах накануне первой русской революции протест против существующего строя. Это принесло им громадную популярность.

Однако в период реакции, наступившей после поражения революции 1905 года, пристрастия читательской массы перешли к литературе декадентского и натуралистического характера, многие писатели-знаньевцы не смогли удержаться на прежних демократических позициях, ушли из издательства. Сам Горький, вынужденный жить вдали от России, не мог оказывать прежнего влияния на литературную жизнь страны. Издательство распалось.

Вернувшись в конце 1913 года на родину, Горький организовал новое издательство «Парус». Среди издательств того времени оно выделялось своими прогрессивными тенденциями: в условиях первой мировой войны, разгула национализма и шовинизма «Парус» сумел издавать книги с антимилитаристским, интернационалистическим направлением. Издательство давало широкой массе новой демократической интеллигенции книги по социальным, историческим, философским проблемам, прививая интерес к «серьезной книге». В «Парусе» вышел с предисловием Горького первый «Сборник пролетарских писателей», объединивший несколько десятков прозаиков и поэтов; там же были изданы две первые книги В. В. Маяковского, книги самого Горького, произведения национальных литератур.

В предреволюционные годы Алексей Максимович помог стать профессиональными писателями многим талантливым авторам, выходцам из демократической среды. Воспоминания М. М. Пришвина, Вс. В. Иванова, В. Я. Шишкова, И. Э. Бабеля, К. А. Тренева по-

---

[1] А. И. Куприн. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 4. М., «Художественная литература», 1971, с. 463.

казывают это с чрезвычайной наглядностью, выделяя удивительнейший интерес Горького к тем сферам жизни, в изображении которых могли проявить себя молодые художники.

После победы Октября, со всей страстностью включившись в строительство новой жизни, Горький организовал издательство «Всемирная литература», которое стремилось осуществить ленинское пожелание дать народному читателю «всех необходимых классиков всемирной литературы»[1]. Приезжавший в 1920 году в Советскую Россию Г. Уэллс писал: «В этой непостижимой России, воюющей, холодной, голодной, испытывающей бесконечные лишения, осуществляется литературное начинание, немыслимое сейчас в богатой Англии и богатой Америке. ⟨...⟩В умирающей с голоду России сотни людей работают над переводами; книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу»[2].

Как вспоминают К. И. Чуковский и М. Л. Слонимский, Горький принимал активнейшее участие в работе издательства: тщательно отбирал книги для издания, читал переведенные рукописи, предисловия, делал обстоятельные замечания, участвовал в заседаниях редакции.

Издание «Всемирной литературы» было принципиально важным в годы, когда пролеткультовцы выступали с требованием ниспровергнуть культуру прошлого. Деятельность руководимого Горьким издательства, как и выступления Ленина против «Пролеткульта», ленинские призывы к молодежи овладевать культурным наследием, свидетельствовали о том, что культура социалистического общества создается на основе лучших достижений человеческой культуры минувших веков.

Задуманный Горьким издательский план, насчитывавший сотни названий, был реализован лишь частично из-за тяжелых условий гражданской войны. Значительно шире осуществила их издательская практика Советской страны в последующие десятилетия, когда были выпущены многочисленные памятники мировой литературы и в отдельных изданиях, и в собраниях сочинений, и в различных серийных изданиях, например, в таком монументальном, как «Библиотека всемирной литературы», насчитывающая двести томов.

Особое внимание Горький уделял новому поколению писателей, пришедшему в литературу после Октября. Он заботливо пестовал

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42. с. 332.

[2] Герберт Уэллс. Россия во мгле. М., Госполитиздат, 1959, с. 29.

каждого из них, ориентируясь на их жизненный опыт, поддерживая их творческие устремления. Объектом такого внимания была, в частности, группа прозаиков и поэтов, объединившаяся в 1919 году в петроградском Доме искусств под именем «Серапионовых братьев». «Серапионовы братья» не без бравады, свойственной молодежи, отстаивали своеобразие художественного творчества, доходя в этом деле до крайностей, утверждая порой тезис о беспартийности искусства. Но правда жизни брала свое, и они, вопреки своим утверждениям, создавали произведения большой жизненной силы и яркого революционного содержания. Книга воспоминаний К. А. Федина «Горький среди нас», мемуарные очерки М. Л. Слонимского и других участников этой группы дают читателю представление о наставнической миссии Горького, осуществлявшейся в ту далекую пору, когда каждый из них делал в литературе лишь первые шаги.

Горького привлекали в «серапионах» их творческие поиски, их преданность литературному делу, особенно привлекали потому, что писатель был обеспокоен распространением в литературе тех лет произведений художественно примитивных, убого тенденциозных, далеких от подлинного мастерства. Ценил Горький и личную дружескую спайку молодых авторов, присущее им чувство товарищества. Под благотворным влиянием Горького многие из «серапионов», преодолев элементы вычурности и формализма, стали крупными писателями, настоящими мастерами советской литературы.

По настоянию Ленина Горький осенью 1921 года уехал лечиться за границу. На протяжении десяти лет пребывания на чужбине писатель не порывал связи со своей родиной. Он сотрудничал в советских газетах и журналах, переписывался со многими общественными деятелями, писателями, рабкорами, печатал на родине свои произведения. Дом в Сорренто, где поселился Алексей Максимович, стал местом, куда стекались тысячи книг, рукописей, газет, куда приезжали люди из разных стран и более всего — из Советского Союза. Многие замечательные подробности жизни Горького в соррентийские годы передают нам в своих воспоминаниях Н. Н. Асеев, П. М. Керженцев, В. М. Ходасевич, Ф. В. Гладков, А. С. Курская, Н. А. Бенуа. В эти годы Алексей Максимович, продолжая заботиться о творческом развитии советской литературы, внимательно следил за книжными новинками, в письмах своих давал оценки произведениям Д. А. Фурманова, Н. С. Тихонова, Ю. Н. Тынянова, М. М. Зощенко, Л. М. Леонова, О. Д. Форш, Вс. В. Иванова, А. П. Чапыгина, С. Н. Сергеева-Ценского, Б. А. Лавренева и других.

С необычайной широтой развернулась общественная и творческая деятельность Горького после его возвращения в СССР. Горь-

кий стал центральной фигурой литературной жизни Советской страны. Встречи с ним, его слово — печатное и устное — становились событием для каждого. Естественно поэтому изобилие воспоминаний современников о публичных выступлениях Горького, групповых и личных беседах с ним, об его издательских и организационных начинаниях, о даваемых им писателям и художникам наставлениях и советах.

Разделяя ленинское положение о том, что в литературе «безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию» [1], Горький ратовал за творческое многообразие советской литературы, выступал против регламентации художественного творчества, с интересом и одобрением относился к произведениям, авторы которых исходили из иных эстетических принципов, чем он сам. Он душевно и широко принимал людей с талантом — независимо от того, близок характер этого таланта ему самому или нет. «Среди моего поколения,— говорил А. А. Фадеев,— нет ни одного, кто, входя в литературу, не был бы им благословлен» [2].

Глубоко чужды были Горькому вульгаризаторские приемы рапповской критики. Он осуждал РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) за кастовость, за догматизм, за администрирование в литературе. Когда Постановлением ЦК ВКП(б) в апреле 1932 года РАПП был ликвидирован, Горький возглавил оргкомитет по созыву I съезда советских писателей, а съезд, происходивший под его руководством в 1934 году, превратился в мощную демонстрацию единства и консолидации передовых сил советской литературы и прогрессивных писателей мира. Горький выступил на съезде с обширным докладом программного характера, и сам этот съезд, а также вся последующая работа Горького в качестве председателя правления Союза советских писателей, организатора многих литературно-издательских начинаний, вдохновителя творческих успехов нашей литературы, запечатлелась в памяти современников и отразилась в мемуарах.

Особое место в воспоминаниях занимают страницы, посвященные заботам Горького о подрастающей писательской смене. С необычайной внимательностью читал Алексей Максимович сотни и тысячи рукописей молодых литераторов. При этом он не только делал замечания общего характера (о сюжете, композиции, языке), но исправлял — в назидание авторам — и грамматические ошибки

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, с. 101.
[2] А. Фадеев. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6. М., «Художественная литература», 1971, с. 68.

и опечатки — даже если рукопись отвергалась им (в одной отвергнутой рукописи объемом в 14 страниц он сделал 54 замечания!). В нужных случаях он убеждал автора в незрелости произведения, советовал ему заняться другим делом. Современники сообщают, что Алексей Максимович фактически переписывал некоторые рукописи. Но, высказывая свое мнение о прочитанном, подчас суровое, Горький всегда помнил о достоинстве и самолюбии автора, никогда не унижал его и такого же отношения к начинающим авторам требовал от других. (Об этом пишет, например, Н. В. Чертова). Многие воспоминания показывают Горького как чуткого, умелого и требовательного наставника молодых литераторов, которых он учил понимать высокий долг писателя — долг служения правде, искусству, народу, революции.

И добродушие его никогда не переходило в равнодушие. О рукописи или книге, которую считал плохой, он не боялся говорить самую горькую правду. Звание писателя вообще, советского писателя в особенности, Горький ставил исключительно высоко. За плохой рассказ, небрежно построенную фразу он мог сурово и без сожаления отчитать любого писателя — и начинающего, и именитого. Весьма красноречиво свидетельство Ю. П. Германа о беседе с Горьким по поводу первого написанного им, молодым тогда автором, романа «Вступление»: «Алексей Максимович,— рассказывает Герман,— подверг суровейшему разносу языковые неточности, «болтовню», попытки мои к афористичности, общие места, гладкие, казалось бы, без сучка и без задоринки, обтекаемые фразы. ⟨...⟩

— Вы сколько раз этот свой роман переписывали?

— Один,— не без гордости заявил я.

— А вам, сударь, не кажется, что это хулиганство? — осведомился Горький.

И, помолчав, смешно добавил:

— Такие вещи скрывать надо от людей, как мелкое воровство, а не хвастаться ими. Один! — повторил он с непередаваемой интонацией возмущения и брезгливости.— Значит, сколько посидел, столько и написал. Хорош добрый молодец!»

Но Горький отлично понимал, какой вес имеет его слово, слово руководителя советской литературы, признанного авторитета. Поэтому его даже самые строгие замечания о написанном, если они касались работы автора даровитого и серьезного, носили всегда товарищеский характер. И сам же он всегда старался защитить писателей от грубой критики, от несправедливых нападок.

Страстный патриот родной земли («Россия всегда была родиной талантов»,—с гордостью говорил Алексей Максимович Вс. В. Иванову), он в то же время всегда был последовательным и стойким интернационалистом. Он живо интересовался культурой, бытом,

талантами всех народов своей многонациональной родины, немалую часть которой он в юности отшагал пешком. И как один из организаторов литературной жизни, Горький много сделал для развития и пропаганды армянской, украинской, латышской и других литератур. «Мы<...>— с сожалением заметил Горький группе армянских литераторов, посетивших его в Мустамяках,— не знаем культуру народов, которые разделяют политическую судьбу нашей страны. Народов древних, с устоявшимся моральным обликом, с вековой культурой и мудростью. Нужно влить эти ценности в русскую культуру. От этого она только выиграет».

Возглавив в советские годы литературное движение в нашей стране, Горький огромное внимание уделял и развитию национальных культур. «Необходимо начать взаимное и широкое ознакомление с культурами братских республик<...> необходимо издавать на русском языке сборники текущей прозы и поэзии национальных республик и областей, в хороших переводах»,— говорил Горький на I съезде советских писателей. Начало этому широкому ознакомлению советского читателя с культурой народов нашей страны положила антология «Творчество народов СССР», изданная в 1937 году при ближайшем участии Горького.

## 4

«...я готов бываю поссориться с действительностью во имя человека, который мне дороже всего, выше всего»,— говорил Горький К. А. Федину. Вся деятельность его, все его творчество проникнуты пафосом гуманизма — верой в человека, в его великое предназначение, в его право на счастливую жизнь. Горький был провозвестником и защитником тех великих жизненных принципов, которые легли в основу пролетарского, социалистического гуманизма. С первых шагов своих в литературе Горький выступал за уважение к человеку. Горьковские афоризмы «Человек — это звучит гордо», «Превосходная должность — быть на земле человеком» облетели весь мир.

И в своей личной жизни, с самой юности, Горький во всех своих поступках всегда оставался беспредельно человечным. А. А. Смирнов пишет о Горьком самарских лет: «Душевная отзывчивость Алексея Максимовича была громадна, часто к нуждам незнакомых, совсем чужих ему людей. Знакомого же человека, близкого ему по духу, особливо если он попадал в беду или был постигнут тяжелым горем, он окружал чисто материнской заботливостью, редкой даже в женщинах нежностью».

Да, гуманизм Горького был гуманизмом действенным. Его слова о любви и уважении к человеку всегда сочетались с конкретными делами, конкретной помощью людям.

В годы гражданской войны и разрухи Горький отечески заботился о том, чтобы сохранить жизнь русским ученым, начинающим советским писателям, дать им возможность для работы. Об этом обстоятельно говорится в воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича, К. А. Федина, Вс. В. Иванова и др. И в последние годы жизни, занятый тысячью разных дел, он считал своим долгом помочь каждому, с кем сводила его судьба. «Уже с первых дней научился я угадывать за внешней суровостью и замкнутостью Алексея Максимовича,— пишет В. А. Рождественский,— удивительную мягкость и сердечность этого человека, умеющего для каждого найти близкое, понятное ему слово».

Выйдя из народных глубин, Горький всю жизнь был тесно связан с народом. Воспоминания о писателе показывают его постоянный и глубокий интерес к простому человеку, уважение к нему. «Рабочие умеют читать между строк, и всякая честная мысль найдет у рабочего отклик»,— говорил он А. С. Серафимовичу. Значительность простого человека была для него неоспорима. Ему представлялось естественным усадить за один стол со всемирно известным Гербертом Уэллсом простого столяра Матвея Никаноровича (воспоминания В. А. Рождественского). Горький умел видеть интересное в человеке, «высветлить» своим взглядом художника своеобразное, неповторимое, оригинальное в людях. «Счастлив ты, Алексей ⟨...⟩ Всегда около тебя какие-то удивительно интересные люди...»— сетовал Леонид Андреев [1], а между тем у них был общий круг знакомых, но Андреев не замечал в людях того, чем любовался, что привечал, чему часто помогал развиться Горький.

Горьковский гуманизм — страстный, воинствующий, требовательный. «Прекрасное человеческое тепло излучалось из этого отличного представителя новой человеческой породы,— писал Л. М. Леонов.— Когда говорят о Горьком, думают о его страстной преданности людям. Но это не была тихая, поровну на всех христианская любовь ко всем людям без изъятья, это была воинствующая любовь прежде всего к добру, без которого невозможна жизнь на земле,— ленинская любовь, которой назначено преобразовать планету, которая имеет свое жилище в сердцах тружеников, которая неузнаваемо облагораживает наши поля и книги...» [2]

---

[1] М. Горький. Полн. собр. соч., т. 16. М., «Наука», 1973, с. 341.

[2] Леонид Леонов. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., «Художественная литература», 1972, с. 140.

Именно поэтому горьковский гуманизм органически враждебен мещанству, которое он определял как «уродливо развитое чувство собственности», стремление к покою «внутри и вне себя, темный страх пред всем, что так или иначе может вспугнуть этот покой...» (т. 23, с. 341).

Всю жизнь и всеми своими силами боролся писатель с косным и затхлым миром мещанства. И хорошо, с детских лет, знакомое ему «мурло мещанина» он сумел разглядеть и в советские годы под маской «механических граждан», внешне лояльных к новому строю, но органически враждебных ему. Горький не раз предостерегал об опасности возрождения этого зла. «У нас начинает слагаться новый слой людей,— говорил он К. А. Федину.— Это — мещанин, героически настроенный, способный к нападению. Он хитер, он опасен, он проникает во все лазейки. Этот новый слой мещанства организован изнутри гораздо сильнее, чем прежде, он сейчас более грозный враг, чем был в дни моей молодости».

Но мещанин не мог заслонить Человека. Человек, его духовный мир — для Горького всегда наивысшая ценность. И всегда он горой стоял за развитие человеческой индивидуальности, за уважение к своеобразию и неповторимости каждого человека. С огромным непреходящим восхищением наблюдал он, как развернулась человеческая личность, раскрепощенная Октябрем, какие неисчерпаемые запасы творческой энергии открылись в ней, какие великие дела творил советский человек на своей обновленной земле. «Противники коммунизма утверждают, будто он обезличивает людей, превращает их в застывшую «серую массу»,— говорил Горький А. Барбюсу.— Нет, здесь все кипит и все обжигает. Особенно поражает меня то, что в Советском государстве люди приобретают ярко выраженную индивидуальность. Мы свидетели роста личности...» В грандиозных успехах страны, в небывалом росте производительности труда советских людей Горький прозревал историческое движение к обществу подлинного гуманизма, где во всю ширь раскроются духовные силы человека.

Вера писателя в рабочий класс, в его возможности, уважение к достоинству трудового человека были незыблемы. Еще до революции, прочитав рассказ А. С. Серафимовича «Маленький шахтер», он говорил автору: «Вы не забывайте: шахтеры — ведь это же рабочие! Они ведь создают все, что кругом. У вас они только бедненькие, забитые,— жалко их... А ведь это не вся правда. Шахты-то кто попрорыл? Кто взрывал каменные неприступные пласты? От воды-то захлебываются,— кто откачивал? Вот у вас этот мальчонок,— ну, жалко его, конечно. Но вырастет, он же настоящий потомственный шахтер будет! Перед ним земля-то, недра раздвигаться будут».

Горький и сам был великим тружеником, вдохновенным певцом труда. Даже в эпоху, когда для огромного большинства людей труд был работой на хозяина, изнурительной и нелюбимой, писатель увидел и воспел труд как источник человеческой радости, средство раскрытия и проявления полноты и богатства человеческой души. А после победы социалистической революции он радостно приветствует стремительный духовный рост нового человека, его требовательное отношение к себе и к жизни. Сильное впечатление, как о том свидетельствуют воспоминания, произвело на Горького гордое чувство хозяина, которое сложилось у вчерашнего раба. В своих поездках по Советской стране он повсюду встречал свободный труд свободных людей и не скрывал своего восторга. Писатель дожил до великого счастья: он воочию увидел воплощенной свою мечту о Человеке.

## 5

Особое достоинство мемуаров заключается в том, что они дают возможность читателю мысленно воссоздать личность художника — его внешность, его наклонности и привычки, его богатый внутренний мир. Из мозаики воспоминаний складывается образ человека, который многочисленными нитями был связан с людьми, в каждом из них оставив свой большой или маленький след. Сам художник — из скромности, а иногда по обстоятельствам субъективного порядка — не может так много и подробно рассказать о себе, как это могут сделать неоднократно встречавшиеся с ним люди.

Внешний облик Горького — человека необыкновенной жизненной судьбы и громаднейшей популярности — не мог не привлечь к себе тех, кто с ним сталкивался и кто его наблюдал. Разумеется, по разному воспринимался он в разные периоды жизни, в разных житейских условиях и в представлениях разных людей. Но всегда в нем было то сугубо индивидуальное, удивительное и необычное, что притягивало к себе окружающих и что стало в конечном счете предметом многочисленных описаний.

Вот молодой Горький, никому еще не известный сочинитель на улице Тифлиса (1891 г.): «Широкоплечий, здоровый, несколько сутуловатый, высокого роста, в блузе, подпоясанной ремнем, с лицом невеселым, но решительным, он произвел на меня бодрящее впечатление, впечатление чего-то нового, а главное, оригинального. Резкий в мнениях, оригинальный во взглядах на вещи и явления, он был грубоват в манерах и движениях, что, впрочем, шло к нему». Автор этих строк С. А. Вартаньянц указывает, что при первой же встрече Горький своим внешним видом напомнил ему «сильного духом, мощного по фигуре Рахметова». Несколько

по-иному, но в чем-то похоже видится он в те же 90-е годы А. Д. Гриневицкой, С. Г. Скитальцу, А. Е. Богдановичу, Н. Д. Телешову. Но главное, что даже во внешнем облике и молодого Горького, и во все последующие годы мемуаристы неизменно отмечали бойцовские черты. Вот Горький в один из критических моментов своей жизни — на премьере «Дачников» в 1904 году, когда он оказался перед бушующей толпой «свистунов» — либеральных угодников, недовольных обличающей их пьесой: «...бледный, злой, но удивительно сосредоточенный и спокойный. Он взял за руку Комиссаржевскую ⟨...⟩ с ней вышел на сцену ⟨...⟩ спокойно сложил на груди руки и стал с презрительной улыбкой оглядывать «свистунов»,— так описывает этот эпизод артист В. Р. Гардин. Тогда, в канун революции, Горький, по свидетельству современников, походил уже не на длинноволосого странника, каким казался в предыдущие годы, а на фабричного мастерового — слесаря или сапожника.

С течением времени мемуаристы все чаще отмечают во внешности писателя контрастные, но необычайно характерные для его индивидуальности черты: с одной стороны — угловатость, нескладность, громоздкость фигуры, простонародные черты лица, с другой— непринужденность походки, обворожительную голубизну (или синеву) ласкающих собеседника глаз, удивительный артистизм, пластичность всей его фигуры. Любопытно, что это последнее качество подмечали чаще всего люди, сами в высшей степени наделенные художественным даром (например, К. С. Станиславский). «Бесчисленные портреты дают лишь смутное представление о внешности Горького. Он гораздо более изящен, чем его бумажные двойники, рассеянные по всему миру... Лицо у него матовое, светлое. И нет слова, которое могло бы передать сверхъестественный блеск его синих глаз»,— пишет о Горьком А. Барбюс, пытаясь очистить образ его от всего приглаженного, хрестоматийного, полулегендарного, что приписывала ему людская молва. И сам Горький естественно, непринужденно, с большим достоинством освобождался от облика, навязанного ему нелегкой его популярностью. Хорошо написал о первой встрече с ним в 1920 году К. А. Федин: Горький предстал его взору «человеком, освобожденным от всего обязательного, с удовольствием и легко отстраняющим облик, настойчиво надеваемый на него славой».

Удивительной красоты духовный облик Горького, своеобразие натуры писателя представляют нам его современники. Те, кто встречал его в юношеские годы, обращают внимание на его скромность, искренность, общительность, силу духа, чуткость, душевность. Свойства эти углублялись и оттачивались под влиянием времени, событий, общественных противоречий. В. Д. Бонч-Бруевич, впервые встретившийся с Горьким по поручению партии,

отметил в нем «особую тайну привлекательности, исключительный и чрезвычайно редко встречающийся подход к людям. Он ставил и себя и слушателя в такое положение, что ничего другого не оставалось, как только уж если беседовать, то беседовать по душам, откровенно и идейно напряженно». Современники подчеркивают любовь Горького ко всему «красивому, сильному, украшающему, исправляющему жизнь» (В. А. Рождественский), его природный юмор, дружественную шутливость, радостный настрой в общей работе (К. И. Чуковский).

Душевный мир Горького, буревестника революции и неизменного защитника народных интересов, как явствует из многих воспоминаний, был сложен и глубок. С. Г. Скиталец замечает, что и в молодом Горьком «уже чувствовался боец, проникнутый стремлением судить верхние классы с заранее приготовленным приговором...». Жизнь не раз жестоко ранила его, «врагов у него,— по словам Чуковского,— всегда было вдоволь, и это внушало ему спокойную гордость». При своей доверчивости, душевной мягкости ему, как показывает М. Л. Слонимский, приходилось и обманываться в людях, разочаровываться в них. Все это усложняло его переживания, вызывало в нем настороженность, делало его порой суровым и жестким, но нисколько не умаляло его доброты. «Сложный характер писателя,— замечает Л. Н. Сейфуллина,— выдвигал острые углы в личном выявлении его собственной любви и ненависти. Природная душевная мягкость сочеталась в нем с жесткостью борца за политическую идею. Активная жалость к людям требовала беспощадного их изобличения. И разные люди по-разному воспринимали писателя и человека»

## 6

Современников поражала энциклопедическая образованность Горького, неуемная жажда знаний, не оставлявшая его до последних дней жизни. Систематически удалось ему учиться всего около двух лет — в двухклассной Ямской приходской школе и в Нижегородском слободском Кунавинском начальном училище, но по широте кругозора, глубине и многосторонности знаний он сумел стать одним из самых образованных людей XX века.

Книга занимала в жизни писателя огромное место. Широко известно признание Горького: «Всем хорошим во мне я обязан книге» (*Горький*, т. 14, с. 340). Книги окружали писателя с ранней молодости (об этом пишут в своих воспоминаниях И. А. Картиковский, А. А. Смирнов, А. Е. Богданович). Интересовали его не только

произведения художественной литературы; тут были и работы по философии, истории, различным областям знаний, нередко весьма специальные труды — скажем, по медицине или биологии. «Трудно даже представить себе, как он ухитрялся при широкой его отзывчивости на письменные и устные людские отклики, при обширной литературной продукции и многообразно разветвленной общественной деятельности проглатывать такое большое количество печатного материала. Нужно учесть при этом, что жаден он был не только к литературе художественной, но и к научной книге разных областей и специальностей. Ничто новое в области мысли и культуры не проходило мимо него»,— вспоминал В. А. Десницкий, сам большой книголюб. «Нет сколько-нибудь значительной книги, философского направления или духовной тенденции, которые остались бы ему неизвестны»,— свидетельствует и Сибилла Алерамо.

Писатель ярко выраженной творческой индивидуальности, Горький особенно остро и тонко чувствовал искусство. О богатстве художественных интересов, глубине эстетического вкуса писателя можно судить по его широким и многосторонним связям с деятелями искусства. В мемуарной литературе они отражены достаточно основательно и подробно.

На протяжении всей творческой жизни Горького прочные дружеские узы связывали его с театром. Воспоминания показывают, как живо чувствовал Горький специфику театра, понимал его возможности. Не случайно Московский Художественный театр увидел в Горьком «своего» драматурга, пьесы которого стали знаменем театра в пору подготовки первой русской революции. В свою очередь, Горький, как свидетельствует Вл. И. Немирович-Данченко, «был чрезвычайно захвачен и спектаклями, и духом молодой труппы». Уже первая горьковская пьеса — «Мещане» (1901), поставленная в МХТ, завоевала широкого зрителя; но «потрясающий», по словам К. С. Станиславского, успех принесла театру и автору вторая горьковская пьеса — «На дне» (1902). О том, как готовился театр к спектаклю, какое большое участие принял в этой подготовке Горький, рассказывают также Вл. И. Немирович-Данченко, В. В. Лужский. «Свобода — во что бы то ни стало! — вот ее духовная сущность»,— писал о пьесе Станиславский. Позднее, в 1904 году, большим событием русской театральной жизни стала постановка горьковских «Дачников» в театре В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге.

Связи Горького с русским театром, вынужденно прерванные в 1906 году, возобновились после возвращения писателя из-за границы и стали особенно тесными в первые советские годы. Постоянно находясь в творческом поиске, Горький в это время обращается к театру импровизации и эксцентрики (воспоминания

В. М. Ходасевич) и к театру романтическому (воспоминания Ю. М. Юрьева).

После второго пребывания в Италии, вернувшись в СССР, Горький создает несколько новых пьес и помогает их постановке на сцене. Выдающимся событием театральной жизни 30-х годов стал поставленный Б. Е. Захавой в театре имени Евг. Вахтангова спектакль «Егор Булычов и другие», где в главной роли выступил Б. В. Щукин. Воспоминания постановщика рассказывают о живейшем участии, которое принимал Горький в подготовке спектакля, о его замечаниях, касавшихся как общего замысла постановки, так и отдельных мизансцен.

Горький был великим знатоком изобразительного искусства. Мудрый друг художников, он поддерживал отношения со многими из них на протяжении ряда лет. На Капри Горький немало времени проводил с русскими художниками, посланными за границу для совершенствования (интересные воспоминания оставили об этом И. И. Бродский, С. М. Прохоров), ходил с ними в музеи, осматривал достопримечательности Италии. «...я много испытал глубоких радостей, глядя на работы этих людей, и очень полюбил их самих: хороший народ!» — писал он Бродскому.

Большое значение для развития советского искусства имели беседы Горького с художниками в 30-е годы. Писатель призывал мастеров кисти к высокой идейности, совершенству формы, ясности художественного языка. Он сетовал, что великие перемены в жизни страны еще недостаточно отражаются в искусстве. И художники рассказывают, как при встречах и беседах с Алексеем Максимовичем у них рождались новые замыслы, сюжеты картин, образы, каким стимулом для их работы были советы Горького, его моральная поддержка, подчас материальная помощь. Горьковские советы были, как вспоминают Кукрыниксы, точными, умелыми, проникающими в суть изобразительного искусства. Он напряженно наблюдал работу художников, вникал в технику живописи, порой с нескрываемым интересом прослеживал весь процесс создания картины. Ему самому как писателю живопись, да и все другие искусства давали необычайно много. Он в этом часто признавался.

Личность оригинальная, одаренная, выразитель революционных настроений эпохи, Горький стал источником творческого вдохновения для многих художников, не раз обращавшихся к изображению великого писателя. Его писали Репин и Серов, молодые художники Бродский, Прохоров, Шухаев, Ходасевич... Один из лучших горьковских портретов советского времени принадлежит кисти П. Д. Корина. На этом портрете Горький стареющий, мудрый, великий. Большая фигура на полотне с низким горизонтом производит сильное впечатление.

Необходимо сказать, как много сделал Горький в первые советские годы для сохранения художественных ценностей России. Алексей Максимович был тогда членом Совета Эрмитажа, председателем комиссии по охране художественно-исторических ценностей. О деятельности Горького на этом посту рассказывает П. И. Нерадовский.

Писатель горячо любил музыку, хорошо знал ее.

Неиссякаемый интерес питал он к музыкальному фольклору. «Алексей Максимович всегда был любителем русской народной песни... Как он умел слушать, как чувствовал гениальную простоту и прелесть народного творчества!» — вспоминает художник В. С. Сварог [1]. О том же пишет в своих коротких, но таких интересных мемуарах И. П. Ладыжников. Любил Горький и народную итальянскую музыку (воспоминания Н. Е. Буренина, А. В. Луначарского, В. А. Десницкого). С наслаждением слушал он и классическую музыку. Н. Е. Буренин, А. А. Спендиаров, Ю. А. Шапорин отмечают огромную музыкальность Горького.

Дружба с людьми музыкального мира проходит через всю жизнь Горького. Так, широко известны его близкие отношения с Ф. И. Шаляпиным. Сохранилось немало воспоминаний о встречах великого писателя и великого певца. Музыканты высоко ценили в Горьком тонкого и умелого слушателя. «Нужны мне Ваши чуткие уши, которые так удивительно умеют слушать музыку... И как я Вас люблю и благодарю за эту чуткость»,— писал Горькому пианист и композитор И. А. Добровейн. Удивительная чуткость восприятия музыки делали мнение Горького чрезвычайно авторитетным для музыкантов.

## 7

Воспоминания о Горьком могут служить источником для изучения не только жизни писателя, но и некоторых сторон его творчества. Замыслами своих повестей, пьес, рассказов Горький порою делился с близкими ему людьми. Кое-кто из них был непосредственным свидетелем работы писателя. Иногда Горький комментировал собеседникам свои произведения, говорил о жизненных прототипах изображенных им лиц. Все это, воспроизведенное мемуаристами, помогает нам уяснить отдельные моменты его творчества, разобраться в самом процессе его литературного труда.

Так, А. М. Калюжный повествует о том, как Горький вынашивал сюжет своего первого произведения («Макар Чудра»), и сопоставляет

---

[1] Газ. «Легкая индустрия», 1936, 20 июня, № 140.

написанное с вариантами, фигурировавшими в его устных рассказах. На устных импровизациях Горького, многие из которых складывались в законченные сюжеты (а некоторые послужили впоследствии материалом для повестей и рассказов), останавливаются Е. П. Пешкова, В. Я. Шишков, С. Г. Скиталец, Н. Н. Асеев и др. Целую серию подобных рассказов восстанавливает в памяти Л. В. Никулин. «Беседа,— пишет В. А. Рождественский,— была его родной стихией. Собеседника приводила в изумление широта его познаний часто в таких областях, которые доступны только узкому специалисту».

Разработка сюжета, поиски слова происходили у Горького непрерывно, очень часто за пределами письменного стола. Художница В. М. Ходасевич, работая над портретом Горького, заметила, что, позируя, он рассказывал ей разные истории, которым она не придавала особого значения. На самом деле истории эти были не чем иным, как устными вариациями и доработками его литературных произведений. «Это,— пишет художница,— я поняла уже позднее, когда многое из рассказанного мне встречала в его новых творениях. Я ужасаюсь до сих пор, понимая, какие духовные и литературные ценности так щедро предлагались моему вниманию и что я теряла (и не только я!) из-за того, что невнимательно слушала и вникала в рассказы, вовлеченная в свой творческий процесс».

Немалый интерес представляют рассказы современников о неосуществленных творческих замыслах Горького, например, о поэме, посвященной новгородскому былинному богатырю Ваське Буслаеву, об экранизации пьесы «На дне» (К. А. Федин, Н. Д. Телешов).

В беседах с современниками сам автор часто раскрывал прообразы некоторых своих персонажей. Так, В. А. Десницкому он рассказывал о нижегородском купце Гордее Чернове, черты которого запечатлелись в образе Фомы Гордеева; К. С. Станиславскому поведал о романтическом босяке (тоже нижегородце), послужившем моделью для образа Сатина. Когда Горький делился своими воспоминаниями с В. Я. Шишковым, перед его мысленным взором прошла целая галерея людей старой России — дельцов, подрядчиков, фабрикантов, купцов, финансистов, архиереев. По словам Шишкова, из этих рассказов, если их записать, «вышел бы целый том увлекательнейшего чтения». Впрочем, схожие мотивы можно отыскать в произведениях Горького, рисующих «верхний слой» буржуазно-купеческой и чиновно-поповской России.

С помощью мемуарных свидетельств устанавливаются (или подтверждаются) автобиографические мотивы в ряде произведений Горького — «Коновалов», «Хозяин», «Дело с застежками», «Страсти-мордасти» и др.

Известно, какую бурную полемику вызывали пьесы Горького, сколько разных, часто противоречивых толкований давала им критика. В этой связи представляют первостепенный интерес мнения самого автора, высказанные им в беседах с современниками и зафиксированные в мемуарах.

Вот — уже после революции — Горький, находясь в Петрограде, посещает спектакль «На дне», поставленный самодеятельным солдатским театром. Вероятно, не только исследователи творчества Горького, но и все знающие эту пьесу обратят внимание на характеристику, которую автор дал персонажам — обитателям «дна» — в беседе с актерами-любителями: «Много меня в свое время упрекали за то, что я будто бы любуюсь этой особой породой людей, которая живет на самом дне общества человеческого. И не замечали самого главного. Живут люди мерзко, дышат гнилью и сыростью, но у каждого из них есть своя мечта, уверенность в том, что жизнь должна быть лучше (...) Это правда. Без мечты не может жить человек» (воспоминания В. А. Рождественского).

Или трактовка Горьким пьесы «Старик». Солидный профессор, литературовед Ф. Д. Батюшков стал восхвалять автора за то, что он «озарил своего старика каким-то «ласковым и кротким сиянием». Свидетель этой сцены К. И. Чуковский рассказывает, как Горький встал, перегнулся через стол и сердито возразил: «Прошу прощения .. Это не так... Да, не так. Униженных и падших я терпеть не могу. А этого старика не-на-ви-жу».

Показания современников дают нам возможность проникнуть в творческую лабораторию писателя, уяснить историю создания некоторых его произведений. Так, М. Ф. Андреева рассказывает о работе Горького над повестью «Жизнь Матвея Кожемякина», Н. Е. Буренин — над повестью «Мать», Л. В. Никулин — над эпопеей «Жизнь Клима Самгина». И хотя каждый из них наблюдал лишь отдельные моменты творческого процесса, их свидетельства представляют для нас несомненный интерес.

Привлекают к себе внимание и рассказы очевидцев о том, как Горький работал, как распределял свое время, как проникался настроениями своих героев и переживал их, сколько энергии вкладывал в свой творческий труд. «Алексей Максимович,— рассказывает М. В. Нестеров,— говорил, что во время работы бывало такое: вся повесть готова, но одно слово — его образное значение, непередаваемый яркий смысл — тормозило дело. *Слово* не шло на ум, оно ускользало, как бы дразня художника. Тут никакие мольбы редакции для автора значения не имели, он бывал неумолим». И лишь после того, как искомое слово возникало, иногда совсем случайно, в неожиданной обстановке, работа над произведением завершалась.

Идут годы. Все дальше и дальше уходит в прошлое время, когда жил и творил Горький. Но интерес к его произведениям, к истории его жизни, к личности писателя не ослабевает. Богатейшее наследие Горького, его деятельность, его литературные взгляды раскрываются нам все глубже и многостороннее, оборачиваются все новыми и новыми гранями. Великие личности становятся собеседниками новых поколений потому, что, будучи органически связаны с породившей их эпохой, не уходят с ней в невозвратное прошлое, а продолжают жить, волновать грядущие поколения, активно участвуют в идейных битвах новых эпох. На траурном митинге 20 июня 1936 года Алексей Толстой сказал: «...у великих людей не две даты их бытия в истории — рождение и смерть, а только одна дата: их рождение» [1]. Он был прав. Больше сорока лет Горького нет на свете, но он оставался и остается с нами. Он жив той жизнью, которую называют бессмертием. Его книги по-прежнему учат мудрости, будят мысль, помогают жить.

*И. Эвентов, А. Крундышев*

---

[1] А. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 13. М., Гослитиздат, 1949, с. 143.

# М. ГОРЬКИЙ
## В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

# И. А. КАРТИКОВСКИЙ

## ЮНОШЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

С Горьким я познакомился в 1882 году.

В конце весны моя семья переехала на новую квартиру на Звездинскую улицу, или Звездин пруд, как ее называли, в дом крупного нижегородского подрядчика Гогина [1]. На другой день по переезде я проснулся пораньше и побежал на улицу. Меня, тринадцатилетнего гимназиста, больше всего, конечно, интересовал двор и его обитатели.

Было яркое весеннее утро. Я выбежал в сени и невольно остановился, услышав странную песню:

Я мочил, мочил, мочил,
Потом начал я сушить.
Я сушил, сушил, сушил,
Потом начал я катать.
Я катал, катал, катал,
Потом начал я мочить.

Мотив был веселый, но слова одни и те же до бесконечности. Певец пел с большим увлечением, казалось, всю душу вкладывал в свою песню. Едва уловимый шепот переходил в нежно-печальные звуки, которые, постепенно усиливаясь, выливались в бурно негодующие. Но все эти переливы как-то не увязывались со словами самой песни. Эта странная мелодия сопровождалась еще более странным аккомпанементом.

Заинтересованный столь необычайной музыкой, я приоткрыл немного дверь, как раз в тот момент, когда бурно негодующие звуки достигли своего апогея.

Спиной ко мне, широко расставив ноги, стояла широкоплечая фигура, босиком, в черных люстриновых широких шароварах, в белой с крапинками рубашке без пояса.

В левой руке она держала валек, заменявший скрипку, а правой рукой неистово водила по вальку скалкой.

«Вот так музыкант!» — подумал я и не мог удержаться от смеха: уж очень комична была фигура певца.

Певец быстро обернулся, по лицу его расплылась широкая улыбка, и он весь затрясся от хохота. Это был Алеша Пешков. Ему было тогда 14 лет.

— А, новый вариант. Давай знакомиться,— сказал он, немного успокоившись.

Мы сели на ступеньки крыльца, и между нами очень быстро завязался оживленный разговор. А. М. Пешков жил тогда у своего родственника, чертежника Сергеева [2]. Квартира их находилась в одном доме с нами, как раз над нашей квартирой, и имела совершенно одинаковое расположение. Крыльцо у нас было общее.

Я быстро подружился с А. М. Сблизила нас игра в бабки, или в козны — по-нижегородски, в которой мы оба считались первоклассными артистами.

Звездинская улица того времени была совершенно непохожа на современную. Вдоль нее тянулся глубокий овраг, пересеченный тремя дамбами для проезда. Дом Гогина стоял в тупике за этим оврагом. Несмотря на то, что эта улица находилась в нескольких шагах от центральной Покровской улицы [3], наш тупик представлял захолустье, жившее своей особой жизнью. В нем было всего четыре дома и длинный серый забор, скрывавший за собой грязный проходной двор, пересеченный оврагами. Там и сям на краю этих оврагов были разбросаны ветхие лачужки, не заслуживше, пожалуй, даже и этого названия: так они были плохи. Здесь жила нижегородская беднота.

Вся детвора, ютившаяся в этих лачугах, группировалась около А. М. Пешкова. Его веселый, жизнерадостный характер, его речь, пересыпанная, как бисером, живым юмором,— все это привлекало к нему детвору, и вполне понятно, что он был общим ее любимцем. А. М. ни в чем не высказывал своего превосходства, к каждому он относился как равный к равному, но, несмотря на это, все относились к нему с каким-то особым уважением и беспрекословно повиновались ему. Я никогда не наблюдал в этой толпе ни ссор, ни драк, ни грязной брани — этих спутников уличных детей. Таково было влияние его на детвору.

Вообще Алексей Максимович отличался очень мягким характером. Эта мягкость проявлялась и в отношении ко мне. Сложения он был богатырского, а я был маленького

роста и едва ли доходил ему до плеча. Может быть, это обстоятельство и являлось причиной, что он особенно нежно относился ко мне. Он иначе не называл меня, как братишка, а впоследствии, когда умер мой отец, он стал называть меня сынишкой. Я же называл его Максимыч — прозвище, которое осталось за ним не только в нашей семье, но и в большом кругу его нижегородских знакомых.

Почти каждый летний вечер около нашего крыльца собиралась детвора. Начиналась игра в бабки. Мы с Максимычем имели общую «казну», которой служила кадушка. В нее мы и складывали свой выигрыш. Когда казна наша наполнялась доверху, Максимыч объявлял:

— Ребятишки, завтра приходите на «уру».

На другой день перед крыльцом собирались мальчуганы со всей нашей округи. Кадка торжественно выносилась на крыльцо, а Максимыч, беря бабки горстями, веером разбрасывал их по земле. С криком «ура!» толпа набрасывалась на бабки. Смех, крик, шум, но ни ссоры, ни брани. Выигранные козны возвращались ребятам обратно.

Денег у нас с Максимычем никогда не водилось, но бабок мы все-таки не продавали, хотя иногда и хотелось приобрести какую-нибудь книжонку с заманчивым названием, выставленную в окне книжного магазина.

Темнеет... Кончаем игру в бабки и спускаемся в овраг. На дне его огромное бревно. Мы все усаживаемся на него, и начинается концерт. Максимыч и здесь являлся нашим учителем и руководителем. Он страстно любил пение и готов был петь бесконечно, забывая все окружающее. Его настроение передавалось и нам. Пели мы не только с увлечением, но и с большим чувством, на какое только мы тогда были способны. Пели исключительно грустные песни.

Любимыми песнями Максимыча были следующие: «На том ли поле серебристом» и «Как поехал наш Лександра».

Вот краткое содержание первой из них.

В лунную ночь дева, тоскуя о своем умершем друге, идет на кладбище. Она подходит к могиле друга, и вдруг

Мертвец схватил ее за платье,
Увлек в могилу навсегда...

И с тех пор каждую ночь средь могильной тишины

Было видно, как две тени
Кругом бродили средь могил,
И говорят, что будто пели
И все к себе манили нас.

Песен этих впоследствии я никогда больше не слыхал [4].

Пели мы стройно и, должно быть, недурно, потому что к оврагу собиралась публика, подолгу слушала наше пение и одобряла нас, маленьких певцов.

Частенько в праздничные дни, задолго до восхода солнца, мы отправлялись вдвоем в лес за грибами, верст за 20 от города. Так же страстно, как и пение, Максимыч любил и природу. Здесь, в лесу, расположившись где-нибудь на лужайке, мы вели нескончаемые разговоры.

Иногда с нами в ближайшую рощу отправлялась и любимая бабушка Максимыча. Это была очень милая, добрая старушка, и я вполне понимаю то нежное чувство, которое питал к ней Максимыч. По дороге она учила нас, как искать грибы, как отличать их. Каждый гриб имел у нее свою историю, с каждым грибом был связан какой-либо случай из ее жизни. Может быть, благодаря этим прогулкам и бабушкиным рассказам собирать грибы до сих пор для меня величайшее удовольствие. Знал я и дедушку. Он и сейчас как живой передо мною, сидит у окна за маленьким столиком и худыми руками, похожими скорее на лапы курицы, перелистывает книгу. Не помню, чтобы он когда-нибудь со мной разговаривал.

Все наши прогулки Максимыч воспевал в стихах. Таких поэм у меня было порядочное количество, но, к сожалению, вместе со всеми письмами Максимыча мне пришлось их сжечь уже в Казани, когда я, будучи студентом, ожидал у себя обыска.

К писательству Максимыч имел большую страсть, исписывал целые вороха бумаги, но писал исключительно стихами. Содержание произведений, понятно, я не помню, помню только одно, что в них особо почетное место занимали черти и дьяволята, причем являлись они не в одиночку, а тысячами и миллионами.

Читали мы с Максимычем все, что ни попадалось под руку. Сильно увлекались в эти годы Вальтером Скоттом, Г. Эмаром, Майн Ридом, Фенимором Купером и др. Много читали и из русской литературы. Большое впечатление на нас произвел Помяловский своей «Бурсой» [5].

Совершенно не помню, при каких обстоятельствах Максимыч ушел от чертежника Сергеева и поступил на пароход, помню только, что я часто приходил к нему, когда он приезжал в Нижний, бывал у него и в лавке, где он служил приказчиком и торговал иконами [6].

Когда я был в 6-м классе гимназии, умер мой отец. Борьба за кусок хлеба заставила меня браться за всякую работу, так как на моих руках осталась большая семья. Учение, уроки, переписка, корректура в типографии — все это отнимало у меня целые дни, и я виделся с Максимычем редко. Встречались мы у моей сестры А. А. Янишевской. И она, и муж ее (врач) относились к Максимычу, как к родному. «Ведь я его любила, как своего большого ребенка», — писала мне сестра в 1928 году, вспоминая Горького. И действительно, по своей житейской непрактичности Максимыч даже в зрелые годы был совершенный ребенок.

Вспоминается мне еще такой случай. Я пришел к сестре и застал у нее какого-то благообразного вида мужчину. Оказался старообрядческий начетчик. Влетает Максимыч: «Тысячу чертей, миллион дьяволят вам...» Обычное его в то время приветствие. Сели пить чай. У начетчика с Максимычем завязался горячий спор по поводу раскола, и Максимыч показал большую начитанность в этом вопросе.

— Максимыч, откуда у тебя сие? — спросил я, удивленный его познаниями по расколу.

— Что же тебе, даром, что ли, буду сидеть в лавке за иконами? Вот и познакомился.

Так глубоко изучал он каждый вопрос, которым он так или иначе интересовался, а интересовался он, кажется, всем. Вообще в это время Максимыч в своем развитии шел гигантскими шагами.

Вскоре после этого он уехал в Казань [7], и с этого момента мы встречались только урывками.

# А. С. ДЕРЕНКОВ

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ВЕЛИКОМ ПИСАТЕЛЕ

⟨...⟩ Осенью 1885 года студент-медик Кудрявцев привел ко мне Алексея Максимовича Пешкова. С виду он был парень грубоватый, но умный, простой в обхождении и совершенно трезвый: непьющий и некурящий.

Мы скоро с ним подружились. Он почти все время жил у меня, иногда помогал мне в работе и жадно читал книги.

Кажется, его смущало то, что он, живя у меня, как бы стеснял меня в средствах. (Своя семья у меня состояла из шести человек: взрослая сестра гимназистка, два младших брата и родители.)

Мы с Алексеем Максимовичем решили расширить наши доходы, чтобы можно было помогать нуждающимся революционерам и учащейся молодежи. Так как он никакой специальности не имел, то было решено, что он пойдет учиться пекарем к Семенову, у которого я брал булки для продажи, а когда подучится, мы откроем свою пекарню. Так мы и сделали.

Это несколько не соответствует тому, как Алексей Максимович описывает свое поступление на работу к Семенову в рассказе «Хозяин». Но ведь Алексей Максимович писал художественное произведение, допускающее отступление от действительности [1].

Нет сомнения, что Алексей Максимович и тогда уже не ставил себе целью приобретать специальность пекаря или булочника как постоянную. Но тогда это и для него казалось единственным выходом из положения, чтобы не возвращаться к жизни, подобной описанной им в рассказе «Дело с застежками» [2], и, с другой стороны, чтобы поддер-

жать общее дело помощи революционерам и беднейшей учащейся молодежи.

Во всяком случае, с его согласия, я рекомендовал его Семенову, указавши, что из этого парня может быть и хороший, добросовестный приказчик.

Алексей Максимович проработал у Семенова около полугода [3]. Работая у Семенова, он приходил ко мне, брал книги для чтения рабочим и для себя. Книги Решетникова и Костомарова [4], о которых Алексей Максимович говорит в рассказе «Коновалов», были из моей библиотеки.

У Семенова Алексей Максимович работал много. Много перенес оскорблений от этого самодура. Но рабочие-семеновцы удивлялись гордой независимости Алексея Максимовича и считали его ученым, бывшим студентом.

Приходя ко мне за книгами, Алексей Максимович рассказывал про дикие выходки Семенова и весело хохотал, копируя самодурство «хозяина».

Летом 1886 года я, при содействии студента Кудрявцева и по договоренности с Алексеем Максимовичем, заарендовал подвальное помещение с пристройкой на Мало-Лядской улице [5], где до этого была пекарня, и купил за четыреста рублей от прежнего хозяина пекарни всю обстановку последней И Алексей Максимович от Семенова перешел на работу в эту нашу пекарню, «Ямку», как мы ее тогда называли, рекомендовав при этом мне на работу старшего пекаря Лутонина.

Работал здесь Алексей Максимович очень много. В две смены он обрабатывал и выпекал около семи пудов теста. На отдых, сон и чтение книг у него оставались только небольшие промежутки времени. Спал в пекарне на мешках. Часто засыпал с книжкой в руках, не раздеваясь. Но он не роптал. И только когда наши обороты и прибыли увеличились, мы наняли ему помощника, парнишку, который колол и таскал дрова, делал уборку.

Во дворе нашем было питейное заведение, посетители которого во многом мешали нам, и мы взяли в аренду этот деревянный домик. В нем поселилась моя сестра Мария Степановна.

Хотя моя библиотека по-прежнему оставалась на Старо-Горшечной улице, но молодежь часто собиралась здесь, на Мало-Лядской улице.

Близость Панаевского сада, постоянные его посетители, с одной стороны, способствовали увеличению наших доходов, а с другой — очень мешали нашей конспиратив-

ной работе. Помещение для собраний было совершенно непригодно.

Мы решили заарендовать второе, более удобное помещение на углу Бассейной и Театральной [6] (теперь Пушкина) улиц. Возросшие наши доходы позволяли нам расширять наши дела.

Мы уже оказывали материальную помощь многим из беднейшей учащейся молодежи — студентам и гимназистам. Эта материальная помощь делалась конспиративно, тем более конспиративно, без всяких отчетов, тратились средства на революционные дела.

Помещение на углу Бассейной улицы было очень удобное и для торговли, и для собраний молодежи.

Сюда на жительство с весны 1887 года переселился и Алексей Максимович в качестве как бы заведующего и пекарней и булочной.

Помощниками Алексея Максимовича по булочной были студенты Пьянков и Надя Щербатова, которые также жили там.

Будучи таким «заведующим», Алексей Максимович попрежнему ходил в разноску булок. Этим он занимался очень охотно. так как это способствовало его общению с учащейся молодежью, рабочими и членами революционных кружков. Часто в корзину под булки он клал книги, брошюры и листовки, которые вручал, продавая булки, знакомым покупателям или заносил на квартиры, кому это следовало.

В этом помещении (на углу Бассейной) была комната, очень хорошо изолированная от лавочки; в нее из лавочки проходили те, для которых покупки в лавочке были только предлогом, чтобы заняться здесь другим делом. В этой комнате часто происходили собрания.

Конспиративность собраний и всего, что происходило в доме при второй булочной, была поставлена так, что ни жандармы, которые утром и вечером приходили покупать булки, ни живший по соседству жандармский полковник не могли проникнуть в тайны булочной.

Но в этой же булочной, «Новой», как мы ее тогда называли, произошло и большое наше несчастье, причинившее всем нам тяжелое горе и сильно отразившееся на всех наших «делах и делишках».

В одну декабрьскую ночь мы вдруг узнали, что наш Максимыч стрелялся [7] и находится в больнице на Покровской улице. Мы старались узнать подробности. Но узнали


№ 1096/89

ДѢЛО

ДЕПАРТАМЕНТА

ПОЛИЦІИ.

3 ДѢЛОПРОИЗВОДСТВО.

Начато 1889 года.

Кончено 18 года.

На 75 листахъ.

Первое дело департамента полиции на А. М. Пешкова, заведенное в 1889 г. в Нижнем Новгороде.

только то, что полиция нашла у Алексея Максимовича какую-то записку [8].

Это обстоятельство прежде всего повлекло ликвидацию моей библиотеки. Часть книг мой брат Иван отдал Чарушникову, другую часть книг взял М. А. Ромась в Красновидово, где они потом сгорели. Остальные книги разобрали члены нашего кружка.

Наши ребята навещали Алексея Максимовича в больнице. Но он держался замкнуто. И о своем поступке не любил говорить ни в больнице, ни позже.

На десятый день Алексей Максимович возвратился на работу.

Записка, найденная полицией у Алексея Максимовича, имела и то значение, что полиция увидела в лице Алексея Пешкова не простого разносчика булок, а очень грамотного, начитанного человека, а это повлекло к установлению полицейской слежки за булочной и всеми нами.

Если говорить о причинах, повлекших покушение Алексея Максимовича на самоубийство, то я до сих пор такого убеждения, что основные причины были две: общий гнет царского самодержавия и, вторая, отчужденность Алексея Максимовича от окружавшей его среды. Понимать это нужно так: Алексей Максимович по своему развитию, начитанности, а главное, по знанию действительности, жизни уже тогда был выше многих студентов, с которыми ему приходилось сталкиваться. А эти последние относились к нему свысока, как к необразованному парню, как к «недоучке», хотя и признавали его талантливым. Студенты Духовной академии говорили: «Ты еще не дорос! Не твоего ума дело» и т. п. Алексея Максимовича это сильно огорчало.

Это мое убеждение сложилось у меня еще тогда, когда мы с Алексеем Максимовичем часто по ночам вели разговоры о жизни, о назначении человека. Беседы наши были на различные темы: о героях, о влиянии личности на судьбы народа.

Говорили о Чернышевском, Добролюбове, Писареве, Шелгунове и других, говорили о французской революции, о Мюнцере, о Ф. Лассале и т. п. Если я говорил о таком писателе или герое, которого Алексей Максимович не знал еще, то он обязательно сейчас же отыскивал нужную книгу и спешил прочесть ее.

И мне кажется, что мою библиотеку Алексей Максимович назвал «злокозненной» главным образом потому, что ее

книги поднимали в его голове многие очень серьезные вопросы, на которые он не находил ответов в действительной жизни.

Такие книги, как «Исторические письма» Лаврова, особенно статья «Цена прогресса», и купленная Алексеем Максимовичем книга «Афоризмы и максимы» Шопенгауэра, поднимали очень сложные вопросы и способствовали развитию мрачного настроения. Все это вместе взятое и являлось, по-моему, причиной, толкнувшей Алексея Максимовича на поступок, которого он потом стыдился долгое время.

По выходе из больницы Алексей Максимович переживал какое-то кризисное состояние. Он почти не работал.

Возможно, что здесь имели место не только его физическая слабость, но и разочарование его в нашей «работе», являвшееся результатом его знакомства с Н. Федосеевым [9] и чтения серьезной марксистской литературы.

Во всяком случае, мы видели, что Алексею Максимовичу нужен серьезный отдых.

Такой отдых и предложил ему М. А. Ромась поездкой в Красновидово под видом помощника в торговле. ⟨...⟩

Алексей Максимович действительно отдохнул лето в Красновидове, но деятельность их с Ромасем, как известно, кончилась печально благодаря злобе местных богатеев к «хохлу», как называли Ромася его враги [10].

И Алексей Максимович отправился странствовать по Руси. ⟨...⟩

# С. А. ВАРТАНЬЯНЦ

## М. ГОРЬКИЙ В ТИФЛИСЕ

В один из ненастных осенних дней проходил я по улице Папасевича в городе Тифлисе. То было в 1891 году. Шел я задумчиво под тяжелым впечатлением, только что вынесенным мною из квартиры некоего Ч—зе, юноши-идеалиста, неутомимого работника во имя «любви к ближнему». Этот редкий юноша, *возмечтавший* искоренить зло на земле, пал жертвой грубой и беспощадной жизни: он сошел с ума [1]. Таков удел всех чутких к чужим страданиям, к чужому горю сердец.

Возвращался я от больного с дежурства усталый, разбитый после бессонно проведенной ночи и шел торопливыми шагами. Ничто меня не занимало, кроме одной мысли,— поскорее попасть к себе домой, чтобы заснуть и забыться хотя бы на несколько часов от тяжелых дум и тех удручающих душу впечатлений, которые оставил на меня больной в течение прошлых дня и ночи. Естественно, что в таком настроении меня ничто на улице не интересовало, ничто не занимало, скорее несмолкаемый уличный шум и движение экипажей меня до болезненности раздражали, и я торопился. Пройдя пол-улицы, я собирался свернуть влево в переулок, как вдруг внимание мое невольно остановилось на одном весьма типичном молодом человеке; он был в нескольких шагах от меня и шел мне навстречу. Это был юноша высокого роста, широкоплечий, атлетического сложения, с широким, грубоватым, чисто русским лицом, с длинными волосами; шел он твердыми, уверенными шагами, точно чувствовал, что он не из простых смертных. Он поравнялся со мною; я еще лучше мог осмотреть его: лицо его было не из веселых, умные, вдумчи-

вые глаза его выражали силу и присутствие большой воли; вся его мощная фигура и оригинальное лицо невольно приковывали к себе внимание прохожих. (Суровая фигура Рахметова, так хорошо обрисованная Чернышевским в своем романе [2], производила на меня сильное впечатление. Когда я увидел моего незнакомца, мне почему-то показалось, что я вижу перед собою сильного духом, мощного по фигуре Рахметова.) Незнакомец прошел мимо, нисколько не обращая внимания на меня, я же, наоборот, как наэлектризованный, смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за угол улицы, но помню очень хорошо (говорю совершенно искренне), что этот незнакомец так заинтересовал меня, так овладел моим существом, что мне непременно захотелось узнать, кто он: я бросился догонять его, но было поздно — его и след простыл. Раздосадованный, я поплелся домой, но все не переставал думать о нем, о моем таинственном незнакомце. Я, конечно, успел бы потом забыть этого случайно встретившегося со мною человека, время бы изгладило из памяти все, что касалось этой удивительной встречи, если бы счастливый случай не привел меня познакомиться с ним на другой же день в квартире больного Ч—зе.

Было 10 часов утра, когда на другой день пришел я к больному. Каково же было мое удивление, когда, войдя в комнату, я увидел моего незнакомца, так сильно заинтересовавшего меня накануне. Меня познакомили. Он назвался Пешковым. Широкоплечий, здоровый, несколько сутуловатый, высокого роста, в блузе, подпоясанной ремнем, с лицом невеселым, но решительным, он произвел на меня бодрящее впечатление, впечатление чего-то нового, а главное, оригинального. Резкий в мнениях, оригинальный во взглядах на вещи и явления, он был грубоват в манерах и движениях, что, впрочем, шло к нему. Никогда не забуду, как он во время одного из дежурств схватил своими сильными руками сумасшедшего Ч—зе (тоже крупного сложения), желавшего удрать из дому, быстро уложил его на кровать, также быстро привязал к ней, чтобы окончательно парализовать в нем желание бегства. Нужна была действительно большая мускульная сила, чтобы обезоружить не в меру разошедшегося душевнобольного, и Пешков обнаружил в данном случае действительно редкую силу. Некоторые из присутствовавших товарищей больного, я помню, оставшись очень недовольными подобной мерой со стороны Пешкова, стали осуждать ее, но последний

решительно настаивал на необходимости применения резких мер в подобных случаях. Никакие увещевания, никакие просьбы не успокоят не в меру разбушевавшегося психического больного: нужна решительность, резко выраженная сила. Таково было тогда мнение Пешкова, человека очень отзывчивого к чужим страданиям, к чужому горю. И, действительно, он оказался прав: больной, метавшийся на кровати, как лев в клетке, через очень небольшой промежуток времени совершенно успокоился и просил освободить его, обещая вести себя тихо и мирно. Просьба, конечно, была исполнена. Больной после этого случая в присутствии Пешкова вел себя образцово. В минуты просветления этот интеллигентный больной с жаром, с увлечением развивал целую теорию о спасении людей и их обновлении; в эти минуты он совершенно преображался и превращался в вдохновенного пророка; его поэтическое настроение передавалось окружающим; на время мы забывали, что с нами говорит сумасшедший, но вдруг он терял нить — и рассудок его, дотоле ясный, помрачался, а стройные мысли его превращались в нечто бесформенное, хаотическое, без начала и без конца...

Больной очень интересовал Пешкова; он с большим интересом следил за каждым движением его души и, если память мне не изменяет, свои наблюдения записывал в тетрадь. Тетрадей, куда он заносил свои наблюдения и впечатления, было у него немало. Писал он много, то стихами, то прозой. О своих писаниях он мало с кем говорил, может быть, потому, что от природы был одарен одним из прекраснейших качеств человека — скромностью; все кричащее о себе вызывало в нем искреннее негодование. Он нескоро сближался с людьми, но, сблизившись, оставался прекраснейшим товарищем; искренность, отсутствие деланности и непосредственность составляли непременные атрибуты его симпатичного характера; он был весьма интересным собеседником. Суровая житейская школа, которую он прошел с малолетства, дала ему богатейший запас живых, непосредственных впечатлений, которыми он делился с нами (нас жило несколько человек на одной квартире) [3] в долгие зимние вечера. Большого общества Максимыч избегал: он всегда чувствовал себя неловко в пестроте единиц, именуемых людьми. Общество женщин его еще больше стесняло; среди них он больше молчал, а если и говорил, то очень мало, отрывисто. Не объясняется ли это тем, что суровая жизнь воспитала в нем

глубокое отвращение ко всему тому, что заставляет большинство людей смеяться там, где плакать хочется, и плакать там, где хочется смеяться. Любовь к скитальческой и нелюбовь к оседлой жизни в нем были так же сильны, как во многих его героях — босяках. Слова Тетерева [4]— «лучше замерзнуть на ходу, чем гнить, сидя на одном месте» — всецело применимы и к нему, Максимычу.

Всего полгода, кажется, как он жил в Тифлисе, а между тем к лету 1892 года он уже собирался с котомкой за плечами скитаться по российским деревням, на этот раз уже с определенной целью — давать народные спектакли везде, где только представлялась бы возможность. Для этого он уже в апреле вербовал людей, сочувствующих его идее народного театра. Одним из таких был и я. Всех нас для будущей труппы странствующих актеров было уже 5 чел., в том числе сам Максимыч и одна женщина. По дороге мы надеялись увеличить состав труппы. Так зародилась идея о странствующей труппе актеров, но, к сожалению, не осуществилась; а почему не осуществилась — не могу ничего сказать, тут память мне изменила [5].

Я не знаю, какое впечатление оставлял Максимыч (так звали мы его) на других резкостью мнений, угловатостью манер, своеобразностью взглядов, но для меня он был чем-то особенным, новым существом, вовсе не похожим на окружающих. Таким он мне показался при первой встрече, таким он оставался все время нашего знакомства. ⟨...⟩

# А. М. КАЛЮЖНЫЙ

## СТАРЫЙ ДРУГ

*(Из воспоминаний о Горьком)*

Летом 1892 года Алексей Максимович устроился на работу в Главных железнодорожных мастерских в Тифлисе [1]. Я в то время служил в управлении Закавказской железной дороги. Нас познакомил мой сослуживец Началов, ранее знавший Алексея Максимовича [2]. Моя семья находилась тогда на даче, и я предложил новому знакомому поселиться у меня. С радостью приняв это предложение, он прожил у меня около трех месяцев, пока семья не возвратилась с дачи.

Долго беседуя со мной, он рассказывал о своих путешествиях, отдельных жизненных эпизодах. Биографии своей почти не касался, ничего не говорил о пережитом. Рассказчик Алексей Максимович был замечательный. С непринужденной простотой он умело передавал свои наиболее интересные наблюдения.

Творческими планами Горький ни с кем не делился. Это зрело в нем самом. Тему своего первого рассказа «Макар Чудра», написанного в Тифлисе, Горький долго вынашивал. Нечто подобное он однажды рассказывал мне, но произведение получилось богаче, глубже, значительнее.

Я часто твердил ему: «Пишите, пишите, вот так, как рассказываете, и у вас будут тысячи читателей». Это говорилось вообще относительно всех его воспоминаний и наблюдений. Рассказ «Макар Чудра» он написал по своей собственной инициативе. В известной книге И. Груздева «Жизнь и приключения Максима Горького» [3] имеется досадное недоразумение. Автор пишет:

«Калюжный встал, взял его (Горького) за плечи и вывел в другую комнату. Толкнув его туда, он запер за ним дверь.

— Там на столе есть бумага,— сказал он через дверь изумленному Алеше,— запишите то, что мне рассказали. А до тех пор, пока не напишете,— не выпущу».

Ничего подобного в жизни не было. Видимо, Горький в шутку рассказал Груздеву всю эту историю. Единственно, что я внушал Горькому,— это уверенность. Человек он был неробкий, но веры в свои силы еще не имел, потому что не накопил серьезного творческого опыта.

Позднее на одной из своих книг, присланных мне, Горький написал: «Сегодня исполнилось 9 лет с той поры, как напечатан был мой первый рассказ. Это получилось благодаря вам, Александр Мефодьевич. Крепко пожимаю вашу руку, друга и учителя...»

Он часто повторял это. Полагаю, что его благодарность ко мне вызвана только тем, что я первый поверил в его талант. А то смешно — какой же я учитель такого большого художника! В самом деле, когда юноша большого ума, нежного, чуткого сердца пришел в Тифлис, он еще не знал в себе огромных сил. Жизнь не баловала его, но он не боялся превратностей жизни и решил бороться за лучшую долю и себе и людям. Я встретил этого юношу и братски полюбил, угадывая в нем огромную душевную силу и призвание к художественно-литературной деятельности.

Свой первый рассказ «Макар Чудра» Алексей Максимович понес в редакцию газеты «Кавказ» [4]. Я предупредил работавшего там журналиста Цветницкого, что в лице Пешкова он встретит интересного человека. Псевдоним себе Алексей Максимович придумал сам. Впоследствии он говорил мне: «Не писать же мне в литературе — Пешков».

Вторая вещь Горького о девушке, встретившей смерть (речь идет о поэме «Девушка и Смерть») [5], была отвергнута редакцией газеты. Со мной Алексей Максимович о ней не говорил. Написал и сам понес в редакцию. О неудаче я узнал от Цветницкого. Разумеется, не могло быть места в «Кавказе» произведению, которое изобличало буржуазное общество. Да и «Макар Чудра» не подходил для официоза наместника и напечатан был случайно, благодаря Цветницкому.

Иногда Алексей Максимович писал стихи. Они уда-

вались ему, отличались музыкальностью. Была у него тетрадка, заполненная тоже, по-видимому, стихами, но он никому ее не показывал. Это, говорил он, пустяки. И лежала тетрадь в котомке. Помню одно маленькое стихотворение.

Я хотел бы вас любить.
Не умею нежным быть.
Нет, я груб.
Не слетят слова любви
с жарких губ.

В октябре 1892 года Горький уехал в Нижний [6]. Он продолжал писать и печататься. Однажды, это было в 1898 году, за мной явились жандармы. Привели на квартиру к ротмистру Конисскому.

— Вы Калюжный?

— Да.

Конисский отрекомендовался. Допрос продолжался минут десять, без записи показаний. Прежде всего он спросил:

— Вы знакомы с Максимом Горьким?

Характерно, что ротмистр говорил — Горький, а не Пешков.

— Знаю. Но в чем дело?

— Видите ли, он замешан в политическом деле,— продолжал испытующе Конисский.

О том, что Горького привезли из Нижнего и заключили в Метехскую тюрьму (в Тифлисе)[7], я ничего не слышал. Затем он был выпущен на свободу и выслан, кажется, под особый надзор полиции [8]. 〈...〉

## С. И. МИЦКЕВИЧ

### ИЗ ВСТРЕЧ С МОЛОДЫМ ГОРЬКИМ

Приехав в 1889 году в Нижний на летние каникулы, я застал там много нового. Высланные в Нижний казанские студенты [1] пристроились кто куда. Многие из них поступили на службу в пароходное общество «Зевеке» или в земскую статистику. Прежнего революционного настроения у них было мало заметно: они как-то поуспокоились.

...Зашел я и к своему старому знакомому Чекину...

У Чекина я познакомился с Алексеем Максимовичем Пешковым. Он тогда только что приехал из Казани, где жил некоторое время с Чекиным и занимался в его кружке. Приехав в Нижний, он поселился с Чекиным [2], где я его и встретил. Чекин сказал: «Вот познакомьтесь, это интересный человек — выходец из народа, Пешков». Передо мной был высокий молодой человек, в синих очках, с длинными волосами, в черной рубашке и поддевке, в высоких сапогах. Разговорились. Я поделился своими невеселыми впечатлениями о настроениях московского студенчества. Чекин рассказал, что эти настроения существуют и среди нижегородских недавних революционеров, ныне отрицающих революционные пути и считающих, что теперь всего важнее скромная культурная работа культуртрегеров, как тогда говорили [3]. Пешков давал реплики, из которых видно было, что он вполне разделяет отрицательное отношение Чекина к вновь объявившимся культуртрегерам. Реплики Пешкова были резки и характерны: они выражали пренебрежение к неустойчивости интеллигенции.

В течение этого лета я часто виделся с Чекиным и А. М. Пешковым, беседовали, гуляли вместе по верхней

набережной Волги — по Откосу. Алексей Максимович очень любил гулять по Откосу, откуда открывался обширный вид на Заволжье, один из красивейших русских видов.

Характерная фигура Алексея Максимовича на Откосе обращала на себя внимание.

Мы, трое, чувствовали себя единомышленниками, правоверными народниками. Возможно, что у Алексея Максимовича, как и у меня, нарождалось в глубине сознания сомнение и критическое отношение к народничеству, но это таилось еще глубоко и не обнаруживалось в наших беседах. Свое отношение к народникам в период 80—90-х годов, а также и свое отношение к их критикам Алексей Максимович выразил в своем очерке о Короленко [4]. ⟨...⟩

Во время моего свидания с Горьким осенью 1928 года в Москве я вспомнил с ним о Чекине и о кружке, в котором он участвовал. Он очень тепло отзывался о Чекине, сказал, что живет он теперь в Тифлисе, дал мне его адрес. Он помнил мой приход во время занятий кружка и назвал мне трех лиц, участников этого кружка, но, к сожалению, я забыл их фамилии.

Алексей Максимович служил в то время письмоводителем у присяжного поверенного Ланина [5], получая пятнадцать — двадцать рублей в месяц за свою работу. Припоминается мне в связи с его заработком один разговор с ним. Мы встретились на улице. Я был одет в обычный штатский костюм. Алексей Максимович, встретив меня, сказал: «Вот какой франт! Где и за сколько вы купили такой костюм?» Я ответил, что купил его несколько лет назад, в Блиновском пассаже за пятнадцать рублей. Алексей Максимович сказал: «Вот какая дороговизна! А я мечтаю все себе купить пиджак, так как мой патрон говорит, что мне надо приодеться. Вот собираюсь пойти на Балчуг [6] и поискать там пиджак рубля за три».

За это время моего знакомства с Алексеем Максимовичем запечатлелся во мне его характерный образ — то несколько мрачный, то протестующий, то насмешливый и пренебрежительный по отношению к обывательской интеллигенции, то восторгающийся чем-либо. ⟨...⟩

Однажды, зайдя к Метлиным, я застал у них Алексея Максимовича. Шла беседа о Чехове. Как известно, народническая критика того времени в лице публициста Н. К. Михайловского относилась холодно к Чехову, об-

виняя его в объективизме, в том, что в его рассказах отсутствовали общественные оценки. Алексей Максимович был решительно не согласен с такой оценкой Чехова. Он говорил, что, напротив, он высоко ценит Чехова как тонкого и глубокого знатока психологии «маленьких людей» [7]. Для примера он разобрал довольно детально небольшой и, казалось, такой незначительный рассказ Чехова «Поцелуй». Я с удивлением слушал Алексея Максимовича и думал, как он вырос за те два с половиной года, как я его не видел, какое у него знание литературы и тонкость литературной оценки, какая самостоятельность мысли и уверенность речи. Я не знал тогда, что он уже был начинающим писателем, но могло ли мне прийти в голову тогда, что этот обитатель Нижнего, «самоучка» Пешков, письмоводитель адвоката — будущий великий русский писатель Максим Горький и что сам Нижний Новгород будет назван в честь своего знаменитого гражданина его именем — городом Горьким, и вся Нижегородская область будет названа Горьковской областью.

# Е. П. ПЕШКОВА

## ⟨ГОРЬКИЙ В САМАРЕ⟩

Самарский период — один из важнейших периодов в жизни Горького.

Не буду останавливаться на характеристике Горького как писателя — это сделают литературоведы. Отмечу лишь то, что в «Самарской газете» Алексей Максимович работал как писатель, как публицист, вообще в Самаре он стал профессиональным писателем.

Скажу вкратце о его жизни в Самаре и о моей встрече с ним.

Начну с приезда Алексея Максимовича в Самару в 1895 году.

Когда я познакомилась с ним (это было в 10-х числах июня 1895 года), он мне рассказал, что приехал в Самару 5 или 6 марта [1]. Ехал из Нижнего через Москву. По приезде с вокзала пошел прямо в «Самарскую газету» [2], шел пешком. С ним был небольшой чемоданчик с книгами и сменой белья. Кто-то из редакции устроил его временно в комнате, кажется, на Москательной улице. Через несколько дней он познакомился с Марией Сергеевной и Карлом Карловичем Позерн. К ним его свел Александр Александрович Смирнов, сотрудник «Самарской газеты», который на другой же день по приезде Алексея Максимовича встретился с ним в редакции и заинтересовался им, а вскоре они и подружились.

Марии Сергеевне Позерн очень пришелся по душе Алексей Максимович. Она и ее дочь Зинаида Карловна, жена А. А. Смирнова, приняли в нем горячее участие и занялись устройством его быта. Они переселили его жить

в семью Дмитрия Сергеевича Кишкина, брата М. С. Позерн. Там ему предоставили, правда, в подвальном этаже, но отдельную тихую комнату и взяли на себя заботу о его питании.

Приехал Алексей Максимович в Самару полубольной, в очень нервном состоянии, и большое спасибо Марии Сергеевне, что она ввела его в круг своей семьи и все время заботилась о нем.

Алексей Максимович никогда не забывал сделанное ему добро и в благодарность за эту заботу посвятил ей 2-й том своих рассказов [3].

В редакции «Самарской газеты» Алексей Максимович тоже был принят очень хорошо. И тогдашний редактор Николай Петрович Ашешов, и хозяин газеты — издатель Семен Иванович Костерин, и заведующая конторой редакции Евгения Семеновна Иванова — все они отнеслись к нему с большим интересом и вниманием.

Когда я познакомилась с Алексеем Максимовичем, он уже несколько поздоровел и его нервная система окрепла. Это было в те дни, когда он печатал в «Самарской газете» свои «Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты» [4]. Начальное название было: «Несколько дней в роли редактора провинциальной прессы». Название это, видимо, больше нравилось наборщикам, и они упорно набирали так этот заголовок: каждый раз надо было заменять в корректурных гранках слово «прессы» на слово «газеты».

— Нравится им иностранное слово,— смеясь, говорил Алексей Максимович.

Я в это время только что окончила Самарскую гимназию и по приглашению Николая Петровича Ашешова, редактора «Самарской газеты», поступила в газету заменить заболевшую корректоршу.

Страшно было мне первый раз переступить порог редакции. Быть в большом обществе взрослых мне не приходилось, а тут, открыв дверь редакции, я услыхала шум и хохот. На столе стоял Алексей Максимович и дирижировал, все были навеселе и пели: «Гаудеамус игитур ювенес дум сумус...» *

В испуге я сделала шаг назад и закрыла дверь, но следом за мной выбежал Ашешов и объяснил мне, что

* «Будем веселиться, пока молоды...» (*лат.* «Gaudeamus igitur juvenes dum sumus») [5].

провожают уезжавшего сотрудника Серг. Гусева — Слово-Глаголь. Николай Петрович провел меня в корректорскую.

Мой испуг смутил сотрудников, и завтраки с выпивкой в редакции прекратились; к завтраку стал подаваться самовар, мальчик из типографии. «Никита Егорыч», приносил горячие французские булки, масло, колбасу. Обычно к завтраку, кроме сотрудников редакции, приходила и заведующая конторой Евгения Семеновна Иванова, часто заходил Иван Андреевич Гусев, заведующий типографией Жданова, в которой печаталась «Самарская газета». Зачастую появлялся в это время и издатель газеты Семен Иванович Костерин. Это был очень скромный «хозяин» газеты, который точно стеснялся своего положения. Он охотно шел навстречу сотрудникам и особенно сразу стал считаться с мнением Алексея Максимовича, с которым вскоре у него установились дружеские отношения.

Иногда завтраки очень затягивались. Это бывало, когда Алексей Максимович начинал рассказывать что-либо из своих встреч и впечатлений во время его хождений по Руси. Иногда с рассказами выступал Иван Андреевич Гусев. Некоторые эпизоды из его рассказов послужили Алексею Максимовичу темой для очерков. Тогда он их подписывал псевдонимом «Два-ге», то есть Гусев — Горький. Помню название одного очерка — «Соловей», другого, кажется, «Пожар», и еще одного — «Три тысячи» [6].

В пересказе Горького тема Гусева бывала много ярче и интереснее. Гонорар за такие вещи Евгения Семеновна добросовестно делила пополам, записывая одну часть на счет Горькому, другую выдавала Гусеву, несмотря на протесты последнего.

В то время псевдонимы Алексея Максимовича были: «М. Горький», «М. Г — кий», «М. Г.», «А. П.», «Х», «Некто Х», «Дон-Кихот», «Паскарелло», «Иегудиил Хламида».

Я быстро освоила немудреную работу корректора и работала сначала по двое суток, а вскоре по четыре дня в неделю. С первых же дней я отметила, что только один из сотрудников «Самарской газеты» — Алексей Максимович Горький приходил сверять свои тексты в корректурных гранках. Читал он очень внимательно, иногда вычеркивал какое-либо слово и заменял его другим, сердился на цензурные вычеркивания, которые иногда делали

бессмысленным целый абзац. Тогда он этот абзац переделывал и уже не отправлял его в цензуру. Из-за этих переделок нередко издателя Семена Ивановича Костерина вызывали к цензору для бурных объяснений, которые иногда доходили до угроз закрыть газету.

В то время Алексей Максимович весь день отдавал «Самарской газете». Одно время делал вырезки из газет для общих обзоров, писал свои обязательные «Между прочим», которые подписывал псевдонимом «Иегудиил Хламида» [7]. Иногда ему приходилось писать заметки на кончике стола, заваленного письмами в редакцию и газетами. За этим же столом он принимал посетителей, которые то приходили с жалобами и просьбой написать о каких-нибудь непорядках, то принимал «хозяйчика», который врывался с бурными объяснениями, прочтя в номере газеты о безобразиях в его предприятии по отношению к рабочим.

Помню его внимательные долгие разговоры с «Никитой Егорычем», мальчиком лет 12, одетым в отцовский жилет поверх рубахи и непомерно большие сапоги. Он приносил из типографии корректурные гранки. Алексей Максимович расспрашивал его о семье, о жизни других мальчиков, работавших в типографии, всегда заставлял «Никиту Егорыча» выпить стакан чаю и поесть хлеба с колбасой.

Вспоминаются его разговоры с метранпажем Горячкиным. Вообще Алексей Максимович уделял большое внимание быту рабочих типографии и особенно работе подростков.

За эти часы совместной работы в корректорской я ближе познакомилась с Алексеем Максимовичем и полюбила его.

Перед новым, 1896 годом, по инициативе Алексея Максимовича, мы устраивали в помещении редакции елку для мальчиков, работающих в типографии, и для детей наборщиков. Всем им были сделаны подарки, всех хорошо угостили.

Под Новый год зажгли елку для сотрудников и приглашенных гостей. Все были костюмированы, Алексей Максимович был в костюме странника.

Вечер затянулся до 6 часов утра. Алексей Максимович пошел проводить меня домой, и тут я дала ему слово быть его женой.

Мое решение встретило сопротивление моей семьи,

особенно матери. Ее пугала моя молодость и неопытность в жизни, а особенно прошлая непоседливая жизнь Алексея Максимовича. Меня просили подумать, не торопиться. Я согласилась. Чтобы переменить окружающую обстановку, меня отправили в конце января 1896 года к родственникам в Петербург и Кронштадт. Разлука с Алексеем Максимовичем еще больше укрепила меня в моем решении.

Когда я была в Петербурге, то узнала об обострившейся болезни отца, который давно болел, и вернулась в Самару, застав его уже при кончине.

В мое отсутствие Алексей Максимович ежедневно навещал его, часами просиживал у его постели, они оценили друг друга и близко сошлись. Теперь уже и отец одобрял мое решение.

Отца похоронили в Самаре на Всесвятском кладбище.

Мы решили отложить нашу свадьбу до осени.

Алексею Максимовичу все труднее становилось работать с редактором того времени А. А. Дробыш-Дробышевским [8], и он принял предложение В. Н. Маракуева быть специальным корреспондентом «Одесских новостей» с Нижегородской выставки [9]. В половине мая он уехал в Нижний Новгород. Там он работал и в «Нижегородском листке»...[10]

В своих корреспонденциях с выставки он отмечал, что народное творчество представлено плохо, что народ не участвует в выставке и т. д.[11] В Одессе цензура была мягче, и там проходило то, что не прошло бы в Нижнем.

За заметки в «Нижегородском листке» Алексею Максимовичу приходилось являться на вызовы губернатора Баранова для объяснений [12].

К концу выставки он получил предложение от редактора «Волжско-Камского края» Марченко сотрудничать в их газете, в Казани. Ашешов, перешедший работать в «Нижегородский листок», уговаривал Алексея Максимовича остаться работать в «Нижегородском листке». Очень уговаривал В. Н. Маракуев ехать на постоянную работу в Одессу, в «Одесские новости».

Алексей Максимович колебался, где ему работать зиму 1896—1897 года. В Одессу тянуло море, но смущало — сможет ли он изменить тон «Одесских новостей». Он писал мне: «В Казани, Нижнем — я сохраню ре-

путацию либерального писателя, в Одессе — я ее теряю».

Думал он и о Самаре, но работать в «Самарской газете», где редакторствовал Дробышевский, он не хотел.

В конце концов он остановился на Нижнем.

В то время Алексей Максимович уже думал переключаться с газетной работы на работу в журналах.

# А. А. СМИРНОВ

## МАКСИМ ГОРЬКИЙ В САМАРЕ

Весною 1895 года самарские обыватели с любопытством разглядывали появившегося в их городе юношу-оригинала...[1] Высокий, плечистый, слегка сутулый, он неутомимо шагал по пыльным улицам, грязноватым базарным площадям, заходил в трактиры и пивнушки, появлялся на пароходах, возле лодок и баржей, в городском саду, заглядывал в окна магазинов и раскрытые двери лавчонок, словом, толокся среди пестрой толпы и нарядной «публики», всюду как бы вглядываясь в «гущу жизни» и прислушиваясь к ее гомону и крикам... Встречных, особливо «из господ» удивлял его разношерстный сборный костюм: старенькая, темная крылатка, раздувавшаяся на ходу; под нею русская рубашка, подпоясанная узким кавказским поясом; хохлацкие штаны — синие, бумажные; сапоги татарские, мягкие с вставками из кусочков зеленой, красной и желтой кожи; в руках — толстая, суковатая палка, явно козьмодемьянского происхождения;[2] на голове — черная мягкая шляпа с большими, обвисшими от дождя полями — «шляпа земли греческой», как звали мы, еще в гимназии, подобные головные украшения.

Из-под шляпы висели длинными прядями светлые волосы.

Странный парень забирался и в окрестности города, на дачи, бродил в засамарских пожнях, по реке Татьянке; или среди мужиков и лошадей, телег с поднятыми оглоблями и желто-красных, грызущих семечки баб, переправлялся на «тот бок» Волги, в Рождествено, всюду суя свой острый, с четко вырезанными ноздрями нос... Высоко

поднятые брови морщили лоб и придавали широкоскулому, серому, без кровинки, лицу слегка удивленное выражение. Взгляд казался блуждающим, однако наблюдательный человек мог бы подметить, что этот взгляд порою остро впивается в предмет, как бы хватая его цепко, осваивая, беря себе...

Тогда исчезала едва заметная улыбка, простовато игравшая в светлых глазах и возле маленьких рыжеватых усов; лицо делалось серьезным, голова с чуть раздувающимися ноздрями откидывалась назад, и мешковатая фигура выпрямлялась. .

«Кто такой? — думал обыватель.— Из духовных, из тех странных, которые колесят Русь? Может быть, диакон-расстрига... Или просто актер малороссийской труппы, набравший костюм во время своих скитаний... Во всяком случае, какой-то чудной и явно необстоятельный человек...»

И никто не удивился, когда некоторое время спустя выяснилось, что это новый сотрудник «Самарской газеты», пишущий в ней ежедневный фельетон на местные злобы — Иегудиил Хламида. Черт знает что за псевдоним! Надо же было выдумать! Таково было общее мнение. Но псевдоним как-то странно шел ко всему обличью вновь прибывшего сотрудника, ко всей этой любопытной фигуре, от которой веяло не одной только наружной «богемой», но и каким-то иным цыганством — странничеством и искательством духовным... ⟨...⟩

— Приходите сегодня вечером: будет Горький,— сказал Николай Петрович Ашешов.

В мягкие апрельские сумерки я торопливо шел по Воскресенской (теперь Пионерская) улице, радуясь знакомству с интересным человеком. Он уже сидел в маленькой квартире Ашешова за чайным столом, одетый в темную рубашку с кавказским пояском, сидел спокойно, немного сгорбившись и наклонив голову, и что-то не торопясь рассказывал, то и дело отбрасывая привычным жестом длинные волосы, падающие на лоб.

Я принялся разглядывать гостя... Странное, своеобразное лицо. Бледное, даже серое, как у долго сидевших в тюрьме, черты неправильные, угловатые. Широкие скулы. Острый нос с резко вычерченными ноздрями. Высоко поднятые брови часто собирают в складки невы-

сокий лоб. Взгляд то рассеянно равнодушный, то зоркий, цепко впивающийся. Под небольшими рыжеватыми усами часто чуть заметно играет улыбка...

Первое впечатление — скорее невыгодное. Уж очень простое лицо, малоинтересное. Не такого ждешь у автора ярких, талантливых рассказов. А приглядишься: лицо то и дело меняется, освещаясь чем-то изнутри. Это «что-то» вдруг делает его значительным, приковывающим внимание. Вдруг встанет, выпрямится, откинет волосы, и нет мешковатого детины, и почувствуется будущий автор «Песни о Соколе» и «Буревестника», а улыбнется — такое детское, доброе лицо делается, такое прекрасное лицо... Чудесная, незабываемая улыбка, она делала его красивым.

Через час-другой мы были уже очарованы Горьким — таким занимательным собеседником он оказался. Конечно, мы больше слушали, чем говорили. Он рассказывал о своих странствиях очень просто и художественно, с сочной колоритностью рисуя встававшие воочию перед нами картины природы и быта, с массой живых, конкретных черточек, мастерски набрасывая портреты и меткие характеристики встречавшихся людей.

Сидит, наклонившись, слегка покашливая и хватаясь за грудь. Спокойно льется рассказ и, как на экране, вьются бесконечные дороги — и по степям Дона и Бессарабии, и по шоссе, и по горным тропинкам Кавказа и Крыма, и по берегам зеленых и голубых морей. Проходят фильмом: горы, реки, поля, города, пахучие рыбные промыслы, угольные копи, покрывавшие окрестность черной пудрой, нефтяные вышки, делавшие вокруг себя почву маслянистой, восточные базары с своей пестротой и прямой экзотикой. Мы просто-таки путешествовали с рассказчиком. Побывали в Одессе с ее шумным международным портом и флагами всех наций; исходили сверху донизу всю Волгу и Украину. Остро врезался в память рассказ Алексея Максимовича о приходе его на рассвете вешнего дня в Полтаву. Город еще спал в своих розовых от зари, росистых садах и представлялся сказочно прекрасным юноше-страннику...

Много говорили о Тифлисе, о нравах и быте туземцев, о знаменитых кавказских банях, где банщики, они же доморощенные массажисты и костоправы, к удовольствию своих пациентов, проделывают над ними удивительные трюки. Например, в заключение всех банных процедур

вскакивают ногами на лежащего и бегают по нему... Знают они еще какую-то чудодейственную «глинку», которая заменяет бритву: помажут ею бороду или голову, смоют, и волос как не бывало.

Туземцы, хвалясь чудесами своего края, уверяли Алексея Максимовича, рассказывал он, улыбаясь, что «понимаете, будто у них есть особый сорт вина: кто его выпьет в достаточном количестве, у того зеленеют уши. Это факт!..» — шутливо заканчивал рассказчик.

При первом же свидании мы заметили, что Горький имел любимые приговорки: «Понимаете», «Это факт!» И характерным жестом отбрасывал назад упорно закрывавшие лоб волосы... «Здорово пущено» — было знаком одобрения, а когда доказывал что-либо, то, дойдя до вершины аргументации, поднимал указательный палец правой руки: «Вот!..» Иногда энергично чертыхался или слал в пространство ужаснейшие проклятия... Но в этом не было ни тени грубости и раздражения. Напротив, у Алексея Максимовича был дар красить самые «страшные» слова и обращать даже их в милые, задушевные... Ругается (ведь так если бы на бумаге), а бледное серое лицо собралось в мелкие морщинки, чуть порозовело, и на нем расцвела уж та особенная, чудесная, делавшая его красивым улыбка, за которую можно было навсегда полюбить Горького... ⟨...⟩

Плохенький каменный флигелек имел на улицу «бельэтаж» в три окна, а под ним полуподвальный этаж [3]. За домиком шел узкий дворик, косогором по направлению к Волге, заросший сорной травой и украшенный на задах курятником и несколькими тощими кустами.

Тут валялись еще бревна — сидя на них можно было видеть почти всю Волгу. Теперь этого домишка в прежнем виде не найдешь: он еще до революции был надстроен двумя этажами, что при узости фасада превратило здание в какую-то водокачку с окнами.

На наружной стене первого этажа, или «бельэтажа», не так давно помещена мемориальная доска: «Здесь жил М. Горький». Но жил он, собственно, не в «бельэтаже», а под ним, в полуподвале, занимая не слишком светлую комнатку с двумя окнами, слева к воротам. Теперешние окна выше тех, в которые заглядывало утреннее солнце посмотреть на молодого писателя,— те были ниже уровня земли...

Помещение неважное, но имело и свои выгоды, из-за

которых и пришлось с ним помириться пока до приискания лучшего. Весь домик был занят семьей брата М. С. Позерн, частного поверенного Д. С. Кишкина — семьей хорошей, доброжелательной. Комнат она не сдавала и пустила жильца только по просьбе Марьи Сергеевны, на которую приезжий журналист сразу произвел впечатление незаурядного человека. Помещая Алексея Максимовича к Кишкиным, она знала, что он будет принят у них не как квартирант, а как свой человек и обеспечен уходом и хорошим, питательным столом.

...Скоро я стал частым посетителем домика Перини. Чтобы узнать, дома ли Алексей Максимович, летом можно было не входить в помещение. Надо было присесть на тротуаре на корточки и, скособочившись, заглянуть вниз в окно: если видны светлые волосы, свесившиеся над столом,— значит, дома: пишет или читает. Если не видно, но слышен глуховатый говор немного на «о»: «Понимаете! Это факт!» — значит, у него кто-то есть. Тогда можно войти в калитку во дворик, разыскать справа дверку, спуститься на несколько ступеней и еще через дверь попасть в темный коридорчик, где гостя уже ждет широкая, теплая рука хозяина, вводящая гостя в келью...

— Вот здорово! А я дома, это факт!

Комната напоминала монастырскую келью — небольшая, но и не маленькая, квадратная, с чисто выбеленными стенами и потолком, с опрятным крашеным полом. Довольно высоко от пола помещенные окна, притом же почти квадратные, заставляли вспоминать и одиночную камеру.

Обстановку составляли: железная койка, простой покрытый скатертью стол в простенке между окон — на нем писал Алексей Максимович,— несколько стульев. На столе: недорогая, но изящная чернильница, аккуратно разложенные ручки, карандаши, бумага, стопка книг. Два-три портрета в рамках и несколько фотографий были единственным украшением стен, не считая небольшой висячей этажерки с книгами.

Общее впечатление: девической чистоты, опрятности, аккуратности, внимания к месту повседневной любимой работы. 〈...〉

...Бросалась в глаза любовь Алексея Максимовича к книге, стремление пополнить ею знания. Ведь никакой школы сын цехового Пешков не прошел. Выученный грамоте, по его словам, каким-то отставным солдатом, он

далее сам себя учил [4], воспитывал. Исключительно самому себе он был обязан тем умственным развитием и широким кругозором, которые поражали еще в молодом Горьком заправских интеллигентов с высшим образованием. Рано он прошел школу жизни, с юных лет страннической, полной лишений и тяжелых и ярких переживаний. У него были свои «университеты»: бесконечные вольные дороги, природа, встречи с самыми разношерстными людьми, углы и подвалы, наблюдения — и книга, книга...

И в Самару Алексей Максимович явился с крошечной библиотечкой. Но она состояла из интересных, значительных книг.

Он с удовольствием показывал «Разговоры с Гете» Эккермана [5], записавшего многие замечательные мысли великого поэта, и любил читать отрывки из этой книжки; «Рассказы из времен Меровингов» французского историка Тьерри. Эта книжонка из «дешевой библиотеки» Суворина произвела такое впечатление на Алексея Максимовича, что по ней, но более сочными красками, он написал очерк «Возвращение норманнов в Англию» [6]. Описание суровой жизни северных воинов, скитание по холодным морям, со стуком мечей и звоном щитов в кровавых битвах, явно гармонировало с героико-романтическим настроением юноши-писателя, нашедшим выражение в тогда же созданных «Песне о Соколе» и «Буревестнике» [7].

Возможно, что той же романтической тягой к героическому, к приподнятым полуреальным образам объясняется тогдашний интерес молодого Горького к легендам веков, к религиозным мифам. На его столе можно было видеть Библию, Коран, Талмуд, Масперо — «Религии востока» [8]. Он подарил мне «Сутта-Нипата» — книгу буддийских изречений и псалмов, которые нравились ему своей восточной цветистой поэзией.

К книге Алексей Максимович относился с громадным уважением. Берег ее, обращался с какой-то нежной заботливостью, при первой возможности облекая в красивый, иногда дорогой и всегда тщательно выбранный переплет. Но вместе с тем он не был «скупым рыцарем», берегущим свое сокровище от людского глаза в подвалах, не походил на того известного самарца, который имел и постоянно пополнял громадную библиотеку из лучших произведений по художественной литературе и научных трудов, роскошно переплетал книги, заносил в каталоги, ставил в прекрасные шкафы, любовался и водил знакомых

любоваться длинным парадом корешков, но книг своих никогда не читал и никому читать не давал [9]. Спасибо ему, впрочем, хоть за то, что он собрал книги: все они с революцией сделались общественным достоянием, поступив в фонд нашей центральной библиотеки.

Не так относился Горький к своим книгам. Он любил пропагандировать книгу и, будучи бедняком, охотно расставался со своей драгоценностью, чтобы поделиться ею с другими.

Неустанно учась, он словно торопился передавать свои знания далее. А знал он и тогда в Самаре так много, был так хорошо, с толком и вкусом начитан, что приводил в изумление своих дипломированных знакомых, не постигавших, где, когда, откуда такое знакомство у бродячего парня с классиками. Ведь формально он был типичным самоучкой — приехал в Самару, почти не зная орфографии.

У меня долго хранилась его первая записка ко мне с такими ошибками, от которых поднялись бы волосы на голове «преподавателя русского языка». И что же? Это первоначальное незнакомство Алексея Максимовича с довольно-таки сложной дореволюционной орфографией, быстро и без следа исчезнувшее тут же в Самаре, породило глупейшую басню, созданную, конечно, завистниками молодого, с головокружительной быстротой выдвигавшегося Горького. Я слышал ее от покойной А. А. Вербицкой, известного в свое время автора «Ключей счастья».

— Правда ли,— спросила она меня в Москве в 1898 или 1899 году,— что Горькому поправляла первые его рассказы одна талантливая молодая девушка, на которой он потом женился?

— Совершенно верно,— ответил я.— Действительно поправляла, то есть правила корректорша «Самарской газеты» самарская гимназистка Екатерина Павловна Волжина.

Несмотря на свою «малограмотность», молодой «босяк» лучше многих кончивших университет и размагниченных обывательщиной интеллигентов знал Байрона, Шиллера, Гете, Шекспира, Диккенса, Теккерея, Мопассана, Гюго, Достоевского; любил на память цитировать отрывки из Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Полежаева...

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю!.. [10]

— Вот! — многозначительно поднимался указательный палец...

Кроме широко популярных классиков, до юного самоучки уже совсем непостижимым путем доходили произведения авторов, известных в то время в нашем обществе только любителям литературы: Стендаля (Анри Бейль) «Красное и черное»; Мериме, автора исторического романа «Варфоломеевская ночь» [11], «Кармен» и др.; Флобера «Мадам Бовари» и «Саламбо»; Бальзака «Погибшие мечты» [12]. Алексей Максимович читал Эдгара По, Бодлера (в переводе П. Я.) [13], интересовался лирикой Верлена и появившейся у нас школой декадентов и символистов.

Я видел у Алексея Максимовича первые сборники Бальмонта и Брюсова, в то время ужасавших литературных староверов своей смелостью. Он ценил свежее и непосредственное дарование Фофанова [14], одного из первых русских поэтов, который уделил внимание поэзии пригорода. Его заинтересовал и Мережковский, хотя он не мог не заметить присутствия в его поэзии того, чего не было у Фофанова,— надуманности.

Мне он подарил сборник «Тени и тайны» Фофанова и «Символы» Мережковского. На «Символах» было много заметок Алексея Максимовича, одна очень длинная, в стихах. Содержание ее нелестно для автора книги [15]. ⟨...⟩

Я не видел, чтобы Алексей Максимович работал дома днем. Писал он обычно ночью. Целый день на ногах: утро в редакции, за вырезками, за сочинением фельетона, среди разговоров с товарищами и посетителями — друзьями газеты; после обеда — по городу или чтение; вечером всегда на людях — у знакомых за стаканом чаю, беседа, споры пополам с шуткой и смехом. Казалось бы, должен устать. Однако полночь, а он все так же спокоен, бодр, разговорчив.

Приходит домой; под кровом Перини все спят, и квартирант, словно дожидавшийся этого, зажигает керосиновую лампочку и садится за стол: голова склоняется немного налево, волосы ползут на лицо. И бегут тихие ночные часы, и течет непрерывающимся ручейком бисер, заливая чистый лист. Готов — на пол! Писатель отбрасывает волосы, откидывается назад, расправляясь, потирает грудь и берет новый лист.

Тишина сгущается. Белая келья слышит только скрип пера, тиканье часов, шуршание бумаги. Ночь идет — бисерный поток все льется без перерыва. Черные квадраты стекол начинают синеть, белеть, розовеют и золотятся... По тротуару мелькают ноги ранних прохожих.

Пишущий выпрямляется, откидывает волосы,— как посерело за ночь лицо! — встает на табуретку и открывает окно, с наслаждением вдыхая вливающуюся прохладу. Зазывно ревет «меркурьевский» пароход [16]. Пылит, скрипя, телега. «Малины, садовой малины!», «Рыбы воблы, рыбы!» — самарский день начался.

Пол покрыт листами исписанной бумаги. Через них шагает к койке и, не раздеваясь, ложится, глухо кашляя. Можно часика два-три соснуть...

...Однажды, придя к Алексею Максимовичу утром, я увидел на полу эти листы. Всю ночь писал он. К утру рассказ был готов: прямо неси в типографию. «На плотах» — одна из лучших вещей молодого Горького...[17]

Работая «на вырезках», Алексей Максимович получал пятьдесят рублей в месяц. Когда стал фельетонистом — сто рублей, за рассказы особо — по две копейки за строчку. По-тогдашнему это казалось не так мало. Больше получали «маститые» — В. Г. Короленко, Н. Г. Гарин-Михайловский: по пять копеек!

Да, одному хватит. «Приехал — почти все было на нем,— рассказывала мне хозяйка квартиры Е. В. Кишкина,— понемногу экипировался. Сшил себе рубашки из сарпинки — голубую, сиреневую да белую, полотняную с вышитым воротом. А какой приветливый был! Готов помочь каждому, прямо растратчик.

Получит деньги — раздаст. Работал по ночам, а утром иногда прочтет нам, что написал: про историю с застежками [18], например...»

Этот рассказ правильно отмечает оригинальное стремление Алексея Максимовича поскорее освободиться от «получки».

— Да, не надо ли вам денег? Пожалуйста! У меня много — это факт! — И улыбается.

Или дарит. Это уже была прямо страсть. Дарить: фотографии, книги, рамки, трости и т. д. Попробуйте что-нибудь похвалить, какую-нибудь вещицу на столе, и вы не отделаетесь от хозяина.

— Да, право, она мне не нужна! — И прикладывает широкую ладонь к груди.— Да будь я проклят!

Откажетесь,— пожалуй, найдете вещь в кармане вашего пальто.

Неоднократно покупал он себе карманные часы, конечно, недорогие, серебряные, но всегда изящные. Глядь, опять Алексей Максимович спрашивает о времени.

— Да где же ваши часы?

— Да, понимаете...

И понимаешь: нет часов — подарил.

— Писатель, а без часов! — попрекнул его Чехов в Крыму и преподнес ему серебряные часы со стильной крышкой, под старое серебро. На внутренней стороне надпись: «От д-ра Чехова».

Больше всего любил дарить книги. Уехав в Нижний, вскоре прислал оттуда на мое имя большой ящик книг с просьбой передать в Самарское общество книгопечатников.

Еще позднее, в период руководства Горького издательством «Знание», та же широкая ладонь щедро сыпала тысячи на поддержку полулегальных и нелегальных организаций. Заведующий издательством показывал мне однажды в своей записной книжке список сделанных им, по распоряжению Алексея Максимовича, выдач: 500 р., 1500 р., 3000 р. и т. д.

Душевная отзывчивость Алексея Максимовича была громадна, часто к нуждам незнакомых, совсем чужих ему людей. Знакомого же человека, близкого ему по духу, особливо если он попадал в беду или был постигнут тяжелым горем, он окружал чисто материнской заботливостью, редкой даже в женщинах нежностью. Бывало, Алексей Максимович исчезал с горизонта — день-два его нет. Наконец появляется. Где был? Да был, ночевал в доме, который посетила смерть, старался своим присутствием разрядить настроение, помочь чем можно... Когда умер К. К. Позерн, в семье которого Алексей Максимович часто бывал, он несколько дней почти не покидал дома, объятого печалью.

Он любил детей, и дети чувствовали это. Приносил им игрушки, книжки с картинками, гостинцы. Ухаживал за больным ребенком Кишкиных. Маленький Коля засыпал на его коленях, слушая сказки. Когда мальчик, играя на тротуаре, замечал, что Алексей Максимович сидит за столом, он свешивал веселую рожицу к окну подвала и кричал поощрительно:

— Пиши, пиши, Пешинька!.. ⟨...⟩

В девятидесятых и девятисотых годах Алексей Максимович и весной и осенью обычно кровохаркал, поднималась температура; но он не обращал па это внимания и продолжал, так же как всегда, загружать себя всякой работой. Природа наделила его могучим сложением и здоровьем. ⟨...⟩

Несмотря на то, что простреленные легкие [19] периодически давали о себе знать, Алексей Максимович между приступами болезни показывал исключительную работоспособность, выносливость и значительную физическую силу.

Он способен был вдвоем поднять и тащить на плече большое бревно, лезть в холодную воду, в море, чтобы достать детям медузу, и работать за письменным столом по ночам без устали. ⟨...⟩

# А. Д. ГРИНЕВИЦКАЯ

## ГОРЬКИЙ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В мае 1896 года Горький приехал в Нижний из Самары по приглашению редакции газеты «Нижегородский листок» в качестве беллетриста, очеркиста и главным образом «обозревателя» Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде [1]. ⟨...⟩

Официальное открытие выставки состоялось 28 мая 1896 года. На этом торжестве было много произнесено высокопарных патриотических речей.

Все сияло, ликовало, все придавало выставке радостный вид большого «национального» праздника... [2] Так российский капитализм демонстрировал свою «мощь и развитие» на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. ⟨...⟩

Кроме грандиозных павильонов, экспонатами в разных местах на территории выставки стояли небольшие киоски, имевшие целью обслуживание публики, посещавшей выставку; в них продавались воды, мороженое, сласти, фрукты и проч. В таком небольшом, приютившемся недалеко от отдела Крайнего Севера киоске со скромной надписью «Нижегородский листок» мне и пришлось высидеть безвыходно, с утра и до «фонарей», четыре месяца выставки. В мои обязанности входило принимать подписку и объявления на местную ежедневную газету «Нижегородский листок», продавать в розницу «Листок» и высылавшиеся на комиссию «Одесские новости».

Сооружая этот киоск, издатель «Нижегородского листка» имел радужные надежды на большие его обороты. Но, увы, он жестоко ошибся: мой товар для публики, бывавшей на выставке, оказался совсем «неходовым».

Я не приняла ни одной подписки, ни одной публикации, а количество проданных в розницу номеров за всю выставку исчислялось всего лишь несколькими десятками экземпляров.

Правда, к окошечку киоска часто подходила гуляющая по выставке публика, но... она спрашивала или лимонад, или мороженое и, когда, взглянув на вывеску, узнавала, что здесь продаются *газеты*, разочарованная, уныло отходила... ⟨...⟩

Однажды ⟨...⟩ неожиданно отворилась дверь моего киоска и на пороге появилась высокая длинноволосая фигура человека в крылатке, в широкополой фетровой шляпе, с сучковатой дубиной в руках. Вошедший неловко «козырнул» под поле своей развесистой шляпы и произнес, четко окая:

— Здорово. Как идет торговлишка-то?

Хотя «торговлишка» моя шла определенно плохо, но, памятуя наставления своего издателя о соблюдении коммерческой тайны, я весело ответила, что торгую хорошо.

— Вот и отлично,— произнес мой собеседник.— Ну, а как «Одесские новости»?

— Не продала ни одного номера.

— Это печально...

Осмотрелся вокруг (а у меня из оставшихся непроданными газет было устроено подобие турецкого дивана, что явно противоречило заявлению о бойкой торговле), взглянул и на этот импровизированный диван, улыбнулся хорошей и ясной, но грустной улыбкой.

Пришедший постоял еще немного, медленно произнес несколько незначительных фраз и, не находя, о чем говорить дальше, протянул мне свою широкую сильную руку и, сказав:

— Доброго здоровья! — ушел.

Оставшись одна, я в недоумении размышляла: «Что это за человек и зачем приходил?»

Несколько дней спустя я опять увидела его на выставке, в сутолочной толпе, на этот раз в обществе хрупкой, просто, но изящно одетой, интересной девушки [3]. Сгорбясь, неуклюже шагая, он неумело вел свою спутницу под руку.

Странно было видеть этого неловкого человека в роли кавалера, да еще около изящной дамы.

Вскоре от товарищей из редакции я узнала, что этот большой, странного вида «дядя» в крылатке — новый

сотрудник «Нижегородского листка», приглашенный редакцией из Самары специально для освещения выставки на страницах «Листка». Он одновременно является и корреспондентом «Одесских новостей». Фамилия его — Пешков, но подписывается он обычно невеселым псевдонимом — Максим Горький, или сокращенно М. Г—ий.

Тут мне стало ясно недавнее посещение этого человека и проявленный им интерес к «Одесским новостям» (вероятно, по его инициативе редакция «Одесских новостей» высылала нам свое издание для продажи на выставке).

С тех пор я с особым интересом следила за писаниями Максима Горького, а его самого все чаще и чаще видела на выставке наблюдающим и пытливо всматривающимся в окружающее ясными грустными глазами. Он выделялся из толпы своим необычным костюмом — большая сдвинутая на затылок шляпа, крылатка, тяжелая дубина в руках... и — мрачным видом, лоб его был нахмурен, брови — скорбно изломаны. Выглядел он старше своих 28 лет. По всей сутуловатой фигуре этого человека было видно, что он ощущает на своих плечах тяжесть многострадально прожитой жизни. ⟨...⟩

По окончании выставки я перешла работать в редакцию «Нижегородского листка».

Вскоре, во время занятий, опять предстал передо мной человек в крылатке. Со своим приветствием — «доброго здоровья!» — он попросил меня передать принесенную им рукопись редактору и ушел.

Товарищи по работе, очень сочувственно отзываясь об ушедшем, рассказали мне, что Пешков болен туберкулезом, много работает, но, несмотря на это, сильно нуждается. Работая на выставке, он получал, кроме построчного гонорара (5 коп. со строки), 50 рублей твердого оклада; теперь, по окончании выставки, остался только на построчном гонораре, болезнь часто тормозит работу и отражается на его заработке; Пешков вынужден авансироваться в «Листке» и не выходит из долгов перед редакцией, что очень не нравится издателю, который при встрече с писателем рекомендует ему «не лениться», писать побольше (чтобы покрыть задолженность).

Первое время работы в «Листке» (до середины 1899 г.) у Алексея Максимовича не было особой близости с редакцией газеты. Визиты его туда носили в большинстве

*М. Горькій.*

# Очерки и разсказы.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.




ИЗДАНІЕ

С. Дороватовскаго и А. Чарушникова.





С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Паровая скоропечатня И. А. Богельманъ, Невскій, 148.

1898.


Титульный лист первого тома «Очерков и рассказов» М. Горького. Первое издание. 1898.

*М. Горькій.*

# Очерки и разсказы.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.



ИЗДАНІЕ
Дороватовскаго и А. Чарушникова.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Паровая скоропечатня И. А. Богельманъ. Невскій. 148.
1898.

Титульный лист второго тома «Очерков и рассказов» М. Горького. Первое издание. 1898.

деловой характер: он или приносил рукопись, или заходил получить гонорар, или заглянуть в цензорские гранки — не натворил ли цензор какого-нибудь зверства с представленным ему материалом.

Обычно, не раздеваясь, сдвинув шляпу на затылок, А. М. усаживался в конторе на стул для посетителей около барьера и делился с нами своими радостями и невзгодами.

Материальные затруднения доставляли ему иногда немало неприятных минут. В один из таких трудных моментов жизни Алексей Максимович является веселый, смеющийся. Опускается по своему обыкновению на стул около барьера и радостно восклицает:

— Ну, и хорошая же женщина Любовь Николаевна! Замечательная женщина, факт!

Ничего не понимая, я с недоумением гляжу на него.

— В чем дело? О какой Любови Николаевне вы говорите?

— Любовь Николаевна Трифонова — содержательница ссудной кассы, на Варварке. Я у нее кое-что иногда закладываю; на этой почве и завелось наше знакомство. Зашел к ней сегодня. А вид, должно быть, у меня был весьма унылый. Она догадалась о причине моего уныния и спрашивает — не нужно ли денег? Я сказал, что нужно, но у меня нечего закладывать; тогда Любовь Николаевна открывает кассу, вынимает и кладет передо мной двадцать рублей, говоря: «Возьмите, когда будет возможность — отдадите...» Чудная женщина Любовь Николаевна.

Чтобы поправить свои финансы, А. М. предложил издателю «Нижегородского листка» Ст. Ник. Казачкову издать все напечатанные к тому времени его рассказы.

Казачков, имевший собственную типографию, задумался над этим предложением и дал распоряжение по конторе собрать воедино всю горьковскую беллетристику.

Когда это было исполнено, с тетрадью переписанных рассказов Казачков пришел советоваться в редакцию: стоит или не стоит издавать их отдельной книжкой? Наша литературная братия вся в один голос утверждала, что стоит.

Но осторожный коммерсант думал-думал, да так и не решился на это предприятие — побоялся на нем понести убыток...

Петербургское издательство С. Дороватовского и

А. Чарушникова проявило большую решительность, чем Казачков, и издало двумя небольшими томиками рассказы Горького в 1898 году [4].

Появление их было встречено столичной критикой восторженно — автор рассказов провозглашался крупным самобытным талантом [5]. ⟨...⟩

Слава Горького стала расти с головокружительной быстротой. Его превозносили, за ним ухаживали, с ним носились. Его книжки разошлись в несколько месяцев: в 1899 году вышло второе издание в трех томах [6], а в 1900—1901 году новое издательство «Знание» выпускает уже пятитомное издание сочинений Максима Горького.

Материальные дела А. М. изменились как в сказке. Издатели журналов наперебой предлагали ему сотрудничество, не стесняясь гонораром. Его переводили на иностранные языки [7].

Помню его недоумение и смущение при неожиданном получении заграничного денежного перевода, когда какой-то иностранный журнал (точно не помню — какой) без ведома автора поместил перевод одного из его первых рассказов и немедленно перевел ему довольно крупную сумму денег с любезным письмом. Это было первое появление произведений Горького за границей.

К деньгам А. М. относился весьма равнодушно. Он не считал их и, не считая, раздавал направо и налево. Стоило только кому-нибудь попросить у него, а сплошь и рядом без всякой просьбы (при виде нужды), он лез в карман и щедро давал нуждающемуся с таким видом, как будто чувствовал себя виноватым в том, что он имеет деньги, в то время как другие нуждаются.

Когда в 1900 году мы с Гриневицким, поженившись, поселились при редакции, Алексей Максимович был нашим постоянным гостем.

После ранней утренней прогулки по Откосу он почти каждый день приходил к нам в квартиру попить утренний чай и за самоварчиком побеседовать. (Как сейчас слышу знакомый стук в нашу дверь пальца его сильной, крепкой руки.) Во время оживленных споров он любил шагать из угла в угол по комнате, одной рукой откидывая пряди длинных волос с высокого лба, другую держа в кармане брюк.

Скрытая сила и упорство чувствовались в его угловатой фигуре; небольшие глубокие серые глаза его были кристально чисты: они то вспыхивали огнем, то затума-

нивались слезами. Костюм А. М. отличался какой-то изящной простотой, чистотой и опрятностью; он носил длинную широкую черную суконную косоворотку, подпоясанную тонким ремешком с серебряным кавказским наконечником и передвижкой, и мягкие сапоги или бурки «взаправку», которые делали его походку очень эластичной.

Чуткий, впечатлительный, он всегда был или озабочен, или увлечен чем-нибудь или кем-нибудь.

Приходил он то грустный и задумчивый, то сияющий и искрящийся. То, под впечатлением нового знакомства, находил необычайно интересным какого-нибудь человека, иногда совсем неинтересного и незаметного с точки зрения «невооруженного глаза», то носился с какой-нибудь только что прочитанной книгой, цитировал ее, рекомендуя прочесть, то делился планами своих произведений, то огорчался и расстраивался какими-либо событиями в жизни общественной или личной. ⟨...⟩

Помню, как А. М. радовался появлению первого томика рассказов Чехова [8], как приветствовал роман Пшибышевского «Homo sapiens» [9] или с восторгом говорил о только что прочитанной рукописи (рассказ «Большой шлем») судебного репортера московской газеты «Курьер» молодого юриста Леонида Андреева, предсказывая автору ее большую литературную будущность [10].

Помню, как в январе 1900 года, попав в театр на новую тогда комедию Ростана «Сирано де Бержерак», он пришел от нее в неописуемый восторг. Немедленно написал в «Нижегородском листке» большой фельетон с разбором пьесы, который заканчивался словами: «Пьеса Ростана возбуждает кровь, как шампанское вино, и опьяняет жаждой жизни...» [11]

И действительно, он был опьянен этой пьесой и долгое время находился в состоянии этого «опьянения». Он не пропускал в театре ни одного представления «Сирано», а дома постоянно декламировал отрывки из него. Одним из любимых мест Горького был монолог Сирано по поводу его носа (декламируя его, А. М., юмористически подымая кверху брови, показывал пальцем на свой нос). Он часто восклицал словами Сирано:

Да, я существовать хочу вполне свободно,
Смеяться, как хочу, смотреть, как мне угодно,
И громко говорить, и песнею моей
Смущать врагов моих и радовать друзей...

Однажды А. М., войдя утром к нам, торжественно заявил:

— Решил написать драму.

Я засмеялась:

— Куда вам с драмой связываться — ведь вы не знаете театра. Будут ваши герои на сцене говорить, приходить и уходить — и получится не драма, а тоска зеленая.

— Ну что же, попробую.

И он попробовал.

Первая его пьеса — «Мещане», поставленная Московским Художественным театром весной 1902 года, прошла как-то мало замеченной [12]. Но вторая — «На дне», впервые шедшая в том же театре 18 декабря 1902 года, имела успех, от которого буквально содрогнулся весь театральный и литературный мир.

Автор присутствовал на представлении. ⟨...⟩

Возвратился после пережитого триумфа А. М. очень взбудораженный и какой-то «самоуглубленный». О своем успехе рассказывал мало: на нашу просьбу рассказать, что было в Москве, он, конфузливо улыбаясь, говорил:

— Что было? Хлопали, шумели...

Между прочим, сообщил об одном эпизоде, происшедшем с ним на улице Москвы. На другой день после спектакля, когда А. М. шел, кажется, по Тверской, неожиданно перед ним останавливается мчавшийся навстречу «собственный» рысак. Из экипажа выпрыгивает солидная, бородатая, купеческого вида фигура в богатой шубе, заключает А. М. в свои объятия и, растроганно говоря комплименты, сует ему в руку сторублевую бумажку с просьбой употребить ее по своему усмотрению на нужды «бывших людей».

То был один из вчерашних зрителей, находившийся под впечатлением виденного им горьковского «дна». Он узнал в проходящем по улице автора пьесы и решил реально выразить свой восторг.

С умилением отзывался А. М. об артистах Художественного театра:

— Замечательный народ, славный и высокоталантливый... ⟨...⟩

С «Нижегородским листком» Алексей Максимович не порывал связи все время своего пребывания в Нижнем (1896—1904) [13]. Причем в последние годы (с половины

1899 года) и до своего отъезда из Нижнего он проявлял большое внимание и заботу к газете: кроме бесплатного сотрудничества [14], он вносил крупные суммы денег на расходы по изданию и был близким другом нашей редакционной семьи, разделяя с нами все радости и невзгоды, постигавшие газету.

При более или менее продолжительных отлучках из Нижнего Новгорода Алексей Максимович всегда просил высылать ему «Листок» на место его пребывания. ⟨...⟩

Живя в Нижнем, А. М. не замыкался в кабинетные рамки литературной деятельности и газетной работы. Кроме участия в подпольных организациях, он зорко присматривался ко всем явлениям общественной жизни и чутко на них реагировал и, где можно, «вклинивался» сам в общественную и просветительную работу.

Он обладал способностью будоражить сытого обывателя и будить в нем дремлющие общественные струны. «Нижегородский листок» служил А. М. оружием для этой цели. Все интересовавшие и волновавшие его вопросы он отражал в той или иной форме на страницах газеты.

Много внимания и заботливости он проявлял по отношению к городской бедноте. Особенно болел душой за вянущую в подвалах и чердаках детвору и настойчиво искал возможности как-нибудь скрасить ей жизнь... ⟨...⟩

В Н. Новгороде, на окраине города, стояло несколько лет недостроенным за недостатком средств здание Народного дома, начатое постройкой Обществом распространения начального образования.

Вступив в члены этого общества, А. М. поставил себе задачей во что бы то ни стало довести эту постройку до конца. Он энергично принялся за сбор пожертвований, но так как денег требовалось много, то необходимо было изобрести какой-то экстраординарный способ, чтобы качнуть из публики нужную сумму, и А. М. этот способ нашел.

Он использовал для этого Шаляпина, давшего по просьбе А. М. в пользу О-ва распространения начального образования два концерта, сбор с которых превысил все ожидания и помог строительному комитету довести постройку здания до конца [15].

Торжественное открытие Народного дома состоялось 14 декабря 1903 года [16].

Квартира Пешковых на Мартыновской улице, в доме Киршбаума, превратилась в настоящую гостиницу. Люди разнообразного вида и образа жизни приходили, уходили, ночевали, ужинали, обедали, завтракали, пили чай — в самое разнообразное время. Бывало так, что в обширной столовой на одном конце стола кто-нибудь только что вставший от позднего сна пил «утренний чай», тогда как в это же время другой — на другом конце того же стола,— торопясь уходить, завтракал или даже обедал...

Семья Пешковых была очень гостеприимна. Многочисленные почитатели и поклонники таланта буквально осаждали его квартиру и по мягкосердечию хозяев пользовались радушием наравне с близкими знакомыми и друзьями.

Дело доходило до курьезов. Так, однажды, сидя за бесконечно длинным именинным столом около А. М., один его приятель спросил хозяина:

— Кто сидит напротив нас?

И получил в ответ:

— Черт его знает кто.

— А рядом с ним?

— А это его жена...

При создавшейся обстановке большая, просторная квартира оказалась тесна для маленькой семьи Пешковых, и А. М. (в дополнение к ней) снял низенький мезонин над своей квартирой, в котором он уединялся от наплыва публики, ночевал и работал.

В 1901—1904 годах А. М. и Е. П. Пешковы энергично работают в Обществе помощи нуждающимся женщинам. Выясняя нужду «погибающих» женщин, А. М. при помощи молодежи производит обследование города в этом направлении и затем хлопочет в Обществе об организации мастерских, разумных развлечений и проч.

«Неблагонадежная» популярность Пешкова-Горького вызывала особое к нему внимание со стороны жандармерии и охранного отделения. За ним усиленно следили, делали обыски, арестовывали.

Его арест 17 апреля 1901 года в Н. Новгороде взволновал все мыслящее общество [17].

Бурно реагировала на арест Горького молодежь, которая боготворила его. Она собиралась около тюрьмы на Острожной площади, митинговала. Полиция разгоняла, не позволяя подходить близко к тюрьме.

Но не на всех действовали полицейские окрики. Один из наших сотрудников — юный М. Д. Галонен, подойдя к тюрьме, стал демонстративно махать шапкой по направлению к окну, за которым сидел Горький. К нему подскочил блюститель порядка, предлагая уйти, но Галонен заявил, что он требует, чтобы его, Галонена, арестовали, ибо он разделяет политические взгляды Горького и считает для себя позорным находиться на свободе в то время, когда Горький сидит в тюрьме. Галонена арестовали, но через день или два выпустили, к великому его огорчению...

Волновались и хлопотали об освобождении Горького в Нижнем, волновались в столицах.

Хлопоты увенчались успехом: 17 мая Горького освободили под гласный надзор полиции с высылкой из Н. Новгорода. До назначения места высылки А. М., для поправления расстроенного здоровья, был разрешен выезд на юг [18].

Очень знаменательный инцидент произошел с А. М. незадолго до его нижегородского ареста. (Точно не помню, когда это было.)

Во время обычной утренней прогулки по Откосу на него напал с ножом в руках какой-то субъект в чуйке.

Завязалась борьба. А. М. ловким движением опрокинул нападавшего, перебросил его через перила под откос и... пошел к нам пить чай. На лице А. М. были значительные ссадины, из которых сочилась кровь.

Этот случай внушил нам тревогу и опасение, что органы царской власти, желая избавиться от «вредного» писателя, пользуются «темными силами».

Рассказав нам с мужем о происшедшем, А. М. просил никому об этом не говорить. Мы эту просьбу исполнили, и никто даже из самых близких знакомых и сотрудников «Нижегородского листка» не узнал о случившемся [19].

В 1904 году «политически неблагонадежный», преследуемый царской властью, Горький покинул Нижний Новгород. ⟨...⟩

## Е. П. ПЕШКОВА

### В УКРАИНСКОМ СЕЛЕ МАНУЙЛОВКА

⟨...⟩ В конце 1896 года Горький тяжело заболел обострением туберкулеза легких, первые признаки которого у него появились еще раньше. Врачи предписали немедленную отправку его в Крым. Денег не было. Получив из Литфонда сто рублей ссуды [1], мы приехали в Крым и устроились в пансионе в Алупке.

Первое время болезнь туго поддавалась лечению. Перелом наступил лишь после того, как Алексея Максимовича начал лечить доктор Александр Николаевич Алексин, который вызывался из Ялты к наиболее тяжелым больным.

Большую часть дня по совету Алексина Алексей Максимович проводил в парке. Как-то к нему подошла немолодая стриженая дама с крупными чертами приятного лица. У нее был фотоаппарат, которым она усердно снимала виды парка. Ей хотелось сфотографировать и Горького, на что он согласился с неохотой. Это была Александра Андреевна Орловская, урожденная Ширинская-Шихматова из Мануйловки. Весной, уезжая к себе, она уговаривала нас провести лето в ее родном селе. Рассказывала о природе, о чудесной реке Псел, говорила, что там можно дешево и удобно устроиться.

Так мы попали в Мануйловку и прекрасно прожили лето. В Мануйловке родился наш сын Максим [2].

Алексей Максимович быстро перезнакомился с наиболее передовыми крестьянами, устроил хор из парубков и девчат, возникла мысль ставить спектакли. Работа закипела. Сами шили костюмы, раскрашивали декорации. Алексей Максимович был и за режиссера, и за актера.

Ставили «Мартына Борулю», «Назара Стодолю» и другие украинские пьесы. Ставили и русские — «Чужое добро впрок не идет» [3]. Устраивали импровизированные концерты. В пьесах и концертах участвовали местные крестьяне, учителя и неизменно Алексей Максимович. Весело проходили спектакли, а еще веселее — подготовка к ним. После спектаклей часто устраивались вечеринки.

Алексей Максимович был очень увлечен этими постановками. Когда во второй наш приезд в Мануйловку, в 1900 году, я поехала в конце лета в Нижний снять на зиму квартиру, Алексей Максимович поручил мне убедить К. С. Станиславского прислать ему свой режиссерский экземпляр «Возчика Геншеля» [4], так как он задумал поставить его в Мануйловке. Прислать свой экземпляр Станиславский, конечно, не мог, да и поздно было разучивать новую пьесу. Лето кончилось, пора было возвращаться в Нижний. Алексей Максимович к этому времени совсем окреп, все признаки болезни исчезли.

Дружба Алексея Максимовича с мануйловцами не прошла бесследно: из многих, как мне рассказывали, вышли деятели революционного движения 1905 и 1917—1918 годов и участники подпольного движения против немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. ⟨...⟩

# С. Г. СКИТАЛЕЦ

## МАКСИМ ГОРЬКИЙ

*(Встречи)*

⟨...⟩ В Самаре имя и произведения Горького были у всех на устах.

Рассказывали мне мои самарские знакомые, что и человек он интересный, оригинальный.

Однажды мы проходили мимо старого, мрачного, облезлого дома с подвальным этажом ниже тротуара. Мой спутник сказал:

— Обратите внимание: в прошлом году здесь в подвале жил Горький! И как подумаешь, что в этой обстановке была написана такая вещь, как «Старуха Изергиль», прямо удивляешься, откуда у вашего брата берется фантазия?

Потом стал рассказывать о Горьком как о человеке:

— Это необыкновенная фигура! Во-первых, силач! Мы как-то компанией на пикник за Волгу ездили, так он там такой огромный камень на берегу катал, который мы вчетвером не могли сдвинуть с места. Во-вторых, вся его жизнь — фантастическая. Вам надо непременно с ним познакомиться.

Однако случай познакомиться с Горьким представился мне только весной 1898 года, когда только что вышло в свет издание первых двух томиков Горького [1].

В Самаре они были расхватаны на лету. В надежде, что мой знакомый их уже имеет, я в погожий весенний день отправился к нему за город, на его дачу на берегу Волги, где проживал он с семьей.

Застал его в саду, в крытой беседке за чаем в обществе небольшой компании наших общих знакомых.

— Вы явились очень кстати,— торжественно сказал С.,— сегодня приехал Горький и сейчас будет здесь!

Калитка отворилась, и вошел высокий молодой человек в длинном крылатом плаще, в широкополой шляпе, в голубой косоворотке, широкоплечий, но очень худой, с бледным лицом и небольшими светлыми усами. В этом неправильном, словно топором вырубленном, лице при первом взгляде было какое-то мрачно-суровое выражение, как бы никого близко к себе не допускающее.

Хозяин пошел ему навстречу, гость улыбнулся неожиданно добродушной улыбкой и снял шляпу, обнаружив густые, длинные, прямые волосы.

Это и был Максим Горький.

Войдя вместе с хозяином к нам в беседку, он поздоровался со всеми за руку. Рука у него была большая, длинная, и чувствовалась в ней значительная физическая сила.

Горький с первых же слов оказался живым, остроумным собеседником, простодушным и задушевным человеком. Говорил он с подкупающим добродушием, рассказывал с природным артистическим талантом. Казалось, что он может заворожить слушателей своими неистощимыми рассказами, которым не предвиделось конца.

И это без всякого литературного красноречия, разговорным, простым языком,— глуховатым баском с заметным нижегородским ударением на «о».

— Большинство современных писателей буржуазны! Вот! — говорил он с юмористической миной своего живого, выразительного лица.— Они всегда стараются вызвать жалость в читателе. Они всегда прощают и оправдывают грешника, а этого не нужно, это лишнее, к черту! Зачем? И бога они ему выдумывают кроткого, прощающего мерзавцев, ибо такой именно бог нужен буржую. Буржуй прочтет своего писателя, щекочущего ему нервы, растрогается и почувствует себя человеком. «Должно быть, я еще не совсем свинья!» — подумает он и опять станет уважать себя и успокоится. Писатель для этого и нужен ему, подлецу! А это лишнее! Зачем услужать буржую! Не давать ему бога! Не давать! Пусть живет без бога, пусть он чувствует себя свиньей, пусть живет, не уважая себя! Вот!

В скромном писателе и тогда уже чувствовался боец, проникнутый стремлением судить верхние классы с заранее приготовленным приговором: «Нет прощения!»

Говоря об изменившихся понятиях в толще народной,

он рассказал маленький эпизод, происшедший за время его пешего путешествия через Землю Войска Донского [2].

— Зашел я ночевать в одну станицу... Большая станица, и богатые казаки, хорошо живут. Посмотрели на меня, пустили. Стал я разговаривать. Заинтересовались. Стали и мне свои нужды и обиды выкладывать. Жалуются на всякие земельные утеснения, москалей ругают. Я им и сказал: «Ведь у вас есть сабля?» — «Есть!» — «Так что же вы?» — «А як же царь?» — возразили мне. Ну, тут я про царя им немножко поговорил. Наутро прислали за мной от станичного атамана и слушателей моих — казаков — позвали тоже, в качестве свидетелей. Вышел атаман, посмотрел на меня, сморщился, ничего не спросил, а прямо к свидетелям: «Правда ли, что проходящий насчет сабель и тому подобное и про царя говорил?» Тут один из них, бравый такой усач, прищелкнул каблуками, ус закрутил и за всех отрапортовал: «Никак нет, не говорил и про царя не казав! Да неужели ж и мы позволили бы ему, голодранцу, такое про царя говорить?»

И так это внушительно сказал «не позволили бы», что у атамана сразу от сердца отлегло.

Все-таки посадили меня в телегу и молча повезли за село. Я уже начал думать, что тут мне и конец будет, однако привезли версты за три по дороге в степь, высадили и отпустили.

Горький рассказывал все это мастерски, с украинским акцентом, в лицах.

Летом 1899 года я навестил Горького. Маленький городок Васильсурск [3] приютился над Волгой, на верхушке остроконечной, крутой и зеленой горы при впадении р. Суры в Волгу. Это одно из красивейших мест на великой русской реке.

Я застал Горького в столовой маленькой квартирки с низенькими потолками и тусклыми окнами, сидящим на полу и заколачивающим в ящик детские игрушки. Тут же стояла красивая молодая женщина, его жена, и бегал шустрый двухлетний мальчик.

Увидя меня, Горький бросил молоток и поднялся на ноги, улыбаясь своей привлекательной улыбкой.

— Вот это здорово!..— сказал он, крепко сжимая мне руку.— Наконец-то вы собрались ко мне! А я все ждал вас, черт побери мою душу! Скучно здесь без людей! Вот

видите, чем занимаюсь? Завтра с пароходом возвращаемся в Нижний.

— Я тоже туда еду, а по дороге завернул к вам.

— И отлично сделали. Пообедаем, переночуем и завтра — айда! Ну, садитесь, рассказывайте,— я последний гвоздь заколочу.

Познакомившись с Катериной Павловной, я начал рассказывать о знакомых нашего города. Горький слушал, продолжая возиться с ящиком. Гвоздь попался капризный, не слушался, сгибался под молотком. Горький терпеливо, настойчиво расправлял его и опять заколачивал, а гвоздь снова сгибался.

Я смотрел с улыбкой и думал, что в числе различных свойств этого замечательного человека были, несомненно, терпение и настойчивость.

— Ты сгибаешься,— разговаривал он с гвоздем, как с человеком,— а я опять тебя выпрямляю!

Наконец удачным ударом вогнал гвоздь и закончил упаковку.

Катерина Павловна говорила мало, но приветливо: от нее веяло искренностью, простотой, чем-то очень хорошим; с этими людьми я сразу почувствовал себя весело и задушевно.

За обедом они расспрашивали о моем прошлом. Рассказывая о своих приключениях, я особенно заинтересовал их сценами из жизни певчих. Этот интересный мир бедных артистов, утешавших грешные души своих богатых хозяев, мир талантливых людей, жизнь которых проходила между церковью и кабаком, Горькому был совершенно неизвестен. Слушали они с увлечением, многозначительно переглядываясь во время рассказа.

Наконец Горький не выдержал, стукнул кулаком и воскликнул с волнением:

— Черт возьми, как все это хорошо можно написать!

— Да я уже писал! — сказал я.— В «Самарской газете» напечатано довольно много моих рассказов.

— Я не все их читал! Вы не захватили с собой?

— Захватил... некоторые...

— Чего же вы молчите? Давайте сюда, я хорошенько прочту их сейчас же! Это же так интересно!

Обед был окончен, я вынул из кармана несколько своих рассказов, вырезанных из газеты, и отдал ему.

— Ну, вы отдохните с дороги, а я почитаю. Катерина, устрой его в угловой комнате!

К чаю Горький вышел с чрезвычайно довольным лицом.

— Ну, я прочел!.. — заявил Горький, возвращая мне вырезки.— Мне говорили многие о вас, я даже читал в газете кое-что ваше: знал, что вы пишете интересно, но все-таки эти вот рассказы неожиданно хорошо написаны! Вам нужно обрабатывать ваши произведения — тогда вы будете печататься в журналах!

Я был чрезвычайно обрадован таким оборотом дела.

— Соберем ваши рассказы, прибавим к ним ваши стихи, а потом и книжку издадим! Надо бы вам еще что-нибудь покрупнее написать!

Тогда я поведал ему, что давно собираюсь написать повесть, но газетная работа сильно отвлекает: хочу бросить газету, уехать куда-нибудь, найти службу и писать.

— А какая тема вашей повести?

Я рассказал содержание, и опять Горький слушал с увлечением.

— Черт побери, это можно великолепно написать, и это до зарезу нужно! Это очень важно! Понимаете ли вы, что такие писатели теперь необходимы? Вы интеллигент, вы из народа, и у вас, по-видимому, столько накопилось здесь,— стукнул он себя в грудь.— Знаете что? — вдруг перебил он сам себя.— Бросьте газету, переезжайте ко мне в Нижний, найдете себе комнату за восемь рублей! Обедать будете у меня — и за милую душу напишете вашу повесть. Тогда и деньги появятся! А?

Я подумал и отказался от этого задушевного предложения.

— Нет,— сказал я,— бросить газету пока не могу, но через год разрешите воспользоваться вашим любезным приглашением. На будущее лето я бы охотно приехал к вам дней на десять, где бы вы ни были.

— На десять? — удивился Горький.— Но в десять дней вы не напишете повесть!

— Ну, недели па две?

Он рассмеялся.

— Положим, вы будете писать ее месяц или два, но это не важно!

Он подумал, покручивая ус.

— Вот что: если теперь вам мешают ваши обстоятельства, то непременно приезжайте ко мне писать на будущее лето. Я говорю вам серьезно. Вы непременно должны написать эту повесть. Будущей весной я напомню вам

письменно и сообщу свой адрес, тогда выезжайте немедленно. Боюсь, не лентяй ли вы? Приезжайте ко мне: уж я-то заставлю вас писать!

Так мы и условились.

На следующее лето с перепиской у нас вышла какая-то путаница, и я долго не знал, куда Горький уехал из Нижнего. Решив все-таки оставить газету и написать наконец задуманную повесть, я уехал из Самары в Москву, где один книгоиздатель, случайно узнав, что я знаком с Горьким, обратился ко мне с просьбой съездить к нему с поручением от издательства, предлагая мне денег на дорогу.

Оказалось, что на лето 1900 года Горький забрался в село Мануйловку, вблизи Харькова, около местечка Голтвы [4].

Я с величайшим удовольствием принял предложение издательства и в начале августа выехал в Мануйловку. Ехал от какой-то маленькой станции двадцать верст на лошадях и всю дорогу беспокоился: а вдруг не застану там Горького! Но едва я подъехал к маленькому каменному домику, крытому соломой и стоявшему в саду запущенной усадьбы, как Горький уже выбежал ко мне навстречу и без лишних слов заключил меня в дружеские объятия.

Я начал было говорить, что приехал с деловым поручением, но он и слушать не стал:

— К черту! Ерунда! Никуда не отпущу! Садитесь и пишите повесть!

Домик, в котором жили мы, был уютный флигель с крытою, опрятною террасой при нем, окруженный фруктовыми деревьями и подсолнечниками.

Мне отвели комнату с окном в сад, смежную с кабинетом хозяина; когда по вечерам мы оба сидели каждый в своей комнате и писали, нас разъединяла только притворенная боковая дверь.

Горький работал «как сапожник» — с ремешком вокруг головы, чтобы не сваливались на бумагу длинные волосы.

Работал усидчиво, часов до двух ночи, и когда я видел, что в его комнате еще светится огонь, то, несмотря на утомление, тянулся за ним, не оставляя работы раньше, чем он не погасит своей лампы. Таким образом он как бы впряг меня в работу.

В девять часов утра дверь из кабинета Горького слегка приотворялась и в нее просовывалась его длинноволосая голова с юмористически нахмуренной физиономией.

— Вставать! — рычал он на меня басом.

Я вставал, одевался и немедленно выходил в столовую к чаю. Там уже все были в сборе: Катерина Павловна, мать ее — Мария Александровна, маленький Максим с бонной и какая-то толстая «тетушка»; Алексей Максимович председательствовал за столом и уже что-то рассказывал по своему обычаю из неисчерпаемых воспоминаний и необычайных приключений, происходивших с ним когда-то.

Чего только не случалось с ним: он и тонул, и в огне горел, вися на руках над пылающим овином, но в конце повествования непременно из воды сух выходил и из пепла, как феникс, возрождался для новых опасностей и невероятных приключений.

После такого всегда интересного чаепития мы оба удалялись в наши комнаты и работали до обеда. Насколько мне было известно, Горький писал в это время свой роман «Трое», последовавший за напечатанием «Фомы Гордеева».

За обедом Горький острил, критиковал кушанья, изощряясь в юмористических сравнениях, большей частью метких, образных и забавных; настроение у него было неизменно веселое и бодрое.

К вечеру приходил сосед химик — добродушно-молчаливый человек в ситцевой рубашке с пояском, в высоких сапогах, в очках, с желтоватой небольшой бородкой.

Горький говорил о нем как о будущей большой силе в научном мире. Фамилии его я теперь не помню. Через год он умер в Киеве, отравившись чем-то нечаянно во время химических опытов [5].

Приходили еще какие-то молодые люди, и начиналась игра в городки, которой Горький всегда увлекался.

По праздникам приходили принимать участие в этой игре и деревенские парни — друзья Горького,— и тогда от здоровенных ударов ломались палки, разлетались куски дерева, из которых строился «городок». Горький серьезно завидовал им, а за меня огорчался, что удары мои, несмотря на силу, никогда не отличались меткостью. В этой игре проходило время до вечернего чая.

Работа у меня двигалась быстро, повесть была выношена, продумана, отдельными кусками написана прежде, оставалось только все переработать.

Горький иногда заглядывал ко мне и спрашивал:

— Ну, как идет работа? Вы картинами пишите — картинами выйдет!

Я не показывал ему рукопись, пока не кончил.

Через десять дней, или, верней, ночей, напряженного труда я принес Горькому оконченную повесть.

Он запер дверь своей комнаты и, оставшись вдвоем со мной, начал читать вслух. Сначала, попутно чтению, подчеркивал карандашом неудачные выражения или лишние слова, приговаривая: «Это к черту!», или: «Это лишнее!», но потом, по мере увлечения чтением, подчеркивал все меньше и почти перестал приговаривать. Наконец стал читать уже с явным пафосом:

— Ну, вас можно поздравить: вы написали удачную вещь!

Горький решил, однако, не спускать с меня глаз, а всем вместе ехать в Нижний, где я еще буду отделывать повесть для печати, а потом поселюсь в Нижнем, чтобы писать только для журналов.

Ему казалось, что он «призвал» меня к большой литературе, «поймал» в море жизни, «выудил» наверх из низов провинциальной прессы.

И действительно, его ласка, пылкая дружба, его похвалы моему первому серьезному труду значительно подняли мой дух, ободрили, воодушевили, вызвали к жизни мои силы.

Благодаря ему повесть была направлена в «Жизнь» — лучший тогдашний журнал. Заглавие ее было «Октава».

Горький не ко мне одному так относился: он вообще искал тогда молодых писателей с целью набрать из их числа свою «литературную дружину», что и удалось ему, когда появились сборники «Знание» и блестящая группа «знаньевцев» [6].

Однажды он снял с полки маленькую переплетенную книжечку, подал мне и сказал:

— А вот еще один начинающий. Прочтите, а потом скажите мне ваше мнение!

Я развернул книжку: там были вырезанные из газет рассказы, тщательно и аккуратно наклеенные на хорошую бумагу. Все это было сделано с любовью, переплетено в хороший переплет с золотым обрезом, чувствовалась нежность автора к этой маленькой книжечке и заветная мечта выпустить ее когда-нибудь в свет. На корешке книжечки

было оттиснуто золотыми буквами: «Сочинения Леонида Андреева».

Я прочел ее, и у меня осталось впечатление, что это не начинающий, а совсем готовый беллетрист, опытный мастер слова, несомненный талант. Так я и сказал Горькому.

— Это не просто талант,— возразил Горький.— Это талантище! [7] И вот — работает в московском «Курьере» [8], пишет фельетоны, получает гроши, кормит большую семью и, говорят, пьет. Вы с ним познакомьтесь, когда будете в Москве: интересный парень — молодой, красивый такой! Вот и товарищ вам!

Я действительно, как советовал Горький, снял себе в Нижнем комнату за восемь рублей, недалеко от его квартиры, в тихом семействе пожилой вдовы. Это была чрезвычайно маленькая комната, в которой едва помещались железная кровать, два стула и дамский письменный столик. Но в ней было уютно. Светлая лампа с зеленым абажуром тепло горела по долгим зимним вечерам, и далеко за полночь светилось мое единственное маленькое окошечко, завешенное коленкоровой занавеской.

Обедать я ходил к Горькому и поэтому видался с ним ежедневно.

Это был медовый месяц нашей литературно-творческой дружбы, когда мы оба работали с чрезвычайным воодушевлением, веря в близкое и радостное будущее нашей страны.

В небольшой, скромной квартирке Горького весь день, с утра до вечера, собирался всевозможный народ, приходивший к нему со всякими просьбами, за помощью не только общественного, но и частного, личного характера.

Я знаю, что он из своих — не очень больших тогда — средств давал стипендии бедным студентам, помогал нуждающимся рабочим.

Имя его с необычайной быстротой сделалось популярным и любимым в нижегородских «низах», среди городской бедноты, которая вряд ли даже могла читать его литературные произведения. Имя его гремело, как имя человека, близко принимающего к сердцу всякое человеческое горе, в особенности горе бедных и простых людей.

В то же время к нему непрерывно наезжали из столицы для свиданий и каких-то дел всевозможные знаменитости: художники, скульпторы, артисты, редакторы, общественные деятели, появились и революционеры. Посетители, которым Горький отдавал свои дни, не всегда были симпа-

тичны ему, но всегда интересны: так, например, однажды я застал у него уже собиравшегося уходить после, вероятно, длинного разговора не кого другого, как известного нижегородского миллионера — купца Бугрова: он был в длинной дорогой шубе, в бобровой шапке. Умное лицо и окладистая борода гармонировали с его осанистой, властной фигурой. Ему принадлежала чуть ли не вся земля нижегородская [9].

Моя «Октава» появилась в октябрьской книжке «Жизни» в 1900 году [10], и тотчас же о ней стали писать в газетах.

Когда была получена книжка журнала с напечатанной повестью, Горький радовался больше меня: перелистывая ее, читал вслух отдельные места, хлопая меня по плечу, радостно смеялся и все спрашивал:

— Ну, что? Приятно небось видеть в журнале первую вещь? А? — И потом серьезно добавлял: — Теперь вы должны написать вторую повесть — лучше первой, третью — лучше второй и так далее.

Я тотчас же засел за новый рассказ и, кроме того, почти ежедневно писал стихи.

Каждый день, поджидая меня к обеду, Алексей Максимович сам отпирал дверь и нетерпеливо спрашивал:

— Стихи есть?

— Есть! — смеясь, отвечал я и вынимал из кармана листки исписанной бумаги.

Он поспешно выхватывал их у меня и тотчас же вслух начинал декламировать, плохо, но с большим увлечением.

Иногда после обеда мы с ним ходили гулять на Откос или на окраины города, стараясь сворачивать в сторону, если завидим, бывало, высокого длиннобородого доктора Золотницкого, запрещавшего своему постоянному пациенту выходить из квартиры в холодную погоду.

17 апреля 1901 года Горького арестовали [11] и посадили в нижегородскую тюрьму вместе с двадцатью двумя «сообщниками», большинство которых состояло из студентов; кроме студентов, был арестован один рабочий и два интеллигента из земской управы.

Пишущего эти строки после безрезультатного обыска тоже препроводили в тюрьму. Непосредственной причиной арестов было телеграфное распоряжение из Петербурга [12].

Тюрьма была старая, с четырьмя круглыми башнями

по углам. Обнесенная белой каменной стеной, она стояла за городом.

Меня посадили в одну из четырех угловых башен — на дно круглого каменного колодца с маленьким окошечком в виде узкой щели на высоте около двух сажен от пола.

Горький был посажен в другую такую же башню. Через четыре дня меня перевели во второй этаж тюрьмы, в большую грязную камеру с несколькими нарами, служившую, по-видимому, для заключения уголовных.

Близко от моего окна было окно камеры, где сидел Горький.

Мы видели друг друга и разговаривали, когда один выходил на прогулку, происходившую под окнами во дворе тюрьмы, а другой стоял в это время у окна своей камеры.

Остальные сидели в соседних камерах, и таким образом каждый из нас во время прогулки мог видеть своих товарищей, сидевших за железной решеткой.

Как раз в это время, когда Горький сидел в круглой башне нижегородской тюрьмы, в «Жизни» появился «Буревестник» [13], «черной молнии подобный», промчавшийся над Россией как громовой раскат. Журнал тотчас же закрыли — не только за это стихотворение. Тем не менее голос поэта, заключенного в башне, прозвучал оттуда на всю страну с большей силой, чем если бы Горький оставался на свободе.

Когда меня вызвали в тюремную канцелярию на допрос, то предъявили обвинение в соучастии по пропаганде среди рабочих вместе с цеховым малярного цеха Алексеем Пешковым.

— Да ведь это Максим Горький! — возразил я, на что мне сухо отвечали:

— По документам мы знаем только цехового Пешкова, по нашим сведениям — рецидивиста! [14]

В Горьком — особенная привлекательность: не прошло недели, как часовые, надзиратели, уголовные и даже начальник тюрьмы и два помощника его были очарованы необыкновенным арестантом.

В тюрьме он просидел только месяц, но и за это время «что-то в груди» дало знать о себе: здоровье пошатнулось. Горького перевели под домашний арест [15]. ⟨...⟩

# А. Е. БОГДАНОВИЧ

## ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ПЕШКОВА

⟨...⟩ Мое знакомство с Алексеем Максимовичем началось в первых числах ноября 1896 года в Н. Новгороде.

Это был год Всероссийской выставки и моего назначения на службу в Нижний по Крестьянскому банку [1].

Отправляясь в Нижний, город мне совершенно незнакомый, я запасся по пути в Минске рекомендательными письмами от приятелей и товарищей — к литературным и общественным деятелям в Нижнем.

Между прочим, у меня было письмо к А. М. Пешкову от Е. Н. Чирикова [2], в то время служившего в Минске по железнодорожному контролю.

Чириков отозвался об А. М. как об интересном человеке, который поможет мне ориентироваться во многих обстоятельствах и особенностях местной жизни.

Вскоре по приезде я передал письма в редакцию «Нижегородского листка», где в то время главенствовали Н. П. Ашешов и Е. М. Ещин. От них я узнал адрес квартиры А. М.: угол Телячьей и Вознесенского переулка [3].

Ашешов, сообщая адрес, заметил:

— К сожалению, здоровье Алексея Максимовича не в порядке. Похоже на туберкулез легких. Много работал на выставке. Видимо, хватил через силу.

В ближайший праздник после 12 часов я отправился по данному мне адресу. Нашел на Телячьей невзрачный одноэтажный домик, окрашенный какой-то неопределенной краской — не то желтой, не то коричневой, особнячок в одну квартиру.

Это была первая квартира молодоженов, недавно ими нанятая. На звонок мне отворила дверь женщина средних

лет, с пытливо прищуренными глазами. Это была, как потом выяснилось, Федоровна, привезенная из Самары. Видимо, юная хозяйка не очень-то доверяла своей опытности и желала на новом месте иметь надежного человека.

На мой вопрос, дома ли Алексей Максимович, оказалось: «Катерина Павловна встали, а Алексей Максимович встают».

Федоровна провела меня в первую комнату, небольшую столовую. Вышла молодая хозяйка Екатерина Павловна и, узнав, что я хочу видеть А. М., приветливо пригласила меня в боковую комнатушку налево, маленькую гостиную.

— Вам придется немножко подождать: А. М. только еще встает.

Тут я вгляделся в совсем юную собеседницу: волнистые волосы, свернутые на затылке в большой узел, красивые глаза, миловидное лицо. Белая кофточка как-то особенно шла к ней, дополняя общее впечатление свежести и чистоты.

Обстановка мало гармонировала с обаятельной хозяйкой. Турецкий диван, крытый грубоватой дешевой материей, явно подержанный, довольно нелепая кушетка, стол и два-три стула — все сборное, купленное по случаю или у старьевщика.

Как водится в таких случаях, хозяйка сочла необходимым занять меня разговором. Беседа, конечно, вращалась в сфере безразличной, но с удовольствием отмечалась особая простота и естественность, с которыми держала себя эта молодая женщина.

Но вот явился и он — высокий, бледный, с пытливыми светлыми глазами, длинноволосый, с весьма своеобразным лицом, с широкой, но впалой грудью, слегка сутуловатый. Одет он был в светлую косоворотку, стянутую узким ремешком с серебряными украшениями кавказской работы.

Описываю я его одеяние потому, что оно было для него привычным и признанным в течение всего нижегородского периода; меняя только цвета да материю, смотря по сезону, оно было и домашним, и выходным и в этом случае иногда вело к курьезным столкновениям с требованиями светских приличий.

Войдя, он пытливо и выжидательно вгляделся в меня. Я встал и назвался. Подавая мне руку, он закашлялся глухим, затяжным кашлем, потрясавшим все его, казалось бы, мощное тело.

Такой заливистый кашель был мне близко знаком и казался зловещим [4].

— Вот как оно вышло... Это вместо приветствия-то,— сказал он, улыбаясь какой-то виноватой улыбкой.

Я передал ему письмо. Он тут же вскрыл его и прочитал вслух: «От Сладкого к Горькому». Письмо, видимо, было составлено в юмористических тонах, ибо читал он его, улыбаясь порою не то застенчивой, не то снисходительной улыбкой. Я всматривался в его своеобразное лицо. ⟨. . .⟩

С первого взгляда — ничего красивого и значительного нет в этом лице: легкий абрис без дальнейшей ретушевки. Но когда в разговоре оно освещалось внутренним светом мысли и чувства — оно преображалось и, одухотворенное, становилось привлекательным. Особенно привлекательны были глаза — светло-серые, пытливые и вдумчивые.

Началась беседа.

Отвечая на мои вопросы, он меня знакомил с разными особенностями Нижнего и некоторыми нижегородцами.

Опять-таки совершенно новая для меня речь — и по общему тону, и по построению фразы. Совсем «не интеллигентная» и всего менее «литературная». Грубоватая, сильно «окающая», как бы намеренно «простонародная», но остроумная, живая, с меткими сравнениями, образная.

Видимо, и я представлял для А. М. нечто новое. Он пристально вглядывался в меня, как бы изучая. Узнав, что я белорус, он как будто обрадовался этому.

— Вы белорус? Ну вот... ну вот... Вот это хорошо! Хорошо принадлежать к маленькому народу вроде сербов, болгар, хорватов... или вот белорусов. У них все ясно, просто, несложно. Можно все изучить — и природу страны, и жизнь, и прошлое, и настоящее... Тогда легко работать, легко писать — все знаешь. И ты знаешь всех, и тебя знают. Не то что в такой громаде, как Россия, где сам черт ногу сломит. Уж очень она сложна. Всяк в ней находит, что ему хочется: то народ богоносец, удрученный ношей крестной [5], то образа звериного... «власть земли» и — «како жить свято»... «прирожденный социалист» и живодер [6]. Разберись тут...

Я много бродил по Руси, всматривался... Много непонятного... А вот Белоруссии совсем не знаю.

А любопытно. Может быть, вы меня познакомите? А-а... Вы занимаетесь этнографией? Вот это хорошо: весьма кстати. С Ангел Ивановичем Богдановичем [7] вы не в родстве? Однофамильцы? Он из Белоруссии, жил в Ниж-

нем, из ссыльных. Пишет. Богдановичей много, и все пишут.

Вскоре Екатерина Павловна, приодевшись, пригласила нас пить кофе. За завтраком завязавшаяся беседа развивалась все дальше и дальше, быстро переходила с предмета на предмет. Не то чтобы мы решали какие-нибудь вопросы, глубоко их затрагивая, а просто обменивались мнениями, касаясь сфер и литературной, и философской, и общественной, и политической жизни. Это было похоже на то, что мы «примериваемся» друг к другу, осматривая друг друга и с той и с другой стороны. Это было как бы взаимное испытание и, если хотите, исповедание своих взглядов, даже убеждений.

Порою, когда А. М., одушевляясь, возвышал голос, речь его прерывалась резким, порывистым кашлем. Но, справившись с ним, он продолжал далее прерванную речь.

Узнав, что я большой книголюб и привез с собой довольно крупную библиотеку, он повел меня в соседнюю большую комнату, которая служила хозяевам и спальней, и рабочим кабинетом,— показать свою библиотеку.

У стола стояло, бросаясь в глаза, великолепное трюмо на шкапиках, со столом, с ящиками, все из красного дерева, в стиле последних Людовиков. Оно являлось резким контрастом среди сборной обстановки, нечто вроде патриция среди плебса. Конечно, оно переходило из поколения в поколение по наследству и, конечно, привезено из Самары [8].

Рабочий стол писателя был весьма простой, крытый серым «немецким» сукном. Рядом с ним стояла столь же простая этажерка, заполненная книгами. Оба книголюбы, за них-то мы и принялись в первую голову.

Алексей Максимович показал мне трехтомную «Историю религий» архимандрита Хрисанфа, в хороших переплетах — библиографическую редкость, сказав, что этим книгам он придает особое значение [9].

Потом я узнал, почему он так дорожит этими книгами.

Дело не в их научных достоинствах, а в добром и приветливом отношении со стороны их автора к школьнику Алексею Пешкову, в котором никто не подозревал будущего Максима Горького.

Затем он достал целый набор сочинений Шопенгауэра «Мир как воля и представление», «О четверояком корне достаточного основания», «Афоризмы и максимы», два тома в переводе Черниговца. В разговоре выяснилось, что все это

он читал, не исключая и трактата по логике. Относительно «Афоризмов» он сказал:

— Какой красивый язык даже в переводе, сколько образных сравнений, метких замечаний и точных или красочных эпитетов! Полезно читать эти книги для обогащения своего языка.

— Вот тоже,— прибавил он, доставая Библию в синодальном переводе,— целый склад великолепных сравнений и особый строй речи, имеющий свои прелести, вроде: «Что тебе человек, что ты гонишь его», «Что тебе сын человеческий, что ты преследуешь его». Особенно я люблю Книгу Иова,— прибавил он,— в его ламентациях великолепна критика устройства мира, ну, и ответ бога красиво составлен, хотя неосновательен и неубедителен. Есть и псалмы превосходные.— Он раскрыл псалом о миротворении, вынесенный евреями из Египта, и прочитал из него несколько стихов. ⟨...⟩

Он показал несколько книжек по индийской философии (Ольденбург [10], Макс Мюллер [11]), браманизму и буддизму с мудреными названиями. Одну я помню, это была «Сутта-Нипатта» [12]. Показывал еще «Разговоры Гете» его секретаря Эккермана [13].

А затем целый ряд переводов иностранных классиков или выдающихся писателей, изданных как приложения к «Пантеону литературы» Пантелеева [14]. Тут были шведы и норвежцы: Ибсен, Бьернсон, Юнас Ли, Стриндберг; французы: Бальзак, Флобер, Доде, Мопассан, Бурже и еще кто-то. Кое-кто из англичан и немцев, кое-кто из поляков, как Ожешко, Сенкевич.

Этот просмотр давал нам повод для обмена мнениями по разным литературным вопросам.

Помнится, говорили о «Гедде Габлер» и «Дикой утке» (Ибсена), об «Ученике» (Бурже), «Евгении Гранде» и других. Оказалось, что все это уже прочитано и у него есть как насчет писателей, так и насчет их произведений свои собственные суждения, иногда меткие и оригинальные.

Это меня заинтересовало. Я попросил дать мне что-либо из его собственных писаний. Он достал из ящика письменного стола несколько газет и дал мне ту, где была «Песня о Соколе» [15], которую он скромно характеризовал как вещь, написанную ритмической прозой.

Я тут же прочитал вслух эту «ритмическую прозу», и меня поразила смелость и выпуклость идеи этой небольшой вещицы и соответствие формы с содержанием. ⟨...⟩

По вечерам к молодоженам приезжал А. И. Ланин [16], бывший патрон Алексея Максимовича. Тогда появлялась на столе бутылка красного вина и хороший сыр с особым кривым ножом для резания. Наша беседа под мелодичную песню самовара еще более оживлялась, ибо Ланин был хорошим спорщиком и человеком широких общественных взглядов и тонких литературных суждений. Приятно было видеть эту барскую фигуру в енотовой шубе и собольей шапке-боярке в скромной квартире начинающего писателя. Александр Иванович любил поговорить и поспорить, и в разгаре спора он волновался и воодушевлялся как юноша.

А. М. в те годы питал глубокое уважение к этому славному русскому человеку и потом посвятил ему первый том первого издания своих рассказов ⟨...⟩. В то время нижегородская адвокатура блистала выдающимися людьми, но выше всех их А. М. ставил Сергея Сергеевича Баршева и А. И. Ланина.

А. М. хорошо знал многие интересные случаи из адвокатской практики, нередко их передавал мне с присущей ему живостью и картинностью. Надо думать, что из этой практики немало он почерпнул ценных наблюдений, которые впоследствии использовал в своих литературных работах.

Между прочим, для характеристики трех важнейших представителей старой адвокатуры он рассказывал такой случай.

Было предложено А. И. Ланину вести крупное гражданское дело, которое ему представлялось несколько сомнительным не с юридической стороны, а с точки зрения справедливости.

Он пригласил на совещание двух старых товарищей: Баршева и Фольца. Ознакомив их обстоятельно с делом, он поставил на решение вопрос: брать его или не брать? Фольц сказал: «Если дело сомнительное, то почему его не взять? Дело суда разрешить сомнение. Другое дело — если бы оно было несомненно неправым... А много ли дел несомненных?»

Баршев сказал: «Не бери, Саша. Нехорошо защищать сомнительное».

И Ланин последовал этому совету. Он любил говорить про себя: «Я — человек 60-х годов».

Довольно часто наезжал доктор В. Н. Золотницкий, страстный любитель науки и бескорыстный целитель ниже-

городской интеллигенции. Он следил за болезнью А. М. и лечил его. Но температура держалась, и кашель не унимался.

Был приглашен на консилиум специалист по грудным болезням доктор Косарев.

Дело оказалось очень серьезным: и хрипы, и продухи, открытые каверны. Врачи решили: надо ехать в Крым. Это было в начале декабря.

Но Алексей Максимович, снисходительно мягкий с врачами, лекарство принимал плохо, а то и совсем не принимал и, когда Екатерина Павловна и я настаивали на необходимости поездки, брезгливо морщился и ехать не соглашался.

Он хорошо знал Крым и плохо верил в него как в «здравницу».

— Что Крым? — говорил он.— Ничего там нет хорошего. Вся почва проплевана и кишит бациллами. И люди противные. Московские купчихи едут распутничать с татарами-проводниками. А чахоточные только и говорят, что о своем драгоценном здоровье: какая температура, сколько весу прибыло. Дрожат над ним, как скряги над деньгой. Противно,— кончил он с гримасой отвращения.

И тут же переводил разговор на какое-нибудь воспоминание из своих крымских впечатлений. Он сознавал серьезность своего положения, но жизнью не дорожил.

В другой раз, возражая на мои убеждения, что ехать надо, он говорил:

— Ехать — надо деньги, а денег нет.

Деньгами он всего менее дорожил, и много ли он их зарабатывал или мало — все равно они быстро таяли, и, в сущности, их всегда не хватало.

В данное время материальное положение молодой четы было далеко не блестящим, особенно если принять во внимание, что ни мужу, ни жене не была свойственна расчетливость. ⟨...⟩

Я, по обыкновению, бывал у Пешковых ежедневно вечерами. Часто собирались А. И. Ланин и С. В. Щербаков [17] или Щербаковы, а иногда заезжал В. Н. Золотницкий.

Это были незабываемые вечера по той дружеской и любовной атмосфере, которая прочно водворилась в нашей маленькой семье, так хорошо сложившейся. С чем их срав-

пить? В сущности, это была маленькая академия по типу братьев Гонкуров [18]. Все люди высокообразованные и притом разных специальностей. Начиная с хозяина, который интересовался всем, но особенно силен был в литературе, поражал тонкостью и меткостью суждений по поводу разных авторов и их произведений. Щербаков — строгий ученый в области естественных наук, а главным образом астрономии и физики, следивший за всеми новейшими открытиями и питавший в этой сфере наше любопытство отборным материалом и в бесподобном изложении. Речь его была так красива и образна, что А. М., сам мастер образного слова, особенно в афористической форме, нередко удивлялся живописности его эпитетов, красоте и меткости его сравнений.

А. И. Ланин, с красивым и породистым русским лицом тургеневского типа, уроженец русского севера, из некогда староверческой семьи, родной племянник известного откупщика и строителя железных дорог Кокорева, воспитанник Московского университета, высокообразованный юрист, материалист по философским убеждениям и гуманист до мозга костей по свойствам своей мягкой натуры, может быть, был самым колоритным персонажем нашей семьи. ⟨...⟩

Таков был состав основного ядра этой «горьковской академии».

Впоследствии это ядро разрасталось и обрастало новыми членами, но основа оставалась постоянной и неизменной во весь нижегородский период.

Легко себе представить, о чем велись беседы в этой компании за чайным столом Екатерины Павловны, всегда отменно гостеприимной и любезной.

Конечно, обо всем, на самые разнообразные темы. Начиналось со злободневных вопросов, а затем, по какой-нибудь связи, переходили к вопросам более общим и принципиальным, и беседа вздымалась на такую теоретическую и идейную высоту, что сделала бы честь любому провинциальному ученому собранию, впрочем, без нарочитой чопорности и сухости ученых обществ.

Здесь все было непринужденно, открыто, нараспашку, «по душам». Споры отнюдь не отличались характером академической сдержанности: напротив — были оживленными, сверкали остроумием и смелостью мысли, а когда противник задевал за живое или ловко подмечал уязвимое место и туда направлял меткие удары,— тогда спор

принимал характер страстный и вздымался до патетических вершин.

Элемент страстности вносили все, кроме, впрочем, В. Н. Золотницкого, более сдержанного и уравновешенного, которого легко было смутить, сославшись на мнение какого-нибудь знаменитого «профессора».

Очень жаль, что никто из участников не вел записей этих бесед (так мало их ценили!): были бы записи куда оживленнее и, пожалуй, интереснее довольно бесцветных гонкуровских.

Но, по обстоятельствам времени, это было бы слишком рискованно: найди их при обыске жандармы, кое-кому не поздоровилось бы — и в первую голову А. М.⟨...⟩

Состояние здоровья А. М. по выходе из тюрьмы [19] внушало опасения всем близким и врачам, и потому было возбуждено ходатайство перед министром внутренних дел о разрешении поездки в Крым на осень и зиму. Разрешение было дано, с тем что А. М. остается под гласным надзором полиции и весной 1902 года обязан возвратиться в Нижегородскую губернию в гор. Арзамас, назначенный ему для временного проживания под надзором полиции.

Нижегородская либеральная и радикальная интеллигенция, которая небезучастно следила за всеми перипетиями истории с арестом, решила воспользоваться предстоящей поездкой, чтобы более живо выразить свои симпатии писателю.

По инициативе, возникшей в кругу присяжной адвокатуры, журналистов и земцев, было решено устроить в честь его банкет — форма чествования, единственно в то время мыслимая и возможная,— конечно, с разрешения полиции, которая, надо думать, не без опаски дала это разрешение.

Для банкета была выбрана большая зала в ресторане на Рождественской, в доме Блинова. Чтобы сделать банкет общедоступным, плата была назначена невысокая, кажется, по 1 рублю с участника.

Банкет состоялся вечером 6 ноября 1901 года, накануне отъезда. Обширная зала была кругом уставлена столами и оказалась переполненной. Весь цвет либерализма был налицо. Но много было народу (и мужчин, и женщин), которые обычно держались особняком, в своем замкнутом кругу. Это были местные радикалы — «серые» и «седые», как

у нас первоначально называли эсеров и эсдеков. Все это люди малоизвестные — служащие земства, разных частных обществ, которыми был так богат Нижний, а также студенты, курсистки. Они заняли отдельные столы по окраинам, видимо, группируясь свой к своему.

Один из остроумцев, Г. Р. Килевейн, обозревая группировки, сказал, указывая на центральный и окраинные столы: «Это жирондисты, а это сплошь монтаньяры. Достанется от них когда-нибудь жирондистам» [20].

А. М. увлекли за срединный стол к «жирондистам», где разместились отборные либералы: земцы, адвокатура, врачи и т. п.

Чествование началось с поднесения адреса, написанного и прочитанного присяжным поверенным А. В. Яворовским, блестящим оратором, хорошим стилистом. Адрес был составлен в тоне писаний А. М., вернее, был скомпонован ловко из отрывков и цитат, взятых из его произведений с лейтмотивом: «Безумству храбрых поем мы славу». Чтение адреса было покрыто долго не смолкавшими аплодисментами.

Но вот встает оратор «Горы» Колосов — большой поклонник и популяризатор Н. К. Михайловского, недавнего «властителя дум» молодого поколения. Он произнес горячую речь, которая явилась как бы ответом на адрес, составленный «жирондистами». Она также цитировала произведения писателя, но была построена на тему «Рожденный ползать — летать не может», то есть явно в пику «жирондистам». Речь вышла далеко за пределы цитат. Она клеймила насилие, которому подвергся писатель, она звала к смелому протесту, к отпору, к сопротивлению... Речь горячая, резкая, убежденная. Она возбуждала, волновала — и не могла не волновать. И прежде всего взволновала Алексея Максимовича: он слушал напряженно, с нахмуренными бровями и с краской на лице.

Тон был дан. А дальше пошло как бы состязание между «жирондистами» и «Горой». Речь из «центра» — красивая, иногда изысканная — вызывала отклик среди «монтаньяров» в повышенных, резких тонах.

А. А. Савельев, председатель губернской земской управы, шутливо заметил, обращаясь к соседу:

— Где мы сегодня ночевать будем?

После речи Колосова и других А. М. сделал знак, что хочет говорить.

— Говорить я не умею,— сказал он,— а в ответ на те

речи, которые я слышал здесь, я прочту вам свой последний рассказ.

— Просим, просим! — закричали кругом.

Развернув рукопись, он, взволнованный, но твердый и решительный, начал читать, изредка вскидывая глазами на слушателей, словно желая убедиться, какое впечатление производит рассказ. Рассказ назывался «О писателе, который зазнался».

Рассказ был написан в риторических тонах, вроде его же «Человека», но в обличительном духе и явно был направлен против интеллигенции, которая-де только болтает, а ничего не делает.

Впечатление от чтения, разумеется, было разное: «монтаньяры», не принимая сатиры на свой счет, неистово аплодировали, а «жирондисты» отнеслись очень сдержанно и, видимо, были недовольны таким ответом на их приветствия.

Когда уже встали из-за столов и разбились на группы, обмениваясь впечатлениями, А. М., видимо, в приподнятом настроении подходил то к одной, то к другой группе и принимал участие в разговоре, отвечая на задаваемые вопросы. Одна девица сказала ему:

— Что это, А. М.: мы вас чествуем, а вы нас ругаете?

Он ответил:

— За дело. Или, вернее, за безделье.

Только к часу ночи участники разошлись по домам.

На следующий день должен был состояться отъезд А. М. с семьей.

Так как Ока только что стала и переправа была еще не вполне безопасной, то было решено переправиться засветло, днем. Так и сделали. Поезд отходил в 6 час. вечера, а мы выехали в час дня и обедали на вокзале.

К 5 часам вокзал начал наполняться не столько пассажирами, сколько учащейся молодежью обоего пола. И вчерашние «монтаньяры» были почти все налицо. «Жирондисты» отсутствовали.

Зал густо наполнился молодежью. Среди молодежи шныряли два жандарма, почуяв, по-видимому, демонстрацию. Но их было только два. По случаю праздника архистратига Михайла, избранного патроном жандармов и городовых, все блюстители порядка отправились ко всенощной: некому было «тащить и не пущать» [21].

Но вот двое молодых людей, войдя в ресторан, где сидел А. М. вместе с семьей и провожавшими, попросили

его пройти в зал: собравшаяся молодежь хочет с ним проститься.

Когда он вышел, молодежь его плотно окружила, и какой-то реалист стал читать прерывающимся голосом адрес.

— Смелее, Ваня! — крикнули сзади.

Голос чтеца окреп, и он твердо дочитал до конца адрес, составленный в духе вчерашних «монтаньярских» речей.

По тогдашнему времени это был подвиг.

Пока читали адрес и пока А. М., поцеловавшись с оратором, коротко отвечал на него, из толпы — то в одном, то в другом месте — фонтаном взлетели ввысь прокламации, сложенные треугольниками, как салфеточки. Публика подбирала их, а жандармы полюбопытствовали, но никаких шагов противодействия не предпринимали: видимо, были застигнуты врасплох.

Но кто-то из охранников догадался: преждевременно дан был первый звонок к отходу поезда, вслед за ним, с очень коротким перерывом, второй... Поднялась суматоха. Толпа демонстрантов, увлекая с собой А. М., с пением «Отречемся от старого мира» стала тесниться к выходу.

Екатерина Павловна и я, с детьми на руках [22], стали пробиваться туда же. Демонстранты с пением, тесно окружая А. М., прошли вдоль перрона до самого паровоза; затем, видя, что дальше идти некуда, повернули назад — и тут А. М. присоединился к своим и попал наконец в вагон.

Два жандарма стали около подножек.

А. М. обратился к демонстрантам с прощальными словами, но третий звонок заглушил его голос. Свисток — и поезд тронулся под крики:

— Да здравствует Максим Горький! Долой насилие! Да здравствует свобода! ⟨...⟩

# В. А. ДЕСНИЦКИЙ

## ИЗ КНИГИ «А. М. ГОРЬКИЙ»

Первая встреча моя с Алексеем Максимовичем относится к самому концу 1899 года. Уже тогда популярность его росла с каждым днем. ⟨...⟩

Жил он в то время на Полевой улице, в самом ее конце, у Арестантской площади, в небольшой квартире, помнится, комнат из трех, во втором этаже [1]. Пришел я к нему перед обедом, и не только в комнатах, но еще и на лестнице стоял невероятный чад, признак несомненного благополучия, собственной кухни и семейного уклада.

Совершенно не помню, как и о чем начали мы говорить. Смущал меня злосчастный сюртук, внимательный взгляд Алексея Максимовича, всегда сдержанного при первой встрече с незнакомым человеком; еще более смущало общество, особенно сама хозяйка дома, Екатерина Павловна, добрейшей души и простой человек, которой я еще долго-долго побаивался, считая ее за важную и неприступную даму.

Надо полагать, начал я неуклюжими сообщениями о вечере [2]. Осторожным взглядом Алексей Максимович обозрел не только мой великолепный сюртук, но и остальные части костюма, вплоть до требовавших ремонта башмаков, и я несколько успокоился: по затаенной добродушной улыбке его я почувствовал, что нежелательных и опасных для меня выводов «социального» порядка он не сделал.

В памяти от первого посещения осталось впечатление, что это была не случайная, мимолетная встреча, а продолжение, возобновление давно уже твердо установившихся товарищеских отношений с прекрасным человеком. И еще осталось, притом навсегда: изумительная способность

Горького увлекаться, его агитаторский восторженный пыл, мастерство заражать своими увлечениями всех, кто с ним соприкасается.

В столовой, куда провел меня Алексей Максимович, всюду были набросаны распотрошенные книжки, альбомы, разрозненные номера еженедельных и месячных русских и иностранных иллюстрированных журналов. Все сидевшие в комнате были вооружены ножницами. Вскоре и у меня в руках оказались ножницы, несмотря на мое книголюбческое отрицательное отношение к такому занятию. Началось увлекательное посвящение новичка в таинственное и, с первого взгляда, преступное общее дело.

Алексей Максимович, особенно в молодые годы, был чрезвычайно конфузлив при встречах со всякими новыми людьми; это милое смущение, которое так привлекало и трогало хорошо знающих его, осталось в нем и позднее, хотя он и думал, что разглаживанием усов придавал себе совершенно уверенный и независимый вид. Но когда он был увлечен чем-нибудь, тогда все смущение его исчезало. А кроме длительных и постоянных, у него всегда налицо было несколько очередных, более или менее скоропреходящих увлечений. К числу последних принадлежало и то, которым он заражал окружающих при нашей первой встрече.

Не знаю, кому принадлежала самая идея прийти на помощь сельской школе этим путем, но убежден, что никто в ту пору не загубил такого количества иллюстрированных изданий, как Горький. Вырезывались картинки всякого содержания: портреты исторических лиц, деятелей науки и искусства, виды разных местностей, жанровые сценки, снимки с известных картин; естественно-научные — звери, птицы и т. п. Вырезки снабжались соответственными подписями, затем из них составлялись альбомы, которые и должны были рассылаться по школам.

Основное в этих самодельных пособиях Алексей Максимович видел не в их возможностях эстетического воспитания школьников. Для него на первом плане были задачи просветительного, образовательного порядка.

— Ведь они ничего не видели... А тут и города, и реки, далекие страны... Увидят замечательных людей, захотят узнать, что они сделали. Вот...

Не думаю, чтобы это увлечение Алексея Максимовича было длительным. Слишком не в его характере часами сидеть, стричь, клеить, классифицировать. И, разумеется,

только горячий просветительский задор, неутомимый активизм привел его к такому «варварскому» уничтожению книг — ведь он так влюблен был в книгу, так высоко ценил достижения человеческого труда и мысли, так озабочен охранением культурных ценностей. И когда я в своем книголюбческом ригоризме указал ему на сомнительность такой азартной стрижки книг, выразил недоумение — не лучше ли посылать в школы цельные книжки, соответственно подобранные,— Алексей Максимович добродушно ответил: «Не наберешь, сколь нужно, да и мало хороших книг; а режем мы ведь ерунду разную, хороших не режем...»

В этом его увлечении было столько заражающей настойчивости, столько горячей любви к далеким и неведомым сельским ребятам, которые при свете керосиновой коптилки с жадностью будут познавать дотоле им не ведомое...

Сохранился ли где-нибудь хотя один альбом, составленный тогда Горьким? Едва ли. Тогда пусть мое воспоминание об одном из его многочисленных начинаний даст право современным педагогам, сторонникам наглядности, зачислить М. Горького в число своих учителей и предшественников.

На вечер наш Алексей Максимович пришел, а на других отказался читать. В своих организаторских хлопотах (буфет, артисты, полиция, оркестр) я носился из этажа в этаж, из комнаты в комнату громадной гостиницы «Россия». Поднимаясь по лестнице, почти натолкнулся на Алексея Максимовича, который одиноко стоял у перил, исподлобья оглядывая суетившуюся публику.

— Вот я пришел,— встретил он меня.

Что и как читал тогда Алексей Максимович, мне слышать не пришлось. Но хлопали ему при выходе и после чтения зло и настойчиво, до одеревенения ладоней, как умела аплодировать студенческая молодежь кануна 1905 года тем, кого она любила. А Горького нижегородская молодежь любила и гордилась им уже и тогда. ⟨...⟩

Припоминаю наши дальнейшие, уже дружеские, товарищеские встречи с Алексеем Максимовичем. Жил он на Ковалихинской площади, в деревянном доме Киршбаума по Мартыновской улице, на углу, во втором этаже [3]. В начале 900-х годов, до окончательного отъезда его из Нижнего, эта квартира с ее высокими, светлыми комнатами стала тем центром, к которому стягивались все нити обществен-

ной, культурной, художественной жизни города. Горького в городе знали уже все, начиная с босяков и зимогоров [4] нижней, приволжской части города и кончая властями, светскими и духовными. Но отношение к нему не было таким единым по чувствам, как к В. Г. Короленко. Было, конечно, кое-что и общее. Это интерес и архиерея, и канцеляриста полицейского управления, и губернатора, и ночлежника Бугровского «университета» (ночлежный дом на Нижнем Базаре имени Н. А. Бугрова) [5] к оригинальной и резкой в своих выявлениях личности писателя, поднявшегося с низов до «знаменитости», до большой общественной и культурной значимости. Но и только. В остальном — резкое различие. Одни горячо любили и уважали, другие ненавидели. И это было хорошо. Стиралась в общественной жизни города та серая пленка мещанского, застойного, ничем не тревожимого благодушия, которая лежала на любовно-почтительном отношении всех и каждого к гуманному «внеклассовому» В. Г. Короленко [6].

Нижний Базар гордился М. Горьким как «своим», как выходцем и представителем «дна», который и на вершине социальной лестницы, в обстановке материального благополучия, не забыл своего прошлого, не потерял отзывчивости даже и к воровскому пьяному горю. Ценил его нерассуждающую щедрость, добродушно-грубоватое ласковое слово. И уже нередко можно было слышать, как пробравшаяся на Верхневолжскую набережную небритая личность пропойцы с Миллионки, косясь на зазевавшегося полицейского, обращалась к проходившему студенту или студентообразному интеллигенту: «Пожертвуйте, коллега, на построение косушки во имя Максима Горького...» Иногда в сакраментальную формулу российского нищенства, в которой место Христа занял Максим Горький, радикально настроенный проситель слово «косушка» заменял «револьвером» с аргументацией — на подлецов министров. Особенно для волосатых, мрачно и решительно настроенных интеллигентов.

Нет нужды говорить об отношении к Горькому учащейся радикальной молодежи, рабочих, хотя бы слегка прикоснувшихся к общественности.

Гордились Горьким и разных рангов волжские краевые патриоты, влюбленные в Волгу, в свой город, верившие в особую красоту и силу души простого русского человека. Эти своеобразные «славянофилы», воплотившиеся ныне в тела и души многочисленных и разноликих краеведов,

населяли тогда преимущественно средние этажи государственных и общественных учреждений, заседали в архивных комиссиях, в редакциях провинциальных газет, комбинировали в статистическом бюро по-разному приметы российской нищеты и купеческого богатства. Им льстили встречи с блестящим «самородком», льстила гордая речь писателя о природе, о сильном человеке, приятно щекотало их ущемленное самолюбие горьковское неприятие дворянского барства, надутой, «высокой» интеллигентности.

Тянулись к Горькому и начинающие таланты всякого рода: актеры, певцы, художники, музыканты, писатели — поэты и прозаики... Всем им радостно было хоть на минуту согреться в лучах славы человека, в судьбе которого — с основаниями, с правом или без оного, будущее покажет,— они хотели видеть и свой завтрашний день. И все они знали, что у Горького найдут и ласковое слово, дружеское одобрение, помощь и поддержку всякого свойства; и всем им страстно хотелось именно от Горького услышать первое признание их прав, их надежд на будущее.

Большой интерес проявляла к чудно́му человеку и нашумевшему писателю и та часть местной промышленной и торговой крупной буржуазии, которой — уже несколько приумывшейся и причесавшейся на европейский лад, но оставшейся «русской»,— начала надоедать дворянская исключительность и русской власти, и русской официальной культуры.

Иное отношение к Горькому было в правящих верхах нижегородского общества. Умирающее дворянство, замкнувшись в раковину хорошего тона и светских приличий, ненавидело и боялось в то же время человека, который спокойно и гордо носил свою черную рубашку, который походя плевал и на них, и на всю их чванливую и пустую культуру [7]. Их ненависть к человеку с длинными волосами и в рубашке — вчера еще ходил совсем без рубашки, а так зазнался! — разделяли и отцы духовные высокого ранга, видевшие в нем возмутителя и бунтаря, и внесословные люди «высокой интеллигентности», дряблой и бездейственной, которую так зло и обидно бичевал «безграмотный выскочка».

А для властей наблюдающих и охраняющих, чинов общей жандармерии, железнодорожной, охранки, полицейских начальствующего состава,— полицейским уличным было не чуждо чувство не только интереса, но и уважения и любви к хорошему человеку.— Горький был самым бес-

покойным, надоедливым жителем города, за которым требовалось неусыпное наблюдение многочисленных глаз.

Надзор за ним проводился в самых разнообразных формах. Его почтительно ели глазами чины общей полиции; охраняли все пути жизни писателя бравые жандармы, переодетые и в полной форме; тоскливо созерцали окна его квартиры и людское движение вокруг нее жалкие филеры, стыдливые любители несуществующих небесных явлений и красот природы; днем и ночью восседали они на тротуарных тумбах, загадочно и невразумительно шмыгали в подворотнях соседних домов; внизу на площади у Ковалихи, против дома Распопова, стоял великолепный лихач, всегда готовый к услугам щедрого ездока с горы, причем за посадку в «очередь» интересного седока упрямый рядовой «ванька», неслужилый, мог познакомиться и с полицией; настойчивые шпики под разными обликами пытались проникнуть и в самое жилище писателя.

Но вся эта весьма расчлененная многообразная слежка, которая значительно уменьшила безработицу в городе (ведь сколько шалопаев получало по 40—60 копеек в день за праздное гранение мостовых), в сущности, не давала положительных результатов. Бедные филеры совсем не могли разобраться в бесконечной веренице посетителей опекаемой квартиры, не умели выделить из тучи неинтересных, с жандармской точки зрения, людей сто́ящих гостей, «матерых», чтобы повнимательнее проследить и осветить именно их.

Для характеристики сыска тех времен приведу курьезный случай, в котором Алексей Максимович был действующим лицом, притом весьма решительно действующим. Приезжая в студенческие годы в Нижний, я жил у брата, земского служащего, на квартире по Мартыновской улице, на углу той же Ковалихинской площади, только внизу, а Горький вверху. Из окон его столовой прекрасно видны были и моя квартира, и выходившие из нее, и все конное и пешее население площади, передвигавшееся по ней в разных направлениях. Однажды утром вышел я из дому вместе с банковским чиновником, квартировавшим у брата. Этот чиновник, весьма плюгавенькая личность, пьянчуга, невероятный пошляк, благонадежный сверх всякой меры, обратил на себя благосклонное внимание одного из филеров как спутник поднадзорного. Он решил проследить и устремился за нами, соблюдая указанную инструкцией дистанцию. Это видел из окна Алексей Максимович, предположил, что идет со мной новый для города человек,

может быть ценный приезжий революционер; похабной, явно благонадежной рожи Митеньки издали, конечно, разглядеть не мог; о том, что я особенно любил выходить из дому и двигаться по улицам с такими доброкачественными людьми, он в ту пору не знал. И вот Алексей Максимович, чтобы спасти нового, ценного человека, выбежал на площадь и решительно затребовал филера к себе на квартиру. Тот подчинился властному зову и покорно последовал за Горьким. Дальше — я плохо помню — последовало уже нечто совсем несуразное для престижа организованного и сурового наблюдения. Горький, задержав своего гостя и дав нам возможность удалиться, отослал глупого филера с письмом к «тем, которые вас здесь поставили»; в письме было написано нечто «о дураках, которые» и т. п. И письмо дошло по назначению; исполнительный соглядатай был выгнан со службы. ⟨...⟩

Были, впрочем, у Горького и почитатели в полицейской среде, и не только из нижних чинов. Так, один пристав — не помню его фамилии — посещал Алексея Максимовича в тихие ночные часы, плакался ему на невзгоды полицейской службы, обнажал свои «истинные чувства и убеждения» и, кажется, добросовестно сообщал, что знал и мог узнать из области наблюдения за революцией и нижегородскими революционерами, предупреждая о предстоящих обысках, впрочем, так же добросовестно принимал и мзду за свои полезные услуги. От него ли или из другого источника поступали к Алексею Максимовичу списки лиц по Нижнему (охранки, жандармского управления), которые так или иначе казались политически не вполне благонадежными и за которыми был учрежден негласный надзор. ⟨...⟩

Жил Алексей Максимович в нижегородские годы широко и открыто. А так как интерес к нему был повышенный в самых разнородных кругах, притом нередко проявлявшийся с большой назойливостью, с которой Алексей Максимович не всегда умел бороться, то трудно даже и представить, как он ухитрялся находить время для работы, для своих обширных чтений. Всегда были у него посетители, от которых редко и с трудом удавалось избавить его деликатной Екатерине Павловне даже в часы спешной и упорной работы. Квартира Горького была своего рода клубом, куда сходились местные и общероссийские новости,

и общественно-политические и художественные, где горячо обсуждались события русской жизни, разнообразные проекты.

Наиболее близкими сердцу Алексея Максимовича посетителями были, несомненно, представители писательской, художественной среды, у которых был талант, свое свежее слово. Я не знаю никого из русских писателей, у которых бы в такой степени, как у Горького, были бы развиты любовь и уважение к писательскому «ремеслу», чуткое внимание и бескорыстный интерес к собратьям по профессии.

Писательство для Горького — общественное служение в точном и грозном смысле этого слова, значительное, важное, ответственное. Быть писателем, писателем талантливым и честным,— это, выражаясь языком самого Горького, звучит гордо, но и обязывает в то же время. Высоко расценивая деятельность писателя, ее громадное значение в строительстве культуры, Алексей Максимович всегда «соблазнял» сталкивающихся с ним людей писать и писать, если находил у них интересный материал, образное слово, новый взгляд на вещи. Агитационный пыл у него в таких беседах был всегда выдержанный и длительный, упорный. И он по-детски радовался, когда соблазненный делал первые успешные шаги. А потом, правда, вступали в силу суровость и требовательность к собрату.

Требовательный и строгий к самому себе как к писателю, он был суров и в отношении к другим. Мягкий и терпимый, снисходительный к людям вообще, внимательный старший брат и друг для начинающих писателей, к писателям, уже определившимся, ставшим на ноги, он предъявлял высокие требования и часто бывал суров и беспощаден, причем требовательность его простиралась не только на чисто техническую сторону писательского делания. Он не любил неряшливости, спешности в работе, небрежности, требовал уважения к форме и языку, тщательной работы над ними, любви к материалу и к своему труду, но он требовал от писателя и еще многого. Писатель должен быть вполне грамотным, широко образованным человеком. Ценя талант, он не понимал, как может писатель не знать своего «дела», не знать лучших его мастеров, своих предшественников, не учиться у них. Великолепно зная мировую и русскую литературу, зная последнюю не только по собраниям сочинений, по отдельным изданиям, но и по журналам старым и новым (помнил единичные рассказы и

стихотворения малоизвестных и забытых писателей, позднее нигде не перепечатанные), он искренне удивлялся и отказывался понять, когда встречался у писателя с равнодушием или с сознательно отрицательным отношением к книге вообще и к художественной в частности.

Так, он многократно недоумевал перед лицом феноменальной литературной да и общей необразованности Л. Андреева, высоко расценивая его талант. Припоминается комически недоуменное выражение лица Алексея Максимовича во время его беседы с немецким лириком Р.-М. Рильке... ⟨...⟩ Беседа велась на Капри через переводчицу, М. Ф. Андрееву. На все вопросы Алексея Максимовича, знает ли гость того или другого писателя из немецких, французских — речь шла о современной литературе,— Рильке неизменно отвечал: с этим встречался раза два, с таким-то незнаком, тот прислал мне свою книгу, этот великолепный человек, мы с ним друзья и т. п. Алексей Максимович, раздражаясь от невозможности понимать и быть понятым без помощи посредника — переводчицы, настойчиво требовал от Марьи Федоровны: да ты спроси его, читал ли он произведения этих великолепных его друзей. Ответы получались такие, что приводили его в явное недоумение и даже некоторое, видимо, уныние; нет, не читал; это не моя область; он не прислал мне книги и т. п. Ограниченный в данном случае языковыми возможностями и необходимостью быть сугубо любезным к иностранному гостю, в отношении русских писателей, проявлявших равнодушие к литературе, Алексей Максимович был безжалостен. Из тех же каприйских лет Горького вспоминаю нашу беседу с беллетристом К.; самое живое участие в беседе принимал еще и А. В. Амфитеатров, прекрасно знавший русскую литературу. Раздражение Алексея Максимовича усиливалось еще тем, что К., выпустивший уже несколько книжек своих произведений, получил высшее образование, окончил историко-филологический факультет. И вот К. весьма развязно вещал, что он не знает и не считает нужным знать Л. Толстого, Достоевского и других, что ему как писателю и не нужно это, что у него все свое. Отчитан он был весьма сурово, безжалостно, с полным знанием дела.

Требовал Горький от писателя и бережного отношения к общественности. Он не говорил о партийной определенности, но элементарная общественная честность, традиции передовой русской литературы, ненависть к произволу — это, по глубокому его убеждению, было обязательно для

каждого уважающего себя писателя. Отсюда его разрывы дружеских связей с людьми ему близкими и дорогими, талант которых он ценил чрезвычайно высоко: с Л. Андреевым [8] в годы империалистической войны, неоднократные охлаждения и расхождение с Шаляпиным [9], прекращение отношений с Амфитеатровым [10] и другими.

Частыми гостями и посетителями Горького в нижегородские годы были из писателей с именем: Л. Н. Андреев, Скиталец (С. Г. Петров). Последнего Горький, можно сказать, создал как писателя; заботился о нем, как о ребенке, доходя в своих заботах до мелочей не только в области писательского дела, но и во всех сторонах его жизни: боролся с непривычкой начинающего к упорному труду, с его пристрастием к веселому зеленому змию. И разумеется, не Алексея Максимовича вина, что Скиталец в сущности дальше «Октавы» не пошел, оставшись в литературе с именем одного из писателей школы М. Горького, одним из самых ранних его учеников. В числе многочисленных посетителей Горького Скиталец представлял яркую, колоритную фигуру: громадный рост, певческая шевелюра, форменный костюм по Горькому, голос, рыкающий в разговоре и прекрасный в пении с аккомпанементом гуслей.

Леонид Андреев даже в годы полного разрыва с Горьким не иначе как охотно и с любовью вспоминал, что по каменистой тропе литературной славы его вела внимательная и нежная рука «Алексея». Вспоминается мне беседа с ним в день похорон жертв революции на Марсовом поле в 1917 году [11], когда он с грустью говорил мне, издали глядя на Горького: вот жизнь так скверно сложилась, разошлись, а как жаль...

Нежный в отношении к Андрееву, Алексей Максимович был чуток и бережен к его здоровью. Пытался, правда, далеко не всегда успешно, воздействовать на него в этом направлении, бороться с его злыми демонами душевного распада и уныния.

С Е. Н. Чириковым, жившим в те годы в Нижнем, надлежащие отношения, желательные для Алексея Максимовича, не установились. Но вина в этом, во всяком случае, лежит не на Горьком. У Чирикова, и тогда уже «старого» писателя с именем, общественника с некоторым прошлым, была своя среда, свое бытовое окружение, поклонники и поклонницы. И не столько его самого, сколько вот это «окружение» раздражал феноменальный рост популярности Горького как писателя и как человека, отсюда

недоумение — почему везде на первом плане М. Горький, а не Е. Чириков...

Кроме названных, в квартире Горького всегда можно было встретить очередных начинающих писателей — и местных, и заезжих. К ним отношение Алексея Максимовича всегда было — таким и оставалось — исключительно внимательным.

Ящики письменного стола у Алексея Максимовича всегда полны были писем, рукописей начинающих писателей. Слали их Горькому со всех концов обширной земли русской.

Бывал в нижегородские годы у Горького и один партиец, социал-демократ, тоже начинающий писатель, ранняя неожиданная смерть которого болезненно огорчила и нас, его партийных товарищей, и Алексея Максимовича, его руководителя в творчестве. Я говорю об Яровицком, имя и отчество которого теперь не могу вспомнить. Не уверен точно, был ли он членом нижегородского комитета партии, но в работе его Яровицкий принимал видное и деятельное участие. Для заработка он работал в местной газете «Нижегородский листок», заведовал отделом «газетных вырезок», получая за это, помнится, около сорока рублей в месяц. Горький усиленно побуждал его вплотную заняться литературой; несколько его рассказов было уже напечатано. После смерти Яровицкого Алексей Максимович долго носился с проектом издания сборника его памяти, в который должны были войти и художественные произведения умершего товарища [12]. ⟨...⟩

...И днем, и вечером, до поздней ночи, квартира Алексея Максимовича была заселена посетителями, по преимуществу молодежью. Большею частью эта молодежь была проходная, переменная. Одни исчезали, появлялись другие. Молодежь притягивал к себе Горький не только своим именем, не только отзывчивостью на всякое общее и личное дело. В квартире писателя всегда можно было узнать новое и в области фактов, и в области мысли, можно было услышать прекрасную музыку, хорошее пение. И главным образом привлекал всех к себе сам Горький многогранностью и блеском своей личности, как удивительный собеседник, увлекательный рассказчик. Слушать его рассказы можно было без конца, когда удавалось навести Алексея Максимовича на воспоминания о себе, о тех бесчисленных больших и малых людях, которых он знал в своей жизни.

В часы утомления от сутолоки, от неприятных посетителей или когда ему нужно было работать или хотелось с кем-нибудь уединиться в разговоре, Алексей Максимович спасался из общих, клубных комнат в свой кабинет. И думаю, что для многих и многих часы дружеского общения с большим и прекрасным человеком в его тихом кабинете на Ковалихинской площади останутся радостным светлым воспоминанием на всю жизнь, особенно если эти часы пали на их жадную молодость.

В такие часы зародилась и окрепла наша дружба. Для Алексея Максимовича я был первым вполне оформившимся социал-демократом, большевиком, теоретиком и практиком, с которым он мог свободно выяснять свои теоретические «недоумения». Через меня он вплотную до мелочей подошел к жизни местной революционной организации пролетариата. Подкупали его моя юношеская жадность к литературе, искусству, сознательное и в то же время критическое отношение к его писательской деятельности, никогда не переходившее в слепое преклонение пред чудесным талантом.

Меня же на всю жизнь взяла в плен исключительная сила личности гениального писателя, который не только создавал прекрасные произведения, но и умел прекрасно жить. Его мысли и чувства, его восприятие природы, отношение к людям, их страданию и радости, несгибаемая воля к борьбе, к творчеству всегда выпрямляли, поднимали всех тех, кто входил в близкие с ним отношения. Непосредственное соприкосновение с творческим процессом великого художника в долгие часы, когда он читал свои произведения, волнуясь и ожидая дружеского приговора, или рассказывал эпизоды своей красочной и поучительной молодости, неизмеримо укрепляло радостную веру в человека, повышало требования и к самому себе.

В отношении же к личной жизни своих друзей Алексей Максимович был внимателен и деликатен: как умная нежная женщина. ⟨...⟩

В нижегородские годы Алексей Максимович уже болел этой страстью собирательства. «Восточного» уклона (собирание предметов восточного искусства — китайского, японского, иранского), характерного для Горького второй революции, в ту пору еще не было. В своих собиратель-

ских увлечениях он был последовательным «русофилом» и свое внимание направлял на книгу и картину.

Результатом тогдашних увлечений его в области русской живописи являются те картины, которые как дар М. Горького вошли в состав собрания Нижегородского художественного музея. Не могу дать перечня картин, помню, что были картины таких художников, как Левитан, Васнецов, Маковский, Рущиц и другие [13].

Другое увлечение Горького, которому он отдался с большей страстностью, чем картинному,— это книга. К книге вообще Алексей Максимович проявлял невероятную жадность, как к продукту своего постоянного массового потребления. Трудно даже представить себе, как он ухитрялся при широкой его отзывчивости на письменные и устные людские отклики, при обширной литературной продукции и многообразно разветвленной общественной деятельности проглатывать такое большое количество печатного материала. Нужно учесть при этом, что жаден он был не только к литературе художественной, но и к научной книге разных областей и специальностей. Ничто новое в области мысли и культуры не проходило мимо него. Естественно, что создавшиеся в ту пору благоприятные материальные условия он использовал в самых широких размерах.

Все новое, интересное, выходившее на русском языке, можно было найти в его библиотеке. Но жадности владельца-скопидома к этой новой книге он не проявлял, скорее наоборот — страдал вредной для него самого расточительностью. Раз книга прочитана им, ее мог брать и уносить кто угодно. Если же книга Алексею Максимовичу понравилась, тогда он действовал как пропагандист и агитатор, усиленно расхваливая ее достоинства и рекомендуя для обязательного прочтения. Результат получался тот же: книга выносилась из квартиры и почти всегда, в силу злых и устойчивых навыков российского интеллигента, безнадежно пропадала для владельца. И нередко Алексей Максимович по тому или иному поводу заговаривал о какой-нибудь книге, пытался найти ее для справки или для иллюстрации в беседе своего положения, а книги нет ни на столе, ни на библиотечных полках... Я уже не говорю о том, что Алексей Максимович производил часто систематические чистки своих книжных богатств, награждая целыми пачками «ненужных» ему самому книг,— как он всегда успокаивал даже и не зашевелившуюся совесть гостя,— какого-

нибудь человека, ищущего познания, или составляя библиотечки для старых или — особенно — вновь возникающих культурных организаций.

Но в эти же годы у него было и другое отношение к книге, которое носило характер своего рода библиофильства. Был интерес к русской старой и старинной книге, к книге «редкой», и эти «редкие» книги он не так охотно выпускал из своих рук, следил за их судьбой, берег, даже не всем показывал. Но и такое собирательство определялось у него прежде всего глубоким и серьезным, постоянным интересом к литературе и к истории вообще, к русскому историческому прошлому и к русской литературе в частности. «Редкости» подбирались и хранились им из этих областей. Отсюда интерес к монографиям по русской истории, к сборникам материалов и исследованиям по фольклору. И большим хозяйским уважением пользовались такие долговременные и любимые жильцы библиотеки, как сборники Киреевского, Рыбникова, Гильфердинга, Афанасьева, Шейна, Кирши Данилова, как исследования Александра Веселовского, Буслаева, Афанасьева, О. Миллера и других; всегда возобновлялся в его библиотеке экземпляр многотомной «Истории упадка и разрушения Римской империи» Гиббона, был он у него и на Капри. Такие книги, как Прыжова «Кабаки на Руси», «Нищие на Руси» и т. п., ценились им весьма, разумеется, не только за действительную — тогда — их редкость, но и потому, что они освещали, плохо ли, хорошо ли — других не было,— те стороны русского исторического прошлого, которые интересовали Горького и которые в то же время или мало или совсем не затрагивались в общих работах по русской истории. Но были в его библиотеке и настоящие «раритеты», вроде стоявшей как «редкая» во всех каталогах московских и питерских букинистов книги «Пансальвин, Князь тьмы», Москва, 1809, или «Двадцать шесть московских дур и дураков», «Житие Ивана Яковлевича, московского юродивого» и т. п. При этом на некоторых книжках подобного порядка собственной рукой владельца были сделаны даже пометки: «редка», «книжка весьма редкая».

Бывали случаи, что и надували Алексея Максимовича лукавые букинисты, подсовывая ему в качестве «редких» и просто забытые книги.

Большое количество книг Горького, притом весьма ценимых им, перешло от него в Нижегородскую публичную библиотеку. Сохранились ли они там? Отмечены ли как его

дар? И если они погибли и затерялись в годы революции, то можно ли хотя бы увидеть опубликованным их перечень?.. *

Позднее у Алексея Максимовича были книжные увлечения и иного направления. Но увлечение и «редкостями», в конце концов, не было настолько сильным, чтобы у него сохранилась на все годы жизни в России одна и та же основная библиотека. Книги дарились, исчезали, и из нижегородских книг, думаю, весьма и весьма немногие дожили до последних питерских лет его. ⟨...⟩

В последние годы жизни Алексей Максимович усиленно подбирал книги для библиотеки будущего Института мировой литературы [15]. ⟨...⟩

Из отдельных общественных начинаний в жизни Нижнего Новгорода, теснейшим образом связанных с именем Горького как инициатора, остановлюсь на двух: на устройстве елки для бедных детей города и на организации публичного политического митинга, получившего название «Собрание отцов и детей» [16].

Первая общегородская елка была организована в Нижнем в здании городской думы 4 января 1900 года [17]. Та елка для детей, в организации которой и я принимал участие, была устроена М. Горьким в зимний школьный перерыв 1900—1901 года. Размах у Алексея Максимовича был весьма широкий: ему хотелось собрать на елку всех детей города, особенно тех, которые не видят ее никогда ни в школе, ни дома. Идея встретила сочувствие в широких и разнообразных кругах нижегородского общества. Не уверен, делались ли денежные сборы на расходы, но вещевые пожертвования принимались. От Саввы Морозова поступило большое количество ситцев, другие жертвовали валенки, сладости; чего не хватало, то покупали на деньги. Главный и неутомимый сборщик был, конечно, сам Алексей Максимович, который умел находить доступ и в самые тугие, неохотно раскрывающиеся буржуазные карманы. Горячо увлекшись идеей, он заражал своим настроением и окружающих.

---

* В настоящее время книги — вернее, часть их,— пожертвованные Алексеем Максимовичем в Нижегородскую библиотеку, входят в состав Горьковской Публичной библиотеки имени Ленина и внимательно описаны [14]. *(Примеч. В. А. Десницкого.)*

Всякого рода организационную работу выполняла главным образом студенческая молодежь. Живое участие в работе приняла и местная социал-демократическая организация в лице отдельных ее членов из служилой городской интеллигенции и из поднадзорной братии, преимущественно студенческой.

Для вербовки детей на елку, для отбора их был организован по районам квартирный обход; хотели как можно шире захватить бедноту. Беспризорников, выражаясь современным языком, детей улицы, которые гнездились по углам закоулков и переулков Нижнего Базара, записывали прямо на открытом воздухе. Завидя обходчика в районе своего основного местопребывания, они появлялись стайками неведомо откуда и на вопрос студента: «Куда тебе принести билет на елку?» — нередко отвечали: «Да ты только покажись на нашу улицу, а я уж тут буду, найду тебя». Так с ними действительно и происходила выдача билетов: в сильнейшие морозы они, полураздетые, успешно ловили обходчиков на улице, затрудняясь указать точное место своего постоянного жительства, ибо такового у них и не было. Социал-демократическая молодежь предполагала использовать обход для расширения связей в рабочей среде. А потому мы и взяли себе районы окраинные, а также Нижний Базар (Миллионная улица и др.), где всякие углы, притоны и ночлежки и где скорее всего можно было встретить малолетних босяков, бездомных детей, к которым особый интерес проявлял Алексей Максимович и которых ему всячески хотелось как можно в большем количестве заполучить па елку.

По части «расширения связей» обход не дал нам решительно никаких результатов. Этого и нужно было ожидать. Заставали мы дома по преимуществу матерей, да им и ближе всего были детские радости. Отцы во время нашего утреннего и дневного обхода были обычно на работе. Завести какой-нибудь серьезный разговор, дававший те или иные возможности соответственных выводов, при кратковременности посещения было очень трудно. А работу нужно было выполнить спешно. Да и встречали в рабочих семьях записывавших на елку с некоторым недоверием и прохладцей; ведь обходчики спрашивали: сколько зарабатываете? сколько детей? учатся ли в школе? и т. п. И не все, конечно, были одинаково тактичны в выполнении далеко не обязательной расспросной программы. Особенно рабочие-отцы, если удавалось застать их дома в праздничные дни,

в начале беседы не проявляли никакого восторга, подозревая, очевидно, в шумном и необычном предприятии какую-нибудь барскую затею. И только такт обходчиков, ссылка на Горького как инициатора спасали положение. А более подробное сообщение о Горьком,— кто он и почему он это дело затеял,— раскрывало окончательно и сердца, и уста подозрительных родителей.

В конечном счете идея всюду встретила полное сочувствие. Были только единичные случаи своего рода социальной обиды и не до конца побежденных сомнений: «Мы и сами своим детям елку устраиваем». Но эти два-три «недоразумения» были в семьях с крепким бытовым укладом и сравнительно высоким заработком; обычно же обходчики в конце беседы слышали и иные заявления: «У наших детей мало бывает радости...» Отказов от принесенных по записи билетов совершенно не было. Наоборот, многие заботливые матери беспокоились — возьмут ли моих, не забудут ли... Увлекающиеся родительницы предлагали уже к записи и совсем малолетних и переростков. На Нижнем Базаре мы, правда, часто кривили душой и верили, когда четырнадцатилетний полураздетый мальчик не совсем убежденно заявлял, что ему только-только одиннадцать минуло...

Положительное для нас, молодых социал-демократов, в этом обходе было то, что мы, пользуясь своего рода «легальной возможностью», посетили большое количество рабочих квартир, ближе познакомились с домашней обстановкой жизни семейных рабочих. В процессе подпольной организационной и пропагандистской работы на квартирах у рабочих, тем более семейных, редко приходилось собираться по соображениям полицейского порядка. Алексей Максимович с живейшим интересом выслушивал рассказы обходчиков об их путешествиях и приключениях.

Елка прошла великолепно. Устроена она была в Кремле, в обширном зале манежа. Громадная елка, зеленая, лапчатая,— целое дерево, выхваченное из леса,— была разукрашена цветными электрическими лампочками; других украшений не помню, да их и не считали нужными. Детей набралось невероятное множество, гораздо больше тысячи. ⟨...⟩

С раздачей лакомств, чая, калачей и колбасы дело обошлось совсем благополучно. Одни истребляли все полученное тут же на месте; другие, родительские дети по преимуществу, хранили пакетики или сдавали их ожидавшим ма-

терям. Некоторые недоразумения были с подарками, особенно с сапогами-валенками. На многих из «горьковского» отряда их нужно было надеть немедленно же. И вот тут-то и горе: жесткие маломерки-валенки не лезут на обмороженные ноги. У несчастного подзаборного ночлежника и глаза разгорелись от удовольствия, что отсюда он пойдет не полубосой, а в теплой обуви. И вдруг на ноги не лезут проклятые... Особенно такие огорчения были с переростками, «незаконно» попавшими на елку. К тому же и пары плохо подбирались, в суматохе перепутали всю обувь. Огорченных до слез успокаивал не менее их досадовавший и расстроенный Алексей Максимович: устроим, брат, устроим... От замены валенок другими подарками босая братия, естественно, отказывалась, и раздражение Алексея Максимовича выливалось в не очень лестные суждения по адресу жертвователей и закупщиков обуви. ⟨...⟩

Алексей Максимович крепко любил свой родной город. ⟨...⟩

«Краеведческая» работа М. Горького принесла изумительные плоды: она дала писателю богатейший жизненный материал, обострила его зрение и слух, язык его сделала народным в истинном и высочайшем смысле этого слова.

Я спрашивал Алексея Максимовича, в каком отношении к памятникам народного творчества находятся многочисленные фольклорные нити, которыми ярко пронизана цветная ткань большинства, если не всех, его произведений. В ряде произведений, особенно в автобиографических повестях («Детство», «В людях»), даны цельные законченные вещи — песни, духовные стихи, и всюду — пословицы. Откуда они?

Указал ему на смущение специалистов-фольклористов, которые перерывали безрезультатно все сборники в поисках «первоисточника» и склонялись к выводу, что в лице М. Горького они имеют нового собирателя и хранителя сокровищ народного творчества, что он дал «записи» до сих пор неизвестных произведений или новых вариантов.

— Не совсем это так,— добродушно улыбаясь, разъяснил Алексей Максимович.— Верно, я записывал; были целые тетрадки, а потом тетрадки затерялись, да и не хранил их. «Фольклорист» я никакой,— уже с некоторым раздражением продолжал он.— Записывать надо, это сде-

лают и без меня. Но повторять самому так, как услышал, не надо. И зачем?..

Народность творчества М. Горького не в том, что он включал в свои произведения подлинные народные песни, сказки, пословицы,— на основе народной он создавал свои, возводя их на более высокую ступень сознания и мастерства.

Мне не раз приходилось наблюдать, как работал М. Горький по фольклорной канве. Так, в первые годы после Октябрьской революции задумал он написать «Ваську Буслаева» как новгородца и вместе с тем предка нижегородских посадских людей.

Снова появились на его столе «Песни разных народов» — в переводе Берга, которыми он увлекался еще в начале XX века, в нижегородские годы; перечитана была с жадностью, не знаю, в который раз, книга А.-М. Стринтольма «Походы викингов» (Москва, 1861); и сам Алексей Максимович настойчиво разыскивал книги и статьи — и я помогал ему в поисках — по истории грабительских экспедиций скандинавских «рыцарей». Но я не помню, чтобы он часто обращался к сборникам былин, хотя они и стояли на его книжных полках, сделанных из плохо обтесанных досок. Такие примитивные книжные полки, без задних стенок, поставленные посреди комнаты, были у него не только в квартире на Кронверкском проспекте; внешности в этом деле, как и в переплете книг, за исключением почему-либо особенно ценимых, он значения не придавал.

Работу над «Васькой Буслаевым» Алексей Максимович бросил [18], и я с раздражением вспоминаю, как истязал его своими стихами А. В. Амфитеатров, писавший в это время на ту же тему. Думаю, что «конкуренция» отбила у М. Горького охоту к работе над поэмой о русском былинном герое [19]. Стихи Амфитеатрова были «народны», написаны былинным размером, тягучи, водянисты и скучны.

Почти при каждой нашей встрече в разных вариантах возникал неизбежно разговор на тему «любви к отечеству и народной гордости». Стоило Алексею Максимовичу прочитать в газете что-либо об успехах строительства в родном городе или получить письмо от старого знакомца-нижегородца, как начинались речи, по поводу которых можно было сказать былинными словами: «И начаша они похвалятися».

— А землячки-то наши хороши? — недопускающим возражения тоном начинал М. Горький. С гордостью рассказывал Алексей Максимович после своей поездки по Волге в 1928 году о том, что Нижний стал совсем неузнаваемым, что из города купцов и мещан он вырос в большой социалистический индустриальный центр.

«Поезжай, Василий Лексев, посмотри — и не узнаешь Канавина, Молитовки, не найдешь болот и лесов, в которых ты когда-то устраивал собрания». Он вычерчивал на столе план «Большого Нижнего», захватывая в гигантский треугольник, образуемый слиянием Оки и Волги, и Сормово, и Балахну, и Растяпино, и Черное, и Моховые горы. С воодушевлением рассказывал о построенных и проектируемых заводах, новостройках. Сам того не замечая, более, чем обычно, окал по-нижегородски, порой его речь звучала как мерный напевный речитатив исконного волгаря.

От современности переходили к прошлому. К великому удовольствию слушателей, если таковые были, взаимно подзадоривали мы друг друга воспоминаниями о «знаменитых мужах» нижегородской древности. Алексей Максимович считал важным утвердить в людях Новогорода земли Низовской смутные воспоминания новгородской вольницы, которые принесли с собой перегнанные на Волгу Грозным подневольные переселенцы с реки Волхова. Никогда не забывал он похвастаться, что и протопоп Аввакум, и патриарх Никон — люди исключительной физической и духовной силы — наши земляки. О Никоне всегда с подчеркиванием, что родом он был мордвин из-за Кудьмы. Особенно увлекал его пламенный агитаторский пафос неистового протопопа, с одинаковою неустрашимостью выходившего на единоборство и с медведем, и с Никоном-патриархом, и с царскими немилостивыми воеводами. Восторженно цитировал слова Аввакума о его любви к «простому русскому языку», которым он так великолепно пользовался в своем «Житии», в своих многочисленных посланиях. Всегда полностью разделял мое огорчение, что никак не удается добиться введения в школьные программы изумительного по языку, реалистического по приемам письма, глубоко лиричного «Жития» протопопа Аввакума. ⟨...⟩

В лик не только знаменитых, но и «святых» земли русской зачисляли гениального нижегородского семинариста Н. А. Добролюбова. Перечисляя нижегородских писате-

лей, находили возможным погордиться даже и П. Боборыкиным, воздавая дань его неустанному писательскому трудолюбию.

Старательно вспоминали имена сормовских и нижегородских рабочих, выдвинувшихся в революционном движении за пределы родного города. Крепко скорбил Алексей Максимович, что кое-кто из сормовичей «свихнулся», пошел не туда, куда следует.

Хотел написать с моих слов о Шимборском, «беспартийном» сормовском рабочем, который был расстрелян у проходной завода немедленно после подавления сормовского восстания в декабрьские дни 1905 года.

Любил рассказывать Алексей Максимович о чудаках и замечательных личностях из разных кругов нижегородского общества. В его рассказах проходили купцы, ремесленники-мещане, мастеровые, певчие, босяки-золоторотцы, газетчики-писатели и наборщики, попы и монахи, интеллигенты разных профессий, артисты, полицейские и жандармы, балаганные и цирковых дел люди, но никогда, поскольку мне помнится,— дворяне-помещики.

С некоторым уважением к стихийной силе и жажде деятельности говорил о нижегородских «тузах» из купцов и промышленников, из пароходчиков волжских: о Бугрове, Сироткине, легендарном Гордее Чернове, образ которого нашел некоторое отражение в романе «Фома Гордеев». Большинство этих «тузов» он знал лично, внимательно изучал их — и как врагов и как «натуру» — для художественного изображения.

Любопытно, что и Бугров, и Сироткин, и многие другие из нижегородской буржуазии относились со своеобразным «патриотическим» интересом и даже с почтением к своему знаменитому земляку-писателю; прекрасно понимая революционную, враждебную всему капиталистическому строю сущность его творчества, гордились тем, что он «не из бар», кровный волгарь; давали ему деньги «на студентов», на революцию. О встрече с Бугровым превосходно рассказывал сам М. Горький.

С большим интересом присматривался он к Д. В. Сироткину, считая его одним из умнейших представителей русской буржуазии, который не шел к власти ни при абсолютной монархии, ни при думском российском «парламентаризме» потому, что считал это ненужным и невыгодным для себя. Говорил мне Алексей Максимович, что в эмигра-

ции Сироткин, по слухам, «тоскует» по родине и хотел бы вернуться.

Всегда подчеркивал Алексей Максимович то сильное, непреодолимое влияние, которое оказывал Нижний на заезжих людей. ⟨...⟩

Первая встреча Горького с Лениным состоялась в конце ноября 1905 г. (по старому стилю), вскоре после приезда Владимира Ильича в Россию, накануне дней московского декабрьского восстания [20].

В самом конце ноября, а по любезно сообщенной мне автором записи в дневнике К. П. Пятницкого ⟨...⟩, единственного, кроме меня, оставшегося в живых свидетеля этой встречи, 27 ноября, мы с Алексеем Максимовичем явились на общую петербургскую квартиру Горького и Пятницкого (на Знаменской улице) [21].

Горький только что оправился от болезни; я останавливался у него проездом из Нижнего в Питер, и выехали мы из Москвы вместе. Горький был весь пропитан московскими впечатлениями, настроениями кануна декабрьских дней. Горький собирал деньги на оружие, оружие волокли в его квартиру и уносили из нее; одна из студенческих боевых дружин, кавказская, в целях «охраны» писателя, дневала и ночевала в его квартире, пугая своей веселой «учебной» стрельбой благонамеренных буржуазных соседей Горького [22].

По приезде в Питер я встретился с товарищами в редакции «Новой жизни», где царил в те дни П. П. Румянцев [23] и где стоял вечный шум и гам. Толклась всякая газетная публика, тут же сновали питерские товарищи по делам местной организации, сюда же являлись приезжие из провинции. Слышались радостные возгласы людей, встречавшихся ранее только в ссылке, в тюрьмах да при беглых свиданиях на явках и в конспиративных квартирах. Веселый угар революционной весны, неожиданной явочной «легализации» людей, их настоящих имен и отношений, делал невозможным деловые встречи и заседания в помещении редакции.

Говорили, что нужно устроить заседание ЦК, поговорить о делах редакции «Новой жизни». Возник вопрос — где? Организовавший собрание П. П. Румянцев предложил отдельный кабинет одного из ресторанов — не помню, Палкина или Доминика. «Ведь все равно обедать

нужно»,— убеждал Петр Петрович. Я и А. А. Богданов, присутствовавший при разговоре, удивились пределам «легализации», удивились и дорогому ресторану.

— Но там же и редакция «Начала» * заседает,— заверял нас Румянцев.

— Ну, это совсем не резон,— заметил я.— Вон у нас в Нижнем кадеты в партию членов вербуют и записывают у буфетной стойки клуба. Да и денег стоит ресторанное удовольствие.

Мы предложили устроить заседание на квартире у Горького; там оно и состоялось. Присутствовали Владимир Ильич, А. А. Богданов, Л. Б. Красин, П. П. Румянцев. Из нечленов ЦК были М. Горький и я, в то время кандидат в члены ЦК. За обедом и за чаем после заседания присутствовал и К. П. Пятницкий, заботливо организовавший кормежку гостей.

Горький много рассказывал о московских событиях и настроениях, о похоронах Баумана, о черной сотне, о вооружении рабочих и студентов, о настроении интеллигенции, картинно описывал уличные сцены. Владимир Ильич слушал с неослабным вниманием. Его особенно, как и всегда, интересовали те мелочи, конкретные детали, факты, слова, которые давали свежее, непосредственное впечатление действительности. Здесь впервые узнал он Горького как рассказчика и с первого же раза оценил громадное значение его наблюдений и заключений о людях и событиях.

— Учиться у него нужно, как смотреть и слушать! — нередко говорил о Горьком Владимир Ильич и постоянно жаловался на бедность фактического содержания, на худосочие речей и корреспонденций многих партийцев, в общих фразах которых исчезало все своеобразие конкретного момента, данной ситуации.

Время, в которое происходило заседание, было тревожное, ответственное. Приближались решающие дни декабря. Владимир Ильич взвешивал каждый факт, каждое слово. Вопрос о вооруженном восстании, которому так много внимания было посвящено на III съезде [24], подготовкой к которому все лето и осень были заняты большевистские организации, из стадии обсуждения переходил в порядок завтрашнего дня. Мои сообщения о создании в Нижнем Нов-

* «Начало» — легальная меньшевистская газета, издававшаяся в конце 1905 года в Питере. *(Примеч. В. А. Десницкого.)*

городе гражданской милиции, о боевых сормовских дружинах, о вооруженном отпоре черной сотне, об учебной летней стрельбе сормовских рабочих в Дарьинской роще, о широкой агитации сормовичей по деревням, об охране ораторов на городских митингах воспринимались Владимиром Ильичем с полным одобрением. Алексей Максимович жил революцией, и его сообщения о Москве, о вооружении рабочих шли в том же направлении. И уезжали мы в Москву после заседания с отчетливым сознанием неизбежности дальнейшего хода событий и нашей работы в направлении к вооруженному восстанию.

Ставились на заседании вопросы литературного порядка, к которым прямое и непосредственное отношение имел Алексей Максимович. Прежде всего Владимиром Ильичем был резко поставлен вопрос о ликвидации поэта Минского как члена редакции «Новой жизни» [25].

— «Новая жизнь» — партийный орган, и в нем не место, тем более в руководящем центре, людям, не имеющим к партии никакого отношения.

Владимир Ильич предлагал идти на всякие жертвы денежного порядка, вытекающие из договорных отношений возникновения газеты как органа легальной печати. «Теперь такое положение нетерпимо...» [26] Горький с полным одобрением отнесся к предложению Ленина. Владимир Ильич с улыбкой предложил меня в исполнители решения. ⟨...⟩

В Лондон мы ехали вместе, вчетвером [27] в одном вагоне и на одном пароходе через Ла-Манш. Владимир Ильич не отрывался от окна, когда проезжали промышленные районы Германии. «Немецкому пролетариату нужна более революционная партия, чем нынешняя германская социал-демократия с ее Vorstand'ом (ЦК партии) чиновников», — говорил он, показывая на сплошные линии огней фабрик и заводов.

Берлинские встречи, общение в пути сильно сблизили Владимира Ильича и Алексея Максимовича. Обучили даже дорогой Владимира Ильича карточной игре в «тетку», за которой на Капри нередко отдыхал Горький. Эта игра — винт наизнанку, в которой нужно не набирать взятки, а, наоборот, брать их как можно меньше,— забавляла Владимира Ильича. Он весело потирал руки, шутил, награждая Алексея Максимовича и его партнера взятками, вор-

чал при неудаче на своего партнера, а Алексей Максимович, относящийся весьма серьезно ко всякой игре, даже в «подкидные дураки»,— с комической деловитостью отмалчивался.

В Лондоне М. Горький жил особняком от остальных участников съезда, в большой гостинице в центре города; остальные делегаты разместились на окраинах, поблизости от той церкви, в которой происходили заседания. Алексей Максимович хотел устроиться поближе к съезду, но Ленин настоял, чтобы Горький жил в хороших квартирных условиях. Мы втроем занимали в гостинице две смежные комнаты —одну большую, в которой жили Алексей Максимович и Мария Федоровна, и маленькую, мою, которая в то же время была и нашей столовой и приемной. Владимир Ильич проявлял большое внимание к устройству Горького, заботился о его здоровье Прямо с вокзала он вместе с нами отправился искать помещение для Горького. Алексей Максимович рассказывает, что Владимир Ильич даже простыни его постели осматривал [28]. И это верно, только делал это Владимир Ильич не однократно, а в ряде гостиниц, которые мы обошли. «Может быть, они сырое белье положили?..» Его особенно поразило то, что в одной из окраинных гостиниц мы даже клопов в постели усмотрели. «Клопы? В культурнейшей Англии?» — недоумевал, и даже как бы с некоторым злорадством, Владимир Ильич.

В. И. Ленин неоднократно говорил мне: «Не нужно, чтобы Горький все время торчал на съезде. Устанет он, не выдержит нашей дискуссии!.. Пусть побольше в кулуарах побудет, с рабочими поближе познакомится. Ему полезно это. И воздух в зале скверный...»

А воздух в церкви иногда был действительно тяжелый. На одном из заседаний что-то случилось неладное с трубами газового освещения. Воздух был отравлен, два-три делегата — почему-то все меньшевики — даже потеряли сознание и были извлечены из зала. А заседание все же продолжалось. И Горький искренне недоумевал: «Дохнут, дьяволы, а спорят...»

М. Горький был исправнейшим посетителем почти всех длительных и утомительных заседаний съезда. Каждый день утром везла нас неуклюжая закрытая карета по улицам Лондона к окраинной церкви. Горькому, по состоянию его легких, тяжело было опускаться и подниматься в люки подземки и ехать особенно по тем ее участкам, где подземный туннель был забит удушающим угольным дымом

паровиков: не на всех еще линиях применялась электрическая энергия. Первое время архаическая, диккенсовских времен, карета производила сильное впечатление на делегатов, особенно на меньшевиков, но потом к ней привыкли.

Часами Горький простаивал в церкви, прислонившись к колонне. Внимательно присматривался к необычной и для него публике, своим пребыванием превратившей скромную церковку лондонского захолустья в историческое здание. Съезд был многолюдный. На нем был собран цвет интеллектуальных и организаторских сил революционного пролетариата России. Здесь была представлена вся страна, пролетариат многочисленных ее национальностей. Большевистская фракция по своему составу резко отличалась от меньшевистской: в громадном большинстве своем она была рабочей. Для Горького это было особенно убедительно и важно. Он видел, чувствовал, что рабочий класс России гигантски вырос, в свои руки взял дело своего освобождения, что ему не страшны неизбежные еще потери, тяжелые поражения. Вместе с товарищами по фракции он верил, что окончательная победа рабочего класса — только вопрос времени, видел, что под руководством железной большевистской когорты он решительно стал на тот путь, который приведет к конечной победе пролетариата во всем мире.

Рабочие, делегаты с Урала, из Иваново-Вознесенского района, с Кавказа, из Питера и Москвы, с юга России и из Сибири, давали Горькому как художнику богатейший материал для наблюдений. Во время перерывов, во время холодных завтраков и обедов в помещении съезда он завязал знакомства, превратившиеся потом в дружеские отношения. С рядом рабочих эти отношения закрепились и во время лекций по русской литературе, которые в воскресные дни Горький читал для желающих съездовцев в Гайд-парке [29].

На Горького и на Владимира Ильича сильное впечатление произвело мое сообщение, что в первую ночь по приезде в Лондон несколько делегатов, рабочие, отказались переночевать в тех помещениях, куда впопыхах пытались засунуть их бундовцы [30], взявшие на себя обязанность размещения товарищей. В частности, целую ночь пробродили по улицам Лондона несколько человек из той группы делегатов, которым был отведен ночлег на конвейерных койках рабочего ночлежного дома, предоставленного к

услугам съезда муниципальным управлением одного из округов Лондона. Я только что вернулся из этого ночлежного дома, куда меня вытребовали товарищи. Рабочих смутили пятнистые, грубые простыни на двухэтажных нарах, не смененные после ряда ночлежников, сложные, не особенно приятные запахи, грязь на полу, на длинных немытых столах.

— А это здорово,— говорил, потирая руки, Владимир Ильич.— Выросли культурные потребности... Вот вам Европа,— встретили варваров товарищи англичане; привыкли русские к грязи, для них все хорошо...

Ему сочувственно вторил Горький:

— А всех этих бродяг собрали, не растерялись они, шатаясь ночью по улицам незнакомого города? — вдруг забеспокоился Владимир Ильич.

От напряженных страстных дискуссий на съезде у Горького нередко голова кругом шла. Не во всем он разбирался, пытались меньшевики и его втянуть в распри фракционного, склочного порядка, делая «ехидные» запросы о судьбе тех или иных денежных сумм, которые от него или через него якобы должны были поступить в «единую» кассу единой партии, а оказывались на самом деле в распоряжении несменяемого финансиста большевиков — Никитича (Л. Б. Красина). ‹...›

В вечерние часы, после заседаний съезда, В. И. Ленин был частым гостем Горького. Обмен впечатлениями от заседаний, планы и предположения на завтрашний день, оценка хода дискуссии, беглые характеристики участников съезда — все это тесно вводило Горького в семью большевиков, сближало его с Владимиром Ильичем. Сближали и совместные посещения музеев, «мюзик-холла» — об одном из таких посещений рассказывает Горький. Посещали Горького и другие большевики — Красин, Богданов. ‹...›

В моей памяти — одна из первых после 1917 года встреча Горького с Лениным [31]. Это было вскоре после покушения эсерки Каплан на жизнь Ленина. Владимир Ильич был оживлен, радостно потирая руки, улыбался Горькому, торопил его:

— Ну, ну! Рассказывайте, говорите, что вас огорчает...

Зашел посмотреть на «земляков» Яков Свердлов [32].

Владимир Ильич спокойно рассказывал о покушении, с полным знанием дела излагал историю болезни, как прошла операция.

— На войне как на войне! Еще нескоро она кончится...

Настойчиво угощал нас:

— Ешьте сыр; хлеб свежий, мягкий. Вишни ешьте, только что куплены, вымыты...

Угощение было весьма скромное. Гостеприимный хозяин не знал, что у него не было чаю, и я потихоньку сходил в канцелярию, где у одной из служащих, старой моей приятельницы, нижегородки, добыл чаю на заварку для Председателя Совета Народных Комиссаров.

Горький сумрачно расспрашивал Владимира Ильича о здоровье, не отзовется ли на его работоспособности рана. Владимир Ильич осторожно, но свободно поднимал вверх руку, вытягивал ее, сгибал и выпрямлял. Горький бережно ощупывал шею, мускулы руки. Владимир Ильич стоял прямо и строго смотрел на Алексея Максимовича. Казалось, что жесты Горького, жесты сомневающегося Фомы, говорили о чем-то большем, чем о простом желании убедиться в физической мощи друга. Горький как будто хотел еще и еще раз окончательно уверить себя в том, что именно в Ленине сконцентрирована сила и воля миллионов, что из него лучится яркий свет на завтрашний день и на весь доступный нашему зрению отрезок человеческой истории.〈...〉

# А. Ф. ВОЙТКЕВИЧ

## ИЗ ВСТРЕЧ С М. ГОРЬКИМ

⟨...⟩Мое личное знакомство с Алексеем Максимовичем началось в 1899 году в Н. Новгороде и продолжалось до осени 1901 года [1]. Весной 1899 года, в связи с происходившими в Москве студенческими беспорядками, я был выслан на родину и вскоре встретился там с товарищем по судьбе, тоже высланным студентом,— А. В. Яровицким. Последний устроился на работу в «Нижегородском листке», постоянным сотрудником которого был Горький. Яровицкий и познакомил меня с Алексеем Максимовичем.

А. М. живо интересовался происходившим тогда революционным движением и в частности студенческим, как одним из проявлений общего настроения в стране, которое широко захватывало и рабочую молодежь, и студенчество.

В Нижнем в то время я был связан с социал-демократической группой, имевшей связи с рабочими некоторых заводов в самом городе и в Сормове. В это время велась кружковая работа среди рабочих как организационного, так и пропагандистского характера, иногда выпускались и прокламации, печатавшиеся примитивным способом — на гектографе. Всех принадлежавших к организации и соприкасавшихся с ней интеллигентов и рабочих можно было пересчитать по пальцам. Работа после больших арестов (1896) развертывалась медленно [2].

Алексей Максимович живо интересовался этим движением во всех его деталях и при возможности оказывал в той или иной форме содействие. До сих пор помню, как при малейшем факте, свидетельствовавшем о пробуждении активности и сознания в заводском пролетариате в Сормове он оживлялся, глаза его загорались и он начинал в воз-

буждении шагать по своему кабинету, в котором обыкновенно происходили с ним беседы. Следует сказать, что нижегородская публика до крайности злоупотребляла долготерпением А. М., и в течение доброй половины дня не было отбоя от посетителей, приходивших к нему и по делу, и без дела и не дававших ему работать. Он сам говорил, что литературную работу он выполняет почти исключительно по ночам.

Содействие, которое А. М. нам оказывал, выражалось в помощи по добыванию средств, в которых подпольные организации в то время очень нуждались; он охотно давал свои сочинения и книги определенного подбора для рабочих библиотек и вообще оказывал, в чем только мог, содействие.

Втягивать Алексея Максимовича непосредственно в подпольную работу — мы это хорошо понимали — не имело смысла. Средний период партийной работы в тех условиях был, в общем, весьма краток и длился в среднем с год или даже меньше. Бывали случаи, когда провал следовал почти тотчас же после начала работы. А. М. был слишком крупной фигурой, и его литературная деятельность давала несравненно больше, чем могла бы дать подпольная работа. Кроме того, и по чисто конспиративным соображениям было бы рискованно привлекать его как человека слишком известного. Тем не менее некоторые из сормовской рабочей молодежи завязали с А. М. знакомства и даже ходили к нему на квартиру, чему он сам охотно шел навстречу. Но это были элементы главным образом из сочувствующих, из рабочих же, непосредственно входивших в организацию и имевших хорошие конспиративные навыки, никто не пытался этого делать, хотя интерес к Горькому как писателю и человеку уже в то время был весьма велик среди рабочих.⟨...⟩

Конец 1900 и начало 1901 года характеризовались политическим оживлением. Начался подъем в среде фабрично-заводского пролетариата, оживлялась работа политических партий, и, как отражение общего подъема в стране [3], прокатилась волна студенческих беспорядков, ответом на которые явились усиленные репрессии правительства.

В Н. Новгород приехало много высланных студентов. Происходили собрания студенческой молодежи, на которых ставились уже не профессионально студенческие вопросы, а общеполитические. На одном из собраний московских студентов возникла мысль — выпустить прокла-

мацию к обществу с призывом к борьбе за свержение самодержавия, причем было предложено желающим составить проект такой прокламации.

На одном из следующих собраний в числе проектов такого рода А. В. Яровицким был зачитан текст прокламации, написанный Алексеем Максимовичем. Разумеется, имя автора не было упомянуто, но самый стиль настолько напоминал манеру Горького, что знавшие о близких отношениях Яровицкого к Горькому были убеждены, что автором является Горький. Кроме того, Яровицкий при этом допустил один промах. Когда по прочтении текста прокламации попросили передать его секретарю собрания, он сказал, что должен сначала его переписать. Тогда уже ни у кого не возникло сомнения относительно личности автора этой прокламации.

Впоследствии эта прокламация была выпущена лишь с небольшими добавлениями, и мнение, что ее автором является Горький, получило широкое распространение и, несомненно, дошло до жандармских властей, так как некоторое время спустя, при допросах, ему предъявлялось такого рода обвинение. Несомненно, что это было для жандармов одним из предлогов для ареста Алексея Максимовича, который вскоре имел место [4].

Весной 1899 года, в связи со студенческим движением, был арестован в Москве студент Московского университета Герман Ливен, по происхождению нижегородец. На Ливена тяжело подействовала тюремная обстановка (он был в одиночке), и он стал проявлять через некоторое время признаки ненормальности и вскоре покончил самоубийством [5].

В 1901 году в связи с общим ростом студенческих волнений у нижегородского студенчества (это были все высланные за участие в беспорядках студенты) возникла мысль о демонстрации, которую предполагалось приурочить к дню смерти Ливена.

Горькому принадлежала инициатива устроить открытое собрание молодежи и общественных деятелей города для обсуждения этого проекта, который многих волновал. Опасались столкновения с полицией. Благодаря той роли, которую Алексей Максимович играл в Нижнем, и имевшимся у него связям с либеральными деятелями города удалось добиться (не помню — от губернатора или от замещавшего его вице-губернатора) разрешения на такое собрание.

Совещание состоялось в зале одного из нижегородских клубов. Кроме массы студентов, в нем принимали участие Горький, председатель губернской земской управы А. А. Савельев, член этой управы Г. Р. Килевейн и др. Председательствовал на собрании студент Юрьевского университета В. А. Десницкий — член РСДРП [6].

Либеральные деятели резко возражали против демонстрации, пугая всяческими ужасами, но студенческая молодежь в большинстве своем горячо высказывалась за необходимость демонстрации. Горький выступил на стороне молодежи.

За это собрание впоследствии нижегородские власти получили большой нагоняй из Петербурга, но первое свободное (без полиции) собрание все же имело место и оставило значительный след.

В середине апреля 1901 года произошел мой арест. ⟨...⟩

Каково же было мое удивление, когда через несколько дней на прогулке я увидел в окнах Алексея Максимовича, его приятеля Скитальца и ряд знакомых. Оказалось, что вскоре после моего ареста жандармерия произвела массовые аресты, затевая, по-видимому, какое-то громкое дело.

В то время порядки в тюрьме были в достаточной мере патриархальные. Во время прогулки между наружной стеной и тюремным корпусом происходила общая беседа между теми, кто находился на прогулке и стоял на окнах. Скиталец, обладавший прекрасным баритоном, распевал арии из опер и романсы, слушать которые собирались не только представители тюремной администрации, но и публика вне стен тюрьмы, откуда иногда раздавались аплодисменты.

Алексей Максимович чувствовал себя бодрым, был все время весел и, стоя на окне и опираясь на решетку, участвовал в общих беседах, много рассказывая из своей богатой событиями жизни. Помню, он шутил, что так привык пользоваться решеткой, что когда выйдет на свободу, то непременно велит вделать в окно своей комнаты такую же точно решетку.

Характерной для него чертой было его отношение к тюремному начальству и к жандармам, с которыми приходилось иметь дело на допросах. Насколько можно было судить по его рассказам, по внешнему виду он к ним относился безо всякого проявления враждебности и даже, мо-

жет быть, с оттенком добродушия. По-видимому, они его интересовали как определенные типы, дающие ему как художнику ценные штрихи для характеристики тех кругов, с которыми ему никогда не приходилось встречаться в обыденной жизни.

Хорошие отношения у Горького сложились с уголовными заключенными... Он очень быстро узнал историю многих из них, входил в их интересы, и при этом с его стороны нельзя было почувствовать хотя бы малейшего признака высокомерного отношения. Напротив, в их взаимных отношениях наблюдалось полное равноправие.

Они платили ему той же монетой. Очень скоро он завоевал уже у них широкую популярность, хотя далеко не многие имели представление о нем как о писателе.

Я припоминаю одну сцену несколько месяцев спустя. После выхода из тюрьмы я встретился с Алексеем Максимовичем на улице, и мы зашли в общественный сад, чтобы спокойно побеседовать. В это время вели по улицам, под конвоем, на значительном отдалении группу арестантов. Горький с интересом стал вглядываться в лица. Узнал среди толпы нескольких знакомых и, широким жестом сняв шляпу, долго раскланивался с ними, махая шляпой. К немалому изумлению окружавшей публики, они отвечали ему тем же. Начатый нами разговор прервался, и Алексей Максимович стал с оживлением рассказывать про своих знакомых, с которыми он только что раскланивался. Его осведомленность меня поразила. Он знал, за что каждый из них попал в тюрьму, каждому давал определенную характеристику. Чувствовалось, что их личность и судьба его глубоко занимают. ⟨...⟩

В дальнейшем мне приходилось еще много раз встречаться с Алексеем Максимовичем, но уже вне Нижнего Новгорода. Осенью 1904 года мне пришлось перекочевать в Петербург, где я вел работу в большевистской организации, находясь на нелегальном положении. В это время я несколько раз виделся с Алексеем Максимовичем.

Припоминаю, что у него на квартире (или, правильнее, на квартире известного издателя Пятницкого, у которого Горький останавливался, когда бывал в Петербурге) в конце 1904 года и начале 1905 года происходило одно из партийных собраний, на котором присутствовал ряд видных деятелей партии: А. И. Ульянова-Елизарова, С. И. Гусев, А. А. Богданов, В. А. Десницкий и др. Алексей Максимович присутствовал также на этом собрании, и это говорит

за то, как он близко стоял в то время к большевистской организации. Насколько помню, на собрании обсуждался вопрос ряда изданий как легального, так и нелегального характера.

Осталась в памяти встреча с Алексеем Максимовичем в этот петербургский период моей нелегальной жизни в день «кровавого воскресенья» — 9 января 1905 года.

Я в то время работал в качестве организатора в Выборгском районе. В это утро члены нашей районной организации вместе со всей рабочей массой района двинулись к Зимнему дворцу, пытаясь пройти через Троицкий мост. Но добраться до Троицкого моста нам не удалось, так как вся местность, прилегающая к мосту, была преграждена сплошной массой войск чуть не всех родов оружия. После безуспешных попыток проникнуть на Троицкий мост рабочие двинулись обратно к районному гапоновскому собранию [7]. В это время я встретил Алексея Максимовича, который с группой писателей, пройдя через Литейный мост, направлялся к тому месту, от которого нас прогнали. Я ему сказал, что этим путем он не пройдет, и он повернул на Петербургскую сторону. ⟨...⟩

Он пробродил весь этот день по рабочим районам Петербурга, и когда я в тот же вечер вместе с одним товарищем, тоже бывшим на демонстрации и попавшим под обстрел, зашел к нему на квартиру, то застал Горького в крайней степени возбуждения, вызванного теми событиями, очевидцем которых ему пришлось быть.

Мы долго обменивались впечатлениями пережитого дня. При нас был небольшой красный флаг с надписью «Долой самодержавие!», который предусмотрительно был захвачен перед демонстрацией и развернут, когда после расстрела удалось устроить собрание участников демонстрации в том самом гапоновском собрании, в котором еще накануне этот лозунг провозглашать не позволяли руководители гапоновской организации. В столовой, где мы сидели у Горького, пылал камин. Красный флаг как лишнее вещественное доказательство пришлось бросить в огонь. Помню, с каким сожалением Алексей Максимович подержал его в руках, прежде чем предать сожжению.

В конце апреля 1905 года в результате сложившихся обстоятельств я уехал из Петербурга и перебрался в Москву, где до 1907 года принимал участие в партийной работе.

В период октябрьской забастовки и декабрьского вооруженного восстания Горький находился в Москве. Он

жил на Воздвиженке в быв. гостинице «Петергоф» [8] (потом 3-й Дом Советов). За этот период моя связь с ним не прерывалась. Он оказывал нам все время содействие. В качестве примера могу указать на следующий случай.

Незадолго до вооруженного восстания, когда чувствовалось, что надвигаются решающие дни и пролетариат стихийно вооружался чем попало, Алексей Максимович однажды вызвал меня к себе. Я в то время принимал участие в работе боевой организации при Московском комитете большевиков. Когда я к нему пришел, он познакомил меня с молодым человеком, который оказался владельцем известной своей революционностью мебельной фабрики Шмит. Фабрика эта, как известно, была сожжена семеновцами во время восстания, а владелец ее был арестован и погиб в Бутырской тюрьме, неизвестно — в результате ли самоубийства или преднамеренного убийства. При свидании со мной Шмит мне передал очень крупную для того времени сумму, которую он по совету Алексея Максимовича предназначал на приобретение оружия для боевых рабочих дружин. Эта сумма, равнявшаяся 10 000 руб., была очень хорошо использована по назначению [9]. ⟨...⟩

# Н. Д. ТЕЛЕШОВ

## ИЗ «ЗАПИСОК ПИСАТЕЛЯ»

Однажды зимою, в 1899 году, мне довелось быть проездом в Нижнем Новгороде. И вот, проходя по какой-то улице, я встретился с высоким молодым человеком, с длинными, почти по плечи, волосами. Он нес в руке несколько книг. Несмотря на мимолетность встречи, лицо его мне запомнилось. И лицо, и несколько сутулая фигура, и ясный взгляд.

На следующий день я прочитал в местной газете письмо в редакцию за подписью Максима Горького. Он обращался к жителям города с просьбой помочь устроить для детей бедняков каток на реке и просил присылать к нему на квартиру по указанному адресу коньки, ремешки, деньги [1]. Пользуясь адресом, я и поехал к нему. Когда я позвонил, мне отпер дверь тот самый молодой человек, которого я встретил вчера на улице. Познакомились просто, без всяких предисловий. Он взял меня за руку,— а рука его была большая и крепкая,— и сам повел в комнату, вызвал жену, Екатерину Павловну, познакомил с нею, потом куда-то вышел и сейчас же вернулся с ребенком на руках, завернутым в теплое одеяло.

— А это вот Максимка — сын мой,— сказал он с удовольствием и любовью.

Он вынул из-под одеяла маленькую теплую ручонку и подал мне, как бы знакомя нас обоих. Потом унес сына куда-то за стену и вновь вернулся ко мне. Стал расспрашивать меня о Москве, о молодых писателях, большинство из которых собирались в моей квартире каждую среду [2]. Многих из писателей он уже знал, о некоторых только

слыхал. Очень заинтересовался нашим кружком и обещал быть у нас непременно, как только попадет в Москву, чтобы со всеми познакомиться.

— Как хорошо вы это устроили и живете, как и надлежит писателям, по-товарищески. Чем ближе будем друг к другу, тем трудней нас обидеть. А обижать писателей теперь охотников много.

Много и долго разговаривал с ним о Художественном театре, только что возникшем в Москве *, о газете «Курьер», начавшей объединять литературную молодежь, об эксплуатации издателями писателей, о ближайшем и отдаленном будущем. И когда я ушел, мне казалось, будто я знаком с ним уже лет десять. На самом же деле я только тут узнал, что Максима Горького зовут Алексеем Максимовичем и что фамилия его — Пешков.

С того времени, приезжая в Москву, он всегда бывал у меня на наших «Средах».

Внешность его была весьма заметная: высокий, сухощавый, несколько сутулившийся; длинные плоские волосы, закинутые назад, почти до плеч, маленькие светлые усы над бритым подбородком, умные, глубокие глаза и изредка, в минуту особой приязни, очаровательная улыбка, чуть заметная. В речи его характерно выделялась буква «о», как у многих волжан, но это «о» звучало мягко, едва заметно, придавая речи какую-то особую самобытность и простоту, а голос был мягкий, грудной, приятный. Одевался он обычно в черную суконную рубашку, подпоясанную узким ремешком, и носил высокие сапоги.

Горький любил и очень высоко ценил А. П. Чехова. И вот, в связи с этим уважением к Чехову, разыгралась в ноябре 1900 года в Художественном театре шумная история. Случай достаточно известный, о котором многие рассказывали в воспоминаниях, но совершенно не так, как было это на самом деле, потому что свидетелем этого инцидента, кроме меня, никто из писавших не был. Одни утверждали, что это случилось в Крыму, во время гастролей, другие — что в Петербурге; иные рассказывали, будто Горький вместе с Чеховым сидели в буфете и что-то пили.

Дело было в Москве, осенью 1900 года, в первом помещении Художественного театра, в Эрмитаже, в Каретном ряду. В этот вечер шла «Чайка», а вовсе не «Дядя Ваня», как описывают это многие так называемые «свидетели и очевидцы».

А. П. Чехов был в этот вечер не в публике, а за кулисами и приехал в театр только в конце второго акта. Ни в фойе, ни тем более в буфете не появлялся и с Горьким в течение всего спектакля не виделся.

Горький и я вдвоем сидели в директорской ложе, а в антрактах переходили в соседнюю небольшую комнату, где помещался тогда директорский кабинет Вл. И. Немировича-Данченко. Сюда нам подали чай. С первого же антракта к этому кабинету стали подходить театральные зрители, постукивать в дверь и все настойчивее и громче вызывать Горького. Тот недоумевал:

— Зачем они вызывают меня, когда идет пьеса Чехова?

Но возгласы за дверью становились все настойчивее. В третьем антракте вызовы перешли уже в громкий рев: «Горь-ко-ва!!»

Дверь наконец насильственно распахнули. Весь коридор был полон народа. Загремели аплодисменты, заликовали поклонники. Но Горький не только не раскланялся в ответ, но решительно вышел из кабинета в толпу и резко спросил:

— Что вам от меня нужно? Чего вы пришли смотреть на меня? Что я вам — Венера Медицейская? Или балерина? Или утопленник? Нехорошо, господа! Вы ставите меня в неловкое положение перед Антоном Павловичем: ведь идет его пьеса, а не моя. И притом такая прекрасная пьеса. И сам Антон Павлович находится в театре. Стыдно. Очень стыдно, господа! [4]

Газеты подхватили этот эпизод, перепутали факты, бранились за то, чего не было, обрадовались случаю свести направленческие счеты, так что мне как единственному свидетелю всего инцидента пришлось напечатать в «Курьере» письмо в редакцию с точным изложением факта, с утверждением, что речь Горького была обращена не ко всей публике театра, как пишут некоторые газеты, а только к той ее части, которая в течение антрактов шумела в коридоре, аплодировала и вызывала Горького на чеховском спектакле («Курьер», № 319, 17/XI 1900 г.).

«Спасибо, голубчик,— писал мне Алексей Максимович в ноябре того же года из Нижнего Новгорода, прочитав в газете это письмо.— Черт с ними. Пусть пишут, пусть ругаются и т. д. Я тоже буду писать и ругаться. От этого, кроме пользы для всех,— ничего не воспоследует. Как поживаете? Видите ли Андреева? Хочется мне,

чтобы вы поближе к себе привлекли его — славный он, по-моему, и талантливый. Черкните парочку строчек, а я крепко жму вашу славную, дружескую лапу».

Однако реакционные газеты продолжали раздувать этот инцидент, рассматривая его как «выговор публике», как схватку писателя с обществом, и года два подряд в разных изданиях помещались карикатуры на Горького то в виде Венеры или балерины, то в виде утопленника, а то — человека, сидящего за столом и положившего ноги на стол.

Об этом — о балерине, Венере и утопленнике — мне много раз приходилось читать и слышать, да и сейчас иногда приходится в разных воспоминаниях встречать самые нелепые выдумки. Описываются даже жесты Горького, будто бы сопровождавшие эту отповедь, рассказываются вымышленные подробности. Никто из писавших об этом не был свидетелем самого случая,— говорили и говорят с чужих слов.

Помимо устройства катка для детей бедняков, о чем я говорил выше, Алексей Максимович устраивал в эти годы в Нижнем Новгороде знаменитые елки для детей из трущоб, организуя веселые праздники и зрелища для ребят, никогда не видавших и не знавших развлечений, и оделяя их подарками, башмаками, рубашками и штанами, а также книжками, сластями и едой. ⟨...⟩

Однажды Горький, приехав в Москву, привез к нам на «Среду» молодого человека, только что написавшего рассказ «Молчание». Рассказ произвел на всех хорошее впечатление, и автор был принят в состав «Среды», а через год имя его уже загремело в литературе. Это был Леонид Андреев.

Вскоре познакомил нас Горький и с другими молодыми писателями: Скитальцем, Серафимовичем, которые стали бывать у нас постоянно. Затем примкнули к нам и еще писатели, молодые в то время и очень заметные: Куприн, Найденов — автор нашумевшей пьесы «Дети Ванюшина», Вересаев, только что написавший книгу «Записки врача», о которой было так много споров по газетам.

Ранней весною 1900 года мы встретились с Горьким уже в Ялте [5]. Он жил высоко, в половине горы, откуда открывался чудесный вид на море и на окрестности. Все цвело вокруг. Помню, в его квартире всегда бывало немало народа — писатели, молодежь, женщины. Одни приходили,

другие уходили — и так во все часы дня. Не знаю, когда он принадлежал себе. Здесь же, в его квартире, жил в то время тот самый нижегородский нотариус А. И. Ланин, у которого Горький служил письмоводителем,— интересный, милый старик, относившийся к своему бывшему служащему с трогательным уважением и любовью. В этот период мы ежедневно встречались — то мы с Буниным шли к нему, то он приходил к нам в гостиницу или в сад, и здесь я ближе узнал и оценил Алексея Максимовича с его редкой начитанностью, с его умом и широтою взглядов. О чем бы он ни заводил речь, все это дышало простотой и глубокой убежденностью, без показных фраз, без всякой рисовки. Было ясно, что взгляды его и надежды составляют самую сущность его натуры.

Бывало, небольшой писательской компанией навещали мы А. П. Чехова в его аутнинском доме.

Как-то раз, проходя по набережной Ялты мимо фотографии, Горький предложил Бунину и мне зафиксировать эти наши встречи, и мы снялись группою, которая передана мною в Литературный музей. А на своем личном портрете, тут же снятом, Алексей Максимович сделал очень приятную для меня надпись и подарил мне. Кроме того, в моей дорожной книжке, на память о ялтинских встречах, он написал мне следующий экспромт:

«Мало на свете хорошего! Самое хорошее — искусство, а в искусстве самое лучшее и самое благородное — искусство выдумывать хорошее.

*М. Горький. Ялта, 1900, 16 апреля».*

Вскоре в Ялту приехала труппа Художественного театра. Все перезнакомились, и с Горького было взято обещание написать для МХТ пьесу. ⟨...⟩

Вспоминается еще инцидент, но уже не с публикой, как было в Художественном театре, а с жандармами и с министерством внутренних дел, в ноябре 1901 года. Заболевший Горький переселялся из Нижнего Новгорода в Ялту [6]. Путь лежал через Москву, где Горький должен был пробыть от утреннего поезда до вечернего. Это пребывание в Москве показалось кому-то опасным, и жандармы семью Горького пропустили в Москву, а его самого на товарной станции перед самой Москвой задержали, потом пересадили в другой вагон, поставили вагон с нижегородской линии на курские рельсы, так как эти два пути здесь пе-

рекрещиваются, и отогнали за полсотни верст в город Подольск [7].

В половине дня нам стало все это известно, и мы немедленно небольшой группой — Леонид Андреев, Бунин и я — поехали дачным поездом в Подольск узнавать, в чем дело. В числе поехавших одновременно с нами был Пятницкий, заведовавший издательством «Знание», и переводчик Горького на немецкий язык, Шольц, нарочно приехавший из Берлина в Москву, чтоб увидать, как живут в России знаменитые писатели.

И увидал.

Впоследствии он прислал мне немецкую газету с подробным описанием всего нашего путешествия. Было стыдно, что читают об этом в Европе.

Сюда же, на свидание с Горьким, приехал и Ф. И. Шаляпин. Здесь, на платформе станции Подольск, мы все с ним и познакомились. Через минуту начальник станции с дежурным жандармом впустили нас в «дамскую комнату», где беспокойно шагал из угла в угол, заложив руки за спину, Алексей Максимович. Увидев в дверях первых двоих, он остановился вдруг и протянул вперед руки. За первыми показались двое других, потом остальные. Удивление и радость были в его глазах.

— Что семья? — было первым его вопросом.— Где они все?

Его успокоили: все в Москве, всех мы их видели сегодня. Они в квартире Скирмунта и ни в чем не нуждаются.

До обратного нашего поезда было времени часа три. Сидеть в дамской комнате было более чем неудобно, и мы решили поехать в город, отстоявший от станции минутах в десяти езды. Пришлось, однако, иметь разговор с жандармом.

Ныряя в широких санях по подольским ухабам, мы добрались среди зимних сумерек до какого-то ресторана, по словам извозчиков, «первоклассного» и лучшего в городе. Здесь отвели нам отдельный кабинет, в котором мы еле уместили свои шубы, навалив их кучами одну на другую на маленьком диване и на столе; но сесть нам, семерым, было уже совершенно некуда. Тогда отвели нам второй кабинет рядом с шубами, такой же крошечный. Здесь мы и устроились, но так, что дверь в коридор пришлось оставить открытой, иначе все семеро мы не вмещались, а дверное отверстие занавесили скатертью — от любопытствующих.

Пока нам готовили чай, пока накрывали ужин, по городу уже прошел слух, что приехал Горький с писателями и что с ними — Шаляпин. И вот к вокзалу потянулись вереницы людей... А в «первоклассном» ресторане нашем происходило в это время следующее.

Только что мы устроились за занавеской и начали разговаривать, как до слуха нашего донеслось приближающееся звяканье шпор и мимо кабинета прошло несколько пар ног, что было видно из-под скатерти, не доходившей далеко до пола. Немец наш забеспокоился: что это значит? Затем, через минуту, не выдержал и вышел в коридор, откуда вернулся взволнованный и побледневший.

— Они роются в наших шубах,— в ужасе сообщил он.

Но ему спокойно ответили, что это у нас дело обыкновенное и что не стоит волноваться из-за пустяков: чему быть, того не миновать, как говорит пословица. А еще через несколько времени, робко приподняв нашу скатерть-занавеску, появился смущенный хозяин, кланяясь и извиняясь, с домовой книгой в руках. Он положил эту книгу на стол и просил всех нас расписаться: кто мы такие, откуда, где наши квартиры и как всех нас зовут, уверяя, что у них в городе такой порядок, чтобы приезжие писали о себе всю правду.

— Приезжий здесь один я,— вдруг заявил на это Шаляпин серьезно и строго.— А это мои гости. Такого закона нет, чтобы гостей переписывать. Давайте сюда книгу, я один распишусь в чем следует.

Не без трепета следил хозяин за словами, которые начал вписывать в его книгу Шаляпин. Увидев наконец, что мучитель его — артист «императорских театров», облегченно вздохнул и успокоился.

Дело оказалось более сложным, чем мы предполагали, когда услышали об отцепке вагона. Ни для кого не было тайной, что Горький не «уезжал» в Крым, но «высылался» распоряжением губернатора из пределов Нижегородской губернии как человек опасный и влиятельный среди рабочих. Но что отъезд его из Нижнего сопровождался совершенно исключительными условиями — этого знать мы еще не могли, так как произошло все это только вчера вечером.

В свое время Салтыков-Щедрин говорил: «Писатель пописывает, читатель почитывает, а чуть с писателем беда

стрясется, читатель первый от него в подворотню шмыгнет»[8]. Но не так это стало в дальнейшем, ближе к нашему времени. Читатель не шмыгнул в подворотню, а пришел с протестом и защитой писателя, пришел с гневом и готовностью борьбы за справедливую жизнь.

На вокзале в Нижнем Новгороде проводить писателя собралось большое количество молодежи: студентов, девушек, гимназистов и рабочих, которые громко выражали свое сочувствие и сожаление по поводу вынужденного отъезда, а затем запели хором «Дубинушку», «Обитель»[9] и другие неприятные для начальства песни. Мало того, повсюду, по вокзальным комнатам, платформам и залам, были разбросаны листовки, наскоро размноженные на гектографе:

«Мы собрались здесь провожать знаменитого любимого писателя М. Горького и выразить свое крайнее негодование по поводу того, что его высылают из родного города. Высылают его только за то, что он говорил правду и указывал на непорядки русской жизни. Мы выражаем свое негодование по поводу того, что у нас в России запрещают говорить правду, говорить, что народу живется у нас плохо. У нас запрещают писать в газетах о том, что всякие начальники грабят и обирают народ. У нас бьют нагайками студентов, которые заступаются за простой народ, и рабочих, которые хотят улучшить свое положение. У нас преследуют писателей, которые говорят правду и обличают начальство. Мы хотим и будем бороться против таких порядков».

Планы нижегородской молодежи были довольно широки. Имелось в виду оповестить все главнейшие пункты и города по пути следования Горького до Крыма, чтобы «путь борца за свободу человеческой личности был триумфальным шествием победителя».

Так ярко говорилось в прокламации. Однако генерал Трепов[10], московский обер-полицмейстер, успел раньше Москвы ознакомиться с планами нижегородцев. Это он распорядился отцепить вагон с Горьким за версту до Москвы; по его распоряжению перегнали вагон на курскую линию и остановили в Подольске; это он телеграфировал губернаторам тульскому, орловскому, курскому, харьковскому и симферопольскому о проезде Горького в Крым, на предмет принятия мер против могущих быть демонстраций, чтобы проезд писателя действительно не обратился бы в триумфальное шествие.

В нашем подольском «кабинете» в общих чертах рассказал нам Горький о проводах, о «Дубинушке», о разбросанных прокламациях, но о дальнейшем он и сам ничего не знал. Подробности всего этого мы узнали только через семнадцать лет, когда Октябрьская революция вскрыла архив департамента полиции. Между прочим, в рапорте Трепова говорилось несколько слов и о нас:

«К сему надлежит присовокупить, что с дневным поездом Курской жел. дороги в Подольск отправились несколько человек литераторов, в том числе артист Шаляпин, которые и были единственными лицами, провожавшими в Подольске Горького».

Было это не вполне так, как доносил по начальству Трепов. Когда мы вернулись на вокзал, там был, вероятно, весь город Подольск.

На ступеньках вокзала нас снова встретили жандармы и хотя без обычных грубостей, но в очень определенном окружении проводили нас снова в «дамскую комнату», где мы и просидели безвыходно до прихода скорого поезда Москва — Севастополь, в котором ехала семья Горького и в котором без дальнейших инцидентов поехал он сам. Таким образом, весь смысл, вся премудрость подольской задержки сводились только к тому, чтобы не впустить опасного писателя в Москву, хотя бы на полдня.

Поезд остановился здесь буквально на несколько секунд: очевидно, вне расписания, чтобы принять в определенное купе одного пассажира — Горького.

Алексей Максимович поднялся на площадку вагона, и едва успел сказать нам спасибо за наш приезд, как взревел гудок и поезд тронулся. Горький смог только крикнуть нам всем на прощание:

— Товарищи! Будем отныне все на «ты».

Этим и объясняется, что несколько писем ко мне были написаны под впечатлением этой встречи на «ты».

Когда с пригородным поездом мы возвращались в Москву, Шольц всю дорогу не мог успокоиться и все изумлялся.

В 1902 году Горький привез в Москву свою вторую пьесу — «На дне» — для Художественного театра. Первое чтение ее происходило у нас на «Среде» [11]. Читал сам Алексей Максимович. Читал очень хорошо и увлекатель-

но для слушателей,— особенно роль странника Луки. Читая, он сам увлекался. С хорошей, доброй улыбкой, весело говорил он за Луку, только что пришедшего в ночлежку босяков, с котомкой за плечами:

— Доброго здоровья, народ честной!

— Был честной, да позапрошлой весной,— сурово отвечает ему Бубнов, а Лука в ответ ему опять весело и ласково:

— Мне все равно, я и жуликов уважаю. Ни одна блоха не плоха: все черненькие, все прыгают. Так-то.

А иногда голос его начинал дрожать от волнения, и, когда Лука сообщил о смерти отмучившейся Анны, автор смахнул с глаз нежданно набежавшую слезу. Мечталось ему, очевидно, как это должно выйти на сцене, когда кто-то скажет:

— Дайте покой Анне, жила она очень трудно.

Многим тогда казалось, что слова Луки о страданиях Анны относились не только к Анне, но и ко всей измученной и истощенной царизмом России, ко всему трудовому народу. Так, по крайней мере, понимали его слезы некоторые свидетели этого чтения из мира артистического.

На этом чтении, помимо своих, было много приглашенных артистов и литераторов. Вспоминаются: В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, писательницы Крандиевская, Вербицкая, Щепкина-Куперник, крупные журналисты, врачи, юристы, ученые, художники. Народа было множество: сидели на подоконниках, стояли в других комнатах, где было все слышно, но ничего не было видно. Чтение происходило в квартире Леонида Андреева. Успех был исключительный. Ясно было, что пьеса станет событием. Так оно и случилось — особенно когда Лукою вышел на сцену Москвин, Бароном — Качалов, Сатиным — Станиславский.

Цензура долго упрямилась и не разрешала пьесу к представлению, вымарывала текст, калечила его, но все-таки, уступая общественному натиску, разрешила играть исключительно в Москве и только одному Художественному театру, причем роль полицейского пристава вычеркнула совсем из пьесы; однако после дополнительных хлопот Немировича-Данченко цензор прислал из Петербурга в театр за неделю до первого представления следующую любопытную телеграмму, хранящуюся в музее театра: «Пристава без слов выпустить можно».

Фраза же городового Медведева, что «бьют для порядка», так и не могла тогда прозвучать со сцены, как и многое-многое из яркого горьковского текста.

Когда автора кто-то из актеров спросил: чего хотелось бы ему достичь, передать и внушить зрителю, Горький ответил про этих зрителей:

— Чтобы, понимаете, хоть взбудоражить, чтобы не так спокойно в кресле бы им сиделось,— и то уже ладно!

— Мало показать на сцене революцию только через толпы народа, идущего с флагами. Надо показать революцию через душу человека — действующего лица.

Приблизительно так говорил впоследствии Станиславский. В пьесе «На дне» именно это и было если еще не показано, то, во всяком случае, задумано и определенно намечено.

Вспоминается совершенно исключительный успех этой пьесы на первом ее представлении в декабре 1902 года [12]. В публике много видных писателей, артистов, художников, общественных деятелей, популярных профессоров и известных критиков. В ролях выступают самые любимые, самые видные артисты МХТ: Станиславский, Москвин, Качалов, Книппер-Чехова, Лужский, Андреева, Вишневский, Грибунин... Связь зрительного зала со сценой установилась с первой же минуты, с первого слова: «Дальше!», сказанного Бароном (Качаловым). Каждая дальнейшая фраза артистов, каждое новое появление действующих лиц упрочивало эту живую связь. Хочется привести в свидетели самого К. С. Станиславского, который писал, что спектакль этот имел «потрясающий успех». Автор был вызван свыше двадцати раз.

По окончании спектакля Горький пригласил всех участвовавших, а также многих писателей и друзей на ужин в ресторан «Эрмитаж». Собралось человек около ста. У всех приподнятое настроение, все радостны, все поздравляют друг друга. Во время ужина, растроганный чудесным исполнением, Горький подходил к артистам, чокался с ними и, почти сквозь слезы радости, говорил им шутливо:

— Черти вы этакие, как вы хорошо играли!

Качалов не оставил этого без отклика и тоном Барона из «Дна» громко отозвался:

— Дальше!..

Но Москвин сейчас же возразил, тоже из пьесы, тоном Луки:

— Ты погоди, милый, не в слове дело, а почему слово говорится...

И пошли цитаты во всех концах зала из только что сыгранных ролей, в ответ на приветствия автора. 〈...〉

Вспоминается, как в 1905 году, в июне — июле, я принес Горькому для очередного сборника «Знание» рассказ [13], о котором он уже знал и просил поторопиться доставкой. Жил тогда Алексей Максимович рядом с гостиницей «Петергоф» на Воздвиженке (ныне ул. Калинина). Поднявшись высоко по лестнице, я позвонил и вошел в открывшуюся дверь. Был изумлен, когда в прихожей меня встретили два молодых человека восточного типа с пистолетами в руках [14].

— Вы кто? По какому делу?

Я сообщил. Один из них вышел и сейчас же вернулся вместе с Алексеем Максимовичем.

— Пойдемте, пойдемте,— говорил тот, улыбаясь и кивая на молодежь.— Это они все это выдумали.

Взял меня за руку и увел в столовую, где он завтракал вместе с М. Ф. Андреевой.

В то тревожное время молодые люди не зря придумали эту своеобразную охрану; повсюду только и было слышно о предстоящих погромах интеллигенции и в первую очередь о налетах на самых ярких вожаков надвигающейся революции. Черная сотня уже сучила кулаки, поджигаемая такими своими знаменитостями, как член Государственной думы Пуришкевич и бесноватый монах Илиодор.

Бегло полистав рукопись, Алексей Максимович улыбнулся:

— Вот так ловко! У вас полицейский, и тот не вынес: повесился от существующего режима. Не знаю, бывают ли такие полицейские, у которых бы совесть заговорила,— обычно они негодяи, но подразнить таким примером кого следует — очень, пожалуй, полезно. Эта ненадежность оплота кое для кого заноза теперь подходящая.

— А что вы скажете, если я напишу про черную сотню и выведу попа, который громит эту черную сотню и уходит в крамолу?

— А такие бывают?

— Почему не быть? Заштатный, всеми обиженный, нищий и голодный попик; нигде ему нет справедливости и

защиты. А характер горячий и непокорный. Вот возмутился и ушел в крамолу, даром что поп. Хочется «пострадать» им кого-то. Ведь попы были всегда оплотом самодержавия. И вдруг...

— Черт возьми! — задумался Алексей Максимович.— Пожалуй, ловко может получиться... Поп — в крамолу!.. Валяйте! За цензуру не беспокойтесь: Пятницкий устроит. Дуйте их в хвост и в гриву!

Вскоре я написал повесть «Крамола», которая и была напечатана в сборнике «Знание» в 1906 году.

# А. С. СЕРАФИМОВИЧ

## ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРЬКОМ

⟨...⟩ В длинной столовой за громадным столом сидело человек восемьдесят, все знаменитости, и никому из них не было дела до меня, никто не повернул головы [1]. А я уж никого не различал, как в тумане. Андреев ласково меня усаживал. Застольный гул и говор колыхался из конца в конец. В отдаленном конце стола поднялся широкоплечий, высокий, с длинными, откинутыми назад волосами, с открытым, смело глядящим лицом. Раздвигая стулья и людей, он подошел ко мне, взял за руку, сжал так, что у меня пальцы склеились, с славной улыбкой тряхнул и коротко:

— Горький...

Потом пошел назад, все так же раздвигая стулья. Гул, смех, говор сразу смолкли. Все головы ласково повернулись ко мне, заулыбались, закивали. Соседи задвигались, давая мне попросторнее сесть. Внимательно спрашивают, какого мне налить вина, как мне нравится Москва, как поживают мои детки, супруга. Одни накладывают мне на тарелку икры, лососины, семги, устриц, к которым я не знал, как приступиться. А с другой стороны льют мне в бокал вина, шампанское... Ух ты! Вспотел... Сердце ласково билось, и я думал: «Так вот он, Горький».

Это первое впечатление от Горького потянулось через жизнь. Уже оба мы стариками стали, уже фигуры погнулись, а перед глазами немеркнуще: широкоплечий, в серой перехваченной блузе, и лицо гордо и смело закинуто, он чувствовал в себе рвавшуюся силу и хотел ее понести трудящемуся человечеству на счастье, на радость...

...Мне позвонили. Подхожу к телефону. Голос Горького. По-нижегородски нажимает на «о»:

— Товарищ Серафимович? Здравствуйте. Заходите ко мне, потолкуем насчет издания ваших рассказов...

Только я вошел в его кабинет, он — большими шагами мне навстречу, крепко пожал руку, с хорошей, влекущей улыбкой и, все так же нажимая на «о», с места к делу:

— Вот задумал я дело, и большое дело. Надо собрать писателей [2]. У нас отличные писатели есть, а все врозь. Вы сколько за лист получаете?

— Шестьдесят рублей.

Он сердито прошагал из угла в угол. Сел.

— Вы у нас будете получать триста. Это — для начала. Чехову, Андрееву мы платим по восемьсот. Писатель должен напряженно думать о своей вещи, а не о том, как он завтра достанет молока ребятишкам.

У меня все пошло кругом: неужели, неужели же проголодь, нищета, мучительное выколачивание строчек — все это позади? И я могу писать спокойно, целиком отдаться творческой работе? И не будут надо мной с величайшим презрением издеваться толстосумы, в руках которых были издательства?

— Только...— Горький поднялся во весь свой рост, поднял палец,— только, чтобы писатель давал лучшее, что может дать. Каждый писатель может дать лучшее, если честный, у которого в душе лежат слитки... Ну, у одного побольше, у другого поменьше, не в этом дело. Золотая она, хоть крупинка, а золотая,— главное, честно относиться к своей работе. Ведь читать будут сотни тысяч, а дальше и миллионы. Революция созревает, рабочий класс все более и более революционизируется, и в этой атмосфере даже легальная (и потому охватывающая широкие массы), но честная литература сыграет большую мобилизующую роль. Рабочие умеют читать между строк, и всякая честная мысль найдет у рабочего отклик.

Он вдруг выбросил длинные и сильные руки вперед, вверх, вниз, два раза присел и вытянул ногу. Я смотрел во все глаза. Он улыбнулся, потрогал мои мышцы.

— Мускулы у вас ни к черту... Гимнастикой не занимаетесь? Ну, конечно, не до гимнастики! А надо. Я вот сегодня семь часов из-за стола не вылезал. Понимаете, рукописей горы. Ведь надо взвесить каждое слово, каждую строчку. Сотни тысяч читать-то будут!

В этот вечер я родился писателем. ⟨...⟩

Горький сумел сгруппировать вокруг издательства «Знание» все лучшее, что было среди писателей. Все же гнилое гнал беспощадно и яро.

Горький был не только гениальный, незабываемый пролетарский писатель, но и удивительный организатор. ⟨...⟩

...Я принес ему для сборника «Знание» мой рассказ «Маленький шахтер». Это рассказ о мальчугане, сыне шахтера. Мальчика спустили в шахты откачивать ручной помпой воду. Он работает в темноте один и медленно, уныло считает: раз, два... тоненьким голоском. Все шахтеры наверху — праздник. Алексею Максимовичу рассказ понравился.

— Хорошо! — сказал он, нажимая на «о». Да вдруг поднялся во весь свой рост, протянул руку и проговорил взволнованно: — Вы не забывайте: шахтеры — ведь это же рабочие! Они ведь создают все, что кругом. У вас они только бедненькие, забитые,— жалко их... А ведь это не вся правда. Шахты-то кто попрорыл? Кто взрывал каменные неприступные пласты? От воды-то захлебываются,— кто откачивал? Вот у вас этот мальчонок,— ну, жалко его, конечно. Но вырастет, он же настоящий потомственный шахтер будет! Перед ним земля-то, недра раздвигаться будут. Это вот, знаете, забываем мы все... А надо помнить. А раз помнить, значит, и изображать.

Я шел от него оглушенный. Мимо катился шумный Невский, и фонари заливали его, и не было голубых теней.

«Как же это я мог пропустить такую громадину? — говорил я в сотый раз сам себе.— Ведь рабочий, ведь он же— творец. Ведь действительно нельзя же его изображать только бедненьким, забитым, темным. Ведь это же мировая сила, которая в конце концов свернет шею мировой буржуазии».

И сколько мне ни приходилось потом наблюдать Горького, когда он помогал молодым начинающим писателям, всегда Горький поправлял и направлял их не только в области литературной техники, но еще больше в области изображения той силы, которая заложена в массах... ⟨...⟩

# И. А. БЕЛОУСОВ

## МАКСИМ ГОРЬКИЙ СРЕДИ ЛИТЕРАТОРОВ

С Алексеем Максимовичем Пешковым я познакомился в самом начале 1900 годов на литературных «Средах» Н. Д. Телешова в Москве... ⟨...⟩

Высокий, худощавый, с тяжелыми, откинутыми назад волосами, с короткими светло-рыжеватыми усами, опущенными вниз, сутулящийся при походке, одетый в темную суконную блузу простого покроя, в высоких сапогах,— Горький сначала выделялся в нашей среде своим костюмом, то есть внешностью: мы все одевались по-городскому, да еще, приезжая на «Среды», принаряживались, а он был одет по-демократически.

Говорил Горький неторопливо, ударяя на букву «о» — и этим говором, среди нас — москвичей — выделялся.

Но чем чаще посещал он «Среды» и чем больше мы приглядывались к нему,— тем больше узнавали его. Спокойный, уравновешенный, он как будто не умел горячиться, вспыхивать, но всегда речь его была красочна, образна и приобретала силу, когда он хотел сказать то, в чем был уверен,— и мы с жадностью слушали его рассказы о скитаниях, приключениях и о встречах с интересными людьми, которых он умел изобразить так, что они вставали перед нами, как живые: он умел подметить в них самое существенное, проникнуть в самое нутро.

Эти свойства таланта Горького давали ему возможность всегда верно расценивать людей. Горький не писал критических статей, но всякое проявление талантливости в новом молодом писателе им замечались.

Так, однажды, приехав на «Среду», он заявил, что нашел талантливого писателя.

— Пишет хорошо, но и пьет здорово, из певчих он,—

я вот уехал сюда в Москву, а его оставил на своей квартире, купил ему водки и сказал: сиди и пиши, а зря не болтайся.

— Как же фамилия этого писателя? — спросили мы.

— Скиталец — так он подписывается, а звать его — Степан Гаврилович Петров, волжанин, способный,— на гуслях хорошо играет и поет,— добавил Горький. ⟨...⟩

Вскоре Горький привез на «Среду» еще одного молодого писателя,— у этого писателя был красивый профиль лица, темные, густые волосы, зачесанные назад, одет он был в коричневый пиджак.

— Леонид Андреев,— рекомендую...— И добавил: — Талантливый парень.

Так коротко представил нам нового писателя Горький. ⟨...⟩

Я заметил, что Горький при первом своем появлении в Москве обратил на себя внимание своим костюмом, слишком демократическим по тогдашнему времени, и находились люди, которые говорили, что Горький рекламирует себя, тем более — этот необычайный для столичных жителей костюм нашел себе подражателей: не говоря о Скитальце, Андреев, Шаляпин нарядились в поддевки русского покроя и натянули сапоги с высокими голенищами.

Тогда всю эту компанию, одевающуюся под Горького, называли «подмаксимками»... ⟨...⟩

Но Горький, одеваясь по-демократически, ничуть не думал рисоваться,— он носил простую блузу потому, что находил ее удобной для себя, до других же ему не было никакого дела. Он и теперь одевается так же просто, как и прежде. ⟨...⟩

Последователи Горького вскоре оставили это «ряжение», Горький же, повторяю, остался неизменным, потому что это не было «ряжение», а сознательная потребность.

Когда слава Горького выросла до огромных размеров, имя его стало употребляться как нарицательное имя: всех босяков называли «Максимами Горькими», товаро-пассажирские поезда железных дорог с вагонами 4-го класса так же получили название «Максим Горький», тогда многие мещанской сладки люди стали говорить, что Горький строит себе рекламу, и в то же время эти же самые люди не прочь были при случае устроить ему овацию. Горький отлично понимал это, что подтверждает случай в Художественном театре, куда Горький приехал посмотреть «Чайку» А. П. Чехова [1]. ⟨...⟩

Многие писатели — современники Горького на литературу смотрели, как на ремесло, и как в каждом ремесле работа лучшего мастера расценивалась дороже других — менее способных, так было и в литературе,— гонорар писателя, получившего известность, оплачивался по высокой расценке, конечно, за счет других — одним не доплачивали, другим переплачивали,— за таким гонораром писатели гонялись. Но высокий гонорар могли оплачивать только дорогие, то есть толстые журналы, в них большею частью и встречались имена известных писателей. Дешевые же журналы не могли позволить себе такой роскоши, как приглашение в сотрудники писателей с известными именами. И Горький сотрудничал в толстых журналах. Но однажды на «Среде» известный издатель рублевого «Журнала для всех» В. С. Миролюбов убедил Горького сотрудничать и у него [2].

Помню, тогда на «Среде» были Горький, Скиталец, Л. Андреев, Вересаев, Тимковский, Гаеловский и другие писатели, тогда уже вошедшие в известность. Миролюбов начал говорить, что напрасно писатели стараются помещать свои произведения в толстых журналах.

— Кто их читает. Да и много ли у них подписчиков,— пять-шесть, ну десять тысяч, а у меня около ста тысяч, да и журнал идет в самые глухие углы России. Беднота читает мой журнал,— это поймите! У меня вам надо печататься,— горячо говорил Миролюбов.

Все слушали и молчали. Наконец Горький сказал:

— Этот длинный Миролюбов прав,— у него надо печататься.

К мнению Горького примкнули и другие писатели, и тогда «Журнал для всех» действительно начал блистать именами сотрудников. А. П. Чехов так полюбил этот журнал, что мечтал сделаться его редактором, если редакция переведется из Петербурга в Москву. 〈...〉

## Ж. Э. ЗАЛОМОВА

### ВСТРЕЧИ С А. М. ГОРЬКИМ

⟨...⟩ ...я встретила Горького позднею осенью 1902 года в Нижнем Новгороде после суда над участниками первомайской демонстрации в Сормове [1]. Писатель тогда жил в доме на Горке, на Мартыновской улице (ныне улица Семашко), дом 19. Мы подошли к нему вдвоем с Александрой Мартиниановной Кекишевой [2], которая хорошо знала Алексея Максимовича.

Мы вошли в большую комнату с массой книг, картин в папках. Завязалась непринужденная беседа. Мы говорили о мужественном поведении арестованных участников демонстрации в тюрьме, на суде, об их голодовке. Горький был в курсе этого дела и горячо принимал к сердцу судьбу рабочих-демонстрантов.

Потом он читал нам стихи. Не помню названия стихотворения Леопарди, но оно было ярко патриотическим по содержанию и рассказывало о борьбе итальянского народа за свободу. В нем говорилось, как женщины давали в руки любимым щит и меч и призывали их сражаться за родину.

«Им в руки щит невесты подавали...» [3]

Прошло с тех пор более пятидесяти лет, но мне запомнились эти слова. И читал он их нам, очевидно, не случайно. Предвидел он, что и нам придется в русском революционном движении играть роль таких невест...

Острота мыслей, чувств, интересов Алексея Максимовича, его умение понимать людей и направлять их оставили в нас глубокое впечатление.

Мы возвращались домой в каком-то восторженном настроении. ⟨...⟩

Следующая встреча состоялась в январе 1903 года в Москве.

Я приезжала в то время в Москву для свидания со своим женихом Петром Андреевичем Заломовым, который находился в Бутырской тюрьме в ожидании ссылки на поселение. Узнав о моем приезде, Алексей Максимович пригласил меня зайти к нему. Я пришла, и он просил передать Заломову, что поможет ему организовать побег из ссылки.

Впоследствии, в 1905 году, Горький осуществил это обещание: им были высланы деньги на побег Заломова.

Пятая встреча с Горьким произошла в конце октября 1905 года. После побега мужа из ссылки мы жили в Москве с маленькой дочерью на Большой Грузинской улице. П. А. Заломов участвовал в организации боевых дружин, и оба мы находились на нелегальном положении. Мне хотелось найти какую-либо педагогическую работу, и я решила обратиться к А. М. Горькому с просьбой о содействии... ⟨...⟩

Алексей Максимович принял меня очень хорошо. Расспрашивал о нашей жизни. Впоследствии муж мне рассказывал, что Горький содействовал моему приезду в Москву. Он посоветовал Заломову выписать меня с дочерью, так как это было удобно в конспиративном отношении. Присутствовавшая при этом разговоре Мария Федоровна Андреева заметила, что Петр Андреевич горячо любит жену и дочь и не захочет подвергать их опасности. Но Горький и мой муж не согласились с ней, и я приехала.

Из рассказов П. А. Заломова о 1905 годе у меня сложилось впечатление, что Горький тогда находился в центре революционных событий. В конце 1905 года, во время Декабрьского вооруженного восстания в Москве, П. А. Заломов бывал у Горького не раз по делам партии в его квартире на Моховой улице. А перед этим — летом 1905 года — ездил к писателю в Куоккалу...[4] Горький был в курсе подготовки к вооруженному восстанию, принимал участие в приобретении оружия и т. д.

...Эти кратковременные встречи с Горьким оставили у меня на всю жизнь память о Человеке с большой буквы, о великом писателе-гуманисте, Буревестнике революции.

## М. Ф. АНДРЕЕВА

### ПОЕЗДКА В КРЫМ

Мы, тогда еще Художественно-общедоступный театр, поехали в Крым, собственно в Ялту, показать Антону Павловичу Чехову две его пьесы — «Чайку» и «Дядю Ваню», которые он не видел [1].

По дороге остановились в Севастополе, где тоже дали несколько представлений. ⟨...⟩

Мы знали, что в Ялте живет М. Горький. Многие из нас читали его произведения, спорили о них. Одни сразу приняли новое восходящее литературное дарование, восхищались его горячим, бурным темпераментом, видели в нем глашатая новых мыслей и чувств, другим не нравилось, что «море смеялось» в рассказе «Мальва», что герои писателя — «подонки человечества».

Антон Павлович приехал в Севастополь навстречу театру, хотя его уговаривали не рисковать здоровьем и дождаться нашего приезда в Ялту.

Шел спектакль «Гедда Габлер». В антракте слышу — в коридоре глуховатым баском разговаривает с кем-то Антон Павлович. Обрадованно подумала: «Сейчас зайдет, должно быть. Боюсь, не понравится ему только, это не в его вкусе...» И действительно, слышу — стучится в тонкие дощатые двери убогой моей уборной — играли мы в летнем театре где-то на бульваре. Спрашивает:

— К вам можно, Мария Федоровна? Только я не один, со мной Горький.

Сердце забилось — батюшки! И Чехов и Горький. Встала навстречу. Вошел Антон Павлович — я его давно знала, еще до того, как стала актрисой,— за ним высо-

кая тонкая фигура в летней русской рубашке; волосы длинные, прямые, усы большие и рыжие [2].

Неужели это Горький?

...Мы почти все, огромное большинство труппы, сразу влюбились в Горького.

Когда мы играли в Ялте, мы много раз видели Горького — в доме Антона Павловича, на спектаклях в театре и вообще в городе. В Ялте тогда собралась почти вся группа «Знания» — Елпатьевский, Бунин, Куприн, Гусев-Оренбургский, Скиталец и еще какие-то менее известные писатели. Жил в Ялте Мамин-Сибиряк. Все свободное от репетиций и спектаклей время мы, актеры, проводили вместе с писателями, и многих из нас поражало их какое-то двойственное отношение к Горькому.

Как-то у Чехова произошла такая сцена. После чая, это было часа в четыре дня, собрались в кабинете у Антона Павловича несколько человек из нашего театра. Был Бунин и молодой писатель в форме морского офицера по фамилии, кажется, Лазаревский; отлично помню, что он сильно надоедал Антону Павловичу, требуя к себе особого внимания — он привез какие-то свои произведения на отзыв. Были еще Скиталец, Чириков и Алексей Максимович.

Где бы ни был Алексей Максимович, он обычно становился центром внимания. Так и в этот раз. Он горячо говорил, широко размахивал руками и вообще вел себя для нас непривычно. Двигался он необычайно легко и ловко. Кисти рук, очень красивые, с длинными выразительными пальцами, чертили в воздухе какие-то фигуры и линии, и это придавало его речи особую красочность.

Антон Павлович сидел на диване, поджав под себя ноги, и с умной улыбкой внимательно слушал.

Говорил Горький о двух русских гениях — Толстом и Достоевском, яростно утверждая, что эти великие художники принесли и великий вред русскому народу, стараясь пресечь, остановить и удержать историю его развития [3].

На лицах слушающих ясно видно было, что с Горьким они не согласны; однако никто не вступал с ним в спор. Так и дали ему, выговорившись, попрощаться и уйти...

Но стоило Горькому уйти, и сразу заговорили, заспорили, закричали «братья писатели». 〈...〉

— Какое нахальство! Как он смеет! Самоучка!

По существу никто ничего не говорил, а только больше бранились и возмущались.

Антон Павлович тихо покашливал, насмешливо морщился и тихо сказал под конец:

— Что же вы это ему все самому не сказали?

А. М. Горький нежно любил А. П. Чехова, он преклонялся перед его талантом, мастерством; пока мы играли в Ялте, он не пропустил ни одного представления пьес Чехова. Не будучи занятой в «Дяде Ване», я наблюдала, как воспринимал Горький происходящее на сцене. Глаза его то вспыхивали, то гасли, иногда он крепко встряхивал длинными волосами, видно было, как он старается сдержаться, пересилить себя, но слезы неудержимо заливали глаза, лились по щекам, он досадливо смахивал их, громко сморкался, смущенно оглядывался и снова неотрывно смотрел на сцену. ⟨...⟩

# А. А. СПЕНДИАРОВ

## М. ГОРЬКИЙ В КРЫМУ

Горький жил летом 1902 года в Крыму [1], в 14 верстах от Ялты, по дороге к Алупке, в имении Токмаковых «Олеиз». Я бывал у него с наслаждением. Его радушие хозяина не имело границ. У него были для всех всегда открытые двери и всегда накрытый стол. Он только что продал пятое издание своего пятитомного собрания,— денег было много. Скупость никогда не была знакома писателю. С утра и до утра вина и закуски не сходили со стола (сам Горький почти не пил).

С утра и до вечера менялся калейдоскоп самых прихотливых посетителей. В то время Ялта была средоточием литературных и музыкальных сил. Лев Толстой — в Гаспре, Чехов — в Ялте, Шаляпин целые дни проводил у Горького. Рахманинов, Андреев, Телешов, Бунин, Шмелев, Скиталец,— да разве упомнить всех, кого я встречал у Горького. (Я сам бывал у него часто, и Горький бывал у меня в Ялте, где я жил в доме отца.) Поразительно, что со всеми и даже с самыми назойливыми посетителями хозяин вел себя ровно, благодушно, внимательно, вопреки многими усвоенному представлению, будто Горький резок, дерзок, самомнителен. В те поры пресловутый нововременный критик Буренин впервые пустил в печать словечко, теперь затрепанное,— «хулиган». И пустил его по адресу Горького. Мы все были возмущены. Недоволен был и сам писатель: хотя обычно критике нововременцев не придавал никакого значения, слово «хулиган» огорчило его. ⟨...⟩

Как на поразительный пример гостеприимства и деликатности Горького укажу на такой случай, имевший место на моих глазах. Пришла дама-почитательница и за-

теяла с Алексеем Максимовичем политический спор. Каких только благоглупостей не наговорила эта аристократка, как только не старалась она ниспровергнуть и растоптать своим модным французским каблучком «эти красные бредни»! Горький очень терпеливо, внимательно выслушивал доводы посетительницы, подробно разбирал и разбивал их один за другим. Дама горячилась, находила все новые, еще более вздорные и оскорбительные мотивы для возражений. Горький, как врач, хладнокровно и участливо выслушивал пациентку. Дама становилась все несноснее и несноснее. Горький даже не повысил голоса.

И много было таких поклонников и поклонниц, которые, признавая талант, а некоторые даже гений Горького, старались его совратить с красного пути на путь добродетели — «церкви и отечеству на пользу». Он позволял каждому с улицы копаться в святая святых его души. И это вовсе не потому, что писатель искал типаж для своих будущих творений. И это вовсе не потому, что он искал в человеке его веру, его бога. Горький не был богоискателем. Он был человекоискателем. В каждом человеке искал человека. И если не удавалось найти, поражался. И снова, снова искал. Обнаружить залежи человека — вот была радость для него. Человеческая руда — это звучит драгоценнее, чем золотая руда.

Характерно, что и в минуту самого разгара веселья он не забывал о революционерах. Помню, в Ялте, уже будучи под особым надзором полиции, Горький, окинув многолюдное собрание и сообразив, что среди присутствующих есть люди очень состоятельные, объявил скоропостижный сбор в пользу революционеров. Дал свою широкополую, вместительную шляпу Шаляпину и заявил: «Спокойно! Снимаю!» Моментально шляпа наполнилась до краев кредитками — часто радужными — золотом. А Шаляпин любил, чтобы его песня была отмычкой к сердцу и карману.

В Крыму Горький и Шаляпин жили дружно. Шаляпин с непохожей на него восторженностью относился к Алексею Максимовичу. Да и вообще у Горького была какая-то всепокоряющая простота, деликатность и нежность в обращении. Его все решительно любили. ⟨...⟩ Однажды с виноватой улыбкой Горький говорит мне: «Вот знаете... не пишу я стихов... Все равно, ведь как Пушкин не напишешь, а писать хуже — значит оскорблять память Пушкина! [2] Пушкин за всех поэтов русских вперед на двести лет написал!.. И все-таки согрешил я стихом.

Написал поэму «Рыбак и фея»... Может, вам для музыки пригодится?» Я взял. Понравилось, и в 1903 году в Павловске уже исполнялась моя баллада «Рыбак и фея» [3] для баса с оркестром. ⟨...⟩ Я не знаю, можно ли больше любить Чехова, чем любил его Горький. Внимательный и радушный со всеми, Горький особенно нежен был именно с Антоном Павловичем! Толстой жил в Гаспре. Сыновья и дочь Толстого были частыми гостями у Горького. Сам Толстой не бывал в «Олеизе». Но Горький к Толстому любил ездить и возвращался просветленным. Он в богоискателе нашел такие горы человеческой руды, что на разработку ее не хватило бы десятка человеческих жизней. И художника, и человека Горький любил и любит в Толстом.

Горький бывал у меня в Ялте, в доме отца. Отец мой не щадил средств, чтобы обставить свой дом как можно художественнее. Вся мебель была специально заказана знаменитому Мельцеру [4]. Картины, статуи, бронза, фарфор делали дом похожим на дворец искусства. Меня поражало, с каким любованием всегда рассматривал Горький эти предметы искусства. Его детство и юность прошли без возможности наслаждаться радостями живописи, скульптуры, музыки. Но у него было прирожденное чувство красоты.

Рассматривая какую-нибудь фарфоровую безделушку, он восклицал: «Вот за такую прелесть не жалко никаких денег!» Он развивал как-то мысль, что все предметы быта — мебель, утварь, посуда, платье — должны быть напоены искусством. Ведь даже дикари самых отдаленных времен стараются каждой вещичке самого пустого домашнего назначения придать художественный вид. Или выцарапают на ней рисунок, или форму отгранят так, что получается зверек, или раскрасят. Тогда искусство было искусством для всех. Насколько же мы беднее, отсталее, если у нас искусство — это роскошь, привилегия богатых и знатных.

Музыку Алексей Максимович страшно любил. По его просьбе я, приглашая его к себе, всегда устраивал у себя концерты. Раз устроил квартетный вечер из солистов симфонического оркестра в Ялте. Этот вечер более всего понравился Горькому. А из квартетов — больше всего квартет Бетховена. Вообще классиков Горький предпочитал. У себя тоже он устраивал немало музыкальных вечеров, на которых охотно певал и Шаляпин.

# ВЛ. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

## ИЗ КНИГИ «ИЗ ПРОШЛОГО»

Мы привезли в Крым четыре спектакля: «Чайку» и «Дядю Ваню» Чехова [1], «Одиноких» Гауптмана и «Эдду Габлер» Ибсена. Гауптман был очень близок душе русского передового интеллигента. Недаром Чехов так любил его. И на Горького «Одинокие» производили очень большое впечатление. Но «Эдда Габлер» оставляла публику холодной, несмотря на то, что ее очень хорошо играла красавица Андреева и очень интересно играл гения Левборга Станиславский. В центре же внимания и настоящего, нового театрального волнения были, конечно, пьесы Чехова.

Горький был чрезвычайно захвачен и спектаклями, и духом молодой труппы.

Мы сыграли в Ялте восемь спектаклей, значит, пробыли там всего дней десять, а впечатления и результаты были огромны. Вечером играли, день уходил на прогулки, катания и встречи с Чеховым и Горьким. У Чехова двери дома на все это время были открыты настежь. Вся труппа приглашалась обедать и пить чай каждый день. Если Горького не было там, значит, он где-нибудь, окруженный другой группой наших актеров, где-нибудь сидит на перилах балкона, в светлой косоворотке с ременным поясом и густыми непослушными волосами, внимательно слушает, пленительно улыбается или рассказывает, легко подбирая образные, смелые и характерные выражения. ⟨...⟩

Очень интересно было проследить отношения между Чеховым и Горьким. Два таких разных. Тот — сладкая тоска солнечного заката, стонущая мечта вырваться из

этих будней [2], мягкость и нежность красок и линий; этот — тоже рвется из тусклого «сегодня», но как? С боевым кличем, с напряженными мускулами, с бодрой, радостной верой в «завтра», а не в «двести — триста лет» [3]. Влюбленность нашей актерской молодежи в Чехова могла подвергнуться испытанию; Горьким она тоже сильно увлекалась. Но результат наблюдения был замечательный. Горький оказался таким же влюбленным в Чехова, как и все мы. И чувство это сохранилось в нем навсегда. Перед нами теперь вся жизнь и деятельность Максима Горького. В ней вспоминаются не раз резкие выступления против «лирики», и все же к Чехову, величайшему из русских лириков, он всегда оставался таким же, каким был там, в Ялте, смолоду. ⟨...⟩

Обещание написать пьесу было дано. Завязалась переписка. Писал Горький всегда на крупном листе почтовой бумаги в линейку, отличным ровным почерком, без единой помарки, с четкой надписью: «А. Пешков». Он был в ссылке. Имел право жить только в Нижнем Новгороде, а потом даже только в уездном городе той же губернии — Арзамасе. Так как он всегда страдал грудной болезнью, то летом ему разрешали жить в Крыму, конечно, под строгим надзором. Однажды разрешили пожить недолго в Москве.

Я ездил к нему и в Нижний Новгород, и в Арзамас. Он был женат, имел сына лет шести, которому позволялось все, чего бы он ни захотел. Разве за очень уж большие проказы отец в наказание сажал его на шкаф.

«Зато я теперь выше тебя, Алексей»,— философствовал мальчик сверху. Он называл отца «Алексей».

В Нижнем Новгороде Горького посещало множество людей.

Врезалось в память у меня одно посещение. На вид вроде Сатина из «На дне», плотный, живописный; вчера еще форменный босяк, сегодня чуть-чуть приодетый, с отличным, выразительным лицом, прекрасным голосом. Когда он ушел, Горький сказал:

— По-моему, из него вышел бы хороший актер.

— А сейчас он что? — спросил я.

— Сейчас живет чем попало. Если встретит вас в глухом переулке, потребует полтинник и скажет: «Давайте скорее, а то сам возьму больше...»

Я потому запомнил его, что из него действительно стал превосходный актер.

От Арзамаса у меня осталось впечатление паршивого, пыльного городишка, с немощеными улицами, с дощатыми танцующими тротуарами. К открытым окнам просторной комнаты Алексея Максимовича то и дело подходили нищие. Без конца много нищих. Алексей Максимович давал каждому, давал как-то особенно просто, не придавая этому никакой окраски — ни сожаления, ни милостыни, точно выполняя какую-то простейшую необходимость, как передвигают стулья, сметают пыль, закрывают то и дело распахивающуюся от ветра дверь. Этих нищих было так много, что они мешали разговаривать. Зарождалось подозрение, что они злоупотребляли добротой Горького. Но он не пропускал ни одного.

«Какого черта, сколько вас тут развелось»,— ругнется он громко, тем не менее горстями отдавая мелочь.

Когда у него уже не хватало или надо было разменять, он шел в другие комнаты искать жену. Скоро и у нее не было, тогда он брал у меня. Тоже совершенно просто, как берут спички, чтоб закурить.

А в двенадцать часов ночи продолжать нашу, все еще не окончившуюся беседу мы ушли на какую-то пыльную пустынную площадь, за которой из пустой темной рощи мелькали белые кресты кладбища.

Уездный город Арзамас.

Это было уже в августе 1902 года, когда он только что закончил пьесу «На дне жизни» (впоследствии он сократил название: «На дне»). А еще весной я ездил к нему в Олеиз, дачное место под Ялтой, где он прочел мне первые два акта. Помнится, когда я приехал, пришлось ждать. Екатерина Павловна (жена Алексея Максимовича, всегдашняя и всеобщая любимица Художественного театра) сказала, что он с Шаляпиным еще третьего дня забрали провизии и вина и уплыли вдвоем на простой лодке очень далеко в море, с тем чтобы вернуться на берег только сегодня вечером. Чтобы там, на морском просторе, купаться, лежать под солнцем, есть, пить, спать, болтать. И, действительно, вернулись они с таким запасом кислорода, и физического и духовного, такие великолепные в их орлино-вольном настроении, такие веселые и внутренно пластические, братски улыбающиеся, что, глядя на них, верилось в самую пылкую романтику. ⟨...⟩

Первая пьеса Горького была «Мещане» [4]. Всем нам очень хотелось, чтоб он написал пьесу из жизни босяков — быт, тогда еще не тронутый и особенно нас интересовавший [5], но из опасения цензуры надо было начать скромнее. Театр не успел поставить «Мещан» в Москве, и премьера должна была состояться в Петербурге, куда театр уже выезжал каждую весну. ⟨...⟩

На представлениях «Мещан» ожидались демонстрации, враждебные великому князю [6]. И, как полагается в таких случаях, выход был найден простой: запретить пьесу.

Мы начали хлопотать. Мне была устроена аудиенция у товарища министра кн. Святополк-Мирского, прославившегося либеральными проектами. Мне удалось убедить. Пьеса была разрешена условно — только для абонентов.

Художественный театр имел в Петербурге успех чрезвычайно широкий. Им увлекались все слои населения, каким театр был доступен,— и придворные с царской фамилией, и светские круги, и вся огромная интеллигенция, и вся передовая молодежь. Последняя особенно считала Художественный театр своим. Мы играли в первые годы в частном театре, приспособленном для оперных представлений, в котором в верхних ярусах было очень много мест плохих, из которых слышно, но не видно; эти места мы не продавали; однако они заполнялись в огромном количестве «зайцами», то есть безбилетниками. Этих «зайцев» бывало до пятисот человек. Мы это знали и смотрели сквозь пальцы, так как это все была студенческая молодежь.

Я часто ходил к ним туда наверх беседовать в антрактах. Помню, одно из представлений «Доктора Штокмана» Ибсена — которого совершенно замечательно играл Станиславский — совпало с днем бурной кровавой манифестации у Казанского собора [7]. Казалось, вечером молодежи будет не до театра; ведь значительная часть ее участвовала в этой манифестации; там было много товарищей: раненых, избитых, свезенных в больницы, арестованных; общее настроение было насыщено политикой. И однако, вечером верхи театра были переполнены, как всегда. Пришли не остывшие от физической перепалки, возбужденные, голодные, но пропустить спектакль Художественного театра не могли. Помню, как говорила одна девушка, горячая, страстная:

«Ведь эта пьеса («Доктор Штокман») по ее политической тенденции совсем не наша. Казалось бы, нам надо

свистать ей. Но тут столько правды и Станиславский так горячо призывает к верности самому себе, что для нас этот спектакль и праздник, и такое же «дело», как манифестация у Казанского собора» [8].

Несколько вечеров перед «Мещанами» я ходил к ним наверх просить не устраивать никаких демонстраций. «Нам этот спектакль нужен, чтоб Горький писал для театра,— убеждал я,— а беспорядки вызовут репрессии, и мы потеряем такого автора».

Молодежь обещала и свое обещание выполнила. Только в последний спектакль «Мещан» кто-то, уж на прощание, не мог сдержаться и как бы для собственного удовлетворения пробасил на весь театр только один раз: «Долой великого князя». ⟨...⟩

Судьбой «Мещан» Горький уже мало интересовался, он уже писал «На дне» и был поглощен этой пьесой. Она сразу восхитила театр, работа над нею сразу закипела. Искание нового «тона» для горьковского диалога тоже прошло быстро.

Во все время постановки «На дне» [9] Горький был среди нас, но тут наши роли часто менялись: часто уже не он властвовал над театром, а театр над ним. Я не люблю заниматься разгадыванием чужой психологии, но тут было слишком очевидно, что Горький как бы отдался своему успеху: отдался, может быть, впервые так полно, так вовсю. Тут надо было и идти навстречу множеству людей, которые рвались к нему по-настоящему, дружески, с серьезными запросами... Я встречал его у Скирмунт. Если память мне не изменяет, у них и жил он [10]. ⟨...⟩

Надо было отдавать какое-то время и просто «шумихе», которая неизбежна в столичной жизни, если она затянет. Горький был, что называется, нарасхват. Одним из главных, если не главным местом его пребывания был Художественный театр, состав которого был все-таки пестрый. Репетиции, обеды, ужины, встречи, выражения поклонения, беседы, чтения... Всегда очень энергичный и всегда с огромным самообладанием; смотрит в упор, хочет вас хорошо понять и, если вы «свой», сейчас же полюбит вас; в вопросах, что хорошо, что дурно, не колеблется ни секунды и также непоколебимо уверен в себе. На репетициях был прост, искренен, доверчив, но, где надо, и безобидно настойчив. Весь этот период, пожалуй, всю эту

зиму (1902—1903) он вспоминается мне стремительным, довольным, как бы, наконец, вознагражденным за много лет тяжелой жизни. Во время премьеры «На дне», имевшей самый большой успех, какой бывает в театрах, он выходил кланяться, естественно смущенный без привычки выходить на публику, особенно рядом с искушенными в этом актерами, но очень довольный. «А хорошо, черт подери!» — восклицал он, входя в кабинет прямо со сцены, после вызовов, горячий, улыбающийся, тыкая в пепельницу папиросу, с которой так и выходил кланяться, или закуривая новую.

«Вот история-то с географией!» — выражение, которое он часто повторял.

Вот. Театр отдает все свое мастерство, максимум своего вдохновения, вся труппа охвачена радостью, вся — и лучшие из нее, играющие главные роли, и те, кто выходят в толпе босяков, громил и хулиганов; все находятся в том высшем напряжении, когда человек успешно и радостно выполняет главнейшую задачу своей жизни; боевой тон, бьющие, как хлыстом, слова, революционно насыщенная подоплека пьесы нашли сильное, обаятельное театральное воплощение; а из аудитории, которая в огромнейшей своей части состоит из злейших классовых врагов автора, из этой самой аудитории, против которой направлен весь гнев пьесы, несутся овации. ⟨...⟩

Успех «На дне» стал мировым... ⟨...⟩ Сезон 1902—1903 года можно назвать шедшим «под знаком Горького», так как из четырех поставленных пьес две принадлежали ему, а две другие — «Власть тьмы» Л. Толстого и «Столпы общества» Ибсена — не заслонили его успеха. ⟨...⟩

# К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ

## «НА ДНЕ»

Во время первой нашей поездки в Крым [1], сидя как-то раз вечером на террасе и слушая плеск морских волн, Горький рассказывал мне в темноте содержание этой своей пьесы, о которой он тогда еще только мечтал. В первой редакции главная роль была роль лакея из хорошего дома, который больше всего берег воротничок от фрачной рубашки — единственное, что связывало его с прежней жизнью. В ночлежке было тесно, обитатели ее ругались, атмосфера была отравлена ненавистью. Второй акт кончался внезапным обходом ночлежки полицией. При вести об этом весь муравейник начинал копошиться, спешил спрятать награбленное; а в третьем акте наступала весна, солнце, природа оживала, ночлежники из смрадной атмосферы выходили на чистый воздух, на земляные работы, они пели песни и под солнцем, на свежем воздухе, забывали о ненависти друг к другу.

Теперь нам предстояло поставить и сыграть эту пьесу в новой, значительно углубленной редакции, под названием «На дне жизни», которое после, по совету Владимира Ивановича [2], Горький сократил до двух слов: «На дне». Опять перед нами была трудная задача: новый тон и манера игры, новый быт, новый, своеобразный романтизм, пафос, с одной стороны, граничащий с театральностью, а с другой — с проповедью.

«Не люблю я, когда Горький, точно священник, выходит на амвон и начинает читать проповедь своей пастве, с церковным «оканьем»,— говорил как-то Антон Павлович про Горького.— Алексей Максимович должен разру-

шать то, что подлежит разрушению, в этом его сила и призвание».

Горького надо уметь произносить так, чтобы фраза звучала и жила. Его поучительные и проповеднические монологи, хотя бы, например, о «Человеке», надо уметь произносить просто, с естественным внутренним подъемом, без ложной театральности, без высокопарности. Иначе превратишь серьезную пьесу в простую мелодраму. Надо было усвоить особый стиль босяка и не смешивать его с обычным бытовым театральным тоном или с актерской вульгарной декламацией. У босяка должна быть ширь, свобода, свое особое благородство. Откуда их добыть? Нужно проникнуть в душевные тайники самого Горького, как в свое время мы это сделали с Чеховым, чтобы найти потайной ключ к душе автора. Тогда эффектные слова босяцких афоризмов и витиеватых фраз проповеди наполнятся духовной сущностью самого поэта, и артист заволнуется вместе с ним.

Как всегда, В. И. Немирович-Данченко и я подошли к новому произведению каждый своим путем. Владимир Иванович мастерски вскрыл содержание пьесы; он, как писатель, знает литературные ходы, которые подводят к творчеству. Я же, по обыкновению, беспомощно метался в начале работы и бросался от быта к чувству, от чувства к образу, от образа к постановке или приставал к Горькому, ища у него творческого материала. Он мне рассказывал, как и с кого писалась пьеса, он говорил о своей скитальческой жизни, о своих встречах, о прообразах действующих лиц и о моей роли Сатина — в частности. Оказывается, что босяк, с которого он писал эту роль, пострадал из-за самоотверженной любви к сестре. Она была замужем за почтовым чиновником. Последний растратил казенные деньги. Ему грозила Сибирь. Сатин достал деньги и тем спас мужа сестры, а тот нагло предал его, уверив, что Сатин нечист на руку. Случайно подслушав клевету, в порыве бешенства Сатин ударил предателя бутылкой по голове, убил его и был присужден к ссылке. Сестра умерла. Потом каторжанин вернулся из ссылки и занимался тем, что ходил с распахнутой голой грудью по Нижнему Новгороду с протянутой рукой и на французском языке просил милостыню у дам, которые ему охотно подавали за его живописный, романтический вид.

Рассказы Горького разожгли нас, и нам захотелось видеть самую гущу жизни бывших людей. Для этого была

устроена экспедиция, в которой участвовали многие артисты театра, игравшие в пьесе,— В. И. Немирович-Данченко, художник Симов, я и др. Под предводительством писателя Гиляровского, изучавшего жизнь босяков, был устроен обход Хитрова рынка [3]. Религия босяка — свобода; его сфера — опасности, грабежи, приключения, убийства, кражи. Все это создает вокруг них атмосферу романтики и своеобразной дикой красоты, которую в то время мы и искали.

В описываемую ночь, после совершения большой кражи, Хитров рынок был объявлен тамошними тайными властями, так сказать, на военном положении. Поэтому было трудно посторонним лицам достать пропуск в некоторые ночлежные дома. В разных местах стояли наряды вооруженных людей. Надо было проходить мимо них. Они нас неоднократно окликали, спрашивали пропуска. В одном месте пришлось даже идти крадучись, чтобы «кто-то, сохрани бог, не услышал!». Когда прошли линию заграждений, стало легче. Там уже мы свободно осматривали большие дортуары с бесконечными нарами, на которых лежало много усталых людей — женщин и мужчин, похожих на трупы. В самом центре большой ночлежки находился тамошний университет с босяцкой интеллигенцией. Это был мозг Хитрова рынка, состоявший из грамотных людей, занимавшихся перепиской ролей для актеров и для театра. Они ютились в небольшой комнате и показались нам милыми, приветливыми и гостеприимными людьми. Особенно один из них пленил нас своей красотой, образованием, воспитанностью, даже светскостью, изящными руками и тонким профилем. Он прекрасно говорил почти на всех языках, так как прежде был конногвардейцем. Прокутив свое состояние, он попал на дно, откуда ему, однако, удалось на время выбраться и вновь стать человеком. Потом он женился, получил хорошее место, носил мундир, который к нему очень шел.

«Пройтись бы в таком мундире по Хитрову рынку!» — мелькнула у него как-то мысль.

Но он скоро забыл об этой глупой мечте... А она снова вернулась... еще... еще... И вот во время одной из служебных командировок в Москву он прошелся по Хитрову рынку, поразил всех и... навсегда остался там, без всякой надежды когда-нибудь выбраться оттуда.

Все эти милые ночлежники приняли нас как старых друзей, так как хорошо знали нас по театру и ролям, ко-

торые переписывали для нас. Мы выставили на стол закуску, то есть водку с колбасой, и начался пир. Когда мы объяснили им цель нашего прихода, заключающуюся в изучении жизни бывших людей для пьесы Горького, босяки растрогались до слез.

«Какой чести удостоились!» — воскликнул один из них.

«Да что же в нас интересного, чего же нас на сцену-то нести?» — наивно дивился другой.

Разговор вращался на теме о том, что вот, мол, когда они перестанут пить, сделаются людьми, выйдут отсюда, и т. д., и т. д.

Особенно один из ночлежников вспоминал былое. От прежней жизни или в память о ней у него сохранился плохонький рисунок, вырезанный из какого-то иллюстрированного журнала: на нем был нарисован старик отец в театральной позе, показывающий сыну вексель. Рядом стоит и плачет мать, а сконфуженный сын, прекрасный молодой человек, замер в неподвижной позе, опустив глаза от стыда и горя. По-видимому, трагедия заключалась в подделке векселя. Художник Симов не одобрил рисунка. Боже! Что тогда поднялось! Словно взболтнули эти живые сосуды, переполненные алкоголем, и он бросился им в голову... Они побагровели, перестали владеть собой и озверели. Посыпались ругательства, схватили — кто бутылку, кто табурет, замахнулись, ринулись на Симова... Одна секунда — и он не уцелел бы. Но тут бывший с нами Гиляровский крикнул громоподобным голосом пятиэтажную ругань, ошеломив сложностью ее конструкции не только нас, но и самих ночлежников. Они остолбенели от неожиданности, восторга и эстетического удовлетворения. Настроение сразу изменилось. Начался бешеный смех, аплодисменты, овации, поздравления и благодарности за гениальное ругательство, которое спасло нас от смерти или увечья.

Экскурсия на Хитров рынок лучше, чем всякие беседы о пьесе или ее анализ, разбудила мою фантазию и творческое чувство. Теперь явилась натура, с которой можно лепить, живой материал для творчества людей и образов. Все получило реальное обоснование, стало на свое место. Делая чертежи и мизансцены или показывая артистам ту или иную сцену, я руководился живыми воспоминаниями, а не выдумкой, не предположением. Главный же результат экскурсии заключался в том, что она заставила меня почувствовать внутренний смысл пьесы.

«Свобода—во что бы то ни стало!» — вот ее духовная сущность. Та свобода, ради которой люди опускаются на дно жизни, не ведая того, что там они становятся рабами.

После описанной знаменитой экскурсии на дно жизни мне уже было легко делать макет и планировку— я чувствовал себя своим человеком в ночлежке. Но для меня как актера явилась трудность: мне предстояло передать в сценической интерпретации общественное настроение тогдашнего момента и политическую тенденцию автора пьесы, высказанную в проповеди и монологах Сатина. Если прибавить к этому босяцкий романтизм, который толкал меня на обычную театральность, то станут ясны трудности и опасные для меня как актера рифы, на которые я то и дело наталкивался. Таким образом в роли Сатина я не мог сознательно добиться того, чего бессознательно достиг в роли Штокмана [4]. В Сатине я играл самую тенденцию и думал об общественно-политическом значении пьесы, и как раз она-то — не передавалась. В роли же Штокмана, напротив, я не думал о политике и о тенденции, и она сама собой, интуитивно создалась.

Снова практика привела меня к заключению, что в пьесах общественно-политического значения особенно важно самому зажить мыслями и чувствами роли, и тогда сама собой передастся тенденция пьесы. Прямой же путь, непосредственно направленный к самой тенденции, неизбежно приводит к простой театральности.

Мне пришлось немало работать над ролью, чтобы до некоторой степени отойти от неверного пути, на который я попал первоначально, в заботе о тенденции и романтизме, которые нельзя играть, которые должны сами собой создаться — как результат и заключение правильной душевной посылки.

Спектакль имел потрясающий успех [5]. Вызывали без конца режиссеров, всех артистов и особенно великолепного Луку — Москвина, превосходного Барона — Качалова, Настю — Книппер, Лужского, Вишневского, Бурджалова и, наконец, самого Горького. Очень было смешно смотреть, как он, впервые появляясь на подмостках, забыл бросить папиросу, которую держал в зубах, как он улыбался от смущения, не догадываясь о том, что надо вынуть папиросу изо рта и кланяться зрителям.

«Ведь вот, братцы мои, успех, ей-богу, честное сло-

во! — точно говорил себе в это время Горький.— Хлопают! Право! Кричат! Вот штука-то!»

Горький стал героем дня. За ним ходили по улицам, в театре; собиралась толпа глазеющих поклонников и особенно поклонниц; первое время, конфузясь своей популярности, он подходил к ним, теребя свой рыжий подстриженный ус и поминутно поправляя свои длинные прямые волосы мужественными пальцами сильной кисти или вскидывая головой, чтоб отбросить упавшие на лоб пряди. При этом Алексей Максимович вздрагивал, раскрывал ноздри и горбился от смущения.

«Братцы! — обращался он к поклонникам, виновато улыбаясь.— Знаете, того... неудобно как-то... право!.. Честное слово!.. Чего же на меня глазеть?! Я не певица... не балерина... Вот история-то какая... Ну вот, ей-богу, честное слово...»

Но его смешной конфуз и своеобразная манера говорить при застенчивости еще больше интриговали и еще сильнее привлекали к нему поклонников. Горьковское обаяние было сильно. В нем была своя красота и пластика, свобода и непринужденность. В моей зрительной памяти запечатлелась его красивая поза, когда он, стоя на молу Ялты, провожал меня и ожидал отхода парохода. Небрежно оперішись на тюки с товаром, поддерживая своего маленького сынишку Максимку, он задумчиво смотрел вдаль, и, казалось, еще немного — и вот он отделится от мола и полетит куда-то далеко, за своей мечтой.

# В. В. ЛУЖСКИЙ

## К ПОСТАНОВКЕ «НА ДНЕ»

⟨...⟩ Но вот Главное управление по делам печати прислало разрешение [1] с тем, что пьеса пойдет только в Художественном, в других чтобы и «духом не пахло, ни-ни». Кажется, разрешали потому еще, что тогдашние цензора и цензоры впечатлений (была и такая должность) не считали «На дне» пьесой сценичной. К тому времени и Алексей Максимович тоже получил разрешение приехать в столицу. И вот в ноябре 1902 года он в Москве. ⟨...⟩

Пьесу читал [2] Алексей Максимович увлекательно для слушателей и сам увлекался; как будто все симпатии его тогда были на сцене Луки и Анны. он всегда поплакивал тут, сморкался, вытирал слезы, читая сцену. Мечталось ему, очевидно, что как-то должно же выйти,что кто-то скажет наконец: «Дайте покой Анне, жила она очень трудно».

Отлично выходил у Горького Алешка и добродушная Квашня. Много поэзии, романтизма и искренности и тоже слез приносил Горький в чтении роли Настеньки, увлекался он и актерским чтением стихотворения Беранжера.

Луку не только читал, но и рассказывал о таких же, как Лука, странниках, изображал его походку. Но словами, описательно. Симпатизировал Луке очень, пожалуй, больше всех из действующих лиц. Много рассказов с биографическими подробностями почерпнули от него Станиславский и Качалов для Сатина и Барона.

Горький навез с собой фотографий ночлежек, типов их, а также крючников с Волги. В артистическом фойе в театре и сейчас хранится подарок Горького труппе того

времени — картина масляными красками, изображающая волжского крючника.

Привез Алексей Максимович или сопровождающий его Скиталец или Пятницкий, хорошо не помню теперь, и ноты для «Солнце всходит» [3].

Меня он просил в третьем акте быть еще тупее того, чем это мной изображалось: «еще тупее», понимаете, «зачем человек врать так любит, старик ведь уже, зачем», «понимаете, такому туподуму странно желание как-то подрумянить жизнь», ему, Бубнову, ясно и неоспоримо только, что «татары — спать любят», — «зачем врать»

Управление урезало, и порядочно, несколько мест в пьесе, теперь уже многое восстановилось и тоже давно играется... ⟨...⟩

# В. Р. ГАРДИН

## ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

...1904 год. В репетиционном зале Драматического театра В. Ф. Комиссаржевской — просторной, но уютной гостиной с бархатными занавесами и длинными мягкими диванами, собралась большая группа актеров. Ждем писателя Максима Горького. Сегодня он будет читать нам свою пьесу «Дачники» [1].

Точно в назначенное время, пропустив вперед Веру Федоровну Комиссаржевскую, входит в гостиную Горький. Кроме Комиссаржевской, его сопровождают актеры нашего театра К. В. Бравич и Н. Д. Красов.

Одет Горький в темную блузу-косоворотку, на нем высокие русские сапоги. На голове большая буйная копна темных волос. Неподстриженные усы нависают над углами губ. Прищуренные, внимательно вглядывающиеся глаза. Словом, Горький выглядел точно так, как нарисовал его в том же 1904 году замечательный русский портретист В. Серов [2].

— Здравствуйте,— с улыбкой поклонился Горький.— Простите меня, но поздороваться с каждым не смогу. Очень уж много вас... Если моя пьеса вам понравится и вы будете играть ее, познакомимся на репетициях...

Он обернулся к Комиссаржевской.

— Речи говорить, я думаю, не будем? Приступим к читке?

Все уселись. Горький занял место за маленьким столиком и начал читать.

Читал он просто, четко и внятно произнося каждое слово, весьма заметно «окая» и не прибегая к интонационным характеристикам действующих лиц, не повышая голоса, даже когда это требовалось по ходу диалога. Но,

читая реплики некоторых героев пьесы, менял ритм речи. Помню, что особенно замедлял речь старого сторожа, делал сравнительно большие паузы при передаче слов Рюмина. Власа читал быстрее. Иногда усмехался.

После каждого акта закуривал, откашливался, отдыхал минуты две-три. Не докурив папиросу, клал ее в пепельницу и продолжал чтение. А папироса долго-долго дымилась...

Мы слушали затаив дыхание.

Неудача царских войск на Дальнем Востоке, трагедии Цусимы и Порт-Артура, усиление внутренней реакции в России волновали общественное мнение, вызывали чувство протеста... Эти нотки протеста мы слышали и в пьесе Горького, понимали, что она явно направлена против бездеятельности буржуазной интеллигенции, оторванности ее от народа.

«Какая мне достанется роль?» — думал я. Почему-то решил, что, вероятнее всего, будет поручена роль писателя Шалимова. И стал с особым вниманием следить за его репликами.

Кончив чтение пьесы, Горький смущенно улыбнулся и произнес одно слово:

— Все!

На следующее утро в театре висело распределение ролей. Центральная роль Варвары Михайловны Басовой была поручена В. Комиссаржевской и А. Домашевой. Мне — роль Шалимова. ⟨...⟩

Начались репетиции. Горький побывал на двух первых. Молчал. Иногда что-то шептал на ухо режиссеру И. А. Тихомирову. Перезнакомился со всеми участниками спектакля, называл нас по имени-отчеству... Потом из-за каких-то неотложных дел уехал из Петербурга.

Премьера была назначена на 10 ноября.

И вот 9 ноября Горький прибыл на нашу генеральную репетицию. Его присутствие как-то подняло «боевой жар» всех участников спектакля. Именно на генеральной репетиции всем стало ясно, как велико общественное значение пьесы.

Горький был в очень веселом, бодром настроении.

На маленькой сцене театра, загроможденной дачными постройками, палисадником, мы были вынуждены толкаться, вертеться на месте. Казалось, автор будет раздражен этой суетливостью.

Но после спектакля, когда мы плотным кольцом окру-

жили поднявшегося на сцену Горького, он неожиданно для всех заявил:

— Очень понравилось, что все толкутся вокруг дачи Басова... Так мала сцена жизни русской интеллигенции и в действительности!

Конечно, каждому из нас хотелось получить отзыв писателя об исполняемой роли, услышать слова совета.

С этим обратился к Горькому и я.

— Вы хорошо передаете подстриженные чувства моего Шалимова... Впрочем, теперь Шалимов не только мой, но и ваш!

Подстриженные чувства! Не знаю, в самом ли деле я хорошо передавал их до того, как услышал эту формулу от Алексея Максимовича, но на премьере и последующих спектаклях «подстриженные чувства» Шалимова передавались мной уже вполне осознанно.

Итак, настал день премьеры — 10 ноября 1904 года.

Перед спектаклем мы очень волновались. Знали, что спектакль получил разрешение цензуры и полиции с большим трудом [3]. Ходили слухи, что готовится обструкция...

Мой Шалимов должен был выйти на сцену в конце первого акта. Поэтому в течение почти всего первого акта я, пристроившись за кулисами, рассматривал в щелочку зрительный зал.

Балкон и задние ряды, как всегда, были заполнены учащейся молодежью, поклонниками Горького, постоянными посетителями нашего театра. В первых рядах восседала петербургская буржуазия и бюрократия. Между прочим, среди них я отчетливо увидел и узнал реакционнейших представителей декаданса Мережковского, Гиппиус и других.

Поначалу все шло хорошо. В зале было тихо.

Первый раз зрители разделились на два лагеря после точной по мысли и хлесткой по форме реплики Марии Львовны ноющему о бессмыслице жизни Рюмину:

— А вы постарайтесь возвести случайный факт вашего бытия на степень общественной необходимости — вот ваша жизнь и получит смысл...

Сначала робкие, но затем дружные аплодисменты одной части зрительного зала были прерваны шиканьем другой, будто бы требовавшей тишины, но на самом деле не желавшей допускать знаков одобрения.

С этого момента зрительный зал активно включился в спектакль в качестве... действующего лица, а мы, участ-

ники спектакля, почувствовали крепкую поддержку одной части зрительного зала и поняли, что другую его часть должны разить остротой и правдой пьесы, ибо это лагерь Басовых, Сусловых, Рюминых, то есть тех же «дачников», попусту живущих на русской земле.

Когда мой Шалимов должен был заговорить о новом читателе, я поймал себя на том, что гляжу на балкон:

— Я не понимаю... Но чувствую... Иду по улице и вижу каких-то людей... У них совершенно особенные физиономии. И глаза. Смотрю я на них и чувствую: не будут они меня читать... Неинтересно им это...

Я почему-то решил, что эти новые читатели сидят там, на балконе. Раз они почитатели Горького, значит, презирают Шалимовых.

— А зимой читал я на одном вечере и тоже... Вижу — смотрит на меня множество глаз, внимательно, с любопытством смотрит,— говорил я, обращаясь к партеру (потом кинул взгляд на балкон), но это чужие мне люди, не любят они меня. Не нужен я им... Как латинский язык... Стар я для них... И все мысли мои стары... И я не понимаю: кто они? Кого любят? Чего им надо?

Раздался смех. Смеялся балкон. «Товарищи Власа!» — подумал я.

Но когда заговорила Вера Федоровна — Варвара: «Я сердцем чувствую: надо, необходимо пробудить в людях сознание своего достоинства, во всех людях... Во всех!» — раздались дружные аплодисменты с балкона и с задних рядов.

— Тише! Прекратите телячьи восторги! — кричали из партера.

Второй акт все же прошел спокойно, хотя мы ясно чувствовали, что назревают какие-то события.

На вызовы Горький не вышел.

В третьем акте нас колотило как в лихорадке. Зал решительно раскололся на два лагеря.

Каждый неодобрительный возглас снизу покрывался взрывом аплодисментов балкона.

Обличенные в пьесе Горького «тусклые люди», не знающие, «где бы спрятаться от жизни», чувствовали себя оскорбленными и то и дело шумели...

— Разве можно так жить, как мы живем? Яркой, красивой жизни хочет душа, а вокруг проклятая суета безделья. Противно, тошно, стыдно жить так! — с искренним пафосом произносила Вера Федоровна слова Варвары.

Шиканье... Свистки... Аплодисменты!

Возмущенная Комиссаржевская начинает греметь:

— И мне кажется, что скоро, завтра, придут какие-то другие, сильные, смелые люди и сметут нас с земли, как сор!

Возмущенные крики партера громче голоса Комиссаржевской. Но теперь уже ясно, что балкон одолеет. В аплодисментах тонут возгласы возмущения «дачников» партера. Но и господа Басовы и Сусловы не сдаются. Кто это их «сметет, как сор»? Революция? Возгласы возмущения, свистки...

Так третий акт кончился в атмосфере скандала.

А к началу четвертого театральный зал превратился в митингующую площадь.

Стихи студента Власа о «тусклых и нудных человечках» опять разъярили партер. Мы с большим волнением ждали, что будет в конце спектакля...

И вот занавес закрылся под многоголосые крики:

— Горького!

— Комиссаржевскую!

— Автора! Автора!

Из-за кулис появился Горький: бледный, злой, но удивительно сосредоточенный и спокойный.

Он взял за руку Комиссаржевскую:

— Пойдемте!

И с ней вышел на сцену.

Дали занавес.

Оглушительную овацию стали прорезывать столь же оглушительные свистки.

Горький спокойно сложил на груди руки и стал с презрительной улыбкой оглядывать «свистунов».

Вера Федоровна с гневными, горящими глазами стояла рядом с писателем.

Мы за кулисами, сжав кулаки, были готовы выскочить на помощь автору и нашей руководительнице, если дело дойдет до оскорблений. Но свистки вскоре окончательно потонули в неистовом приветственном гуле восторженных голосов [4].

Много лет я работал потом в театре, но такого не помню. Спектакль вылился в политическую демонстрацию [5]. Многим из нас и мне самому в этот день с особенной четкостью стало ясно, ради чего, ради каких идей стоит работать в искусстве, кого надо ненавидеть и обличать...

# М. В. НЕСТЕРОВ

## ИЗ «ДАВНИХ ДНЕЙ»

Где, когда познакомился я лично с Алексеем Максимовичем — сейчас не помню [1]. Может быть, в Крыму, в Ялте — по пути в Абастуман [2], или в Нижнем — по дороге в свою Уфу... [3]. В Ялте я мог встретить Горького в 1899 году на балконе у доктора Средина, куда в те времена тянулся «интеллигент» всех толков. На срединском балконе бывали и марксисты, и идеалисты, там всем было место, как у Ярошенко на Сергиевской [4] или у них же в Кисловодске. Какая-то неведомая сила влекла на этот балкон как ялтинских обывателей, так и заезжих в Крым. Бывало, тянутся люди в гору, мимо гимназии к дому Ярцева, где проживал тогда медленно угасавший в злой чахотке доктор Средин, объединявший вокруг себя «ищущих правды жизни». Кто только не шел к милому, спокойному Леониду Валентиновичу! Часто бывал там и Горький, любил бывать и Чехов. М. Н. Ермолова говорила мне, что она «на срединском балконе отогревается от московской стужи». Художники Левитан и Виктор Михайлович Васнецов, Мамин-Сибиряк и благодушный, большой Елпатьевский заглядывали туда. Все несли Средину свои думы, заботы, радости и печали, а он всех выслушивал почти молча, и молчание это было «мудрое молчание»: все знали, чувствовали, что их внимательно слушают, до конца понимают, и уходили с балкона бодрые духом, благодарные... Так или иначе познакомившись с Алексеем Максимовичем, я помню, что он сразу же пришелся мне по душе. Молодое лицо его, на редкость привлекательная улыбка располагали, влекли к нему всех. Детвора ни с

кем так охотно не ходила в горы — на Ай-Петри, как с Алексеем Максимовичем. Мы стали встречаться то в Крыму, где Горький время от времени появлялся, то в Нижнем, во время моих поездок по Волге к себе в Уфу или обратно в Киев. Огромный, сутуловатый, с небольшой головой, прямыми темными волосами, с одухотворенным лицом простолюдина, широким ртом, прикрытым рыжеватыми усами, в светло-серой рубашке или в черной блузе,— таким я помню Горького в те далекие встречи. Наши отношения скоро установились — они были просты, искренни; мы были молоды, а искусство нас роднило. Встречаясь, мы говорили о том, что волновало нас,— мы не были людьми равнодушными, безразличными, и хотя не во всем соглашались, не все понимали и чувствовали одинаково, но на том, что считали важным, значительным, сходились.

Помнится, в 1901 году я прожил у Алексея Максимовича в Нижнем несколько дней, мне нужно было написать с него этюд (тот, что сейчас находится в музее его имени). Этюд должен был послужить мне для большой картины «Святая Русь» [5].

Писал я в саду, примыкавшем к большому многооконному дому, где жил в ту пору Алексей Максимович. У него постоянно бывал народ, он любил быть окруженным людьми. За обедом места не пустовали. Наши беседы велись по преимуществу на темы, так или иначе присущие искусству.

Помнится, мы пошли погулять: Алексей Максимович, Екатерина Павловна и я. Дошли до театра, повернули к дому. Пошли дальше, разговор был о «путях творчества». Алексей Максимович говорил, что во время работы бывало такое: вся повесть готова, но одно слово — его образное значение, непередаваемый яркий смысл — тормозило дело. *Слово* не шло на ум, оно ускользало, как бы дразня художника. Тут никакие мольбы редакции для автора значения не имели, он бывал неумолим.

Однажды рассказ был совсем готов, и лишь это *одно слово* не давалось, оно убегало от Горького. Редакция выходила из себя, все сроки прошли, а нужного *слова* все нет как нет... Заходит приятель, видит, Алексей Максимович не в духе, предлагает пойти... в цирк. Идут, смотрят разные разности — «рыжих» и прочее. Вдруг совершенно неожиданно *слово* мелькнуло, как живое, перед «внутренним оком» художника. Он схватил слово на лету.

Алексей Максимович, не дожидаясь конца представления, веселый, довольный, вернулся домой. Рассказ был кончен и немедленно отправлен в Питер.

Наше знакомство продолжалось. Алексей Максимович как-то прислал мне собрание своих сочинений с приятной надписью, я ответил посылкой ему этюда и эскиза. Их он в свое время передал в Нижегородский музей, где они и находятся по сей день. Дороги наши были разные: я писал картины на излюбленные мной темы. Горький написал «Песню о Соколе», «Буревестника», имя его становилось все популярней, значительней.

Помню, были мы в Ялте, часто видались то там, то сям. Однажды сидели на террасе, южный вечер незаметно перешел в тихую звездную ночь, а мы сидели, вели мечтательные, вдумчивые разговоры, говорили о судьбе нашей родины, о художниках и художестве, о Л. Толстом, Достоевском, о целях, путях, призваниях писательских...

После этой беседы я в Крыму с Горьким больше не встречался, а через какое-то время появился его гимн человеку — «Человек» [6].

В 1903 году я жил в Абастумане. Абастуман был тогда одним из излюбленных дачных мест Закавказья. На лето туда съезжалось много народа, большое оживление вносила молодежь. В один из летних дней ко мне на квартиру явились Алексей Максимович, Екатерина Павловна и с ними К. П. Пятницкий — издатель «Знания». Они путешествовали по Кавказу и по дороге в Кутаис заехали в Абастуман. В то время Максим Горький был «во всей славе своей». Молодежь быстро узнала о его приезде. Во время обеда нашу террасу закидали цветами. Демонстрация длилась до конца обеда и изрядно утомила Алексея Максимовича. После обеда я показал гостям свои работы. На другой день рано утром путешественники отправились дальше, через Зекарский перевал в Кутаис.

Много лет прошло после нашей абастуманской встречи, огромные события преобразили совершенно нашу родину. За эти долгие годы не раз я слышал, что Алексей Максимович обо мне поминал добром. Встретились мы еще раз, в 1935 году, на моей небольшой кратковременной выставке в Музее изящных искусств (ныне имени Пушкина). Оба мы уже были стариками, встретились хорошо, я рад был увидеть все такую же привлекательную улыбку, какая была у Алексея Максимовича в молодые годы. Он внимательно осмотрел выставку, хотел приоб-

рести одну из картин, как он сказал, «для Нижегородского музея». Это был семейный портрет, и я уступить его не мог [7].

Спустя некоторое время Алексей Максимович взял у меня другую вещь, также бывшую на выставке,— «Больную девушку», и она посейчас висит в его кабинете в Горках [8].

# Ю. А. ЖЕЛЯБУЖСКИЙ

## ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

*Отрывки из воспоминаний*

⟨...⟩ Вскоре, около Нового[1] года я вернулся в Петербург. Мы поехали туда вместе с Алексеем Максимовичем, который на этот раз приехал без моей матери и по делам, остановился на Знаменской, в квартире К. П. Пятницкого. Вместе с нами приехал и Захар Васильевич Селиверстов.

В эти дни Петербург был полон слухов и разговоров о готовившейся царским правительством гигантской провокации. ⟨...⟩

Рабочий Питер бурлил. Еще 3 января началась забастовка на огромном Путиловском заводе, за Нарвской заставой. Скоро забастовка охватила весь город[2].

Царское правительство напугалось; оно увидело, что его же агентами созданное «Собрание русских фабрично-заводских рабочих» стихийно выдвигает уже революционные политические требования, хотя и выражает их пока в виде «всеподданнейшей» петиции; оно поняло, что настроение даже самых отсталых рабочих буквально с каждым часом становится все более революционным, что агитация левых партий, особенно большевиков, с каждой минутой находит все более горячий отзвук в сердцах и умах измученных людей. ⟨...⟩

Тотчас по приезде Алексей Максимович с головой окунулся в эту бурную обстановку и также делал отчаянные попытки найти выход, предотвратить готовящееся злодейство.

Уже весь центр Петербурга, особенно улицы и площади, прилегающие к Зимнему дворцу, были заняты пол-

ками лейб-гвардии, то есть личной гвардии царствующего дома Романовых. Солдаты расположились прямо на улицах, жгли костры, и город сразу приобрел вид занятого неприятелем. Уличное освещение не горело.

И вот в это время, вечером 8-го января, группа петербургских интеллигентов, главным образом литераторов, юристов и либеральных профессоров стала объезжать всех «власть имущих», пытаясь как-то повлиять, предотвратить готовящуюся бойню. Я был на Знаменской, когда за Алексеем Максимовичем заехали Пешехонов, Мякотин и Лутугин, чтобы ехать к председателю комитета министров С. Ю. Витте, к считавшемуся «либеральным» министру внутренних дел князю Святополк-Мирскому, градоначальнику Клейгельсу и др. [3]. Они говорили, что попытаются добиться приема и у Николая Николаевича.

Конечно, в большинстве мест их не приняли, хитрая лиса Витте уклонился от разговора по существу, а «либеральный» генерал Святополк «умыл руки», сказав, что власть теперь изъята из рук гражданских властей и передана целиком в руки его императорского высочества, то есть Николая Николаевича.

Так они и вернулись усталые и подавленные, а Алексей Максимович невероятно нервно-напряженный, всем своим горячим сердцем протестующий и как-то вибрирующий, чувствуя неотвратимость трагедии. С ним пришел Леонид Леонидович Бенуа, который и остался ночевать у Пятницкого, а я пошел домой на Сергиевскую.

Когда я утром встал, то первым делом позвонил по телефону на Знаменскую, и Захар Васильевич взволнованно мне сообщил, что Алексей Максимович вместе с Леонидом Леонидовичем Бенуа еще на рассвете ушел из дома, чтобы видеть все, чтобы быть с народом в эти роковые минуты [4].

Посоветовавшись, мы с ним решили, как это ни было безнадежно, все же попытаться разыскать Алексея Максимовича и попробовать его уговорить уйти если не домой, то хотя бы от непосредственной опасности.

Я оделся потеплее и, наскоро закусив, пошел на поиски. Сперва я попытался выйти прямо с Сергиевской на набережную, так как Захар мне сказал, что, кажется, Алексей Максимович говорил, что они пойдут на Выборгскую сторону. Но плотные наряды полиции и конных жандармов никого не пропускали ни к мостам через Неву, ни даже на набережную реки. Не удалось мне пройти и

через Марсово поле. Наконец, через Большую Конюшенную мне удалось пройти на Невский и по нему пробраться к углу его с Дворцовой площадью. ⟨...⟩

Вся улица, да вообще все видимое пространство было так тесно заполнено народом, что буквально не только яблоку, но даже спичке упасть было некуда. Деревья Александровского сада, перед Адмиралтейством, были сплошь усыпаны мальчишками. Сюда все подходили и подходили новые толпы, и скоро стало трудно даже дышать. Впереди, над толпой, возвышались церковные хоругви, слышалось протяжное пение.

Я понимал, что в такой тесноте увидать Алексея Максимовича было бы невозможно, даже если бы он был где-нибудь совсем рядом. Но я буквально не мог сдвинуться с места.

Кстати, позже, услышав рассказ Алексея Максимовича о том, где он был в этот день и что видел, я понял, что мы с ним были где-то совсем близко один от другого. Только он, очевидно придя с Бенуа и, кажется, Лутугиным несколько раньше, стояли немного правее меня. Это было ясно потому, что он видел всю сцену расстрела более в профиль, стоял еще ближе к левому флангу шеренг солдат, чем я. ⟨...⟩

Придя на Знаменку, я застал Алексея Максимовича уже там. Он горячо обнял меня — видимо, и он боялся за меня, узнав, что и я весь день был на улице.

Когда мы вошли в столовую, я увидел там члена Центрального Комитета партии социалистов-революционеров Петра Моисеевича Рутенберга, и ⟨увидел⟩, что Захар Васильевич (Селиверстов) обрезает волосы и делает покороче бороду какого-то темноволосого человека, который почти все время плакал от волнения. Рядом на стуле валялось снятое с него серое гимназическое пальто.

Оказалось, что это Гапон [5], которого еще где-то на улице переодели в это пальто, сняв с него церковное облачение и рясу. Но подрясник еще был на нем, только был чем-то подвязан, чтобы он не был виден из-под коротенького пальто.

Наспех чем-то закусили, после чего за Алексеем Максимовичем кто-то пришел; если не ошибаюсь, это был Мякотин, и все, в том числе Гапон и я, поехали в Вольно-экономическое общество [6], где как-то стихийно собралось большое количество петербургской интеллигенции. Это был политический митинг, как сказали бы теперь, тогда

мы этого слова не знали, и такие собрания как рабочих, так и студенчества просто назывались сходками.

Но сходка обеспеченной, только либерально настроенной, но отнюдь не революционной, видной интеллигенции — профессоров, адвокатов, инженеров, студентов,— это было впервые, это было совершенно новое явление, вызванное тем, что произошло в это утро. Да и речи были новые: горячие, негодующие, полные пустых, как мы потом поняли, но звонких и темпераментно произнесенных фраз. Да многие были действительно так потрясены происшедшим, что, по крайней мере, в этот момент, под непосредственным впечатлением, были искренни, охваченные благородным гневом и, пусть мимолетным, но подлинным революционным порывом.

Но вот с балкона, куда его провели, чтобы он меньше привлекал к себе внимание, стал говорить Гапон.

Он не говорил: он почти кричал! Речь его была истерично-горячей, она производила впечатление огненного смерча, обрушившегося на зал, который замер,— только по рядам передавали: «Гапон, Гапон!» ⟨...⟩

...Алексей Максимович ⟨...⟩ первое время верил, что Гапон хотя и политически безграмотный, стихийный, но истый революционер, которого таковым сделал народ, сами события; жизнь помимо его воли сделала его вождем, знаменем, но который, так думал тогда Горький, по своим природным данным мог действительно сделаться вождем. Когда же Горький убедился, кем в действительности был Гапон, его это потрясло! ⟨...⟩

После пережитого в день 9 января я сперва свалился и заснул как убитый, но скоро проснулся, у меня поднялась температура, появился озноб, и я почти всю ночь не спал. Встал десятого, тотчас позвонил на квартиру Пятницкого, но Алексея Максимовича я сумел повидать только вечером и вдруг узнал, что он спешно уезжает в Ригу, так как получил телеграмму от А. Н. Тихонова о том, что Мария Федоровна тяжело заболела.

До отхода поезда оставалось около часу, Балтийский вокзал расположен на другом конце города, далеко от Сергиевской, где мы тогда жили, и потому я тотчас отправился туда. Город был охвачен всеобщей забастовкой. Долго я не мог найти ни одного извозчика, и поэтому пошел пешком. Безлюдные улицы были погружены в глубокий мрак, только свежевыпавший снег тускло отсвечивал да изредка попадались конные разъезды казаков,

несших охрану города. Наконец мне попался свободный извозчик.

Когда я приехал на вокзал, я застал там уже Алексея Максимовича, Захара Васильевича и известного в Петербурге врача-гинеколога и друга нашей семьи Канегиссера, который лечил мою мать и, узнав о ее болезни, решил тоже выехать к ней.⟨...⟩

Я приехал почти перед самым приходом поезда и больше ничего не успел узнать. Кроме меня, Алексея Максимовича провожал еще К. П. Пятницкий.

О дальнейшем я знаю только со слов А. Н. Тихонова, самого Алексея Максимовича, Олимпиады Дмитриевны Чертковой и моей тетки, тотчас по получении известия о болезни мамы выехавшей в Ригу.

Сразу по приезде Алексей Максимович проехал в больницу, где лежала Мария Федоровна. Хотя она была очень слаба, но его допустили к ней, так как рижские врачи считали положение безнадежным. И только Канегиссер твердо заявил, что надеется на ее полное выздоровление.

А в это время на рижской квартире мамы и Алексея Максимовича происходил обыск, во время которого и вернулся Алексей Максимович. Ничего «предосудительного» не было найдено, так как Захар Васильевич Селиверстов под видом топки печки — день был морозный, а в квартире было голландское отопление — сумел сжечь все необходимое. По словам А. Н. Тихонова, это было сделано совершенно хладнокровно, буквально на глазах у полицейских, воспользовавшись тем, что производивший обыск жандармский офицер долго копался в столе Алексея Максимовича в кабинете, в то время как вся нелегальщина хранилась в спальне.

Несмотря на безрезультатность обыска, «на основании распоряжения из Санкт-Петербурга цеховой малярного цеха Алексей сын Максимов Пешков» был арестован и под конвоем двух жандармских унтер-офицеров в тот же вечер был «препровожден» в Петербург [7]. Ему даже не разрешили заехать еще раз повидать жену в больнице. ⟨...⟩

Так как Горькому не разрешили остаться в Петербурге, то тотчас по его освобождении они оба выехали в Ригу, но так как матери еще не было разрешено работать, они поселились за городом, в небольшом пансионе, в местечке Бильдерлингсгоф. Ввиду слабости здоровья как матери, так и Алексея Максимовича, кроме Олимпиады Дмитриев-

ны Чертковой и ее мужа, Захара Васильевича Селиверстова, с ними поехал и я.

Пансион помещался в большой двухэтажной деревянной даче, расположенной совсем близко от берега моря, но отделенной от него высокой песчаной дюной, поросшей высокими соснами. Кроме пансиона, где мы жили, все остальные дачи стояли в то время пустыми, воздух был чудесный, и здоровье мамы и Алексея Максимовича стало быстро восстанавливаться.

Стояла еще почти зимняя погода, не только берег был покрыт снегом, но и на море стоял большой береговой припай гладкого как зеркало льда. Ширина его была километра два-три, так что только на горизонте была видна чистая вода. Мы очень много гуляли как в лесу, так и по льду, а Алексей Максимович с большим интересом присматривался к жизни местных рыбаков. Он хорошо знал быт и работу каспийских, черноморских и волжских рыбаков, но здесь все было иным.

Рыбу ловили неводом, для чего лодки на специальных небольших саночках тащили к краю берегового льда, спускали на воду, забрасывали невод, а вытаскивали его прямо на лед. Большие сумрачные люди в коротеньких куртках и зюйд-вестках тяжело топтались в своих высоченных сапогах, составлявших одно целое с штанами и привязывавшимися особыми ремешками прямо к вороту. Работали слаженно, споро, но внешне неуклюже — и совершенно молча. Эти черты особенно поражали Горького, привыкшего к шумному оживлению наших рыбаков во время вытягивания тони. Две-три женщины и десяток мальчишек-подростков также молча тут же сортировали рыбу и на саночках отвозили ее на берег.

А рано поутру было видно, как сотни этих бородатых рыбаков, в тех же коротких бушлатах, но только в чуть более или менее высоких коротких сапогах, быстро скользили на коньках по расчищенной, гладкой как зеркало ледяной дорожке, толкая перед собой санки с приделанными к ним ящиками. В этих ящиках по бесконечно тянущейся вдоль берега дорожке они отвозили свой улов на продажу в Ригу. Странно было видеть применение коньков для такой утилитарной цели, так привыкли мы, что коньки — это спорт, развлечение, что занимается им большей частью молодежь. А тут не только почтенные, бородатые дяди, но часто и глубокие старики быстро и ловко скользили по льду, не только отвозя рыбу на

продажу, но и вообще используя коньки как средство чрезвычайно быстрого сообщения, даже на весьма значительные расстояния.

Алексею Максимовичу это чрезвычайно понравилось, он подолгу любовался картиной быстро скользящих в лучах яркого предвесеннего солнца деловитых, суровых людей.

Мы часто ходили наблюдать и рыбную ловлю, причем Алексей Максимович внимательно присматривался и к огромным, плоским и жирным балтийским камбалам, и к угрям, и к ряду других незнакомых ему рыб.

Скоро через латыша социал-демократа Янсона он познакомился с некоторыми рыбаками, и как-то вечером к нам ввалилась целая компания этих спокойных, могучих людей, и Алексей Максимович долго их с интересом расспрашивал, а они охотно, но очень немногословно рассказывали, с аппетитом прихлебывая чай с ромом и покуривая свои трубочки, которые они заряжали каким-то невероятно крепким и духовитым зельем.

Уходя, они долго, с чувством трясли руку Алексея Максимовича и все, как один, молодые и старые, поцеловали руку у Марии Федоровны. Нас всех это поразило! Главное, как это было сделано: без всякого подобострастия, с большим человеческим достоинством. ⟨...⟩

...на северном взморье настала ветреная, сырая погода, а здоровье Алексея Максимовича после тюрьмы сильно пошатнулось, и врачи посоветовали ему на весну уехать на юг. И вскоре он вместе с Марией Федоровной уехал в Ялту, где и поселился в Чукурларе. ⟨...⟩

# В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ

## ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Лошади шли бодро, и мы не заметили, как наша повозка застучала и затарахтела по мостовой Ялты. Подъехали к какому-то пансиону, куда держал путь мой спутник и где ждала его молодая жена, бросившаяся ему навстречу, как только издали завидела его, то поднимавшегося, то садившегося, волновавшегося, растрепанного...

Мы распрощались. Он любезно согласился похранить мой чемодан у себя. Тут же, справившись у прислуги о даче, где жил Алексей Максимович, я, в осеннем пальто, в калошах, так не гармонировавших с теплым южным ялтинским вечером, отправился искать дом Алексея Максимовича[1].

Когда я называл дачу и спрашивал фамилию ее владельца, многие отвечали, что не знают, но когда я вдруг случайно спросил, где живет Горький, то первый же встречный сказал мне:

— Алексей Максимович? Да вон там, на горе...

Я понял, что местные жители здесь менее друг другу известны, чем художник-писатель, гремевший на всю Россию.

Так, называя то его имя, то фамилию, я быстро дошел до той улицы, где жил Горький. Когда я пришел туда, меня подозрительно осмотрели. Я понял, что Алексея Максимовича сторожат, что к нему заходят люди с затаенной целью его проследить и что здесь мне нужно быть достаточно умелым, чтобы сразу же дать Алексею Максимовичу возможность ориентироваться, кто к нему пришел.

Меня привели в комнату, где сидела стройная, красивая женщина, немного испуганно смотревшая на меня и

Алексея Максимовича. Я подошел к Горькому, сказал ему, что я из Петербурга, что Евгений Николаевич Чириков шлет ему привет[2] и что приехал я сюда по одному делу и хотел бы переговорить с ним как от себя лично, так и от имени Е. Н. Чирикова.

— Вот и чудесно,— воскликнул Алексей Максимович,— прошу, садитесь и расскажите, батенька, нам, что у вас за дело такое...

Так как мне пришлось бы говорить и о делах партии, то я мялся, робко поглядывая на женщину, здесь присутствовавшую, и говорил то о том, то о другом, а дела не касался. Когда я умолк и наступило неловкое молчание, Алексей Максимович, вдруг догадавшийся, в чем тут дело, улыбнулся своей прекрасной, очаровательной улыбкой и сказал мне:

— Это что же, вы стесняетесь? Так я вас прошу — не стесняйтесь. Это — моя жена, она свой человек.

Для меня не было привычно считать жену обязательно «своим человеком». Я был воспитан в партии в строгих правилах суровой конспирации, которая нам запрещала говорить даже о самых маленьких партийных мелочах самым близким людям, раз это их непосредственно не касалось, даже несмотря на то, что они были членами партии. Но я понял, что здесь мне не удастся провести то конспиративное начало, к которому я привык, и что мне ничего другого не оставалось, как начать разговор в присутствии двоих, тем более что здесь и конспирация-то была не очень большая.

Я сказал, что приехал из-за границы, что у меня имеется поручение от партии переговорить с А. М. по поводу издания в Берлине или в Женеве его произведений и произведений некоторых писателей, что я об этом уже говорил в Петербурге с Чириковым, а теперь приехал в Ялту специально для того, чтобы обсудить это дело с ним лично.

Алексей Максимович сразу оживился и стал рассказывать о том плане, который у него имеется по этому поводу, тут же добавив, что все детали этого плана разработаны у Константина Петровича Пятницкого, который является ответственным заведующим издательства «Знание» и к которому мне придется обратиться.

Я невольно рассмеялся, что мне по этому делу пришлось, живя в Петербурге, для того чтобы узнать петербургский адрес Пятницкого, поехать в Ялту к Алексею

Максимовичу, но тотчас же добавил, что очень рад этому неожиданному путешествию.

Мы разговорились о делах, нашли общих знакомых и через какие-нибудь полчаса оживленно беседовали о последних политических новостях и событиях. Алексей Максимович хранил в себе особую тайну привлекательности, исключительный и чрезвычайно редко встречающийся подход к людям. Он ставил и себя и слушателя в такое положение, что ничего другого не оставалось, как только уж если беседовать, то беседовать по душам, откровенно и идейно напряженно.

Спускалась южная ялтинская ночь. Мы вышли на балкон, пили там чай. Так было прекрасно, задушевно, уютно и так не хотелось уходить спать, что только по настойчивой просьбе Марии Федоровны, которая нежно заботилась о здоровье Алексея Максимовича, в то время несколько хворавшего, мы разошлись.

Я не заметил, как немедленно заснул в предложенной мне для ночлега комнате. Мгновенно пронеслась ночь, и наступило сияющее, благоуханное, весеннее южное утро.

Я вышел из дачи А. М. Горького, когда все еще спали. Та линейка, которая ехала на Севастополь,— а мне пришлось теперь ехать именно этим путем,— отходила в половине седьмого утра. Мне хотелось так уйти с дачи Горького, чтобы меня никто не заметил и чтобы я своей ночевкой не навлек бы на него какого-либо подозрения соседей и агентов охранного отделения, которые, конечно, обязательно должны были следить за Алексеем Максимовичем.

Я пошел в противоположную сторону того пути, который сделал вчера. Виноградниками, переулочками и улицами спустился на набережную Ялты и направился к пансиону, где остановился мой вчерашний спутник. К моему счастью, я застал его в вестибюле распаковывавшим свой обильный багаж. Приветливо поздоровавшись со мной, он сказал: «Вот здесь ваша комната! Пожалуйста, проходите». Я поблагодарил его и заочно его жену за гостеприимство и, взяв у него мой чемоданчик, пошел к почтовой станции, чтобы взять билет.

Почтовая станция находилась рядом с небольшим кафе, где суетливый молодой турок с вожделением смотрел на каждого входящего. Я, не успев переступить порог этой обители, тотчас же был им атакован и засыпан приглашениями выпить прекрасного турецкого кофе с

булочками и сухариками, приятный аромат которого так вкусно распространялся повсюду.

Я сел за отдельный, в глубине стоявший столик, поручил услужливому турку взять мне билет до Севастополя и узнал, что через сорок пять минут лошади будут поданы. Пришли еще пассажиры, и, к моей великой радости, я не заметил ни одного, хоть сколько-нибудь подозрительного. Не было также ни полицейского, ни дворника, ни какого-либо другого агента внутренней охраны. Наконец подкатила линейка: мы взгромоздились на нее, причем я сел на последнее место, чтобы не иметь сзади себя никакого наблюдателя и не быть мишенью изучения любопытных взоров.

Подошел кондуктор, протрубил в рожок, и наш очень неудобный экипаж, запряженный парой сытых лошадей, двинулся в путь.

У меня в кармане было письмо к К. П. Пятницкому, которое сначала хотел написать Алексей Максимович, но Мария Федоровна заволновалась и запротестовала. Я понял ее, когда она предложила свои услуги написать это письмо в иносказательных выражениях, рекомендуя Константину Петровичу обратить внимание на меня, как на агента, распространявшего книги, и сделать решительно все, что возможно для этого дела, причем она сказала:

— У меня есть условие с ним, я так подпишусь и употреблю такое слово, что он поймет, что вам надо верить и вас выслушать. Мне очень не хочется, чтобы письмо писал Алексей Максимович. Знаете, все бывает: провалитесь, попадется его письмо, и опять начнется таскание его по жандармам. А если найдут мое письмо, то это не страшно: я всегда сумею отвертеться и сказать, что вот вы заезжали, как агент, и я послала вас к заведующему; вы себя так и держите, и дело пойдет.

Алексей Максимович ходил тут же и баском гудел, что все это — ерунда, излишние опасения, что приходится уступать женскому террору, из-за которого не удается делать то, что хочешь. Но говорил он это так добродушно и так ласково, что чувствовалось, что он был доволен такой хорошей, предупредительной опекой.

К вечеру я был в Севастополе и под первый день пасхи сел в поезд как раз за несколько минут, как зазвонили, забухали и затрезвонили пасхальные колокола в двенадцать часов ночи. В поезде почти никого не было. В целом вагоне третьего класса я ехал один.

И так спокойно, без всяких тревог и волнений, я доехал до Петербурга, остановился у моих друзей и тотчас же отправился к К. П. Пятницкому, который сразу принял меня очень хорошо, прочел письмо Марии Федоровны, захлопотал, осведомился, сыт ли я, имею ли квартиру, да не надо ли мне денег? ⟨...⟩

Это мое первое знакомство с Алексеем Максимовичем сразу глубоко расположило меня к нему. Я увидел перед собой человека искреннего, убежденного, растущего, как русский богатырь, не по дням, а по часам, все более враставшего в социал-демократическую среду и кровно заинтересованного в успехах рабочего движения. Здесь он был неутомим в расспросах, желая знать решительно все.

Надо было знать, как глубоко понимал он психологию рабочего человека, объясняя все движения и проявления его сознания, его воли с такой нежной любовью, что ясно было, что именно он будет тем художником слова, который в своих произведениях отразит кипучую жизнь рабочих кварталов. Его меткие характеристики, замечания, неожиданные проникновенные суждения, зарисовка отдельных встреч при воспоминаниях о его знакомствах с рабочими — все это говорило о многом.

Я после узнал, что он в это время уже работал над своей изумительной повестью «Мать» [3], так не полюбившейся нашей буржуазно-народнической критике и так созвучной чаяниям и борьбе рабочего класса.

Алексей Максимович был хорошо знаком с событиями на театре военных действий и рассказывал много в высшей степени интересных и важных фактов из совершавшегося на полях Маньчжурии.

Самое важное для меня в этой беседе было то, что А. М. Горький отнюдь не был аполитичным человеком, как пытались рисовать его многие завистники из литературной среды и так называемого «общества», которое было в недоумении, как отнестись к нему, этому выходцу из народной массы. М. Горький властно вошел в петербургский мир со своими собственными мнениями, суждениями, привычками, манерами, не желая подчиниться установленному канону чопорной столицы. Он действовал смело, увлекая десятки тысяч наиболее чуткой молодежи, ведя за собой толпы людей, вдруг ставших благодаря ему лицом к лицу с голью и нищетой. Чародей русского слова, знаток быта и поэт, он отыскивал в нашей жизни перлы

человеческих чувств, высокой гуманности и благородства.

Эта первая встреча с Алексеем Максимовичем произвела на меня глубокое впечатление. Я не решался спросить у него прямо о его политических партийных симпатиях, но чувствовал, что все его симпатии на стороне рабочего класса. Я твердо был убежден, что наступит время, когда в беззаветной самоотверженной борьбе пролетариата он увидит единственный способ революционного действия, и что программа и тактика этой борьбы будут вполне оценены и приняты этим истинным сыном демократии, каким и по рождению, и по всем своим симпатиям был Алексей Максимович. И я счастлив знать, что это мое первое непосредственное впечатление было правильно.

# С. Я. МАРШАК

## ТРИ ВСТРЕЧИ

⟨...⟩ Было это в день стасовских именин, 15 июля [1]. Именинник-хозяин нарядился по случаю торжества в праздничный костюм, в котором его изобразил Репин,— в красную шелковую рубаху с узорным кушаком, в зеленые сафьяновые сапоги,— и ожидал гостей в саду.

Любитель веселой выдумки, ряжения, шуточных домашних торжеств и церемониалов, Владимир Васильевич возложил на меня обязанность: сочинить нечто вроде гимна в честь четырех именитых гостей — Горького, Репина, Шаляпина и Глазунова.

Отказать Стасову в его просьбе было невозможно. Это нарушило бы весь его замысел, построенный с таким юношеским увлечением, с такой заботливой тщательностью. Я кое-как сочинил стихотворное обращение, соответствовавшее стилю стасовского наряда. Называлось оно, насколько я помню, так: «Троим богатырям со четвертым»[2].

«Четвертым» был самый младший из гостей — композитор Глазунов.

Если бы не Горький, вся эта шутейная церемония, стоившая мне немало волнений, осталась бы у меня в памяти как беглый забавный эпизод. Но оказалось, что вечер в Парголове произвел неожиданный переворот в судьбе самого младшего из гостей, подростка, который был моложе всех присутствующих лет на тридцать, сорок, шестьдесят.

К двухэтажной бревенчатой даче, видавшей на своем веку не одно поколение художников и музыкантов — от Мусоргского до Асафьева,— с грохотом и треском подкатило несколько финских таратаек. И скоро из сада послы-

шались голоса — уже знакомый мне негромкий, глуховатый голос Ильи Ефимовича Репина и молодой, бодрый, веселый, пленительный даже в обыденной речи голос Федора Ивановича.

Через порог веранды легко переступил статный, белокурый, в светлом летнем костюме Шаляпин. За ним, тихо посмеиваясь, вошел Репин — небольшого роста, с острой седеющей бородкой, с лукавым взглядом чуть прищуренных глаз.

Последним появился высокий, костистый, чуть сутулый человек в сапогах с высокими голенищами, в наглухо застегнутой темно-синей куртке. Голова у него была небольшая. Усы короткие, темные, чуть рыжеватые. Волосы, к этому времени уже подстриженные, падали на лоб и на висок крутой каштановой прядью, похожей на крыло.

Глаза внимательные, глубоко сидящие — серые с длинными ресницами.

Горький! Нет, это совсем не тот длинноволосый хмурый юноша в белой косоворотке, которого я видел на открытке в окне книжной лавки. Тот был похож на странника, а этот — скорей уж на молодого заводского мастера или железнодорожного машиниста.

Мне странно было подумать, что весь Горький у нас и что никакого другого Горького, знаменитого, занимающего такое огромное пространство, за стенами этого дома не осталось...

А человек этот, имевший право называться громким именем Максима Горького, скромно стоял у стены, заложив руки за спину, и беседовал с хозяином дома.

— Я провинциал,— говорил он Стасову с волжским акцентом.— Провинциал.

В самом деле, по некоторой его застенчивости, которая, впрочем, не покинула его и впоследствии, можно было угадать в нем недавнего провинциала. Но суждения его звучали уверенно. Он говорил о литературе как один из ее законных хозяев, призванных заботиться о ее направлении и судьбе.

В Питере он не был гостем. На Знаменской улице, недалеко от Невского, помещались редакция и контора большого издательства, сыгравшего такую значительную роль в истории нашей литературы,— товарищества «Знание».

Приезжая в Питер, Горький принимал на Знаменской, как в литературном штабе, пожилых и молодых писателей, обсуждал с ними рукописи, предлагал им новые темы.

Моя приветственная ода «Троим богатырям со четвертым», видимо, не произвела на Горького особого впечатления. Из всех присутствующих, кажется, он один не похвалил меня.

Издали я с любопытством следил за ним, пока пел Шаляпин, пока играл Глазунов. Он казался мне суровым, неприступным, неразговорчивым. Даже рост и голос его меня поразили. Почему-то я был убежден, что у Горького должен быть высокий голос, какой-то лирический тенор, а роста он среднего. Таким казался он мне по догадкам, по впечатлению, оставленному портретами. И вдруг — этакий рост, этакий бас! Очень нелегко было мне заменить прежнее, случайное, но привычное представление реальным образом этого человека.

Но, кажется, ни одно лицо на свете так не преображала улыбка, как лицо Алексея Максимовича. Усмехаясь, он будто весь светлел, и в глазах его появлялось какое-то необыкновенно привлекательное, задорное и затейливое озорство.

Горький сам подошел ко мне после того, как я по программе вечера прочел свои другие — не приветственные — стихи и только что сделанный мною перевод отрывка из поэмы Мицкевича «Перед памятником Петра» [3].

Алексей Максимович усадил меня рядом с собой на диван, ласково похлопал меня по руке и стал расспрашивать, что я читаю, какие книжки люблю, откуда я взялся и где учусь.

Стасов участливо рассказал ему, что я много болею с тех пор, как переехал в Питер.

— Хотите жить в Ялте? — неожиданно спросил меня Горький.— Мы с Федором это устроим. Верно, Федор?

— Понятно, устроим! — весело отозвался Шаляпин через головы окружавших его людей.

Дня через два после этого Горький с Шаляпиным уехали на юг, а через три-четыре недели к нам за Московскую заставу, за Путилов мост, где жила наша семья, пришла телеграмма из Ялты. Кажется, это была первая телеграмма, полученная мною в жизни. До сих пор дословно помню ее текст:

«Вы приняты четвертый класс Ялтинской гимназии приезжайте спросите Катерину Павловну Пешкову мою жену угол Аутской и Виноградной квартира доктора Алексина

*Пешков*» 〈...〉

Прошло еще некоторое время, и вот в Ялту после своего пребывания в крепости [4] и недолгого житья в Риге приехал Алексей Максимович [5].

Жесткая рыжеватая бородка, которую он отпустил в тюрьме, сильно изменила его лицо. Он сделался как-то суровее и чем-то напоминал теперь северных капитанов-поморов.

Изменила его наружность и одежда, которой я раньше на нем не видал,— обыкновенный пиджачный костюм, просторно и ловко сидевший на нем.

Многие из его подражателей еще долго носили, или, вернее, «донашивали», горьковскую блузу, горьковскую прическу, а он с легкостью отказался от внешнего обличия, в котором его застала пришедшая к нему слава.

В сущности столь же смело отказался он когда-то от поэтически-живописного, приподнятого стиля своих ранних рассказов и повестей, от своих прежних романтических героев, которые создали ему такой шумный успех, и перешел к той простой и строгой повествовательной манере, в которой впоследствии была написана «Мать».

Горький легко и решительно оставлял пройденные этапы жизни, не задерживался на проторенных путях.

Я увидел его в Ялте через каких-нибудь полгода после первой встречи у Стасова. Но теперь он показался мне значительно старше.

Быть может, это объяснялось тем, что в первый раз я видел его среди пожилых людей, в обществе Стасова, который был современником Тургенева.

А здесь, в Ялте, он был окружен людьми своего поколения и моложе. Тут был и грузный, с монгольским лицом Куприн, только что написавший «Поединок», и Леонид Андреев, темноволосый, темноглазый, со строгими чертами красивого лица и несколько театральным трагизмом во взгляде, и Гусев-Оренбургский, сохранявший в своем новом светском обличии черты и степенные движения сельского священника, каким он был незадолго до того, и Серафимович с загорелой, голой головой и крепкой, жилистой шеей донского казака, и многие другие, чьи имена печатались рядом с именем Горького на обложках широко известных тогда сборников «Знание».

Кое-кто из этих людей был ровесником Алексея Максимовича или даже старше его несколькими годами, но за Горьким всегда оставалось какое-то всеми ощутимое старшинство.

При нем и Куприн не давал воли своему подчас грубоватому, армейскому озорству [6], и Леонид Андреев становился проще, забывая о своей трагической маске.

Право на старшинство давали Горькому его огромный житейский опыт, высокое сознание ответственности перед своим временем, а прежде и больше всего — непоколебимость его воли и ясное сознание целей.

С каждым годом он становился строже, внутренне дисциплинированнее, партийнее.

Помню один разговор Горького с приехавшим в Ялту академиком Тархановым, лицо которого известно многим по великолепному репинскому портрету.

Речь шла об успехах нарастающей революции.

— Любопытно, как вы представляете себе самый момент переворота, захвата власти? — спросил либеральный, даже радикальный академик после долгого и довольно сбивчивого разговора.

— Что же, займем арсенал, возьмем главный штаб, телеграф, государственный банк,— просто и коротко ответил, видимо устав от этой расплывчатой беседы, Горький.

А когда он вышел из комнаты, академик развел руками и сказал растерянно:

— Однако как наивно и несложно представляет себе наш дорогой Алексей Максимович пути истории!

Собеседники не могли понять друг друга, так как один из них верил в совершенно реальную и близкую революцию, а для другого она была термином, призраком, отдаленной туманностью.

Время показало, кто из них был наивен.

Приближалась осень 1905 года. ⟨...⟩

# П. А. ЗАЛОМОВ

## БУРЕВЕСТНИК РЕВОЛЮЦИИ

⟨...⟩ Алексей Максимович Горький слышал обо мне еще до сормовской демонстрации 1902 года, хотел со мной познакомиться, но я был на плохом счету у полиции и мог ему повредить; я боялся навлечь на него еще большую ненависть полиции, которая видела в Горьком опаснейшего врага самодержавия.

Когда меня арестовали на сормовской демонстрации 1 мая 1902 года, Горький оказал мне большое внимание. Он ежедневно посылал с моей матерью мне в тюрьму обед и незадолго до суда велел передать всем нам, чтобы мы не пугались царских судей, обещал свою поддержку в ссылке, обещал выслать денег на побег.

Шестеро из нас, сормовцев, были сосланы в Восточную Сибирь навечно, с лишением всех прав состояния. Каждому за первый побег грозило двадцать пять плетей и шесть лет каторги, а за второй — пятьдесят плетей и двенадцать лет каторги.

Алексей Максимович свое слово сдержал. Он присылал мне в ссылку по пятнадцати рублей в месяц и однажды выслал триста рублей на побег.

Впервые я встретился с Горьким после побега из ссылки в 1905 году на его даче в Куоккале.

Чтобы не привести шпиков, я слез с поезда на предпоследней станции и дальше пошел лесом, под дождем. Подойдя к даче, я увидел во дворе высокого, крепкого, сухощавого человека. Он шел мне навстречу. Я вспомнил портрет Алексея Максимовича, узнал его и назвал себя.

Мы, старые рабочие, видевшие начало марксистского движения на фабриках и заводах, были революционными

романтиками. «Песня о Соколе» звучала для нас как боевая труба, вызывала слезы восторга. И вот передо мной стоял автор «Песни о Соколе», передо мной был живой, смелый сокол, буревестник русской революции — Максим Горький. Он обнял меня и крепко поцеловал. Потом посмотрел на меня и сказал: «Так вот вы какой».

Мы пошли с ним на дачу, в его кабинет во втором этаже, выходивший окнами к морю. Я сказал ему, что люблю «Песню о Соколе» и загорожу его в бою своей грудью. Он ответил: «Я тоже загорожу вас своей грудью в бою».

Весь мокрый, я дрожал от холода. Алексей Максимович распорядился отвести мне комнату, прислал свое белье, ботинки, платье. Но больше всего согрел он меня суровой нежностью, которая излучалась из его прекрасных глаз. Он расспрашивал меня о моей жизни, об отце и матери, о революционной работе, о сормовской демонстрации.

Я сообщал больше сухие факты, мало говорил о своих настроениях, ничего — о своих мечтах. Из ложного стыда я совершенно умолчал о побоях в участке и в башне нижегородской тюрьмы, о своих переживаниях.

Мне и в голову не могла прийти мысль о том, что мои рассказы, моя жизнь послужат канвой для замечательного художественного произведения, которое сыграло большую роль в революционизировании широких рабочих масс.

Алексей Максимович набросал по моим рассказам записки, но их отобрала у него полиция при обыске, и свою повесть «Мать» он написал уже по памяти [1]. ⟨...⟩

## В. С. ЦЫЦАРИН

### В КУОККАЛЕ

⟨...⟩День был воскресный. На террасе сидело человек тридцать... Алексей Максимович, обладавший феноменальной памятью, спустя двадцать лет в письме ко мне из Италии в 1925 году так описал мое появление на даче:

«Я уже — старик, люблю вспоминать прошлое, и Ваше письмо, дорогой Цыцарин, очень обрадовало меня. Живо вспомнил Куоккалу и представил себе Вас, в синей рубахе, несколько смущенного обилием и разнообразием жителей дачи» [1]

Да, я действительно был смущен, и не «несколько», а очень. Я готов был извиниться, сказать, что ошибся адресом и уйти. Но Горький, заметив, очевидно, мою растерянность, вышел из-за стола и, подойдя ко мне, спросил:

— Вы Цыцарин?

— Да,— ответил я.

— Здравствуйте! Очень рад вас видеть. Мне много рассказывали о вас,— проговорил он, пожимая мне руку [2].

Голос грубоватый, но тон разговора искренний, сердечный, располагающий. Меня сажают за стол и дают стакан чая. Пью чай и украдкой осматриваю присутствующих. У Горького грустные, умные глаза, глаза много пережившего человека.

На другом конце стола сидел Л. Н. Андреев — очень красивый человек, одетый в шелковую рубашку малинового цвета и поддевку, которые служили иногда поводом для шуток. Рядом с ним Е. Н. Чириков Обоих писателей легко узнать: их фотографии печатались на открытках. Другие гости мне были неизвестны.

Разговор зашел о поражении царских войск в Маньчжурии. Кто-то заметил, что поражение на фронте есть

поражение прогнившего царского строя. Поэтому чем хуже на фронте, тем лучше...

— С общеполитической точки зрения, может быть, это и так, не спорю,— сказал Горький.— Но по существу это жестоко. Ведь пока результаты поражения скажутся в тылу, на фронте будут перебиты сотни тысяч людей, у которых есть семьи. Сколько горя, слез.

— А что же делать, Алексей Максимович? — обратилось к нему сразу несколько человек.

— Да, другого выхода, должно быть, нет. Жестокая, однако, штука жизнь,— сказал он и замолчал.

Приехала делегация от путиловских рабочих. Они объявили забастовку и не хотят приступать к работе, пока администрация не удовлетворит их требований. Среди бастующих много нуждающихся, в особенности — многосемейные, которым надо помочь [3].

— Голод всегда был врагом рабочих и другом капиталистов,— заметил Горький.— А что того мастера — Тетявкин, кажется, его фамилия,— которого вы требовали уволить перед девятым января,— уволили или нет? — спросил он.

— Нет, до сих пор, кажется, работает. Тогда на удовлетворение наших требований соглашалось и правление завода, и даже градоначальник генерал Фуллон соглашался, а управляющий заводом Смирнов уперся, и ни в какую. Говорит: «Уступите им — они большего запросят».

— А теперь, насколько можно судить по газетам, ваши требования значительно шире, чем тогда. Значит, управляющий понимал, что рабочие и капиталисты — непримиримые враги,— заметил Алексей Максимович.

Позднее, когда в печати появилась пьеса «Враги», мне приходил на память этот разговор писателя с рабочими-путиловцами.

После ухода делегации путиловцев Горький обратился ко мне:

— А здорово шагнуло вперед политическое сознание рабочих за эти несколько месяцев. ⟨...⟩

...Вечером приехал Л. Андреев с женой — они жили в Териоках. Горький сообщил, что он обещал путиловцам устроить концерт в пользу бастующих [4] и попросил жену

Андреева Александру Михайловну принять участие в организации этого концерта.

— А ты что будешь читать на концерте? — спросил Алексей Максимович Андреева.

— Что-нибудь из «Красного смеха»,— ответил тот.

Озорная улыбка появилась в глазах Горького, пробежала по лицу и спряталась в усах.

— Ты, брат, надень к красной рубахе еще красные штаны, чтобы все было красное, а то публика не поймет. Ведь она знает смех веселый, громкий, а у тебя смех красный.

— А черные молнии, Алексей Максимович, бывают, подобно которым буревестники реют над седой пучиной моря? — спросил я.

— Вы, оказывается, язвительный,— ответил он, смеясь.— Да, есть у нас грешок говорить форсисто. Вот Чехов — тот счастливчик. У него слова простые и даже смешные, а читаешь — сердце сжимается. Мальчик Ванька Жуков, ученик сапожной мастерской, пишет адрес на письме — «На деревню дедушке», потом, подумав, добавляет: «Константину Макарычу». Как будто смешно, а читаешь, и слезы навертываются на глаза. Лев Толстой тоже не любит форсистых слов и разных словесных завитушек. 〈...〉

...Тогда велись переговоры об издании партийной газеты «Новая жизнь». По просьбе Горького я ездил в Рихимяки за П. П. Румянцевым, бывшим тогда членом ЦК РСДРП большевиков. Он был до приезда В. И. Ленина из-за границы фактическим редактором первых номеров «Новой жизни».

Нам с Румянцевым подали обед и бутылку вина. Он налил себе вина и, как показалось, с удовольствием выпил.

— А вы не пьете? — спросил меня Горький.

— Нет, я не пью. Я так много видел горя от пьяного отца, да и теперь наблюдаю среди рабочих много несчастий от пьянства, поэтому у меня к вину и к пьющим какое-то неприязненное чувство,— ответил я.

— Мне это чувство понятно,— сказал Алексей Максимович.— Я тоже много перенес обид от пьяных людей.

На секунду он задумался, точно вспоминая что-то, затем продолжал:

— Однажды я работал помощником повара на одном из волжских пароходов. Я уже был взрослый, лет шестнадцать мне было. Повар был пьяница и в пьяном состоянии — вздорный человек. О чем-то мы с ним поспорили. Он ударил меня ложкой, а я его скалкой. Хозяин ресторана пошел жаловаться на нас капитану парохода. Тот пришел и сказал, что в плавании драться не полагается. «Вот приедем в Астрахань, выйдем на берег, вы и подеретесь. Кто кого вздует, тот и прав, потому — суд божий». Ехать до Астрахани нужно несколько дней. Я думал, что капитан забудет. А оказалось — нет. Приехали в Астрахань, вся команда с капитаном во главе вышла на берег: образовали круг и поставили в середину меня с поваром. Пришлось драться: я повару нос разбил, а он мне подбил глаз. Таков был суд божий.

Закончив рассказ, Горький улыбнулся своей грустной мягкой улыбкой, а я подумал: как тяжело должен был переживать все это человек с такой тонкой и чуткой душой. ⟨...⟩

Приехал какой-то английский пастор. Разговор с ним вела Мария Федоровна Андреева. Пастор спросил через нее Горького, не отразилось ли на его здоровье пребывание в Петропавловской крепости, куда он был заключен после событий 9 января. Оказывается, пастор тоже подписывал протест против заключения в крепость больного Горького, страдавшего туберкулезом [5].

Писатель просил поблагодарить пастора за его добрые чувства и сказать, что для него тюрьма не новость, что ему приходилось сидеть в заключении и раньше, а затем, обращаясь к присутствующим, сказал:

— В Петропавловке сидеть тяжелее, чем в других тюрьмах. В обычной тюрьме не знаешь, кто сидел до тебя, а тут встают тени декабристов, народовольцев и других борцов революции, переносивших беспримерные страдания. Здесь медленной смертью умирал Нечаев [6], здесь сожгла себя Мария Ветрова [7], и от всех воспоминаний сжимается сердце болью...

Упоминание о декабристах и народовольцах, как часто бывало в то бурное время, вызвало споры. Кто-то начал доказывать, что восстание декабристов преследовало чисто сословные дворянские цели.

— Не следует забывать,— сказал в ответ Алексей

Максимович,— что восстание декабристов было более трех четвертей века тому назад. Вспомните те сословные взгляды, которые царили тогда и которые нашли свое выражение в злых словах Растопчина по поводу декабристов, приведенных Некрасовым в стихотворении «Русские женщины»: «В Европе — сапожник, чтоб барином стать, бунтует — понятное дело. У нас революцию сделала знать: в сапожники, что ль, захотела?» [8] Таких взглядов держалась тогда преобладающая часть дворянства. Хвала и вечная память декабристам, что они пренебрегли сословными привилегиями, подняли свой голос за лучшее будущее! ⟨...⟩

# Ф. И. ДРАБКИНА

## В ДНИ ДЕКАБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ

⟨...⟩ А. М. Горький со своей женой М. Ф. Андреевой жил тогда на углу Воздвиженки и Моховой — в доме, где теперь находится приемная Председателя Президиума Верховного Совета СССР; вход был с Воздвиженки.

Большой кабинет писателя и столовая были полным-полны народа. Одни приходили, другие уходили; кто сидел, кто стоял, в одиночку, группами... По внешнему виду — это были рабочие, студенты, трудовая интеллигенция. Алексей Максимович был одет в черную, застегнутую сбоку суконную куртку со стоячим воротником и в брюки из такого же сукна, заправленные в высокие сапоги. Он не совсем еще оправился после плеврита, и врачи запретили ему выходить из дому.

Как мне впоследствии рассказывала О. Д. Черткова, близкий семье Горького человек [1], Алексей Максимович очень тяготился «домашним арестом» и сделал даже попытку ускользнуть из дома. Однако ему это не удалось благодаря неослабному надзору домашних, и он уговорил О. Д. Черткову пойти посмотреть, что делается на улице. Вернувшись, она рассказала, что идет стрельба, что ей удалось втащить одного раненого в подъезд дома и сделать перевязку, чем Горький был очень доволен.

Писатель с жадностью набрасывался на каждого, кто приходил к нему в дом. Он весь загорался, слушая подробности о том, что делается в городе. Я вспоминаю его радостно потирающим руки при хороших вестях и его брань по адресу правительства, когда вести были дурные.

Держался Алексей Максимович с людьми просто, разговаривал со всеми как равный с равным, и присутствую-

щие — рядовые рабочие и партийные работники — держали себя с ним непринужденно.

До того дня я знала Горького только по портретам. Увидев его, я даже несколько разочаровалась в первый момент: высокого роста, сутулый, с некрасивым лицом, светло-голубыми глазами. Но когда он улыбался, лицо его становилось необыкновенно привлекательным.

Особенно мне запомнился момент, когда, беседуя с кем-то из присутствующих, Алексей Максимович присел на диване рядом со мной. Тема разговора, видимо, захватила писателя: он совершенно преобразился. Его глаза излучали теплоту; одухотворенное, как бы озаренное изнутри, лицо было прекрасно. Я не могла оторваться от него. Уже полвека прошло с тех пор, но я вижу его перед собой таким, каким он был в те минуты...

На квартиру Горького приходили со всех концов Москвы по различным партийным делам. Квартира стала как бы центром связи и информации для работников московской большевистской организации. Здесь можно было узнать последние новости (газеты тогда не выходили), встретиться с нужным человеком, связаться, с кем требовалось.

Приходя на квартиру Горького, люди попадали как в родной дом. Измученные напряженной работой, проделав по морозу пешком не один километр, они могли здесь устроить свои дела, а заодно и отдохнуть и подкрепиться. Стол весь день не убирался, самовар стоял горячий, и кто хотел — запросто отправлялся в столовую.

Созданию атмосферы простоты и непринужденности немало способствовала привлекательная хозяйка дома М. Ф. Андреева. Как популярная актриса Московского Художественного театра, она имела большие связи в «верхах» общества и широко использовала их в интересах большевистской партии. Когда вопрос о технической подготовке вооруженного восстания стал в порядок дня, она вместе с Горьким приняла в этой работе активное участие. Они оба собирали крупные средства на приобретение оружия, на их квартире происходило ознакомление руководителей московской боевой организации с конструкцией и изготовлением бомб. ⟨...⟩

...Часа через два за мной пришел наконец товарищ и повел меня на явку Московского комитета партии. Я была в Москве в первый раз и не помню точно, куда мы шли. Запомнилось только, что мы шли вверх по Тверской ули-

це, на которой было довольно людно, и что со стороны Страстной площади палили из пушек.

На явке меня принял член Московского комитета М. Н. Лядов. Я передала ему поручение Центрального Комитета партии — послать от московской организации делегатов на Всероссийскую конференцию (Таммерфорсскую). Тов. Лядов поручил мне передать ЦК, что Москва послать делегатов не может, так как здесь началось вооруженное восстание.

Я вернулась на квартиру А. М. Горького. Там было попрежнему многолюдно и шумно. Я не удержалась и спросила Марию Федоровну, всегда ли у них бывает так много народа и как же писатель работает в таких условиях. Она ответила, что Алексей Максимович любит видеть вокруг себя много людей и работает он либо поздним вечером, либо рано утром, когда в доме тихо.

Уехать в тот же день мне не удалось. Пришлось заночевать в Москве. На квартире Горького я встретила знакомого по работе в боевой группе, и он повел меня к своему приятелю — инженеру, заведовавшему электрической станцией в Садовниках. Когда я уходила, М.Ф. Андреева отозвала меня в сторону и попросила передать ЦК, что Москва нуждается в помощи оружием и что для этого имеются деньги «сколько угодно», и тут же вручила мне 500 рублей [2].

Был уже вечер. Электростанция бастовала, на улицах было темно, хоть глаз выколи... Когда мы переходили через Красную площадь, нас несколько раз останавливали патрули. К лицу они бесцеремонно подносили фонарь, требуя для проверки документы.

Очевидно, мы не вызывали подозрений, так как нас беспрепятственно отпускали, и мы благополучно дошли до электростанции.

На следующее утро я уехала обратно в Петербург. Я передала Центральному Комитету просьбу москвичей, и меня снова командировали в Москву, на этот раз с бомбами.

Товарищ, снаряжавший меня в дорогу, вдруг заволновался и заторопился: он вспомнил, что в тот вечер было назначено совещание дружинников-боевиков по вопросу о взрыве полотна на Николаевской железной дороге [3], по которой я должна была ехать. Потому ли, что он успел предупредить боевиков, или потому, что не удалось устроить взрыв, но я благополучно доехала до Москвы.

Лишь в районе Твери наш поезд был обстрелян дружинниками.

Вооруженное восстание в Москве было в разгаре. Перепуганное царское правительство спешно принимало меры для борьбы с восставшими. Николаевский вокзал был наводнен войсками. Вдоль всего вестибюля стояли шпалерами солдаты с ружьями наизготовку, с примкнутыми штыками. Мне пришлось проходить буквально сквозь строй штыков.

Улицы Москвы показались мне еще пустыннее, чем в первый приезд. Со всех сторон слышалась стрельба.

Я оставила свой «груз» у приютившего меня в прошлый раз инженера и отправилась к М. Ф. Андреевой договориться о том, как передать бомбы по назначению.

На квартире А. М. Горького по-прежнему была толчея непротолченная: непрерывным потоком приходили и уходили люди. Районы были оторваны от центра и один от другого, и в этих условиях квартира писателя служила как бы связующим звеном для уцелевшей от арестов части партийной организации Москвы.

На этот раз вести были все более и более печальные. Было разгромлено училище Фидлера [4], горела фабрика Шмита на Пресне [5], в Замоскворечье была охвачена огнем типография Сытина [6], подожженная войсками.

Под вечер к Горькому пришла кавказская дружина, которая уже больше месяца охраняла Горького по указанию Л. Б. Красина [7]. Это был вооруженный отряд кавказцев — студентов Московского университета. Они сообщили, что, по слухам, черносотенцы собираются напасть на квартиру Горького и дружина теперь организует усиленную охрану Горького. С оружием и бомбами они расположились на квартире писателя и пробыли там до его отъезда из Москвы [8].

Царское правительство видело в Горьком своего непримиримого врага. Но пока революция была на подъеме, оно не осмеливалось арестовать его. Он находился как бы под защитой восставшего народа. Когда же вооруженное восстание было подавлено, правительство решило, что пришла пора расправиться с Горьким.

Как мне впоследствии рассказывала О. Д. Черткова, вскоре после отъезда из Москвы Горького и Андреевой к ним на квартиру нагрянула полиция. Жандармы произвели тщательный обыск, поднимали половицы, искали оружие. Через несколько дней снова был обыск. Полицей-

ские допрашивали Черткову о связях писателя с революционерами, устраивали ей очные ставки с арестованными «Дядей Мишей» [9] и Шмитом, добивались от нее признания, что они бывали у Горького. По-видимому, охранка собиралась создать «большое дело» против Горького.

Но великий писатель-революционер был уже за пределами досягаемости царской полиции. Он уехал сначала в Финляндию [10], а затем за границу — в Америку, для того, чтобы там вести агитацию в пользу русской революции.

# В. О. АРАБИДЗЕ

## ГРУЗИНСКИЕ ДРУЖИННИКИ И МАКСИМ ГОРЬКИЙ

В 1905 году, когда революционное движение усилилось, я бежал из архангельской ссылки и приехал в Москву. В тот же день я явился в организацию и вместе с тов. Красиным приступил к созданию отрядов красных партизан. Вскоре у партии уже был обученный и преданный отряд, состоящий в большинстве из рабочих.

Насколько усиливалось рабочее движение, настолько яростней становилось сопротивление его врагов.

Реакция стала на путь террора. Насущной задачей являлась самооборона и большая бдительность. С этой целью к некоторым руководящим товарищам была приставлена личная охрана.

Охранять дом Максима Горького поручили кавказской дружине, которой руководил я [1].

Квартира Горького, где часто устраивались собрания руководителей движения, должна была охраняться от нападения черносотенцев.

Когда тов. Красин привел нашу дружину к дому Алексея Максимовича, то дверь нам открыла его жена — Мария Андреева. Сам Горький в эту минуту был занят: известный художник Серов рисовал его портрет.

Но вскоре он вышел к нам. Я впервые в жизни увидел этого замечательного русского писателя. Достаточно было минутной встречи, чтобы на всю жизнь полюбить его и как человека.

Русскую литературу так же трудно представить себе без Горького, как Россию без Волги...

Высокий, представительный, с некрасивым, но удивительно выразительным лицом, он в какую-то долю минуты обворажливал вас и влюблял в себя.

— Этот человек замучил меня,— сказал Алексей Максимович, показывая глазами на Серова.— Целый час сидишь перед ним, как истукан. И так изо дня в день. Просто дохнуть не дает.

Красин представил нас.

— Этим товарищам,— сказал он,— поручено охранять ваш дом.

Горький дружелюбно обнял одного из нас за плечи и сказал с улыбкой:

— Безоружный художник не дает мне шелохнуться, а эти вооруженные грузины и вовсе заполонят.

Оставив у Горького несколько человек, мы ушли. С этого дня мне часто приходилось бывать на квартире у Алексея Максимовича.

Как я уже говорил, в доме Горького нередко собирались руководящие товарищи. А в остальные дни здесь частыми гостями бывали писатели, художники, артисты. Например, Евг. Чириков, которого ласково называли «Чик-чирик», щеголевато одетый и скупой на слова И. Бунин, непоседа Бальмонт, Леонид Андреев, которого хозяин называл будущим Достоевским, и многие другие.

Однажды Горький сказал мне:

— Непременно приходи сегодня вечером, у меня будет Федя.

Алексей Максимович просил меня зайти часам к десяти, я же, горя нетерпением увидеть Федора Шаляпина, пришел намного раньше. Причем захватил с собой еще семерых из нашей дружины.

Было уже около одиннадцати, когда в комнату вошел огромный мужчина.

— Федя! — обрадованно пошел ему навстречу Горький.

— Все болеешь, Максимыч? — протянул ему руку Шаляпин и поклонился всем остальным: — Извините за опоздание, заставил вас ждать. Но я не виноват, после спектакля пришлось петь еще. Однако, скажу вам, сегодня в театре произошло нечто удивительное — едва я закончил арию Мефистофеля, присутствующие в один голос потребовали спеть «Марсельезу». Честно говоря, не нравится мне русский перевод этой песни. На французском она звучит лучше, а в русском что-то теряет. Вот и поставил я публике свои условия. Мол, спою «Дубинушку», а вы подхватывайте. Я начал «Дубинушку», а тут как грянет за мной «Эй, ухнем», аж стены задрожали. Господи, как алчет народ свободы!.. [2]

— Ты, Федя, вечно последним узнаешь обо всем,— улыбнулся Горький.

Шаляпин заговорил о рабочем движении, целях и задачах партии, и мне вдруг показалось, что перед нами большой ребенок, такой простодушный, наивный.

— У меня взяли деньги для газеты «Искра»,— сказал он,— а я и не знаю, о чем в ней пишут. И все же я сочувствую социал-демократам. Алеша, ты должен объяснить мне, к чему стремится эта партия и кто такие большевики и меньшевики.

Алексей Максимович махнул рукой.

— Ты, Федя, в политике безнадежный человек. Партийный работник из тебя не получится. Впрочем, если ты захочешь, то и пением можешь сделать многое.

— В этом-то сермяжная правда,— захохотал Шаляпин.

Мы попросили его спеть что-нибудь.

— Друзья, вы, наверно, грузины,— сказал он,— так запевайте «Мравалжамиер», я подтяну. Тряхнем стариной... Вы знаете артиста Гуния? Когда вернетесь в Грузию, передайте ему привет и скажите, что сапоги, которые он мне подарил, оказались дырявыми. Я их одел, а они каши просят... Ну, начнем застольную?!.

Хотя мне и наступил медведь на ухо, я все же отважно начал, а друзья подхватили. Потом включился и Шаляпин. Его могучий бас звучал так, что не только другие, но и мы сами уже не слышали своих голосов.

Закончив песню, Шаляпин с притворным укором бросил нам:

— Эх вы, обманщики, бросили меня на полдороге. Коли так, то и без вашей помощи обойдусь!

В ту же минуту один из гостей Алексея Максимовича подсел к пианино, и мы погрузились в море наслаждения.

Как-то пришел я к Горькому утром. Была назначена встреча с одним ответственным работником, и мне предстояло получить важный документ. В ожидании этого человека я сидел в кабинете у Алексея Максимовича и, беседуя с ним на разные темы, вдруг спросил:

— Алексей Максимович, что заставило вас дать оплеуху этому Величко? (Ходили слухи, что Горький на харьковском вокзале ударил Величко — редактора газеты «Кавказ», поэта, переводчика грузинских стихов.)

Горький вспыхнул:

— Не знаю, как носит земля этого проходимца. Какое-то животное, а не человек. Он втерся в доверие к гру-

зинским интеллигентам, а сам доносил на них жандармерии. Я как-то встретил его на вокзале и не смог сдержать себя. Впрочем, я не жалею, что дал ему по морде [3]. ⟨...⟩

— Алексей Максимыч, а почему вы называетесь Горьким?

— Видите ли,— ответил он,— отец мой был рабочим на Крымском побережье. Оказывается, он любил говорить людям правду в лицо, причем горькую правду. Многие не знали его фамилии, называя просто «Максимом Горьким». Так к нему и пристала фамилия «Горький». А так как и моя жизнь была куда как не сладкой, я взял псевдонимом отцовское имя и фамилию.

После этой встречи я целую неделю не имел возможности бывать у Горького.

В те дни на улицах Москвы происходили жаркие схватки, и я, как солдат революции, был на пресненских баррикадах. Здесь шли бои не на жизнь, а на смерть. Рядом с рабочими сражались их жены, а часто и дети — они крались от одной баррикады к другой, выполняя разные поручения.

Рано утром к центральной площади направился большой поток народа. Взвились красные знамена, послышались сначала тихо, затем все громче революционные песни. Устроили митинг, на котором в конце концов приняли такое решение: своими руками освободить из тюрем политических заключенных.

— Пойдем на Таганку,— кричали одни.

— Нет, на Бутырку,— требовали другие.

Я, как бывший узник Бутырки, примкнул к толпе, идущей на штурм этой тюрьмы.

Огромное количество людей подошло к стенам Бутырки. Стража пыталась преградить нам путь, но народ силой заставил ее отступить и сорвал с дверей замки. Освободив заключенных, мы повернули к Таганке.

Мы, вооруженные дружинники, все время были настороже — как бы переодетые полицейские и черносотенцы, втесавшиеся в толпу, не устроили провокацию. ⟨...⟩

На второй день я зашел к Горькому. Дверь открыл один из дружинников. Затем ко мне вышла Мария Андреева. Лицо у нее было уставшее и несколько встревоженное.

— А, это вы,— сказала она как-то рассеянно и добавила: — А мы уж думали, что с вами произошло что-то нехорошее.

— Алексей Максимович, надеюсь, здоров? — спросил я.

— Не совсем. Кроме того, он очень волнуется, несколько ночей не спал. Зайдите к нему.

Но в это время в дверях появился сам Горький. Боже, как он изменился за эти несколько дней! Лицо его выражало мученическую усталость.

— Вы просто молодчина, что пришли,— сказал он, подавая руку и усаживая меня на стул.— Расскажите подробно, что происходит на улицах.

— Алексей Максимыч, я так голоден, что еле ворочаю языком,— смущенно признался я.

Горький тут же велел накормить меня, и, когда я заморил червячка, он нетерпеливо повторил свой вопрос.

Я рассказал все до мельчайших подробностей. Горький слушал, опустив голову. Вдруг он вскочил и начал нервно ходить по комнате. Глаза его пылали гневом.

— Мне не разрешают стоять вместе с народом на баррикадах. А дома сидеть уже сил нет. Мое решение твердо — выйду с оружием в руках на улицу! Чего вы все так удивленно смотрите на меня? Поймите же, наконец, невмоготу мне сидеть в четырех стенах, когда на улицах такое происходит. Болезнь тут ни при чем, я иду с вами,— решительно обратился он ко мне.

— Этому не бывать, Алексей Максимович,— твердо заявил я.— Да и прав на это мне никто не давал. Ваши произведения окажут революции большую службу, чем ваш выход на улицу.

— О каких правах вы говорите?! — разозлился Горький.— Я не могу, слышите, не могу сидеть дома в такое время.

Он сердито махнул рукой и ушел в свою комнату.

Немного подождав, я нерешительно открыл дверь его кабинета.

Горький стоял у окна лицом к улице. Я подошел, и некоторое время мы молча смотрели в окно. Тихо, чтобы не тревожить Алексея Максимовича, я направился к двери. Но тут услышал его голос, он сказал мне вслед:

— Может, вы и правы, товарищ Васо. Может, для пользы дела так надо.

Когда я вышел от Горького, где-то у кремлевских стен раздавались редкие выстрелы. На Никитской лежал мужчина, убитый шальной пулей. Улицы были пустынны. Стояла гнетущая тишина.

# Н. Е. БУРЕНИН

## ИЗ КНИГИ «ПАМЯТНЫЕ ГОДЫ»

Работая в Боевой технической группе [1], я познакомился с Алексеем Максимовичем Горьким. Первая наша встреча состоялась летом 1905 года на даче в Куоккале (ныне Репино), на так называемой мызе Линтуля, где Горький тогда жил вместе с Марией Федоровной Андреевой. ⟨...⟩

Обстановка, в которой я застал Горького и Андрееву, была самая домашняя. Пригласили к обеду. Помню, меня поразило большое количество людей за обеденным столом. Сидели какие-то военные и штатские, изысканно одетые, и люди в косоворотках, студенты и рабочие. Тут же были дети разных возрастов и с ними их воспитатели, говорившие на разных языках.

Мария Федоровна возглавляла стол, и вызывало удивление ее умение объединить всех: с одними она разговаривала серьезно, с другими — полушутя, подбадривала робеющих, успокаивала расшалившихся ребят и всегда зорко следила за тем, чтобы Горькому ничто не мешало, а когда он начинал говорить, никто бы зря в разговор не вмешивался. Она все время чутко следила за Алексеем Максимовичем, за его словами и не забывала ни на минуту смотреть, как он ел, что брал на свою тарелку, так как ел мало и неохотно. Здоровье его в то время, после недавнего пребывания в Петропавловке [2], было из рук вон плохо.

После обеда дети убежали в сад, некоторые взрослые пошли играть в городки, а человека три-четыре, в том числе и я, поднялись к Горькому, в его комнату во втором этаже.

Когда наши деловые разговоры закончились и мы уже собирались уходить, Мария Федоровна ни за что не позволила нам уехать, не напоив нас чаем. Самовар уже кипел на столе, и терраса вновь зашумела. Появились молодые писатели, только входившие в славу, о которых мы, особенно студенты, знали только понаслышке. Оказывается, все эти писатели были завсегдатаями мызы Липтуля.

Уехал я с таким чувством, будто давно-давно знаком и с А. М. Горьким, и с М. Ф. Андреевой. С этого дня я сблизился с ними.

Осенью того же года мне пришлось снова встретиться с Горьким при следующих обстоятельствах.

Л. Б. Красин сообщил мне, что ему надо видеть А. М. Горького по очень важному делу, связанному с добыванием оружия. Организовать это свидание было не так просто. Горький, живший в Куоккале, находился под наблюдением русской охранки. Нелегко было и организовать поездку Красина в Финляндию сквозь окружение русских и финских шпиков.

Свидание было решено устроить вблизи Гельсингфорса, в имении ⟨...⟩ доктора Тернгрена.

Красина я поручил товарищам, а сам взялся за трудную задачу — вывезти из Куоккалы Горького. Нужно было установить ряд этапных пунктов, где Алексей Максимович должен был «профильтроваться», то есть освободиться от своих непрошеных спутников — шпиков. А затем я должен был вместе с ним сесть в поезд на одной из маленьких железнодорожных станций. Помочь мне обещали мои хорошие знакомые, проверенные и надежные люди, жившие на дачах вблизи Выборга.

Мы достали для Горького костюм охотника, тирольскую шляпу, ружье, охотничью собаку. В таком виде Горький выехал из Куоккалы, «профильтровался» на нескольких дачах, а затем я, также облаченный в соответствующий маскарадный охотничий костюм, встретил Алексея Максимовича на условленной станции.

Курьерский поезд по расписанию на этой станции не останавливался. Но знакомый начальник станции, с которым мы были связаны, остановил поезд специально для нас. Отдельное купе было в вагоне подготовлено заранее.

Не доезжая до Гельсингфорса, когда все пассажиры еще спали, мы вышли из поезда и сели в ожидавшую нас двуколку. Помню, что ни возница, ни я, ни Горький не

могли раскачать старую белую лошадь, и мы тащились двадцать пять верст чуть ли не шагом.

Тем временем в имение Тернгрена прибыл и Леонид Борисович Красин, с которым Горький встретился и побеседовал [3]. 〈...〉

Отношения мои с А. М. Горьким и М. Ф. Андреевой стали еще более дружескими, когда они в начале 1906 года снова приехали в Финляндию.

В это время мы при содействии товарищей финнов устраивали концерты в разных городах Финляндии. Сбор с концертов поступал в пользу РСДРП (большевиков) на технические партийные цели.

Приезд Горького и Марии Федоровны Андреевой, артистки знаменитого Художественного театра, слава о которой докатилась до Гельсингфорса, был как нельзя более кстати. Получив согласие Марии Федоровны участвовать в концерте, да еще с Максимом Горьким, мы немедленно известили об этом все газеты и буквально подняли на ноги весь город.

Знаменитый финский художник Аксель Галлен-Каллела [4] взял нас под свое покровительство, и мы действовали от его имени.

Нам без особого труда удалось получить Финский национальный театр. Известный дирижер Каянус согласился выступить с оркестром в полном составе. Дала согласие выступить и всемирно известная датская певица Эллен Бэк [5], гастролировавшая в те дни в Гельсингфорсе.

Как уже было сказано выше, Горького преследовали царские шпионы [6]. Чтобы предупредить всякие провокационные эксцессы, финский скульптор Альпо Сайло организовал на время концерта охрану театра [7].

Весь концерт, являясь яркой манифестацией, прошел под знаменем грядущей свободы [8]. Люди верили, что она скоро наступит, и нас, приехавших из России, где велась напряженная революционная борьба, финны приветствовали, как победителей. 〈...〉

До сих пор товарищи, бывшие на этом концерте, вспоминают выступление М. Ф. Андреевой, оставившее неизгладимое впечатление. Восторженную овацию публика устроила А. М. Горькому, прочитавшему только что написанный им рассказ «Товарищ». Напечатанный на трех языках — финском, шведском [9] и русском,— в красивой красной обложке, он распространялся среди публики. Когда Горький вышел на сцену, в публике красными цве-

тами вспыхнули эти книжечки, по ним следили за чтением. Потрясенный общим настроением, Алексей Максимович не сразу смог начать чтение. Наконец под дирижерской палочкой Каянуса мощно прозвучала «Марсельеза».

После концерта состоялся банкет в большом зале Сосиетэтсхусет, на котором присутствовали лучшие представители искусства, науки, литературы Финляндии. Приветствиям и тостам не было конца. Во время ужина была устроена художественная лотерея в пользу русских революционеров. Наиболее выдающиеся художники Финляндии жертвовали свои картины, этюды, эскизы.

Я сидел с группой гельсингфорсских гимназистов. Они знали, что я связан с партией и в сущности являюсь главным организатором концерта, хотя официально им значился финский художник Аксель Галлен. Гимназисты старались всеми силами нам помочь. Мало того, что во время концерта они состояли в охране Горького, они сагитировали своих товарищей поднести ему огромный венок с красными лентами от имени своей гимназии, следили за ходом концерта. Их бурные аплодисменты поднимали настроение публики. Вечер, помимо большой материальной выгоды, укрепил наши старые связи и дал нам новые, пользуясь которыми мы могли в дальнейшем строить свою работу. ⟨...⟩

...ясно было, что яркие выступления Горького и Марии Федоровны не могли пройти незамеченными.

Надо было их спрятать до отъезда за границу. Я обратился к известному финскому художнику Варену, который приютил А. М. Горького и М. Ф. Андрееву в своем имении под Выборгом [10]. ⟨...⟩

От Варенов А. М. Горький и М. Ф. Андреева выехали в Або [11], где должны были сесть на пароход, шедший в Швецию. ⟨...⟩

В Або под охраной наших друзей-финнов Алексей Максимович и Мария Федоровна благополучно сели на пароход, отправлявшийся в Стокгольм, где их встретили другие наши товарищи. Из Швеции они поехали в Германию и Швейцарию, чтобы дальше следовать в Америку.

Центральный Комитет партии, Владимир Ильич Ленин придавали этой поездке большое значение. Цель ее заключалась в том, чтобы помешать царскому правительству получить заем у правительства США и вместе с тем попытаться собрать средства на революционную подпольную работу [12]. Нужен был человек, который мог бы забо-

титься о Горьком, оберегать его от непредвиденных случайностей, обеспечить Горькому возможность спокойной работы. Вначале Алексея Максимовича должен был сопровождать в Соединенные Штаты Америки В. В. Воровский, но он получил другое важное партийное задание. Согласно желанию, высказанному Горьким и Андреевой, Красин направил с ними в Соединенные Штаты меня. ⟨...⟩

В апреле 1906 года А. М. Горький, М. Ф. Андреева и я выехали из Парижа в Шербур, где должны были сесть на пароход, отплывающий в Нью-Йорк [13]. Среди товарищей, провожавших нас в Париже, был Леонид Борисович Красин («Никитич») и Максим Максимович Литвинов («Папаша»). ⟨...⟩

Во время нашего путешествия через океан я сравнительно мало виделся с А. М. Горьким. Он ежедневно работал с семи-восьми утра и выходил из своей каюты только к шести часам вечера, когда раздавался звон колокола, возвещавший время обеда. Правда, иногда по вечерам мы с Марией Федоровной шли в каюту Горького, пили чай. Алексей Максимович заставлял меня со всеми подробностями рассказывать о большевистском подполье, о методах нашей работы, о всяких хитростях, с помощью которых мы обманывали агентов царской охранки, непрерывно нас преследовавших.

Горький в то время писал свое произведение «Мать» [14], и жизнь большевистского подполья его особенно интересовала.

Подошел день, когда мы стали приближаться к Нью-Йорку [15]. Еще не были видны берега, как на горизонте показался катер. Вскоре он подошел к пароходу вплотную. На его палубе стояли люди, которые приветственно махали шляпами, фуражками, платками.

Катер сделал круг и пришвартовался к пароходу. По спущенному с парохода трапу стали быстро взбираться люди. Это были репортеры различных газет и журналов. Все они устремились в каюту Горького. С блокнотами в руках и фотографическими аппаратами, переброшенными через плечо, они толпились в каюте, влезали ногами на диваны, усаживались на их спинки.

Вначале Горький отказался давать интервью. Поблагодарив представителей печати за встречу, Алексей Максимович заявил, что он после столь утомительного путешествия

нуждается в отдыхе, просит принять его извинения и охотно встретится с представителями печати через два-три дня. Но это была наивная попытка, обреченная на неудачу. Под упорным натиском журналистов Горький вынужден был ответить на их вопросы. ⟨...⟩

Пока Горький беседовал с журналистами, осталась позади знаменитая статуя Свободы и пароход стал приближаться к Хобокэну — части Нью-Йорка, где находятся пристани для океанских пароходов.

Тысячи эмигрантов, переселявшихся в Америку, заполняли всю переднюю часть нашего парохода. Они с жадным любопытством смотрели на приближающийся Нью-Йорк, на его «скребницы неба», и почти у всех на глазах можно было прочитать тревожный вопрос: «А что нас ждет?»

Пристань была усеяна толпой, собравшейся встречать Горького. Это были русские эмигранты. Целые команды полицейских в серых касках, с белыми лакированными дубинками в руках с трудом сдерживали напиравшую толпу и охраняли огражденное протянутыми канатами место высадки пассажиров.

Появились таможенные чиновники, представители иммиграционных властей, и начались опросы прибывших пассажиров.

Горькому был задан вопрос, не является ли он анархистом и подчиняется ли закону и порядку.

«Нет, я не анархист, я социалист,— ответил Горький.— Я верю в закон и порядок и именно по этой причине и нахожусь в оппозиции к русскому правительству, которое в данный момент представляет собой организованную анархию».

Чиновники были удовлетворены этим ответом. Никаких препятствий не было к тому, чтобы Горький мог вступить на американскую землю. Кстати, одна из нью-йоркских газет сообщила тогда, что власти в Вашингтоне долго раздумывали над тем, не распространить ли на Горького статью иммиграционного закона, запрещавшую въезд в Соединенные Штаты «анархистам», которые «не верят в организацию правительства или принципиально против организации властей». Предварительно были исследованы его произведения. Не было, однако, установлено, что сам Горький придерживается тех же убеждений, что и его герои, высказывающие «опасные мысли». Свою информацию о том, как вашингтонские власти изучали произведения Горького, газета заканчивала словами: «Литератур-

ные произведения Горького полны горечи, но в них нет ничего анархического».

Когда А. М. Горький спускался с парохода, толпа приветствовала его громкими возгласами. Люди бросали в воздух шляпы. Десятки рук старались его обнять. С трудом Горький и его спутники достигли ворот таможни. Когда же мы вышли к экипажу, чтобы доехать до парома, соединяющего Хобокэн с центром города, люди снова бросились к Горькому, попытались выпрячь лошадей и самим впрячься в экипаж. Наконец экипаж, окруженный тысячной толпой, тронулся. ⟨...⟩

На следующий день после прибытия Горького в Нью-Йорк гостиница, в которой мы остановились, похожа была на потревоженный улей. В вестибюле нельзя было протолкаться. Снова пришла масса репортеров всевозможных газет, журналов. Были и представители различных других организаций, огромное количество русских эмигрантов, стремившихся увидеть Горького, пожать ему руку. Десятки людей заполнили маленький салон, примыкавший к предоставленным нам номерам. Трудно было разобраться во всей массе подаваемых нам визитных карточек посетителей и проспектов различных рекламирующих себя фирм.

Когда мы вышли на прогулку, публика узнавала Горького на улице по фотографиям, помещенным в газетах. Помню, как мы спустились в нью-йоркское метро. Пассажиры, посмотрев на Горького, а затем на газеты, которые в этот час были у большинства из них в руках, вскакивали с мест, бросались к Горькому, жали ему руку и говорили: «Добро пожаловать, господин Горький».

В тот же день состоялся обед в честь Горького [16] в помещении так называемого клуба «А». Клуб этот помещался в особняке на аристократической улице Нью-Йорка и принадлежал Университетской колонии. На этом обеде присутствовал Марк Твен и большая группа молодых американских писателей.

С большим интересом все, кто присутствовал на этой беседе, наблюдали за Горьким и Марком Твеном. Мы, знавшие Горького, видели, что Марк Твен захватил его. А последний смотрел на Горького восторженными, блестевшими из-под густых бровей глазами. Прекрасно было его живое, милое лицо, в каждой черточке которого сквозил юмор, пленявший нас с детства в любимых нами Томе Сойере и Геке Финне.

Обед прошел в очень теплой атмосфере. ⟨...⟩

Вскоре после приезда А. М. Горького в Нью-Йорк разыгрался огромный и постыдный скандал. Чтобы помешать миссии Горького, его обвинили в отсутствии морали, а про Марию Федоровну выдумывали всякие грязные небылицы.

М. Ф. Андреева не была обвенчана с Горьким [17]. Хотя она нигде официально не выступала в качестве его жены и как на пароходе, по пути в Америку, так и в самом Нью-Йорке, в гостинице, занимала отдельное помещение, но, само собой разумеется, их близость была очевидной, да они и не скрывали ее, конечно; кроме того, Мария Федоровна, хорошо знавшая языки, была переводчицей во время бесед Горького с иностранцами и репортерами газет, которые немедленно стали называть ее «мадам» или «миссис Горки».

Это использовал посол царской России в Америке, испугавшийся восторженного приема, оказанного Горькому в США, и того, что тогдашний президент Теодор Рузвельт высказывал желание принять Горького у себя в Вашингтоне. Приложили к этому скандалу свою руку и эсеры.

Русские эсеры-эмигранты каким-то образом узнали о готовящейся против Горького газетной кампании по поводу «отсутствия у него моральных устоев». Когда они пришли к Горькому, я сразу узнал среди них высокого представительного седого человека, оказавшегося Николаем Чайковским [18]. За несколько месяцев перед этим я его встретил в Лондоне, куда ездил по поручению Владимира Ильича Ленина для переговоров о транспорте оружия, закупленного для отправки в Россию.

Эсеры обратились к Горькому с вопросом — будет ли он делиться с их партией собранными им в Америке средствами.

Горький ответил, что все собранные средства будут им переданы большевикам. Чайковский и его товарищи ушли, не предупредив Горького о готовящейся против него интриге.

На другой день началась газетная травля [19].

После этого администрация гостиницы предложила Марии Федоровне немедленно покинуть отель [20]. Ни в какую другую гостиницу ее тоже не пустили. Конечно, Горький немедленно уехал из гостиницы и вынужден был принять предложение молодых американских писателей провести несколько дней в их общежитии, в самом центре Нью-Йорка. Они при этом поставили непременным условием, что об его и Марии Федоровны пребывании у

них не знал никто, кроме меня и русского эмигранта Николая Заволжского, одного из многочисленных опекаемых Горьким юношей, случайно в то время находившегося в Нью-Йорке [21].

Вся эта история произошла таким образом.

Мы вернулись с одного из многочисленных собраний, где выступал Горький, ночью, в третьем часу, и только вошли в вестибюль гостиницы, как навстречу нам с лестницы спустилась хозяйка гостиницы, сухопарая матрона, лицо которой так и пылало «благородным» негодованием.

С протянутыми вперед руками, как будто она что-то отталкивала, она гневно шептала: «Не входите! Не входите!» При этом она смотрела на Марию Федоровну и всей фигурой, всеми движениями старалась показать свое презрение и возмущение. Хозяйка гостиницы была до того карикатурна, что вначале, не поняв всего происходящего, мы не могли не рассмеяться. Но когда она, позеленев от злобы, показала нам на выброшенные в вестибюль наши вещи, мы поняли, что произошло нечто весьма неприличное и возмутительное.

Наши незапертые сундуки и чемоданы были разбросаны по всему вестибюлю, словно после воровского налета. В них как попало побросали платье, белье, дорожные вещи. Из-под крышки сундука Марии Федоровны высовывалось ее концертное платье, раньше висевшее в шкафу и теперь втиснутое в сундук вместе с другими вещами, чьи-то сапоги валялись между чемоданами. Впоследствии была обнаружена пропажа эмалевых с бриллиантом часиков Марии Федоровны.

Горький стоял, покручивая усы, недоуменно смотрел то на расходившуюся фурию-хозяйку, то на меня. У него был такой вид, что мне вдруг стало стыдно, точно я был во всем виноват, не сумев предупредить этих позорных событий. Вспомнив о клубе писателей, находившемся на той же улице, где мы накануне обедали в компании молодых американцев во главе с маститым Марком Твеном, я предложил немедленно пойти туда. Хозяйке я сказал, что через пять минут вернусь и с ней поговорю.

На улице никого не было, и решительно никто не видел, как мы подошли к клубу. Дверь открыл заспанный слуга-японец и немедленно по нашей просьбе разбудил писателя Лерои Скотта и его жену, живших в общежитии клуба. Сдав на руки миссис Скотт Марию Федоровну и Горького, Николай Заволжский и я вместе с мистером Скоттом вер-

нулись в отель и, несмотря на то, что Лерои Скотт ругал хозяйку на чем свет стоит, стучал кулаком по всем попадавшимся под руку предметам и, кажется, готов был и ее здорово отколотить, хозяйка нас осилила и настояла на своем: чтобы мы немедленно уехали и чтобы духу нашего не было в отеле.

Лерои Скотт грозил ей муками ада, но она была непреклонна, и все его пылкие угрозы от нее отскакивали, словно она была бронированная.

Дальнейшие события показали, что у нее была весьма крепкая позиция, а Лерои Скотт, как и все прочие наши защитники, оставшись в меньшинстве, что называется, сдрейфил и только конфузливо оправдывался в своем бессилии перед распоясавшейся «желтой» прессой. Даже сам Марк Твен в ответ на наши телефонные звонки к нему вдруг занемог и скрылся из виду, а ведь только накануне он обнимал Горького и уверял его в своей необычайной к нему любви [22].

Кое-как приведя в порядок наши чемоданы, простясь с Лерои Скоттом, ушедшим домой, мы вызвали по телефону кеб и очутились вдвоем с Николаем Заволжским в три часа ночи в центре Нью-Йорка на панели перед закрытыми дверями отеля.

Полицейские издали поглядывали на нас, и я по старой привычке конспиратора обращать внимание на все, что происходит вокруг, заметил, что недалеко остановился другой кеб, из него выскочил какой-то субъект, что-то записал в свою книжечку и опять уселся в экипаж.

Мне пришла в голову блестящая мысль: отвезти вещи на какой-нибудь самый дальний вокзал, сдать их там на хранение и по дороге обдумать, что предпринять дальше.

Так мы и решили. Нагрузив кеб вещами так, что сами еле-еле уместились в нем, мы тронулись в путь. Взглянув в окошечко, я увидел, что подозрительный кеб едет на приличном расстоянии за нами, и, куда бы мы ни свернули,— он, как тень, следует по пятам. Подъехав к Пенсильванскому вокзалу, мы с трудом добились носильщика. Заволжский, говоривший по-английски, взялся устроить вещи, а я стал наблюдать за нашей «тенью».

Субъект опять выскочил из кеба, опять что-то записал в книжечку. Тогда я решил от него отделаться. Когда Заволжский вышел, мы с быстротой молнии буквально провалились сквозь землю. Рядом был собвэй — метро. Мы пробежали сложными подземными ходами и вскочили

в поезд «экспресс». На первой же станции, убедившись, что мы «чисты», что субъект нас потерял, мы вышли из собвоя и отправились в первый попавшийся отель. Было пять часов утра, но нас впустили и почему-то отвели огромный номер. Сначала нас это удивило, но, когда на звонок вошел толстый слуга-китаец в своем национальном костюме, с длинной косой и чуть ли не в пояс мне поклонился, я понял, что меня приняли за какую-то важную персону, вероятно, потому, что был я во фраке и лакированных ботинках.

Китайцу трудно было понять, что мы за люди: быть может, артисты, во всяком случае — люди не совсем обычные.

Когда китаец вышел, мы переглянулись с Заволжским, невольно расхохотались и только тогда поняли всю трагикомичность нашего положения.

Наутро, прочтя газеты, мы узнали, что Горький со своей «подругой» будто бы уехал в Пенсильванию. Значит, план удался — все следы заметены! Преследовавший нас субъект, очевидно, был репортер, которого мы ловко надули. Я стремился как можно скорее увидеть Марию Федоровну и постараться смягчить то, что на нее навалилось,— газеты были полны всякими нелепыми сообщениями, касавшимися личной жизни Горького, а на Марию Федоровну выливались ушаты грязи.

Мы застали их на положении арестованных. В доме писателей говорили шепотом, шторы на окнах, выходящих на улицу, были спущены, и Горькому не позволяли подходить к окнам. Сначала мы пытались скрыть от Марии Федоровны то, что о ней писалось в газетах, но она видела нас насквозь и, казалось, приготовилась к самому худшему.

Меня беспокоила мысль, что порученное нам дело лопнуло,— значит, надо уезжать или что-то предпринимать.

Снова явились эсеры, предлагая Горькому свою помощь при том условии, если он поделится с ними собранными деньгами, но Алексей Максимович категорически отказался иметь с ними какое-либо дело.

Горький получил ряд писем от рабочих-социалистов из разных штатов Америки, особенно из штата Мэн, с предложением приехать в их скромное жилище, но он решил во что бы то ни стало противостоять поднявшейся против него клеветнической буре, победить ее и не уезжать из Нью-Йорка.

В корреспонденции, полученной М. Ф. Андреевой, было письмо от некоей Престонии Мартин, сравнительно бо-

гатой американки, дочери известного в свое время нью-йоркского врача и жены английского школьного учителя.

Она писала: «Я не могу и не хочу позволить, чтобы целая страна обрушилась на одинокую, слабую молодую женщину, и поэтому предлагаю вам свое гостеприимство».

Горький и Андреева попросили меня поехать к этой миссис Мартин и попытаться уговорить ее принять их в качестве платных гостей. Мне удалось это устроить, и приблизительно после недельного пребывания в общежитии молодых американских писателей М. Ф. Андреева и А. М. Горький переехали на виллу Мартин.

Так как «желтая» пресса не прекращала нападок на Горького и даже на супругов Мартин, приютивших его и Андрееву, Престония Мартин опубликовала в газетах следующую заметку:

«Я считаю, что нам оказана честь тем, что мы принимаем гг. Максима и Марию Горьких, и мы с удовольствием будем иметь их своими гостями до тех пор, пока им это нравится».

Двери виллы Мартин наглухо закрылись для всевозможных репортеров и других непрошеных гостей. ⟨...⟩

Травля М. Горького и М. Ф. Андреевой постепенно стала утихать. ⟨...⟩

Как я уже писал выше, необходимое пристанище, где бы Горький мог жить и работать, мы нашли у супругов Мартин. Вначале мы жили на их вилле. Затем Престония Мартин предложила нам поехать на лето к ним в имение, находившееся в горах Адирондакс, на границе с Канадой. В это имение от ближайшего города Элизабеттоун надо было ехать на лошадях верст двадцать пять.

Имение Мартин состояло из двух крупных участков. Один — в низине, окруженный со всех сторон горами, другой — на склонах горы Хоррикен, описанной Майн-Ридом. Первый участок носил название «Соммер брук» (по-русски — «Летний ручей»), второй — «Арисnúmenонетт».

Горький называл «Соммер брук» в шутку «Сорви брюки»; для американского уха это, по-видимому, звучало похоже на американское название, но нас, русских, смешило.

Первую половину лета мы прожили в «Соммер бруке» вместе с хозяевами, но затем к ним приехали их приятели из партии фабианцев [23], к которой принадлежала Престония Мартин, и мы перебрались в «Ариспонетт».

В «Соммер бруке» мы помещались в отдельном домике. Каждый вечер собирались в гостиной, занимавшей больше половины дома, с огромным камином, в который входили буквально полусаженные бревна. На большой ступеньке возле камина были разбросаны подушки, на которых удобно было сидеть и смотреть на огонь.

Через огромное, сажени в полторы, окно на противоположной стороне комнаты видны были ночное небо с яркими звездами и темные силуэты гор, закрывающие горизонт. Во всю длину окна тянулся диван.

Большой концертный рояль казался маленьким в этой огромной комнате; играть приходилось при десяти свечах, вставленных в железные подсвечники — шандалы, превышающие рост человека. Потолка в комнате не было, свет от камина и свечей терялся в вышине, слабо освещая стропила, поддерживающие крышу, и не доходил до стен. Где-то в темном углу жутко поблескивали глаза большой рогатой головы буйвола, висевшей на одной из стен.

В углах комнаты и между мебелью в больших фаянсовых ведрах и вазах стояли срубленные молодые деревья, преимущественно клены.

Вся эта исполинская гостиная, неясный, борющийся с темнотой свет, окно, которого, казалось, и не было вовсе, ночь, своими звездами глядевшая в комнату,— создавали необычайное настроение.

Горький в те дни продолжал напряженно работать над своим выдающимся произведением «Мать», так высоко оцененным позже В. И. Лениным [24]. Алексей Максимович был увлечен своей работой, но каждый вечер, после упорного труда, приходил в гостиную посидеть с нами. Он любил ворочать огромные поленья в камине и слушать своего любимого Грига.

В течение трех месяцев Горький неизменно слушал Грига и неоднократно просил повторить одно и то же произведение.

Не случайно в «Матери» Софья играет Грига... ⟨...⟩ Горький слушал внимательно, затаенно и, бывало, просидев с нами целый вечер, молча уходил к себе.

Вначале это меня очень смущало,— казалось, моя игра ему неприятна, раздражает его, но когда в следующий вечер он просил играть то же самое, я понял, что он боялся забыть свое впечатление от музыки и уносил его с собой, никому не раскрывая.

Когда за год до смерти Алексея Максимовича я был у

него в Горках, он живо вспоминал наши музыкальные вечера в сказочной гостиной на вилле Мартин и заставил меня повторить многое из того, что я тогда ему играл.

Чаще бывало так: когда я кончал играть или даже во время игры Горький начинал рассказывать что-нибудь из своей жизни, о том, что он видел, с кем встречался.

В комнате по вечерам сидели, кроме Марии Федоровны и Заволжского, наши хозяева: Престония Мартин и ее муж Джон Мартин. Они глубокомысленно играли в шахматы, очень смешно называя друг друга русскими именами: «Престония Ифановна» и «Ифан Ифанович». Иногда Престония Ивановна вскрикивала: «Черт восьми!» Иван Иванович на это отвечал с резким английским акцентом: «Спасибо, до сфидания»,— и брал у нее шахматную фигуру.

Кроме нас, у них гостила профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке мисс Гаррпет Брукс, уже прославившая себя важным открытием в области радия [25].

Все они не понимали по-русски, но сидели тихо, как завороженные. Казалось, они воспринимали рассказы Горького как музыку,— не понимая слов, но угадывая их значительность.

Когда Горький умолкал, Престония Ивановна с горячностью восклицала: «Я не понимаю ни одного слова, но это великолепно». И все просила Андрееву перевести, что рассказывал Горький. Мария Федоровна переводила с большим искусством, захватывая слушателей, так как передавала почти дословно то, что говорил Алексей Максимович.

Мы засиживались до глубокой ночи, свечи в шандалах выгорали, и только огонь в камине то вспыхивал, когда шевелили поленья, то угасал и, догорая, освещал комнату причудливым красным светом. Люди сливались с темнотой, и голос Горького звучал, как легенда о пережитом прошлом, то рисуя природу и красивых душою людей, то леденя наши души тем тяжелым и безотрадным, что ему пришлось пережить в его богатой приключениями жизни. ⟨...⟩

Возвращение из Америки в Европу казалось праздником. ⟨...⟩ Приезд в Неаполь [26], энтузиазм итальянцев, встретивших Горького с необычайной пылкостью, производили впечатление, словно мы вернулись домой, к своим, родным, близким. ⟨...⟩

Впечатление от Неаполя еще больше усилилось, когда мы попали в самую гущу рабочей массы, встретившей

Горького как великого поборника за освобождение рабочего класса и провозвестника свободы.

Не прожили мы и двух дней в отеле «Везувий», где остановились, как к Горькому явились делегаты от рабочих организаций и пригласили его на митинг у Биржи труда, устраиваемый в его честь.

Утром следующего дня из окна нашего отеля на набережной Санта-Лючия видно было, что ожидается что-то особенное, из ряда вон выходящее.

Наряд карабинеров, приставленных к отелю, был усилен, патрули ходили то в одну, то в другую сторону. Забавные, будто опереточные, жандармы в своих треуголках с пестрыми султанами, надетых поперек головы, в коротких накидках, в брюках с красными лампасами, в белых перчатках, пальцы которых подчас были слишком длинны, так что руки производили впечатление птичьих лап, неразлучными парочками чинно прогуливались взад и вперед посредине набережной.

Парапет у моря, против отеля, был усеян самой разношерстной толпой. Люди группами сидели или спокойно прогуливались, чего-то ожидая.

Слышался шум голосов. Шутки сыпались со всех сторон, и больше всего доставалось «охранителям порядка». ⟨...⟩

Заметно было, что с каждой минутой толпа прибывала. К часу, когда был подан для Горького экипаж, толпа стояла плотной стеной против подъезда отеля, и полицейские едва ее сдерживали.

Люди плотно окружили экипаж, так что ехать можно было только шагом, с большим трудом продвигаясь вперед. Упряжка была на английский лад, считавшаяся в Италии самой нарядной: пара лошадей в шорах; скромная, но изящная сбруя из тонких черных ремней только местами скреплялась бронзовыми украшениями, в которых отражалось яркое солнце и причудливыми звездочками вспыхивало то тут, то там на породистых иссиня-вороных конях. Кучер одет в сюртук с золотыми пуговицами, в белые лосины и ботфорты с отворотами из желтой кожи, цилиндр с кокардой, на груди в петлице — букетик живых цветов.

Совсем новенький экипаж — открытое ландо, внутри обитое светлой кожей,— блестел черным лаком. Впечатление было такое, что мы едем на какой-то большой праздник.

Кучер щелкал бичом со всей горячностью итальянца, убеждая окружавших людей дать дорогу экипажу, но ничего не помогало.

Не прошло и нескольких минут, как на подножках примостились какие-то парни, на крыльях ландо повисли другие, а на козлах, рядом с кучером, к полному его отчаянию, очутился старик, худой как щепка, весь ободранный, который среди общего шума и криков пытался рассказать Горькому о своей жизни, о своих идеалах и стремлениях. Проезжая каким-то переулком, он, словно птица, вдруг раскинул свои длинные, сухие руки, снял широкополую шляпу и замахал ею, показывая куда-то вверх. Его седые волосы живописно развевались по ветру, и на бронзовом, в глубоких морщинах лице загорелись черные глаза.

А вверху, на шестом этаже, чуть не вываливаясь из окна, высовывались женщины и дети, они что-то кричали, махали красными платками.

Да и как можно было разобрать слова, когда на протяжении всего пути гудела толпа и почти во всех окнах, на балконах, даже на водосточных трубах висели люди, махали платками, зонтиками, палками и в воздухе стоял непрерывный, ликующий стон: «Да здравствует Горький!», «Да здравствует великий художник!», «Да здравствует русская революция!», «Долой царя!»

Полицейская охрана, карабинеры, жандармы, бывшие у отеля, быстро исчезали в толпе.

Несмотря на всю горячность проявляемых чувств, публика сама соблюдала порядок, и никакого вмешательства полицейских властей не требовалось. ⟨...⟩

Алексей Максимович Горький, окруженный огромной толпой, при пении рабочего гимна, выходит вместе с М. Ф. Андреевой на площадь св. Гаэтана. Необъятная толпа народа устраивает ему бурную овацию. Я и приехавшая с нами из Америки мисс Брукс держимся около них, и мы с трудом садимся вчетвером в ожидающий нас экипаж. К кучеру обращаются, просят его ехать медленно. И снова экипаж окружен людьми, примостившимися на подножках, на крыльях, на козлах, рядом с кучером.

Тысячи людей сопровождают нас, и вдруг путь оказывается прегражденным взводом солдат и громадным количеством карабинеров.

Появляется комиссар Каски, который требует, чтобы экипаж Горького ехал не по Виа дель Дуомо, а свернул

на Виа Трибунале. Толпа бурно протестует, лошади пугаются, одна падает.

Солдатам отдается команда примкнуть штыки. Это раздражает толпу, она напирает на солдат. Горький поднимается в коляске, с удивлением смотрит на двойной кордон, готовый стрелять в толпу. Крики усиливаются. Взбешенный комиссар приказывает играть сигнал к стрельбе. Некоторые из толпы пытаются бежать, но большинство тесным кольцом окружает нас. Мария Федоровна, бледная, встает перед Горьким, я стараюсь их обоих закрыть. Все мы следим за действиями солдат и их командиров.

Жутко было смотреть на Горького. Выпрямившись во весь рост, сжав кулаки, он глядел на все происходившее глазами, полными гнева, готовый, казалось, каждую минуту броситься вперед.

Внезапно карабинеры и гвардейцы, выхватив палаши и револьверы, неистово накидываются на демонстрантов, избивая их плашмя своими саблями. Начинается невероятная паника, и слышен второй сигнал к стрельбе.

Седой красивый старик, адвокат Альтобелли, ехавший в коляске сзади нас, выскакивает из нее, бросается к офицеру, поднявшему шпагу для отдачи третьего и последнего сигнала к стрельбе, хватает его за руку, не дает опустить ее и горячо объясняет необходимость прекратить возмутительные действия полиции. Ему удается убедить офицера, тот отдает солдатам приказание опустить оружие.

Теперь мы видим их бледные, смущенные лица.

Какой-то итальянец вскакивает к нам в коляску и кричит:

— Я чувствую позор этих диких сцен тем сильнее, что они произошли в присутствии русских и Максима Горького, который может теперь сказать, что итальянская полиция не уступает полиции русского царя.

Упавшую лошадь поднимают, некоторым удается пробиться сквозь ряды полиции, других арестовывают, происходят столкновения между демонстрантами и жандармами. Нас окружают тесным кольцом карабинеры и солдаты, и мы продолжаем путь по Виа дель Дуомо.

Но толпа перехитрила. Демонстранты бросились в боковые переулки, и через несколько кварталов, где уже не было столько полиции и солдат, нас вновь окружила лавина людей.

Запомнился мне один эпизод. Молодой рабочий, похожий на кочегара, проскупул между полицейскими,

окружившими экипаж, свою черную от копоти руку и, быстро проведя всей пятерней по лицу Горького, громко чмокнул свои сложенные щепотью пальцы. Живое молодое лицо его спящими глазами смотрело на Горького. Мария Федоровна страшно перепугалась, но произошло все это так быстро, что мы не успели оглянуться. Кругом колышется море людей, уличное движение приостановлено, стоят экипажи, извозчики, трамваи. Из них высовываются мужчины, женщины, дети, все что-то кричат, машут платками, шляпами, выделяются крики: «Эввива Горький! Абассо царь!» *

С трудом мы пробираемся вперед и наконец достигаем отеля «Везувий».

Толпа не расходится, и, когда Горький и Мария Федоровна скрываются в отеле, масса людей собирается под балконом, под окнами и требует, чтобы он вышел. Его появление вызывает бурю восторга, аплодисменты и крики длятся несколько минут. Горький стоит смущенный, со слезами на глазах, кланяется во все стороны, прижимая руки к груди, и наконец кричит:

— Да здравствует пролетариат Италии!

Вновь итальянцы приветствуют Горького, не переставая ему аплодировать.

Выходит адвокат Альтобелли, от имени Горького благодарит собравшихся и говорит о событиях последнего времени, происходивших в России.

Рукоплескания покрывают его слова, и снова раздаются крики: «Да здравствует Горький!», «Да здравствует русская революция!»

Проходит еще много времени, прежде чем удается убедить толпу разойтись.

Впечатления этого дня надолго сохранились в памяти, тем более что все последующие дни нашего пребывания в Неаполе Горького с утра до вечера осаждала масса людей, желавших ему лично выразить свою симпатию, уважение и сочувствие русской революции.

Алексей Максимович решил на некоторое время остаться в Италии, и меня отправили на рекогносцировку на остров Капри, ввиду того что климатические условия этого острова были благоприятны для здоровья Горького.

---

* Да здравствует Горький! Долой царя! *(ит.)*

Сперва мы поселились на Капри [27] в отеле, но Мария Федоровна настояла на том, чтобы снять виллу и обставить жизнь Горького как можно удобнее и уютнее. А Горький прежде всего потребовал достать пианино.

Мы воскресили наши григовские вечера, но прибавился еще Бетховен — Горький особенно его любил. Я переиграл почти все сонаты, некоторые из них стали его любимыми. ⟨...⟩

Иногда мы целой компанией отправлялись гулять по Капри. По дороге к дворцу Тиберия стояла кантина (ресторанчик), где можно было передохнуть и выпить чудесного каприйского вина.

В этой кантине дочь хозяйки, Кармела, танцевала тарантеллу с неизменным своим партнером Энрико. Обычно тарантеллу в Италии, в особенности для иностранцев, танцуют в несколько пар, под звуки мандолин и гитар, эта же пара танцевала под удары одного бубна, в который била, встряхивая бубенцами, толстая старуха. Кармела танцевала босиком, и, хотя была довольно полна, легкости ее позавидовала бы любая балерина.

Горького сразу пленили красота и значительность танца, несомненно, почерпнутого из древнего брачного ритуала. Все было построено на движении и ритме. Кармела то плавно двигалась, полная истомы, очаровывая своего возлюбленного, то бурно кружилась вокруг него.

Кончали они свой танец довольно избитой позой, очевидно, в угоду иностранцам. Танцорам казалось, что в эффектной позе вся соль их танца. Делалось это для того, чтобы побольше взять с форестьеров, то есть с иностранцев. Кстати, Горький в шутку говорил не «форестьеры», а «фокстерьеры». Многие из приезжавших англичан и американцев, так же как эта порода собак, бегали, всюду совали свой нос, главным образом ради того, чтобы ничего не пропустить, все увидеть, а зачем им это было нужно, они, наверное, не сумели бы объяснить.

К счастью, чуткие каприйские танцоры быстро поняли, что именно нравится в них синьору «Массимо Горки». И танцевать они стали иначе, серьезнее, строже и лучше.

Как я и раньше замечал, Горькому импонировал необычайный ритм и содержание, вложенные в танец. Да и внешняя картина была очень контрастна: пестрые, яркие итальянские костюмы, ленты на бубнах в руках танцовщицы, оживленные смуглые лица, огненные глаза, светлые улыбки, открывающие белые зубы, и мрачная фигура

старой, очень полной женщины, сидевшей в стороне, одетой во все черное, с копной седых волос на голове, крючковатым носом, почти сходящимся с подбородком, глубоко запавшими черными глазами, которые неожиданно загорались, когда танец становился страстным. Лицо ее, покрытое сетью морщин, было серьезно, без улыбки, но в нем было затаенное чувство чего-то ею самою пережитого. Она била в бубен, трясла им в воздухе и этим как бы подтверждала, что все это правда, так оно и было в жизни, так и будет.

Около старухи обычно стояла девочка в сером рваном платьице, с всклокоченными черными кудрями, маленькая и невзрачная, в особенности по сравнению со старухой, и вопила истошным голосом слова тарантеллы.

Танцевали в небольшой тесной комнате, но зрителям казалось, что перед ними залитая солнцем поляна, горы, цветы и зелень, море и масса народа... Перед ними два юных человеческих существа, прекрасных в выражении переполняющего их целомудренного чувства любви и влечения друг к другу,— он и она,— и когда танцовщица обвивала голову партнера своим брачным девичьим поясом, вытирая ему лоб,— это трогало до слез.

Горький смотрел и сам жил вместе с танцорами, и, как часто с ним бывало даже в самые радостные минуты, слезы набегали ему на глаза. И не знаешь, бывало, на кого смотреть — на танцоров или на Горького!

Невольно вспоминается одна из его сказок об Италии. Думаешь — не Кармела ли вдохновила его, не о ней ли он думал, когда писал: «Грянул, загудел, зажужжал бубен, и вспыхнула эта пламенная пляска, опьяняющая точно старое, крепкое темное вино, завертелась Нунча, извиваясь, как змея,— глубоко понимала она этот танец страсти, и велико было наслаждение видеть, как живет, как играет ее прекрасное непобедимое тело» [28]. ⟨...⟩

По просьбе Горького я взял ложу в театр «Политеамо» в Неаполе. Мы немного запоздали, и в театр вошли, когда уже началась увертюра [29]. Однако наша хитрость не удалась. Не успели мы сесть, как раздался тихий стук в дверь. Сидя сзади, я осторожно приоткрыл дверь ложи и совершенно обомлел: типичный итальянский патер протягивал мне огромный букет цветов. Одет он был в черную сутану с широким красным кушаком. В руках держал шляпу с

большими полями, с красным шнурком и кисточками сбоку.

Он был чрезвычайно взволнован, глаза его блестели, шепотом по-итальянски он просил передать букет «прекрасной синьоре Горькой с сердечным приветом знаменитому синьору Горькому». Не успел я поблагодарить патера, как он прикрыл дверь, и, когда я вышел в коридор, его и след простыл.

Очевидно, патер боялся, чтобы его не увидели и ему не пришлось бы каяться в своей смелости. Когда я вернулся в ложу, произошло нечто еще более неожиданное.

В зале внезапно зажегся свет, увертюра прервалась, взвился занавес и из всех кулис во всевозможных костюмах стали выходить на сцену артисты.

Дирижер обернулся лицом к нашей ложе, вся публика встала со своих мест и под крики: «Да здравствует Горький!», «Да здравствует русская революция!», «Долой царя!» — раздались звуки «Марсельезы».

Не патер ли шепнул кому-то о присутствии Горького и Марии Федоровны в театре? Откуда он сам узнал, что они будут?

Горький сконфуженно встал, раскланивался с публикой и не знал куда деваться. Он очень не любил, когда его чествовали.

Несколько минут с новыми взрывами продолжалась эта манифестация, пока не погасили свет и снова не зазвучала увертюра из «Аиды» Верди.

После первого действия импресарио поднес Марии Федоровне великолепный букет, и это послужило поводом для новой манифестации.

Не дожидаясь конца, мы хотели потихоньку уехать домой, но и это нам не удалось. Народ уже ждал у выхода из театра, и мы едва смогли добраться до экипажа, который потом еле двигался среди толпы, провожавшей Горького до самого отеля.

Итальянцы в то время горячо принимали Горького, а уж особенно народ, музыканты и певцы,— они любили его и видели в нем не только борца за свободу, большого писателя, но и человека, который глубоко понимал их, хорошо знал и любил их музыку, замечательную музыку народной итальянской песни.

# Н. Н. НАКОРЯКОВ

## НА ПЯТОМ ПАРТИЙНОМ СЪЕЗДЕ

⟨...⟩ Первая наша встреча с А. М. Горьким состоялась при открытии съезда [1]. На фракционном совещании большевиков перед этим В. И. Ленин как-то особенно радостно сообщил нам о предстоящем участии писателя в работе съезда. Он предупредил также о возможности оппозиции меньшевиков, которые намеревались допустить Горького на съезд лишь в качестве гостя, а не с совещательным голосом.

На фракции мы единогласно проголосовали за предложение — предоставить Горькому право делегата с совещательным голосом. Узнав об этом, меньшевики уже не рискнули выступить против, тем более что нас решительно поддерживали делегации поляков и латышей, а это обеспечивало нам абсолютное большинство.

Появление Горького съезд встретил дружными аплодисментами, и особенно горячо его приветствовала фракция большевиков во главе с В. И. Лениным, разместившаяся у входа в зал. На заседаниях писатель чаще всего присаживался на скамьях нашей фракции, а не на балконе, где обычно сидели «совещательные голоса» и гости. В. И. Ленин приветливо встречал Горького и всегда находил время для беседы с ним. Делегаты-большевики дружно окружали писателя во время перерывов — это было естественным выражением нашей идейной общности с Горьким.

Писатель сам тяготел к беседам с делегатами-большевиками. Его не раз можно было видеть в окружении латышской делегации, среди которой немало было «лесных братьев» — партизан [2],— людей большого мужества и не-

укротимой ненависти к царизму. Нередко он беседовал в кругу кавказских большевиков с Миха Цхакая, И. В. Сталиным, С. Г. Шаумяном и др. В ответ на шутливое замечание одного из уральцев, что Алексей Максимович предпочитает кавказцев, он добродушно отшучивался:

— Мы ведь земляки, моя литературная жизнь началась на Кавказе... [3] А вы послушайте,— добавил он,— какую земляки под землей типографию отгрохали!.. [4]

Это упоминание о подпольной типографии говорило о том, что беседы касались живых фактов кавказского революционного движения.

Часто также Горький беседовал с членами уральской и московской делегаций. Запомнилось, что он проявлял большой интерес к прошлому и настоящему революционного движения на Урале.

Писатель дотошно расспрашивал о жизни уральских рабочих, о их связи с землей на основе остатков посессионного права [5]. Обнаружилось, что он не меньше нас знает об этих феодальных методах прикрепления рабочих к заводам. Это, конечно, поражало нас — коренных уральцев. Сам он с восхищением рассказывал об уральских умельцах — художниках труда, что свидетельствовало о хорошем его знании истории заводов Урала и местного рабочего фольклора. Нам он советовал изучать эту историю, считая ее поучительной и интересной. Горький много расспрашивал о Перми, в которой он работал поваренком и грузчиком в юности [6], его интересовал также вопрос, как Мотовилиха стала родиной партизанских выступлений боевых групп А. М. Лбова [7].

Эти встречи с Горьким выливались в оживленные беседы, в которые каждый из делегатов старался вложить свой личный опыт. Писателя интересовало, как проходили выборы депутатов-большевиков в Государственную думу на Урале, он расспрашивал, в частности, о том, как рабочие Верхнекамских заводов выбирали Владимира Ильича Ленина своим делегатом на съезд [8]. Теперь, спустя полвека, трудно восстановить в памяти все подробности бесед Горького с делегатами съезда. Однако ярко запечатлелось, что писатель почти ежедневно беседовал с Лениным и часто вместе с ним уходил после заседаний. В этом чувствовалось взаимное дружеское влечение и желание постоянного общения.

Алексей Максимович общался и с другими делегатами

съезда. Он неоднократно беседовал с Г. В. Плехановым, Л. Г. Дейчем, П. Б. Аксельродом. Однажды в перерыве писатель долго гулял и разговаривал с известным грузинским меньшевиком Триа (Мгеладзе) — участником революционных событий в Иране и вооруженной борьбы гурийских крестьян. Беседовал он также и с бывшими народовольцами, в частности, с вдовой писателя Степняка-Кравчинского — Фанней Степняк, которая присутствовала на съезде в качестве гостя. Вообще интерес к людям у Горького был необычайно широк...

На съезде, как известно, с новой силой развернулась борьба революционного направления в партии, возглавляемого Лениным, против оппортунизма меньшевиков. Большевики страстно отстаивали свою революционную политику и тактику от наскоков тушителей революции — меньшевиков.

А. М. Горький не был спокойным созерцателем этой борьбы. Он определенно находился в нашем лагере — лагере революционной партии нового типа, и радостно воспринимал победу ее принципов на съезде. Писатель часто присутствовал и на вечерних совещаниях фракции большевиков, где подготовлялись и обсуждались проекты резолюций. С пристальным вниманием он следил за прениями на этих совещаниях.

Вспоминаю одно из них, на котором обсуждался вопрос о вооруженном восстании. Участники сидели вокруг большого стола на беспорядочно сдвинутых скамьях. Горький стоял сзади, облокотившись на спинку скамьи. Делегаты высказывались один за другим. Всех захватило величие момента: с жаром говорили о героизме рабочего класса в 1905 году, о неизбежности новых революционных схваток с царизмом в грядущем. В этот момент над нами прозвучали полушепотом сказанные слова:

— Такие люди могут держать в руках будущее...

Мы подняли головы и увидели бледное, сосредоточенное лицо Горького, взгляд которого был направлен к центру собрания, где находились В. И. Ленин и другие делегаты-большевики. Нам ясно стало: Алексей Максимович неожиданно подумал вслух...

После этого совещания мы, несколько делегатов, подошли к Горькому и задали ему наивный и вместе с тем сложный для того времени вопрос: как он думает, можно ли в течение десяти — двадцати лет ожидать победы рабочей социалистической революции?..

К нашему удивлению, Алексей Максимович, широко улыбаясь, сразу же ответил: «Конечно, можно и даже должно ждать, только я не подсчитал еще точно, сколько лет надо ждать!..»

Все мы поняли серьезность шутки Горького и весело засмеялись. Смеялись мы долго и заразительно, как смеются в молодости над доброй и мудрой шуткой. А мы были тогда очень молоды: большинство делегатов съезда было в возрасте 25—28 лет!

М. Горький неоднократно обращал внимание на наш возраст, и не то удивлялся, не то радовался... Помню, он записывал цифры о возрастном составе делегатов съезда из доклада мандатной комиссии, а потом еще проверял запись у меня, как члена ее, заметив при этом об уральской и московской группах большевиков: «Прямо боевой, призывной возраст,— как здорово растете!..»

Горький относился с глубоким интересом к содержанию большевистских резолюций. В разговорах он неоднократно возвращался к этой теме. А когда эти резолюции ставились на голосование, заметно волновался, затем при получении ими большинства вместе с нами горячо аплодировал. Это создавало в среде делегатов-большевиков дружеское и теплое отношение к пролетарскому писателю.

После заседаний часто мы гурьбой провожали Алексея Максимовича до Кингстон-парка, в районе которого он проживал. Кстати, это было недалеко от места проведения съезда. Эти прогулки обычно были очень оживленны и несколько нарушали порядок на узких лондонских панелях.

Иногда такие прогулки сопровождались задорной борьбой с фоторепортерами. Фотокорреспонденты, среди которых были и агенты английской и русской полиции, гонялись за «русскими революционерами» и старались сфотографировать нас, очевидно, не только для газет. В таких условиях начиналась игра-борьба: мы всячески мешали фотосъемке, ловко и быстро поворачивались спиной к аппаратам, загораживали друг друга, размахивали кепками и шляпами и т. д. Все это превращалось в веселую сутолоку, к которой иногда присоединялись и общительные прохожие, возмущавшиеся бесцеремонностью фоторепортеров. Горький не боялся такого фотографирования, но другим делегатам было опасно оставлять свои фотоснимки в Лондоне, так как их усиленно разыскивала царская

полиция. К тому же это вообще противоречило нашим правилам конспирации.

Помню, однажды при самом выходе из баптистской церкви, где происходил наш съезд, десяток фоторепортеров стали «брать на фокус» В. И. Ленина. Наша рабочая молодежь ринулась в бой на выручку: полетели в разные стороны аппараты (тогда еще с треножниками) вместе с их владельцами, в воздухе замелькали кепки, шляпы и даже угрожающие кулаки. Рослые делегаты быстро окружили Ильича и оттеснили назойливых фотографов. Горький находился в гуще этой схватки.

На другой день в одной из газет высокая фигура писателя выделялась на мутном фотоснимке рядом со спиной В. И. Ленина и в окружении поднятых рук, шляп и неизвестно чьих затылков. Под снимком была примерно такая подпись: «Большевики не хотят фотографироваться!..» И комментарии досужего репортера...

Горький много шутил над подобными «боями» с фоторепортерами. По просьбе В. И. Ленина он обратился в союз журналистов с заявлением о том, чтобы нас не очень беспокоили фотосъемкой. Ему удалось, кажется, убедить их в этом, так как под конец съезда «погоня» за нами со стороны фоторепортеров уменьшилась.

Писатель был внимателен и к нашему «заграничному быту». В первые же дни съезда он заметил, что в буфете, который был организован для участников съезда, нас кормят залежалыми и дорогими бутербродами. Помню, тогда же он просил Марию Федоровну Андрееву заняться устройством жизни «несчастных холостяков»... Мария Федоровна энергично вмешалась в это дело, и через дня два в буфете стали кормить нас и лучше, и за более дешевую плату. Учитывая наши скромные ресурсы, мы не могли не запечатлеть в нашей памяти эту заботу Горького.

Незабываемым осталось посещение Британского музея небольшой группой делегатов вместе с В. И. Лениным и А. М. Горьким. Это грандиозное хранилище достояний тысячелетней культуры разных народов и разных эпох произвело на нас огромное впечатление. Во время осмотра музея Владимир Ильич, хорошо знавший его сокровища, делал меткие замечания...

Истекшие десятилетия не стерли также воспоминаний о наших литературных беседах с Горьким. Разумеется, мы задавали ему немало вопросов на литературные темы: «о богоборчестве» Л. Н. Толстого, о «пессимизме» А. П. Чехо-

ва, о мистике Леонида Андреева, об уходе некоторых литераторов от общественного в индивидуально-чувственное и т. д. Сами мы были не очень сильны в вопросах художественной литературы. Мы практически связывали наши требования к ней с задачами борьбы против царизма, против дикой эксплуатации трудящихся.

Простые и ясные ответы Горького помогли нам лучше понять общественное значение литературы как оружия борьбы. Алексей Максимович охотно, с душой отдавался таким беседам с делегатами. Он горячо рассказывал о писателях, группировавшихся вокруг «Знания», говорил о демократической направленности этих писателей, о молодых талантах, которые, по его убеждению, идут из недр народа. Из этих бесед мы унесли с собой уверенность в том, что передовая художественная литература служит делу революции.

К концу съезда выяснилось, что у большинства делегатов не хватает денег на житье и для отъезда на родину. Положение было критическим. Созданная комиссия по изысканию средств через отдельных делегатов (например, через Г. В. Плеханова) «наскребла» тысяч пять рублей, а нужно было, по крайней мере, еще около двадцати тысяч золотом. Английские социалистические круги и германская социал-демократическая партия отказали в ссуде из-за отсутствия средств.

Горький после беседы Владимира Ильича с ним на эту тему деятельно включился в поиски займа. Меньшевики заподозрили нас в том, что мы намерены якобы использовать влияние и авторитет писателя и получить «фракционный» заем только для своих делегатов, и устроили вокруг этого дела небольшую склоку. А дело было не так, как предполагали шумливые ораторы из меньшевиков...

Вскоре Алексей Максимович сообщил, что он нашел источник для займа. Правда, ему были предъявлены при этом необычные условия: дать письменное обязательство за подписью всех делегатов об уплате по займу в довольно короткий срок.

Дать подписи нелегальных делегатов съезда, подвергавшихся преследованиям и разыскиваемых царской полицией, было рискованно!.. Надо было убедиться, что богатый англичанин-кредитор, любитель необыкновенных автографов, не выдаст и не продаст их царской охранке.

Одновременно Горький все же искал возможность добыть денег по личным векселям, без коллективного обя-

зательства делегатов съезда. А через разных доверенных лиц писатель проверял, не подведет ли оригинальный англичанин, и был готов сам дать личное обязательство, чтобы помочь партии. Только убедившись в том, что со стороны англичанина нельзя ожидать подвоха, он предложил делегатам съезда подписать документ о займе в 1700 фунтов стерлингов [9]. Теперь этот документ опубликован в стенографическом отчете V съезда РСДРП [10]. Подписанный документ был скреплен поручительством М. Горького, и деньги были получены...

Этот заем выручил нуждающихся делегатов и обеспечил нам возвращение на родину. Алексей Максимович радовался успеху этого дела и удивлялся оригинальности англичанина:

— Только в Англии можно встретить таких оригиналов, собирателей редкостей,— говорил он.— Ну, взял бы с меня обычный вексель через нотариуса с обеспечением гонораром за английские издания моих писаний, и было бы даже вернее!.. Нет, подай ему редкостное: ни у кого не имеющееся обязательство русских революционеров с собственноручными подписями.

Этот заем был оплачен нашей партией после Великой Октябрьской социалистической революции, а своеобразный вексель хранится как экспонат в Музее революции СССР.

...Съезд закончился. Делегаты разъехались. Многие из нас на всю жизнь сохранили в памяти эти незабываемые встречи с Буревестником русской революции.

# И. И. БРОДСКИЙ

## ИЗ КНИГИ «МОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ»

В Риме я встретился с рядом наших молодых художников: в то время там были Шлеин, Павлов, Прохоров, Печаткин и другие. Было решено всей компанией поселиться на Капри, с тем чтобы писать портрет Горького. Приехав в Неаполь, мы сели на пароход, отправлявшийся на Капри. Не помню, кто, кажется Печаткин, первый сообщил нам радостную весть:

— Друзья! На пароходе Максим Горький!

Это было так неожиданно, что мы даже растерялись и не знали, как начать знакомство с нашим великим земляком [1]. Хотели даже бросить жребий, кому идти первому, но затем решили, что это должен сделать я, как самый молодой из нашей компании.

Волнуясь, я пошел к сидевшему в кресле под тентом Алексею Максимовичу и, поздоровавшись с ним, попросил разрешения познакомить его с моими товарищами художниками. С радостью я почувствовал дружеское рукопожатие большой руки и совсем близко увидел хорошее и такое знакомое, с угловатыми чертами лицо.

— Давайте знакомиться, юноши,— сказал Алексей Максимович уже приближавшимся к нам моим спутникам. — Садитесь! Очень, очень рад знакомству с вами.

Все мы почувствовали себя хорошо и просто; было весело и радостно сидеть в кругу около Горького, слушать его голос, любоваться морем и чувствовать себя молодым и счастливым. Завязался разговор о России, о наших итальянских впечатлениях, о творческих планах, и мы не заметили, как пароход уже подъезжал к пристани Капри.

Прощаясь с Алексеем Максимовичем, мы стали договариваться с ним о следующей нашей встрече.

— Устраивайтесь, вот вам адрес отеля. Устроитесь, отдохнете — тогда и приходите.

Уже на другой день мы были в гостях у Горького, встретившего нас, как старых знакомых. На веранде его дома, прилегающего к небольшому зеленому дворику, мы долго беседовали об искусстве, о художниках и больше всего о нашей родине, по которой, чувствовалось, так сильно тосковал Алексей Максимович.

Было поздно, когда мы собрались уходить, но радушный хозяин не хотел отпускать нас и, тепло улыбаясь, все угощал нас итальянским вином:

— Это по случаю нашего знакомства...

С этого дня мы зачастили к Горькому, которому хотелось видеть нас каждый день. Часто вечерами под звездным каприйским небом, в саду или на веранде, далеко за полночь раздавались наши песни, на которые большие мастера были мои товарищи. Украинские мелодии, песни о народной тяжкой доле, о бурлаках, о Кармелюке сильно волновали Алексея Максимовича, и мы видели, как не раз он украдкой вытирал слезу. Иногда наши роли менялись: Горький читал нам что-нибудь, а мы слушали и наслаждались его замечательным по теплоте и чувству чтением.

— Художники, давайте Щедрина читать! — предложил однажды Алексей Максимович, и несколько часов подряд мы с упоением слушали сказки великого сатирика о карасях, губернаторах и тупоголовых правителях царской России. В один из дней, получив от Алексея Максимовича записку: «Готов, приходите», мы приступили к работе над его портретом. Он позировал нам в белом костюме, сидя в плетеном кресле, положив ногу на ногу. Ежедневно, окруженный мольбертами, он терпеливо просиживал по два-три часа, и так в течение двух недель подряд.

— Хорошо вам, художники: вот попишете, попишете — и выходит человек.

Это было сказано Алексеем Максимовичем в шутку, но он не раз потом говорил мне, что завидует художникам и с удовольствием поменялся бы со мной профессией.

Однажды, рассматривая наши начатые работы, которые он обычно разбирал в кругу своей семьи, внимательно посмотрев на мой холст, Алексей Максимович сказал:

— А этот парень жарит под Бродского!

Позже выяснилась интересная подробность. Оказалось,

что когда я познакомился с Горьким, то он не расслышал моей фамилии и теперь был приятно удивлен, узнав, что я и есть «тот Бродский», работы которого он видел на академических выставках и хорошо знал по журнальным воспроизведениям.

Всех нас тогда поразила зрительная память и зоркость глаза Алексея Максимовича, сумевшего с первого взгляда разгадать творческую манеру молодого художника.

Неисчерпаемой была эрудиция этого человека, хорошо разбиравшегося во всех вопросах искусства. Чувствовалось, что живописи он уделяет особенно большое внимание и вдали от родины чутко следит за всеми молодыми побегами русского искусства.

Позировал Алексей Максимович хорошо, без всякого напряжения, не отвлекаясь, хотя и считал себя очень «непоседливой натурой». Писать, любуясь его выразительной угловатой головой, было большим наслаждением.

Однажды во время сеанса я рассказал Алексею Максимовичу о том, что еще в Одессе, в годы моего учения в рисовальной школе, как-то, сидя на бульваре, я услышал разговор двух босяков о Горьком. С особой гордостью они говорили, что «Максим — это наш человек», и рассказывали о нем много фантастических историй и небывалых приключений. Эти «друзья Горького» из одесского ночлежного дома сильно рассмешили Алексея Максимовича, и он сам рассказал нам много приключений из своей бродяжной юности.

На Капри все хорошо знали Горького. Алексея Максимовича любили дети, всегда окружавшие его, с ним дружили рыбаки, с которыми он не один раз выезжал в море.

В честь нашего приезда Горький устроил грандиозную рыбную ловлю, в которой участвовало двадцать пять человек.

Ранним утром, вместе с рыбаками, мы отправились в море, наловили много рыбы и начали на берегу варить замечательную каприйскую уху, о которой так восторженно отзывался Алексей Максимович. Пока рыбаки варили уху, мы купались, а затем, выкупавшись, расположились у котла. Вдруг кто-то заметил, что к берегу быстро приближается что-то большое, вроде подводной лодки. Когда это «что-то» подплыло очень близко, рыбаки догадались, что это акула. Не опасаясь людей, она приблизилась к лодке, рыбаки сделали из каната петлю, накинули ее на голову акулы и принялись избивать веслами хищни-

цу. Это занимательное зрелище продолжалось довольно долго, так как акула утащила лодку от берега на целый километр.

Мы все восторгались этой картиной, видя, как рыбаки во главе с Горьким глушат акулу веслами. Окончательно добить хищницу им удалось уже далеко в море, и только через несколько часов бесстрашные охотники вернулись на берег, волоча за собой на буксире побежденного врага. Наконец акулу вытащили на берег, и рыбаки стали ее потрошить: разрезали брюхо, вытащили внутренности, а сердце акулы преподнесли Алексею Максимовичу. Отделенное от тела небольшое сердце акулы, величиной с кулак, билось еще два часа, и сама акула также жила еще несколько часов и долго била хвостом, так что нельзя было к ней подойти. Мы все любовались невиданной жизненной силой этого убитого существа.

Случай с акулой быстро распространился по всей Италии, в нескольких газетах даже появились сообщения о том, как была поймана акула.

У меня сохранилась фотография, на которой каприйский фотограф разместил всех нас — двадцать пять человек — вдоль длинного тела акулы, распластанного на песке у наших ног.

Мы так понравились Алексею Максимовичу, что он всячески старался доставить нам удовольствие. Я помню, как однажды мы пошли на Монте Тиберия; на верхушке этой горы был маленький трактирчик; его содержал итальянец, знаменитый тем, что вместе со своей племянницей блестяще исполнял тарантеллу. В этом маленьком кабачке мы весело провели вечер, пили вино и любовались народным танцем [2].

Наша работа над портретом приближалась к концу. Наступило время отъезда. В солнечный день на пристани мы простились с Алексеем Максимовичем. Уже отзвучал последний гудок и пароход отчалил от берега, но мы еще долго видели высокую фигуру Горького, который, сняв шляпу, прощался со своими новыми молодыми друзьями.

Через год я снова был на Капри [3], где много работал над картиной «Сказка», за которую в 1911 году был награжден юбилейной премией Общества поощрения художеств. Это дало мне возможность снова поехать в Италию и снова увидеть Горького.

В письмах Алексей Максимович сильно уговаривал меня поскорее покинуть Россию, расстаться «с петербург-

ской его императорского величества грязью» и приехать к нему в Италию, в «уездный город Капри».

«...Очень рад буду видеть Вас, потому что люблю; полагаю, что и Вам здесь было бы лучше, чем в ином месте. Спокойней, чем на святой Руси, теплее и красивей, не так ли? — писал он.— А у Вас там целое лето будут лить дожди, каждый день будете Вы читать газету, а в ней ежедневно — шестнадцать самоубийств...»

В другом письме, в приписке к жене, он звал нас к себе такими словами, что устоять, пожалуй, было трудно:

«...Исаак, вы, я, Горелов — все будут писать красками, чернилами, на холсте, на бумаге — на земле! Мы ее, несчастную красавицу, замученную и захватанную всякими пошлыми и грязными лапами, так распишем — не земля, сказка будет» [4].

И вот я опять в Италии. С Алексеем Максимовичем мы встретились, как старые друзья, и я еще теснее сблизился с ним.

Помнится, Алексей Максимович уговорил меня поехать с ним в Неаполь в театр оперетты смотреть «Графа Люксембурга».

Итальянских комиков он считал самыми лучшими в мире, и ему доставляло удовольствие видеть их игру даже в бессодержательном опереточном фарсе. Опоздав к началу, мы появились в ложе к концу первого действия. Приезд Горького едва не нарушил спокойного течения пьесы. Публика быстро узнала писателя, и все взоры устремились к нашей ложе. Кое-кто стал громко приветствовать каприйского изгнанника. Не желая быть виновником срыва спектакля, Алексей Максимович быстро покинул театр.

Широкая популярность Горького порой была ему в тягость; заедала «расейская» обывательская пошлость, которая настигала его даже и здесь, вдали от родины.

Как-то, опершись на перила балкона, мы вместе любовались удивительными пейзажами Капри. Внизу по улице шла группа туристов, каждый с биноклем, направленным на Алексея Максимовича. Это были русские туристы, укороченным и дешевым маршрутом путешествовавшие по Европе. Такие группы приезжали на Капри часто. Завидя Алексея Максимовича, как бы заранее условившись, они запевали обычно нестройным хором:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно... [5]

Вначале такая необычайная форма выражения сочувствия казалась забавной Алексею Максимовичу, но вскоре, когда обнаружился срепетированный энтузиазм исполнителей, ему быстро приелись и стали неприятными эти «концерты».

— Ах, до чего надоело!.. Мешают только работать,— сказал он, заслышав первые звуки песни.

В то лето, когда я был на Капри, Горький заканчивал свой большой роман «Жизнь Матвея Кожемякина». Однажды, когда я к нему пришел, меня попросили подождать на террасе, так как Алексей Максимович был занят работой. Спустя час, во время которого я делал наброски, вышел Алексей Максимович и с серьезным видом заявил:

— А знаете, я зарезал женщину! Очень удачно, хорошо зарезал.

Меня удивили спокойный тон и улыбка, с которыми были сказаны эти страшные слова. Вскоре, кажется в тот же день, он прочел мне написанную им главу «Матвея Кожемякина», в которой один из героев убивает ножом женщину.

После многих лет разлуки к Горькому приехал Шаляпин, который решил первый помириться с Алексеем Максимовичем.

Горький и Шаляпин были большие друзья, но после случая, когда Шаляпин в 1911 году в Мариинском театре стал на колени перед царем, их отношения испортились. Горького возмутило это раболепство гениального артиста [6].

Шаляпин чувствовал свою вину перед Горьким, с которым его связывали многие годы дружбы, и первый протянул ему руку.

По случаю этого перемирия был устроен грандиозный вечер, на котором много пел Шаляпин. Я воспользовался его пребыванием на Капри и написал портрет, который он купил у меня и подарил Горькому. ⟨...⟩

В прекрасные лунные ночи Шаляпин, Горький и я уходили в горы. Во время прогулки они делились воспоминаниями, удивительно ярко рассказывая о своей скитальческой молодости. Таких вечерних прогулок было много, и я очень жалею, что тогда же не записал эти уже никогда не повторимые рассказы. ⟨...⟩

На Капри я усердно работал, писал этюды и большое полотно «Италия» [7]. Картина давалась с трудом; когда у меня не выходили те или иные куски, я в отчаянии швырял кисти и палитру в картину с такой силой, что мог порвать

холст. Алексей Максимович часто приходил ко мне в мастерскую, успокаивал меня и очень любил наблюдать за моей работой. Не раз он говорил, что его мечта — научиться живописи.

Он с большим интересом вникал в технику моей работы и внимательно стремился проследить весь процесс создания картины.

Помню, как однажды, в страшную жару, когда краски, расплавленные солнцем, стекали с холста, я работал над пейзажным этюдом, Алексей Максимович ни на шаг не отходил от моего мольберта до тех пор, пока я не сделал последнего мазка и не сложил кисти.

Подарить Алексею Максимовичу картину — значило доставить ему много радости. Он долго благодарил и в письмах, и при встрече, и всегда горячо и искренне. Однажды я послал ему один из своих итальянских этюдов как память о нашей встрече.

«За подарок Ваш — восторженно благодарю,— писал он мне.— Вы знаете, как я люблю Вас и как велика для меня радость иметь еще Вашу вещь. Спасибо, милый, большое спасибо! В свою очередь я тоже что-нибудь сделаю Вам своей рукой» [8].

Вскоре я получил от Алексея Максимовича его автограф — следующее восьмистишие «Художникам» из пьесы «Дети солнца»:

Как искры в туче дыма черной,
Средь этой жизни мы — одни.
Но мы в ней будущего зерна,
Мы в ней — грядущего огни!

Мы дружно служим в светлом храме
Свободы, правды, красоты
Затем, чтоб гордыми орлами
Слепые выросли кроты [9].

Нужно ли говорить, что художественные симпатии Горького были на стороне реалистической школы живописи. Он сам был художником-реалистом огромной, исполинской силы, большим и страстным жизнелюбцем. Все то, что в искусстве уродовало, извращало, обкрадывало жизнь, ее формы и краски, было глубоко ему ненавистно. И в живописи он был до конца непримиримым с теми, кто юродствовал, прикидывался нищим и убогим или крикливым, кто нарочито фальшивил и пытался кубиками и квадратиками замаскировать свое духовное убожество и нищету таланта.

Но как он сильно умел любить тех, кто, как и он, поклонялся жизни, воспевал ее здоровые силы и умел воплощать ее в ярких и правдивых формах.

Из художников-современников Алексей Максимович как-то по-особенному нежно любил Репина и Серова [10]. С ними он был в большой дружбе и все созданное руками этих мастеров расценивал необычайно высоко. В письмах ко мне он часто признавался в любви к этим дорогим и для меня именам.

«Следует, чтобы он заглянул на остров Капри. Необходимо это! А то я очень огорчусь, сойду с ума, ослепну, оглохну и заболею чумой. Очень я его люблю, крепкий он человечище и художник божий»,— это о Валентине Александровиче Серове.

«Как бы хорошо было мне, отшельнику, иметь перед глазами кусок репинского полотна»,— это из другого письма [11].

Оторванный от родины, в изгнании,— живя в Италии, Алексей Максимович особенно загорался, говоря о своей стране, о ее людях, о ее талантах.

Каждого, кто был талантлив, он в восхищении приветствовал, всячески помогал и помнил о нем.

У многих из нас Алексей Максимович пробудил глубоко заложенные творческие силы, окрылил дружеским одобрением и заставил упорно работать. Некоторым моим товарищам по академии он оказывал материальную помощь. Не раз бывал Горький на ученических выставках в Академии художеств. Помню, студенты ходили за ним толпой, прислушиваясь к его оценкам. Понравившиеся ему работы он приобретал; запомнились вещи Горелова, Сорина, Киселевой, купленные Алексеем Максимовичем и переданные им, вероятно, Художественному музею в городе Горьком.

Страсть к коллекционированию была у него в крови. Он сильно увлекался собиранием старинных монет; [12] помнится, по его просьбе я посылал ему в Италию старинные монеты, из которых многие, к моему конфузу, оказались поддельными. Алексей Максимович был выдающимся нумизматом: с его определениями считались работники крупнейших европейских музеев.

# С. М. ПРОХОРОВ

## ⟨У ГОРЬКОГО НА КАПРИ⟩

⟨...⟩ Небольшой белый пароход отплывал от Неаполя на Капри... Мы стояли на палубе и любовались морем. День был чудесный, тихий и солнечный. В небе — ни облачка, сине-фиолетовое море было спокойно.

Вдруг до нашего слуха долетело слово: Горький! Мы заволновались и тут же узнали, что, действительно, на нашем пароходе великий писатель едет к себе на Капри [1]. Через несколько минут мы увидели пассажира в светло-желтой рубашке, заправленной в такого же цвета брюки. Он был высокий, худой, сутулый. Это был он — Горький! Сердца наши забились: мы едем вместе с Горьким. Так вот он — кумир, имя которого гремит по всей земле русской, чьи произведения, властно зовущие к новой, свободной и красивой жизни, жадно читаются всем живым и прогрессивным человечеством в закоснелой царской России.

Алексей Максимович сел на скамью и сосредоточенно смотрел на море. В этом положении можно было хорошо разглядеть любимого писателя. Его худое с выдающимися скулами лицо хорошо загорело. Когда он поворачивался в профиль, виден был его задорно выступающий вперед характерный нос. Небольшие рыжеватые усы закрывали рот. Подбородок аккуратно выбрит. Все это как будто совсем обыкновенное. Необыкновенны были только его серо-голубые глаза. Они в мелких морщинах и как-то по-детски ласково светились и смеялись. И благодаря этому лицо его было чудесным.

Один из нас, став в сторону, вынул карманный альбомчик и стал делать зарисовку с Горького. Алексей Макси-

мович, очевидно, заметил это, так как быстро изменил позу.

Мысль познакомиться с Горьким здесь же, на пароходе, овладела нами. Посоветовавшись, решили послать к Алексею Максимовичу «парламентера» — И. И. Бродского, самого молодого, но уже известного художника.

С напряженным вниманием следили мы за тем, как Горький примет нашего «парламентера». Бродский, подойдя к писателю, отрекомендовался, тот подал ему руку. Наше торжество было полным. А через несколько минут подошли к ним и мы. Казалось, Алексей Максимович был рад встрече с нами. Улыбаясь, он крепко пожал нам руки, и у нас завязался общий разговор. Писатель спросил, давно ли мы здесь, что успели осмотреть, довольны ли поездкой и т. д. Я с восторгом смотрел на писателя, перебирая в памяти его чудесные рассказы. Какое восхищение чувствуешь, когда видишь перед собой великого человека. Среди таких приятных разговоров мы не заметили, как подъехали к острову. Вот и Капри. Пароход медленно подошел к молу...

Прощаясь, Горький обещал увидеться с нами у себя дома.

Через 3—4 дня после приезда мы получили от Алексея Максимовича записку, в которой он просил нас прийти к нему.

Вечером, закончив нашу работу, мы отправились к Горькому. Встретил нас Алексей Максимович ласково, но как-то сдержанно: он как будто вглядывался в новых посетителей. Сначала говорили мало, но через несколько минут, приглядевшись к нам, он преобразился: стал оживленно разговаривать с нами, улыбаться, расспрашивать о наших работах. Вскоре казалось уже, что мы очень давно знакомы с этим чудесным человеком...

«Здесь у нас много интересного — есть что рисовать»,— окая, говорил Алексей Максимович...

В окнах кабинета, которые смотрели на море, уже синел вечер, когда мы, веселые, уходили от Горького. Прощаясь с ним, мы в один голос просили его «пожертвовать нам несколько сеансов для портрета». «Хорошо, хорошо, приходите — попозирую»,— сказал он, улыбаясь, и мы расстались. Потом, уже издали, мы увидели освещенное окно кабинета Горького: он сел за работу на всю ночь до рассвета...

Наконец желанный день настал. На маленьком дво-

рике, в тени, в кресле сидел Алексей Максимович. Он позирует. Мы разместились вокруг него. Сосредоточенно работаем. Каждый из нас хорошо понимает, что на этот раз позирует «модель» исключительно интересная. Перед тем как позировать, Алексей Максимович выговорил себе право разговаривать во время сеанса. Мы охотно согласились, так как все, что говорил Горький, имело особое содержание, особую красоту.

Среди общего молчания плавно течет речь Алексея Максимовича. Он рассказывает различные эпизоды из своей необыкновенно красочной жизни. И как рассказывает! Улыбаясь, он говорит, между прочим, что и ему привелось в жизни испробовать искусство живописи: он в детстве одно время был учеником у иконописца...[2] И ярко нарисованный образ, характер этого иконописца, как живой, появляется в нашем представлении.

Лицо Алексея Максимовича преображается, меняет выражение, лоб покрывается целым рядом глубоких поперечных морщин.

Горький исключительно владел искусством рассказывать. Его можно было слушать без конца. Люди, о которых говорил писатель, проходили перед слушателями как живые, как будто мы сами их видели, слышали их голоса и вместе с ними переживали их чувства. Интонация его голоса — то мягкая, искренняя, то резкая и отрывистая, в зависимости от содержания рассказа — была чарующей, как музыка. На лице его отражались переживаемые им чувства. Все, о чем рассказывал Алексей Максимович, было интересно, понятно и глубоко входило в сознание слушателя, совершенно захватывало его, надолго оставаясь в его памяти. Рассказчика лучше, чем Алексей Максимович, я в жизни своей не встречал.

Однажды, по окончании сеанса, Алексей Максимович, как обычно, очень внимательно рассматривая наши работы, с восхищением сказал: «Какое великое дело — искусство: было белое полотно, а теперь с полотна смотрит на нас человек... интересно!»

Очень трудно было писать Горького: очень уж подвижным было его лицо. Особенно менялся его лоб: то он был гладким, то морщился целым рядом поперечных морщин, а от этого менялось все выражение лица. Трудность работы над портретом увеличивалась еще и тем, что писатель

сидел в тени, свет был рассеянный, и формы лица, да еще загорелого, трудно было уловить. Я видел, с каким напряжением работал даже Бродский, а он и тогда уже был большим мастером. Но понемногу дело стало налаживаться, и через 17 сеансов, по 2—3 часа с отдыхом, с наших полотен стал смотреть Алексей Максимович. Мне не удалось за это время закончить руку Горького, а так хотелось ее сделать, хотя бы в рисунке. Я высказал свое сожаление по этому поводу, и Алексей Максимович, как человек очень деликатный, предложил мне еще один — восемнадцатый сеанс для того, чтобы написать руку. Я был глубоко тронут его любезностью и на следующий день закончил, как мог, этот дорогой для меня портрет.

Нужно сказать, что по окончании каждого сеанса Горький очень внимательно рассматривал каждую работу, что, по-видимому, доставляло ему большое удовлетворение.

К художникам он вообще относился с исключительным вниманием: при каждом удобном случае он спешил помочь им и морально, и материально. Не могу не рассказать об одном случае, который ярко характеризует великого писателя. В нашей компании был Я. М. Павлов, мой давно умерший друг. Как художник он подавал большие надежды, как человек он был воплощенная честность и благородство. Он был беднее своих товарищей. И хотя я по мере возможности делился с ним своими «капиталами», это мало меняло его материальное положение.

Алексей Максимович чуткой душой человека и писателя понял положение нашего товарища и поспешил помочь ему.

Как человек деликатный, он осторожно выбирал способ осуществления своего намерения, чтобы не обидеть этим человека, не задеть его самолюбия. Зная о моих близких отношениях с Павловым, он просил меня как-нибудь в разговоре подготовить моего друга к тому, чтобы он взял у него «в долг» 500 рублей. Эти деньги, по словам Алексея Максимовича, дадут Павлову возможность пожить на Капри 3—4 месяца и за это время что-нибудь написать. Я подготовил своего друга... Алексей Максимович был неприятно удивлен, когда Павлов отказался принять от него деньги. Тогда писатель купил много красок, чудесный ящик, кисти и подарил их Павлову. Всем известно, что Горький из своих средств вносил плату за право учения многих студентов. ⟨...⟩

Почти каждый вечер в течение полутора месяцев мы собирались у Алексея Максимовича в его просторной столовой. На столе появлялся чай, книги, газеты. Беседа почти всегда вращалась вокруг искусства и литературы.

В живописи Горький любил правду, ясность и идейность. В разговоре об И. Е. Репине он сказал: «Илья Репин — он может, он — великий мастер». Горький очень высоко ценил Репина как выдающегося художника-реалиста. Как известно, он был лично знаком с Репиным, и между ними были самые искренние дружеские отношения [3]. (...)

Алексей Максимович горячо любил русский народ и ненавидел его угнетателей. Из его разговоров с нами было ясно, как он интересовался развитием рабочего движения в царской России, как верил в пролетарскую революцию и ждал ее.

Не будучи физически здоровым, он тем не менее был жизнерадостен и любил все молодое, здоровое и веселое. Дети каприйцев чувствовали, очевидно, эти черты Горького и всегда, как только он появлялся на улице, с веселым криком бросались к нему, окружая его тесным кольцом. Детей он любил особенно нежно. Все население острова относилось к Горькому с большим уважением. Каприйцы гордились тем, что на их острове живет великий писатель.

Особой любовью пользовался Алексей Максимович у рабочих. В качестве иллюстрации приведу один интересный случай. На крытой площадке фуникулера, куда перевозились пассажиры с берега наверх, на городскую площадь, висел на стене рисунок — портрет Горького, сделанный каким-то заезжим художником. Портрет был нарисован хорошо. Когда я рассматривал его, рабочий, который обслуживал площадку, обратившись ко мне, показал рукою на портрет, а потом, подняв ее, торжественно-серьезно сказал по-итальянски: «О, это наш великий Горький!»

Со дня моей встречи с Алексеем Максимовичем минуло 28 лет, но и сейчас я не могу забыть этого светлого события в моей жизни.

# М. Ф. АНДРЕЕВА

## ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

⟨...⟩ Помню, как Горький встретился с Лениным в Лондоне, в 1907 году, приехав на V съезд Российской социал-демократической рабочей партии [1].

Ленин повез нас в гостиницу «Империал», где-то неподалеку от Британского музея. Гостиница представляла собою огромный, сырой и неуютный дом, но другого помещения почему-то найти не удалось.

Помню, как Ленин беспокоился за Горького:

— Простудим мы его! Ведь он привык к мягкому климату, хорошему уходу...

Действительно, в комнате, очень небольшой, было сыро и сумрачно, огромная кровать занимала половину места, большое окно выходило прямо в стену, газовый камин давал мало тепла. Был май месяц, но погода стояла сырая и холодная.

Ленин подошел к кровати, пощупал простыни и, зная, что Горький не любил, чтобы беспокоились о его здоровье, вполголоса сказал мне:

— Простыни-то совсем сырые, надо бы их посушить, хотя бы перед этим дурацким камином. Закашляет у нас Алексей Максимович, а это уж никуда не годится!

Удивительно трогательной показалась мне эта милая заботливость! Впоследствии я неоднократно имела возможность убедиться в том, с каким вниманием умел Ленин относиться к людям, особенно к товарищам, как он умел все видеть, все замечать и ничего не забывать.

Когда Ленин ушел, Горький долго ходил по неуютной комнате от окна к двери, мимо газового камина, крутил и покусывал по привычке кончики усов, а потом тихо и задумчиво сказал:

— Удивительный человек!

Алексей Максимович был очень взволнован и радостно возбужден, получив приглашение на съезд, да еще с правом совещательного голоса. Это как-то особенно сближало его с товарищами-рабочими, приехавшими из России. Он сильно страдал от вынужденной разлуки с родиной, хотя тщательно скрывал это даже от близких людей, да и сам себя старался убедить в том, что будто бы в Россию его не тянет.

Бывая на всех заседаниях съезда, Алексей Максимович жадно впитывал в себя речи и даже отдельные слова делегатов и с каждой новой встречей все больше и больше влюблялся в Ленина.

Г. В. Плеханов произвел на него плохое впечатление.

— Барин! — резко отзывался Горький о нем [2].

И горячо спорил с Богдановым, Строевым [3] и даже с Лениным, когда те говорили ему о больших заслугах, эрудиции и уме Плеханова, хотя, конечно, и сам Алексей Максимович прекрасно понимал значение Плеханова для партии.

Очень презрительно относился Алексей Максимович к Либеру и Дану. Горький вообще ненавидел меньшевиков всеми силами души, делая исключение только для Мартова, которого называл «заблудившаяся душа», да еще для Власа Мгеладзе, в просторечии именуемого «Триадзе». Этот последний нравился Алексею Максимовичу неукротимостью своей натуры и могучей внешностью. Впоследствии, когда этот Влас «Триадзе» приехал на Капри и прожил у нас довольно долгое время, Алексей Максимович сильно разочаровался в нем, и помню, как, тяжело вздохнув, однажды сказал:

— Нет, в больших дозах и хороший парень, ежели он меньшевик, непереносим!

Чтобы сколько-нибудь улучшить питание наших товарищей, большинство которых жило впроголодь, мы организовали доставку бутербродов и пива целыми корзинами в здание той церкви, где заседал съезд.

Делегаты съезда во время перерывов много говорили о книге Горького «Мать» [4]. Рабочим она нравилась, но некоторым из них казалось, что все изображено наряднее, чем в жизни. Это огорчало Горького, и хотя он всегда ценил критику и искал ее, но в данном случае горячо спорил, доказывая, что проявление борьбы человека с неправдою жизни всегда прекрасно и потому должно быть красивым.

Ленин ценил «Мать» очень высоко, считая появление ее крупным событием, а недостатки видел больше всего в идеализации революционеров-интеллигентов.

Горький однажды рассказывал Ленину, какое впечатление произвели на него немецкие социал-демократы. Будучи в Берлине [5], Горький виделся с Бебелем, Каутским, Карлом Либкнехтом, Розой Люксембург и другими. Понравились Горькому только Либкнехт и Роза Люксембург. Что касается Бебеля, то, придя в его квартиру и увидя там массу подушечек, салфеточек, занавесочек, клеточек с канарейками и прочие атрибуты немецкой мещанской обстановки, Горький сразу обозлился и держал себя по отношению к Бебелю довольно сухо...

За ужином против Горького за большим обеденным столом сидела старушка, жена Бебеля, и оживленно разговаривала о чем-то с толстым, равнодушным Зингером.

Горький спросил меня, о чем она говорит, а в это время жена Бебеля рассказывала Зингеру о том, как теперь дороги цыплята, что ее Август ничего другого, кроме цыплят, кушать не может и как сегодня ей посчастливилось купить пару цыплят очень хороших и очень дешево.

Узнав тему их разговора, Горький даже крякнул от удивления и громко вздохнул, испугав этим старика Бебеля.

Рассказы Горького о 1905 годе, о революции в Москве не произвели впечатления на вождей немецкой социал-демократии. Его слушали вежливо, но скептически. Горький сразу же почувствовал это, замолчал и, к великому удивлению присутствующих, тотчас же после ужина стал прощаться, торопясь уйти.

Когда Горький в комических тонах, так, как только он один умел рассказывать, передавал Ленину об этих визитах к немецким социал-демократам, Ленин хохотал до слез и без конца выспрашивал у него о все новых и новых подробностях.

Очень интересовался Ленин встречами Горького с английскими писателями. Горький познакомился с Бернардом Шоу, виделся с Г. Уэллсом, с которым встречался еще в бытность свою в Америке, и с другими менее известными писателями, но говорил он об этих своих встречах неохотно — он весь был поглощен впечатлениями съезда и встречами с русскими товарищами.

В Лондоне Ленин дал Горькому обещание приехать на Капри после того, как будут закончены дела по съезду, и сдержал свое обещание.

Встречая его, Горький волновался, как мальчик. Ему страстно хотелось, чтобы Ленину понравилось у него, чтобы он отдохнул и набрался сил [6].

Ежедневная рыбная ловля на море ни того, ни другого не укачивала, давала им возможность беседовать друг с другом без помехи — на лодке с ними были только рыбаки-каприйцы да я.

Горький рассказывал Ленину о Нижнем Новгороде, о Волге, о своем детстве, о бабушке Акулине Ивановне, о своей юности и своих скитаниях. Вспоминал отца. Много говорил о дедушке.

Ленин слушал его с огромным вниманием, блестя прищуренными по привычке глазами, и раз как-то сказал Горькому:

— Написать бы вам все это, батенька, надо! Замечательно поучительно все это, замечательно...

Горький сразу осекся, замолчал, покашлял смущенно и невесело сказал:

— Напишу... Когда-нибудь [7].

Горький с увлечением показывал Ленину Помпею, Неаполитанский музей, где он знал буквально каждый уголок. Они ездили вместе на Везувий и по окрестностям Неаполя.

Горький удивительно рассказывал. Он умел двумя-тремя словами нарисовать пейзаж, обрисовать событие, человека. Это его свойство особенно восхищало Ленина. Со своей стороны, Горький не переставал восхищаться четкостью мысли и яркостью ума Владимира Ильича, его уменьем подойти к человеку и явлению прямо, просто и необыкновенно ясно.

Мне кажется, что именно с того времени Ленин нежно полюбил Горького. Не помню случая, чтобы Ленин сердился на него. Горький любил Ленина горячо, порывисто и восхищался им пламенно.

Уезжая в Париж, Владимир Ильич твердо обещал снова приехать на Капри вместе с Надеждой Константиновной. К сожалению, это обещание не было полностью исполнено, во второй раз он приехал на Капри, но без Надежды Константиновны и очень ненадолго [8].

В то время на Капри жили А. В. Луначарский, А. А. Богданов, В. А. Базаров, приехал из Берлина по

делам издательства И. П. Ладыжников, старый друг и товарищ наш [9].

Еще когда мы шли от фуникулера до виллы Бэдус, на которой тогда жили, Алексей Максимович заговорил с Владимиром Ильичем о той горячей привязанности, которую питает к нему, Ленину, Богданов, о том, что Луначарский и Богданов изумительно талантливые, умные люди...

Владимир Ильич посмотрел на Алексея Максимовича сбоку, прищурился и очень твердо сказал:

— Не старайтесь, Алексей Максимович. Ничего из этого не выйдет [10].

Богданов, Базаров и Луначарский неоднократно делали попытки найти пути соглашения с Владимиром Ильичем, но от разговоров на философские темы Владимир Ильич, для которого ясна была полная бесполезность какой-либо дискуссии на данной стадии расхождения, определенно и твердо уклонялся, сколько ни старались втянуть его в такие беседы, в том числе и Алексей Максимович. А ему так хотелось понять суть разногласий, так глубоко волновало его резкое расхождение между товарищами.

В этот приезд Владимира Ильича Алексею Максимовичу редко удавалось побыть наедине с ним — мешали посторонние люди. Пробыл Владимир Ильич на Капри всего несколько дней, и после его отъезда у Горького было грустное настроение, с которым он долго не мог справиться.

## ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

После революции 1905 года Алексею Максимовичу нельзя было оставаться в России, так как это означало бы длительное сидение по тюрьмам, может быть, в той же Петропавловской крепости, в Петербурге, куда его засадили после 9 января и откуда выпустили только под давлением протестов и бури негодования, вызванных его арестом во всем мире. Вторично он этого по состоянию своего здоровья не перенес бы, пришлось эмигрировать за границу.

После нескольких месяцев скитания по Европе и Америке поселились мы на острове Капри, в Неаполитанском заливе, в Италии [11]. Остров этот небольшой, в че-

тыре с половиною часа его можно кругом объехать на рыбацкой лодке, очень живописный, с чудесным видом с северной его стороны на Везувий, дальний Неаполь и целую цепь островков, а с южной — в открытое море. Живешь на этом острове Капри, как на корабле. Связь с землею поддерживает маленький пароходик, раз в сутки приходящий из Неаполя и уходящий обратно.

А в дурную погоду, когда в заливе большое волнение или дует сильный ветер, Капри иногда на несколько дней остается совсем отрезанным от внешнего мира.

Как всегда и всюду, где бы он ни жил, только мы устроились и обжились немного на Капри, выписали русские газеты. Алексей Максимович внимательно прочитывал не только большие столичные, но и многие губернские газеты, получаемые из разных мест далекой родины. Стали получать иностранные газеты и кипы писем со всех концов света и из России.

Алексей Максимович засел за работу и окончательно установил свой рабочий день. Вставал он рано, не позже 8 часов утра, в 9 часов подавался утренний кофе, к которому поспевали переводы из тех иностранных газет, которые приходили накануне, если какая-либо статья или заметка в них его особо интересовали. В десять часов он садился за письменный стол и не вставал до половины второго, работая ежедневно, за очень редкими исключениями.

В два часа обыкновенно обедали. К этому времени приносили почту, и никакие просьбы близких или предписания врачей не могли убедить его не читать во время еды. Тут же за обедом он узнавал из иностранных газет, что делается в мире. Зная несколько языков, мне нетрудно было переводить ему прямо с листа сообщения итальянских, французских и английских газет. После обеда, до четырех часов, он отдыхал, сидя на террасе в кресле и покуривая, в 4 выходили погулять, в 5 он пил чай и с половины шестого — шести опять шел к себе в кабинет работать или читать. В семь ужинали, и, когда были приезжие из России или товарищи, жившие в эмиграции, шли беседы, иногда затевались какие-нибудь игры, в которых А. М. принимал живейшее участие.

Несмотря на больные легкие и почти постоянный сильный кашель, нередкое кровохарканье, А. М. был чрезвычайно веселым. И в последние годы он сохранил юность и свежесть мысли, огромную работоспособность, жажду

знания, интерес к жизни и радостную веру в силы человека, хозяина и строителя новой, счастливой жизни.

В одиннадцать часов ночи А. М. окончательно уходил к себе и снова читал или работал над своими рукописями. Ложился он обычно в час, но еще с полчаса, а то и час читал, лежа в постели.

Таков был его обычный будничный день.

Летом наезжало много народу — родные, друзья, просто знакомые, совершенно незнакомые почитатели его таланта, люди, взыскующие правды и добивающиеся ответа на вопрос, как им жить, просто любопытные, иностранцы, соотечественники. А. М. жадно всматривался в каждого, искал то, что нужно было знать ему, писателю.

Но наступала осень, приехавшие из России родные, друзья и товарищи уезжали учиться или на свою работу, задувал суровый северный ветер трамонтан — все меньше становилось иностранных посетителей, наступало полное затишье, и Алексей Максимович пользовался этим временем, чтобы работать буквально целыми днями.

С большим трудом удавалось вытащить его на прогулку в солнечные, хотя бы и свежие дни или пойти вечером в миниатюрный кинематограф, где его ждала с нетерпением каприйская детвора, которую он снабжал входными билетами. Надо было слышать их восторженные вопли при приближении его высокой тонкой фигуры, закутанной в широкий плащ, с большой черной шляпой на голове.

— Buona sera! Buona sera, signore! Evviva Massimo Gorky! *

Прыгали ребята вокруг него, он весело улыбался им, того погладит по голове, этого потреплет по плечу, и, хотя он ни слова не говорил, кроме «Buona sera! Buona sera!» — ребята великолепно понимали его, понимали, что он их любит, что ему приятно их видеть, что он не forestier — иностранец, перед которым надо придумывать какие-нибудь штучки, а свой, родной, вообще хороший человек.

В доме, где жили мы сами, было всего три комнаты — в нижнем этаже спальня и моя комната, из которой широкая деревянная лестница вела наверх во второй этаж. Весь верх занимала одна огромная комната — кабинет

* Добрый вечер! Добрый вечер, синьор! Да здравствует Максим Горький! *(ит.)*

Алексея Максимовича. Самым замечательным в этом кабинете было два огромных окна: в полтора метра вышиною и в три метра длиною, из цельных стекол. Одно из окон выходило на море. Так как дом стоял на полугоре и довольно высоко над берегом, получалось впечатление, будто сидишь не в доме, на земле, а на корабле, на море.

У окна, выходящего на море, стоял простой большой письменный стол, покрытый зеленым сукном, на очень высоких ножках, последнее — для того, чтобы А. М. не слишком нагибался при писании, по длинному росту своему. С правой стороны возвышалась простая конторка, так как иногда, уставая сидеть, он писал стоя. Везде — на столах, на многочисленных полках — стояли и лежали книги.

Чтобы не было холодно и сыро, зимой почти постоянно топился камин, в нем горели корни оливковых деревьев, дающие много тепла и небыстро сгорающие. Каприйцы — местные жители — зимой обогревают свои жилища жаровнями, которые очень мало дают тепла, но от которых люди часто угорают до сильных головных болей. Пришлось очень долго убеждать хозяина, домовладельца нашего, чтобы он согласился построить для Алексея Максимовича камины в нашем домике, и удалось убедить его только потому, что это необходимо было для здоровья *Горького*.

В ту зиму, о которой сейчас идет речь, погода стояла суровая, часто дул сирокко, ветер из Африки. В дни, когда он дует, люди нервничают больше обыкновенного, больше ссорятся. Вообще скверный ветер! В дни, когда он дул особенно сильно, А. М. кашлял чаще и сильнее задыхался. Он писал тогда последнюю часть давно задуманной им трилогии, истории или хроники маленького городка, «уездной Руси», по образному его выражению.

Всегда он по многу раз исправлял и переделывал написанное им, так было и с «Городком Окуровом». Эпизод Марфы Посуловой в третьей части с подзаголовком «Матвей Кожемякин» [12] был, например, написан совсем иначе: Марфа из хорошей бабьей жалости, тоскливо скучая по Николаю, пасынку своему, которого старый мясник Посулов, ревнуя жену к сыну, отослал в другой, такой же страшный уездный город — Воргород, искренне и горячо привязалась к Матвею Кожемякину. Кожемякин же искал у Марфы утешение в острой тоске своей по любимой им постоялке Евгении Мансуровой.

Я, когда не переписывала для него на машинке и не переводила то, что было ему нужно, занималась переводом с итальянского сицилийских народных сказок. Чтобы быть у него всегда под рукой, но не мешать ему, я устроилась в той нижней комнате, из которой лестница вела к нему наверх.

Сидишь, бывало, и сквозь свои мысли, искания подходящих выражений, чтобы добиться правильного перевода своеобразного языка народной сказки, слышишь скрип пера, шелест перевернутого листа бумаги, как чиркнул спичкой А. М., кашлянул, слышишь все эти привычные, будто не замечаемые уже больше звуки и не беспокоишься — значит, все в порядке. ⟨...⟩

# Ш. Н. МАНУЧАРЬЯНЦ

## ЗНАКОМСТВО С ГОРЬКИМ

⟨...⟩ В Неаполе мы сели на пароход, идущий на остров Капри. Мимо нас проплывали чудесные берега, навстречу — лодки с натянутыми парусами — то возвращались с уловом неаполитанские рыбаки.

На нашем пароходе находилась Екатерина Павловна Пешкова с сыном Максимом,— они ехали повидаться с Алексеем Максимовичем. К острову пароход не подходил, поэтому мы пересели в большую лодку. Скоро показался Капри. Когда был уже виден берег. кто-то крикнул: «Смотрите, Горький, Горький! Максим Горький!» На берегу стоял Алексей Максимович, очень высокий и худой, в длинной пелерине и в широкополой шляпе. При виде Горького все зашумели, заволновались. Волнение передалось и мне.

Мы сошли на берег. Алексей Максимович вскоре подошел ко мне и спросил у Леонида Старка [1], с которым я добиралась до Капри: «Так это та самая армяночка?» Получив утвердительный ответ, он протянул мне руку и пробасил: «Ну, с приездом, приходите в гости. Надо отпраздновать ваш приезд и опубликование стихов Леонида в «Современнике» [2].

Громадная фигура Алексея Максимовича, мягкая, ритмичная походка, ласковые глаза делали его всегда заметным. Особенно запомнились мне его руки. Они были очень музыкальные и красивые. В этом человеке все было выразительно и гармонично.

Алексей Максимович жил в двухэтажной вилле, изящной, но скромной. Во втором этаже находились библиотека и кабинет, из окна было видно море. Биб-

лиотека у Горького была большая; все мы ею пользовались. Давая книгу, особенно неаккуратному читателю, Алексей Максимович говорил: «Только не покрывайте ею молоко и не кушайте над ней бутербродов».

Когда я приехала на Капри, я была очень молода, но и позже, повзрослев, я восхищалась и поражалась богатству знаний, которыми владел Горький, причем знаний разнообразных и глубоких, полученных упорным и долгим трудом. Работал Алексей Максимович много, очень много читал. Он знал все, буквально все, и на самые различные вопросы давал полные и квалифицированные ответы — будь то область науки, техники, искусства, ну, а литературу-то он знал, как никто. Это был человек энциклопедических знаний.

В то время на Капри собралась большая русская колония. Здесь был Иван Вольнов (Вольный) — всегда жизнерадостный, веселый; он работал в это время над книгой «Повесть о днях моей жизни». Были здесь и Новиков-Прибой, который тоже много и упорно работал, и Ян Струян — латышский писатель-большевик, очень веселый, шумный, но удивительно целеустремленный человек (писал он тогда «Лесных братьев»), и Леонид Старк — поэт-большевик.

Не помню точно, когда мы собирались у Алексея Максимовича — по средам или субботам. Помню только, что все собирались у него в кабинете и размещались где кто мог: на стульях, на столах, на подоконниках, у камина на полу. И начинался своеобразный литературный семинар. Здесь под руководством Горького учились многие молодые писатели. Спорили, обсуждали вопросы о литературной форме и содержании, о стиле и об идее произведения. Алексей Максимович радовался каждому новому таланту, каждому молодому писателю. Он частенько критиковал начинающих писателей, но критиковал сдержанно, не больно и не зло, а очень мягко и деликатно. И замечания его все слушали с большим вниманием и никогда не обижались.

Помню такой случай. Один молодой автор читал свое произведение. Рассказывая о героине, он все время называл руки «ручками», ноги «ножками», говорил «ротик» и т. д. Алексей Максимович слушал, слушал, а потом, усмехаясь в свои длинные рыжие усы, иронически сказал: «Это что же, самоварные ручки? Нет, так нельзя, так не годится».

На Капри приехал и жил довольно долго Иван Алексеевич Бунин. Он бывал на читках у Алексея Максимовича, сам читал свои произведения. Алексей Максимович, восхищаясь им, скромно замечал: «Вот бы мне так писать».

Стихи Бунина очень ценились, и Алексей Максимович, узнав, бывало, что Иван Алексеевич целый день работал и успел написать стихотворение, посмеиваясь, говорил: «Ну вот, сегодня Иван Алексеевич заработал себе на пропитание...» ⟨...⟩

Бунин часто бывал у Горького, они вместе гуляли по склонам Каприйских гор, любуясь закатом солнца, морем и красочными полями чудесных цветов. Как-то я их встретила на прогулке. У меня был маленький фотоаппарат; Алексей Максимович упросил не фотографировать их. А однажды пришел ко мне Максим, сын Алексея Максимовича, и говорит: «Папа просит вас прийти и сфотографировать». На террасе виллы я сфотографировала Горького и Бунина. Принесла потом напечатанную карточку, а у Алексея Максимовича на носу получилось белое пятно. Он посмотрел, посмотрел и с укоризной сказал: «Эх вы, фотограф. Что же это, я луной чихаю?» ⟨...⟩

В часы досуга Алексей Максимович спускался к берегу и посылал за мной Максима. Я тотчас же спускалась, одетая по-городскому — в шляпе, перчатках. Я еще не совсем отделалась от городской моды. В первый раз, увидя меня в таком костюме, Алексей Максимович ничего не сказал. Он только посмотрел на меня, чуть улыбаясь, и протянул удочку: «Не дышите, не разговаривайте, рыбу напугаете».

Очень удивлялся, что меня не увлекает это спокойное занятие. В другой раз, когда я спустилась к берегу в том же виде, Алексей Максимович пробурчал: «Долго вы еще будете в перчатках рыбу ловить?» Я смутилась и быстро сдернула перчатки, а Алексей Максимович засмеялся и проговорил: «Что, испугались? То-то же!» Когда поймает рыбу, искренне радуется и тут же прочтет целую лекцию по ихтиологии.

Иногда устраивались большие экскурсии в море на лодках вместе с итальянскими рыбаками. Поймав рыбу, плыли к гроту, располагались там и варили уху. Молодые купались, ныряли с высоких скал. Весело было. Алексей Максимович любил веселье, ценил его и сам умел веселиться. Каприйские рыбаки — сильные, смелые, весе-

лые и музыкальные — все время пели для «синьора Горьки» свои «канцоны» — песни.

В 1913 году на Капри приехал Федор Иванович Шаляпин [3]. Помню величественную фигуру Шаляпина, его светло-голубые глаза. Ходил он в Капри в короткой пелерине и берете. Алексей Максимович с какой-то особенной нежностью смотрел на него.

Однажды в том же 1913 году Федор Иванович Шаляпин дал концерт для русской колонии. В тот вечер он пел с таким чувством, что Алексей Максимович плакал, не скрывая слез. После концерта Тихонов [4] подошел к Алексею Максимовичу и сказал: «Шушаника вас поддерживает»,— и привел ко мне Горького. Алексей Максимович с заплаканным лицом подает мне бокал и говорит: «Пейте, не плачьте». В это время с бокалом в руке подошел к нам и Федор Иванович Шаляпин. Обняв Алексея Максимовича и подав руку мне, несколько театрально, он все же искренне произнес: «Ваши слезы мне дороже всех аплодисментов». ⟨...⟩

Иногда по вечерам всей компанией отправлялись в кино, а потом в кафе, где слушали итальянские песни. В это кафе приходили форестьеры (иностранцы) специально поглядеть на Горького. Алексей Максимович страшно сердился и говорил: «Ну, что я — балерина? Чего глазеют? Платили хотя бы за это».

Летом на Капри приезжали русские туристы. Возник вопрос — где их принимать? Алексей Максимович предложил принимать их на нашей вилле. Во-первых, потому что она большая, а во-вторых, потому что у нас был самовар... Горький с жадностью слушал рассказы о России, прислушивался и присматривался к настроению приезжих.

Скоро я должна была вернуться в Россию. Радостью забилось сердце. Домой! Но немного грустно было расставаться с Капри, и, конечно, с Алексеем Максимовичем.

...Вернувшись на родину, я окунулась в работу и потом вдруг узнала — в Россию вернулся Горький. Он остановился в Мустамяках, в Финляндии, недалеко от Петербурга. В первый же свободный день отправились к Алексею Максимовичу [5].

В Мустамяках у Алексея Максимовича и Марии Федоровны Андреевой, как всегда, было много гостей. Гостил армянский поэт-большевик Ваан Терян, который часто читал свои стихи на армянском языке. Алексей Макси-

мович, не зная языка, всегда удивительно чувствовал ритм. Они обсуждали вопрос об издании сборника армянской литературы [6]. Алексей Максимович думал, что я буду переводить стихи. Но когда узнал, что я не понимаю своего родного языка, с укоризной сказал: «Эх вы, армянка!»

Приехали в Мустамяки и Федор Иванович Шаляпин, и квартет певцов. Позднее, уже в Петербурге, на Кронверкском проспекте [7], я видела у Алексея Максимовича Скрябина и Рахманинова, которые много играли ему. Горький очень любил музыку и больше всего фортепьяно.

Алексей Максимович и Мария Федоровна всегда были рады гостям. Мы, молодежь, пели, танцевали, затевали игры. Особенно любили мы разыгрывать шарады, большой выдумщицей которых была Мария Федоровна. И в разыгрывании шарад проявлялся ее талант большой драматической актрисы. Помню, мы задумали разыграть слово «зонтик». Первый слог «зон» — название несколько фривольного кафе в Петербурге — изображала молодежь. Алексей Максимович изображал второй слог — «тик». Он был учителем, заболевшим тиком. А в конце шарады выходила дама с зонтиком — я. Зрители хохотали до колик, особенно над длинной тонкой фигурой учителя в сюртуке, больного тиком. «Режиссер» и «артисты» срывали шумные аплодисменты.

В Москве, когда я уже работала у Владимира Ильича Ленина, Алексей Максимович часто бывал у него. Владимир Ильич с каким-то нетерпением всегда ждал Горького. И когда узнавал, что приехал Алексей Максимович, выходил из своего кабинета, шел ему навстречу и, полуобняв, провожал в кабинет, усаживал в глубокое кожаное кресло, придвигал близко к нему свое, и начиналась дружеская беседа. Мы, сотрудники, слышали жизнерадостный смех Владимира Ильича и глуховатый басок Горького. ⟨...⟩

# М. М. ПРИШВИН

## ЛЮБИМАЯ ЗЕМЛЯ

⟨...⟩ Мы однажды с Горьким вышли из дачи его в Финляндии погулять [1]. Он был погружен в себя, как это иногда со всеми бывает: все в себе, а глаза сосредоточены на каком-нибудь жучке, или бабочке, или на зеленом листочке. Человек в это время как бы уходит от мира, и когда обратно приходит в себя, то душа радостно соединяется с тем, на чем бессознательно покоился глаз, на этом жучке, или бабочке, или прутике, или зеленом листике. Из чувства этой радости узнавания, по-новому знакомого, привычного, рождались все мои писания. И я очень хорошо помню, что Горький был именно в таком состоянии, когда мы с ним молча шли по дорожке, обильно усыпанной еловыми хвоинками.

— А вы знаете,— сказал он, приходя в себя,— как эти хвоинки, если заиндевеют, иногда чудесно звенят?

— А вы знаете,— спросил я в свою очередь,— когда хвоинки заиндевеют с утра, а потом выйдет горячее солнце и от стволов пойдет пар так сильно, будто леший себе баню в лесу затопил?

— Чудесно,— ответил Горький,— чудесно!

И вдруг от этих хвоинок мы перекинулись к людям, и у меня в воспоминании теперь осталось, будто так это и быть должно: сначала мы поговорили о любимой земле-природе, а потом и о людях, населяющих нашу родину...

Не один раз я встречался с Горьким, и так у меня остается в памяти, будто ни разу в разговоре у нас не обошлось без оглядки на мать-родину. Да, я положительно утверждаю, что Горький был сыном родной земли в самом глубоком смысле слова и что образ бабушки является выражением сокровеннейших его чувств к матери-родине. ⟨...⟩

# К. С. МИКАЭЛЯН

## ВЕЛИКИЙ ДРУГ НАРОДОВ

Это было в 1915 году. Мы, группа молодых литераторов, среди которых был и известный поэт Александр Цатурян, намеревались издать большую антологию лучших произведений армянской поэзии в переводах на русский язык. Идея была новая, сопряженная с большими трудностями. Прецедентов не было. Ни одно издательство не хотело взять на себя расходы издания. ⟨...⟩

Единственный писатель, от которого можно было рассчитывать получить советы и поддержку, для нас был М. Горький. ⟨...⟩

Недолго думая, мы решили поехать в Петроград и оттуда прямо в Финляндию, к А. М. Горькому. Нас было четыре человека [1], среди них — популярный молодой поэт Ваан Терян.

Всю дорогу мы волновались. Что скажет писатель при виде такой многочисленной делегации? Найдется ли у него время поговорить с нами? Не помешаем ли мы ему?

Мы слезли в местечке Мустамяки, где и жил Алексей Максимович. Чистенькая станция, аккуратные дачные постройки, совершенно не похожие на московские дачи, красивые аллеи, посыпанные желтым песочком.

Дом, где жил Алексей Максимович, мы нашли очень быстро. Каждый встречный, кого бы мы ни спросили, знал, где он живет.

Но раньше чем зайти в дом, нас опять охватило какое-то необъяснимое волнение, и мы несколько раз покружились вокруг него. Но волновались мы напрасно. Позвонили. Открылась дверь, и прислуга, спросив, кто мы такие, попросила зайти в комнату и подождать. Через несколько минут вышел Алексей Максимович с приветливой улыбкой на лице. Он показался нам неимоверно

худым и высоким. Мы привыкли его видеть с длинной шевелюрой, но он здесь был коротко остриженным. Может быть, поэтому он и показался худым.

— Ну что, товарищи, не устали? Не хотите ли поесть? — сказал Алексей Максимович.

Мы сразу почувствовали себя хорошо. От еды, конечно, мы отказались. Нам нужно было как можно скорее поговорить с ним. Он нас пригласил к себе в кабинет, который находился на втором этаже. Это была сравнительно маленькая комната, кругом обставленная рядами книжных полок. Много книг было и на столе.

Не прошло и нескольких минут, как исчезли последние остатки неловкости. Перед нами сидел близкий и родной нам человек. Идею нашу он не только одобрил, но оказалось, что аналогичные мысли были и у него, но только в более широких масштабах. Он предполагал выпустить ряд сборников, посвященных национальным и областным литературам. Первый из них — латышский — уже был готов и сдан в печать. В его программе уже стояли сборники — не только армянский, но и грузинский, украинский, татарский и т. д. Он стал мотивировать необходимость издания этих сборников [2].

«Мы,— говорил он,— не знаем культуру народов, которые разделяют политическую судьбу нашей страны. Народов древних, с устоявшимся моральным обликом, с вековой культурой и мудростью. Нужно влить эти ценности в русскую культуру. От этого она только выиграет».

И он начал перечислять фамилии национальных авторов, названия народных произведений, которые нужно переводить на русский язык. Перейдя к армянской литературе, он назвал фамилии Шахазиза, Патканяна, Налбандяна, Раффи, Туманяна, кое-кого из мхитаристов [3] и западноармянских писателей [4], главные произведения этих авторов. Мы буквально были поражены его памятью, его знаниями, необъятной эрудицией, любовью и уважением к литературе и культуре народов, о которых в то время никто не говорил. Обаятельным, необычайно обаятельным показался нам Горький.

Перейдя к нашей идее, он посоветовал выпустить большую антологию поэзии, начиная с древнейших времен до наших дней. От редактирования он отказался, считая, что для такой антологии нужно пригласить писателя, чье имя может оказаться более приемлемым для

того общества, которое представляла субсидирующая организация — Московский армянский комитет. Сам же возьмется за редактирование другой антологии, которую он собирается делать и куда войдет, кроме поэзии, и проза [5]. Для нашей же он рекомендовал обратиться или к Бунину, или к Брюсову.

«Первый, пожалуй, больше подойдет, как-никак, академик [6], — сказал он, улыбаясь, — но Брюсов сделает больше и лучше. Человек добросовестный, усидчивый, работоспособный. Нет, пожалуй, Брюсов лучше!»

Уже было поздно, время обеда. Вошла прислуга и всех нас пригласила к обеду. Горький решительно остановил нас, когда мы попробовали отказаться. Мы все спустились вниз, в столовую, где нас ожидала Мария Федоровна Андреева. Она нас усадила за стол, приветливо, весело предлагала нам блюда и своей простотой рассеивала нашу застенчивость.

После обеда мы хотели было вернуться обратно в Петроград. Но Алексей Максимович сильно воспрепятствовал. Он предлагал нам ночевать у него — «ничего, место найдется, устроимся по-студенчески!» — и уехать на следующий день вечером.

Так и сделали. Мы расстались с ним на следующий день вечером.

После обеда и весь следующий день мы были с Алексеем Максимовичем.

От нашего частного вопроса Алексей Максимович перешел к большим литературным вопросам, к политике, к реакции, к перспективам революции и нелегальной революционной работе.

Мне помнится, как он возмущался, что ему вот уже сколько времени не удается составить сборник пролетарских произведений [7]. «Куда же девались, — говорил он, — эти тысячи студентов, интеллигентов, которые в пятом году наводняли прессу своими произведениями? Неужели реакция под конец сожрала их? Или их революционный пыл оказался столь эфемерным? И вот приходится делать ставку на рабочую молодежь. Правда, она еще неопытна в литературных делах, но она единственная сила, которая не бросает дела своего класса...»

По приезде в Москву, следуя советам Алексея Максимовича, мы обратились к В. Брюсову. И, конечно, не ошиблись. В. Брюсов не только горячо взялся за дело, но так увлекся им, что написал не только литературную,

но и политическую историю Армении. Серьезное отношение его проявилось в том, что он даже изучил армянский язык [8].

В 1916 году вышли два монументальных сборника, посвященных армянской литературе: «Поэзия Армении», под общей редакцией В. Брюсова, и «Сборник армянской литературы», под редакцией Горького.

Мы были помощниками этих двух редакторов: отбирали материалы, переводили прозу, составляли подстрочники поэтического текста и, наконец, были их учителями армянского языка. ⟨...⟩

# Д. Н. СЕМЕНОВСКИЙ

## ИЗ КНИГИ «А. М. ГОРЬКИЙ. ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ»

Я пошел в Машков переулок [1]. Горького не застал, но мне сказали, что он скоро будет дома, знает о том, что я приду, и просил подождать.

Сын Горького, Максим, начал показывать мне фотографические карточки отца. Были среди них курьезные. Я видел Алексея Максимовича в нарочито комических позах. В этих снимках так и чудился нижегородский подросток Алеша Пешков, сохранивший вопреки тяжелому детству солнечную жизнерадостность, признак богатырской силы духа.

Потом мы стояли на балконе и с высоты четвертого этажа смотрели на обтаявшую мостовую, на черные, еще голые ветки деревьев. Был чудесный солнечный день, с голубым небом, с мягким влажным ветерком — один из тех дней ранней весны, когда воздух бодрит и опьяняет, а сердце волнуют смутные надежды.

Послышалось цоканье копыт, показалась извозчичья пролетка. Вот она остановилась около нашего подъезда. С подножки сошел человек в шапке запорожца и длинном пальто.

— Папа,— сказал Максим.

Мы вернулись в столовую. Через минуту в прихожей раздался низкий гудящий голос. В дверях показался Горький, очень высокий, слегка сутулый, одетый в черное. Его небольшие голубые глаза приветливо смотрели из-под косматых бровей, под прокуренными усами светилась мягкая улыбка.

— Так вот вы какой,— вглядываясь в меня, сказал он густым окающим басом.— Ну, здравствуйте, здравствуйте, дорогой!

Я почувствовал пожатие крупной худой руки. Мне казалось, что Горький внес с собой что-то бодрящее и молодое, как апрельский воздух.

Он сразу заговорил о том, что мои стихи пора издать отдельной книжкой, что мне надо поездить, посмотреть Русь, ее народ.

— Подождите, мы вас и за границу отправим!..

Я с восторгом слушал эти сердечные слова.

Пока готовили стол для обеда, Горький провел меня в соседнюю комнату, сел, закурил папиросу. Продолжая беседу, начатую в столовой, он снова вернулся к моим стихам. Алексей Максимович находил их живописными. Вместе с этим он видел у меня серьезный недостаток — отсутствие жанра.

— Вы, сударь, ходите по земле и как будто не замечаете, что на ней, кроме цветов, деревьев, птиц, живут также люди. Вам необходимо полюбить людей — их труд, радости, заботы...

Горький сидел спиной к окну. На его угловатом и моложавом лице с мягкими, как беличий мех, пушистыми усами лежала полутень, но оно освещалось другим, внутренним светом, этот свет лучился из глаз и вспыхивал доброй улыбкой. То несколько напряженное состояние, которое я испытывал в ожидании встречи с Алексеем Максимовичем, теперь прошло. Мне стало хорошо, легко. Горький держался так просто, с такой душевной чуткостью, что в его присутствии хотелось быть самим собой.

Куря и по временам глухо кашляя, он начал рассказывать о каприйских рыбаках и неаполитанских рабочих. «Сказок об Италии» я еще не читал, но рассказ Горького звучал для меня сказочно.

Алексей Максимович говорил о врожденной артистичности людей, среди которых жил до приезда на родину, о их любви к искусству, музыке, песне. Раз в году они устраивают праздник песни, музыкальное соревнование. Песня, победившая на конкурсе, распевается на следующий день и продавцами макарон, и горничными, и газетчиками, и уличными мальчишками. Однажды лучшую песню сложил простой извозчик.

— И грамотность там стоит очень высоко. Прислуга, пока на плите готовится суп, читает газету...

Через два с половиной года, когда пришла Октябрьская революция, русские кухарки тоже научились читать газеты. Больше того: они научились управлять государством. 〈...〉

На станции Мустамяки я вышел из вагона и, узнав, что до деревни Нейволы, в которой жил Горький, недалеко, бодро двинулся в сумерки октябрьского вечера [2]. Шел лесом. Стемнело, а деревни все не было. Иногда в стороне показывался и пропадал огонек одинокого строения, звякала бубенцом корова. Ветер шумел в черных деревьях, над ними темнело беззвездное небо.

Из моих вопросов насчет дороги встречные финны понимали только одно слово: «Горький», но этого оказалось вполне достаточно — слово довело меня до самой дачи Алексея Максимовича.

Было, видимо, уже поздно, но в доме еще не спали. Свет, падавший из окон, слабо озарял ступени крыльца и входную дверь. Я вошел в переднюю и спросил прислугу, дома ли Алексей Максимович. Он был дома, вышел на зов и в первый момент не узнал меня — потому ли, что я, страдая зубной болью, обвязал щеку носовым платком, или оттого, что мое появление в такой поздний час было неожиданностью. В следующую минуту лицо Горького потеплело, он спросил озабоченно:

— Что с вами? Вы больны?..

Удивился, что я на станции не нанял подводы, и повел меня за собой. Уже на ходу, обернувшись ко мне, он справился:

— Ну, что? Много написали стихов?

И, узнав, что в потертом саквояже, который я оставил у вешалки, кроме всего прочего, лежит большая поэма, бодро сказал:

— Ладно, почитаем!..

Идя за Горьким, я очутился в просторной, уютной комнате. На столе мягко светила затененная розовым абажуром лампа. За столом, рассматривая гравюры, сидели три человека: молодой худощавый брюнет, армянский поэт Терян, рядом — плотный, с энергичным выражением бритого лица А. Н. Тихонов, в адрес которого я посылал зимой стихи, и юная женщина, Варвара Васильевна Шайкевич, жена Тихонова. 〈...〉

После того как Горький познакомил меня с гостями, возобновился прерванный моим приходом разговор.

С сердитой иронией Алексей Максимович говорил о духовной неразборчивости читателя-мещанина:

— Он не читает, а глотает книгу, как крокодил — бревно. Проглотит Толстого — начнет пожирать Аверченка, покончит с Аверченком — набросится на Диккенса. Книга не вызывает в нем никакой работы мозга, не оставляет никакого следа...

Горький покашливал, выбрасывал из-под густых усов струйки табачного дыма.

Терян спросил:

— Почему вы, Алексей Максимович, не пишете стихов?

— Я пишу их, только никому не читаю [3], — ответил Горький, улыбаясь так, что трудно было понять, шутит он или говорит серьезно.

Он помолчал и, усмехнувшись, прибавил:

— Да-с, пишу. А потом в один прекрасный день возьму да, на удивление всем, и напечатаю книгу любовной лирики.

Красивый, с матово-бледным, истощенным лицом, с большими блестящими глазами и шапкой черных волос, Ваган Сукиасович Терян учился на филологическом факультете Петроградского университета. Имя его было уже известно в литературе Армении. Стихи Теряна переводили на русский язык Брюсов и Бальмонт. Поэт был болен туберкулезом и вскоре после революции умер. Из скупых строк некролога я узнал то, чего не сказал Алексей Максимович, знакомя меня с Теряном: еще тогда, в пятнадцатом году, он был большевиком и видным борцом за освобождение армянского народа [4].

А. Н. Тихонов писал повести и помогал Горькому в его издательских начинаниях.

Обращаясь к Тихонову и Теряну, Алексей Максимович заговорил об издании сборника армянской литературы. На столе появились бумага и карандаш. Терян называл фамилии армянских литературоведов и русских поэтов-переводчиков, которых можно привлечь к работе над сборником. Горький записывал.

Потом начался разговор о новостях писательского мира. Терян рассказал, что в литературных салонах Петрограда появился талантливый крестьянский поэт — совсем еще юноша, он своими яркими, образными стихами возбудил общее внимание к себе [5]. Поэта, о котором шла речь, я встречал в университете Шанявского [6]. Горький спросил:

— Ну, что он? Каков?

Через несколько дней я убедился, что интерес Алексея Максимовича к новому имени не был случайным любопытством. Встретив в одном из журналов стихи этого автора, Горький прочитал их, но, кажется, они не произвели на него большого впечатления. Тем не менее в дальнейшем стихи молодого поэта появлялись в «Летописи» [7]. Его фамилия упоминается в письмах Алексея Максимовича. Горький продолжал присматриваться к нему, как к сотням больших и маленьких литераторов, однажды попавших в поле его зрения.

Спать меня устроили наверху, рядом с кабинетом Алексея Максимовича. На столе около постели горела свеча и лежала книга. Но разве можно было читать в этот вечер!

Утром, спустившись вниз, в комнату, где накануне сидели гости,— я встретился с Теряном. Он уезжал в Петроград. Мы вместе позавтракали, Терян сказал:

— Алексей Максимович хорошо отзывается о вас. По его словам, если вы будете работать, из вас выйдет толк. ⟨...⟩

За обедом я встретился с Горьким.

— Ну, как? Нравится вам Финляндия? — спросил он.

И так же, как весной рассказывал об итальянцах, теперь рассказал о людях, населяющих эту землю камней и мхов. Дух бодрости и любви к труду витал над суровым финским краем. Горький рассказал о трудоспособности финского народа. Маленький клочок каменистой почвы целый год кормит здешнего крестьянина. В его хозяйстве используется все, даже картофельная ботва, которая зимой идет в корм скоту. Финские рабочие ездят на работу на велосипедах, бывают в Народном доме.

Подали пачку столичных и провинциальных газет. Алексей Максимович начал просматривать их.

У ног его дремала собака.

От камина, в котором колыхались огненные языки, веяло сухим приятным теплом. На блестящий кофейник, на стаканы падали алые отсветы.

Отодвинув газеты в сторону, Горький повел речь об успехах современной техники, о том, какие мощные средства изобретает мысль для избиения людей. Разбойничьи силы империализма направляют творческую энергию разума на разрушение жизни, но их власть вре-

менна. Разум, наука сделают жизнь сказочной. Таков был смысл того, что говорил Алексей Максимович. ⟨...⟩

Горький с болью говорил о грабительской войне, о том, что темные силы реакции, боясь последствий кровавой бойни, стараются разжечь в народе вражду к евреям.

— Солдатам на фронте внушают, что евреи предатели, враги!..

Лицо Алексея Максимовича было строго, резче проступили морщины на лбу.

— Для чего это делается? Это делается по мотивам очень простым, очень ясным,— русский народ уже выработал известные социальные потребности и, кончив войну, может очень настойчиво и грозно заявить о необходимости полного удовлетворения его социальных и политических нужд. Поэтому темные силы хотят отвлечь народ от революционных задач и стремлений, обессилить, разъединить его...

Горький взмахивал руками, широкие твердые манжеты заметнее делали их худобу.

В Москве я увидел Алексея Максимовича матерински ласковым, расточающим вокруг себя тепло и свет. Сейчас он горел мужественной, жгучей ненавистью к бездарному царскому правительству, толкавшему на гибель многомиллионный талантливый народ. ⟨...⟩

В Финляндии я увидел Горького великим тружеником.

Он сходил к завтраку и обеду молчаливый и рассеянный, светло-голубые глаза его были устремлены куда-то вдаль. Я видел Алексея Максимовича в том состоянии, которое он определил кратким выражением: «не в себе»,— сосредоточенным, углубленным в свои мысли. Он молча пил кефир; развернув газету, читал, курил; барабаня по столу пальцами, думал о чем-то своем и снова уходил в кабинет. Снова наверху раздавались глухие мерные шаги.

Иногда после обеда Горький приглашал меня на прогулку. Стояли теплые ясные дни. По лесному озеру скользили лодки, в синем стекле воды отражались их паруса. В прозрачном воздухе плыли серебряные паутинки.

Мы шли краем широкого шоссе. По сторонам неподвижно стояли прямые, высокие сосны и поросшие мхом ели. У подножия их лежали серо-синие и красноватые

валуны. Мимо нас мелькали велосипедисты, резиновые шины эластично шумели по песку.

Алексей Максимович, в коричневой кожаной куртке, в черной широкополой шляпе и без привычной папиросы, шел легкой, спорой походкой странников, одним из которых он был в юности. Заложив за спину руки, он смотрел на лес, на дорогу, на бежавшую впереди собаку. Мы сворачивали с шоссе, шагали полянами средь сизых кустов можжевельника и замшелых каменных глыб. Горький раздвигал загородившие тропинку ветки и говорил:

— Стихи в журналах обычно идут на затычку пустой страницы. При отборе стихов редактор почти всегда руководится соображением, достаточно ли известна фамилия автора. Это полезно знать каждому молодому поэту... ⟨...⟩

Почти все разговоры Горького со мной носили такой же воспитательный характер, как и письма. Мне было двадцать с небольшим лет. Мой жизненный и литературный путь только еще начинался. Я нуждался в добром слове большого умного человека. И Горький не отказывал мне в таком слове. ⟨...⟩

— Вам нравятся стихи Сурикова?

Выслушав ответ, Алексей Максимович сказал, что учиться у таких поэтов, как Суриков, нечему,— учиться следует у Пушкина.

Проникнутые терпеливой покорностью тяжелой доле, взывающие к состраданию, стихи поэтов суриковского типа были чужды бодрому, мажорному мироощущению Горького. Да и мастерства он здесь не видел.

Но еще резче отзывался Горький о тех современных поэтах, которые, по его выражению, не писали, а «музыкантствовали». Он ревниво берег русский язык от засорения его «местными речениями» и словами придуманными, искусственными. Этих слов он терпеть не мог.

Я попросил Алексея Максимовича прочитать напечатанные в последней книжке одного журнала хорошие, по моему мнению, стихи. Взяв книжку, Горький начал читать. Наткнулся на слово «цевня» и остановился.

— Что такое цевня? — спросил он.

— Цевница, свирель.

— А я думал: цепочка серебряная к часам,— не без едкости усмехнулся Горький. И заодно пробежал глазами напечатанные рядом стихи о березке.

— Привязались к этой березке,— жестко сказал он.— Секли их часто, что ли, этой березкой?

Конечно, дело было не в березке, а в бессодержательности стихов, в тематической бедности, раздражавшей Горького.

Зато его отношение к Пушкину и Лермонтову было неизменно восторженным. Любовь Алексея Максимовича к великим русским поэтам осталась такой же, как в дни отрочества, когда он впервые испытал на себе волшебную силу книги.

— Вы послушайте, как это просто и прекрасно,— сказал он однажды и прочел:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною... [8]

Алексей Максимович читал медленно, отделяя каждое слово и прислушиваясь к музыке стихов. По его лицу, просветленному и растроганному, по голосу, звучавшему мягко и глуховато, было видно, что, показывая мне эту жемчужину пушкинской лирики, он и сам любуется ее благородной красотой.

И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может,—

повторил Горький. И вздохнул:

— Хорошо!..

А в другой раз, посмотрев раздумчиво на меня, спросил:

— Помните «Утес» Лермонтова?

И тоже прочел стихи:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя...

Он дочитал стихотворение до конца и сказал, поясняя свою мысль:

— Какой поэтический образ нашел Лермонтов для передачи своего настроения!.. Чудесно!..

Я знал, что у Горького — своя работа, и какая работа! Несомненно, она давала ему огромное удовлетворение. Но в Горьком совершенно не чувствовалось эгоистического стремления оградить свой творческий мир от посторонних тревог и забот. Нет, он сам искал их, сам шел им навстречу. Как и всегда, он читал чужие

рукописи, отвечал на письма молодых авторов, думал о них. Его глубоко серьезное желание помочь мне я ощущал непрерывно, каждый день. ⟨...⟩

Вспоминаю вечер, вой ветра в трубе, облитые дождем темные окна, мягкий свет лампы, синие волны табачного дыма, песенку самовара, к которому мы за отсутствием хозяйки сами подходили со стаканами. Вспоминаю глухой кашель Горького, его устремленный на меня взгляд, внимательно присматривающийся и вместе с этим полный той серьезной думы, которую я заметил в нем раньше. И эта же дума о моей судьбе слышится мне в голосе Алексея Максимовича.

— Вам было бы полезно подольше пожить в Москве, войти в среду городского пролетариата, постараться понять взаимные отношения людей и силы, управляющие их жизнью. Суматоха больших городов, пожалуй, неприятная вещь, но бывает полезно пожить в них, особенно поэту. Это обостряет... ⟨...⟩

— Алексей Максимович дома?

— Дома, раздевайтесь.

Стуча по светлому паркету подмороженными валенками, я прошел в столовую-гостиную и сел на диван.

За дверью послышалось знакомое густое покашливание, дверь отворилась. Быстрыми шагами в комнату вошел Горький [9].

От его взгляда, от улыбки по-прежнему веяло неистощимой, заразительной бодростью, великой духовной силой.

Алексей Максимович был почти такой же, как в Финляндии, разве только морщины углубились да сильней засеребрилась щетка волос.

Сказав несколько приветственных слов, он присел к столу и с ласковой серьезностью повел речь о предстоящей мне работе:

— Постарайтесь, сударь мой, отнестись к ней внимательно, полюбите ее. Я верю, что это выйдет у вас. Вы сделаете хорошее, нужное дело [10].

Ясно и холодно голубел морозный день. Екатерина Павловна поставила на стол кофейник и два стакана, сказав, что кофе придется пить без сахара, обедать — без хлеба. Это было в дни очередей за пайками, продовольственных карточек, мешочников.

Тут пригодился мой каравай. А в грудном кармане пиджака я нашел кусочек сахара, уцелевший от чаепитий в редакции «Рабочего края» [11], и предложил его Алексею Максимовичу. Он взял кусок и щипцами расколол его пополам.

— Вы где остановились? — спросил меня Горький, разливая кофе по стаканам.

— Нигде.

— Как?

Я поведал о ночном приключении [12].

— Пока будете в Москве, живите у нас,— решил Алексей Максимович. И начал расспрашивать об Иванове, о работе в газете, о стихах.

Говоря о своем житье, я пожаловался, что дома мне не хватает музыки.

— Сегодня услышите хорошую музыку,— обещал Горький,— придет один молодой композитор, очень талантливый.

В комнату вошел Максим. Он подрос, возмужал.

Горький горячо любил сына.

Вечером — не помню, по какому поводу — Алексей Максимович рассказал, что когда Максиму делали какую-то серьезную операцию, то он, отец, находившийся в это время в операционной комнате или где-то рядом, не выдержал, потерял сознание.

Сейчас Горький дружески разговаривал с сыном о его делах — из разговора выяснилось, что Максим стал большевиком. Горький ласково усмехался. Потом он принялся рассказывать Екатерине Павловне о своем впечатлении от новой постановки пьесы «На дне», сделал несколько замечаний о недостатках игры [13]. Заговорил о предполагаемом издании большой литературной газеты, о писателях и книгах. ⟨...⟩

Беседу прервал приход поэта Георгия Чулкова. Немного позднее явился престарелый детский писатель, очутившийся без работы. Пока мы с Чулковым сидели в столовой, Алексей Максимович в соседней комнате говорил с детским писателем. Старик уходил радостно взволнованный.

Этих писателей сменили новые.

Пришел давний приятель Горького, рабочий, коммунист. Он был невысок, коренаст. На его русском лице блестели небольшие быстрые глаза. Не видавшиеся несколько лет хозяин и гость расцеловались.

Гость сказал:

— Ну, Алексей Максимович, я у вас хлеб отбиваю — заделался редактором нашей губернской газеты...[14]

Горький усадил редактора в кресло и сам сел напротив. Начались расспросы, воспоминания о знакомых — о людях, которые прошли через тюрьму, через ссылку и теперь строили новую жизнь. ⟨...⟩

Лицо Алексея Максимовича светилось гордостью за Советскую страну.

Потом сидели в той маленькой комнате, где час назад Горький принимал детского писателя. Алексей Максимович просматривал газету своего друга. Статьи, написанные самим редактором, были отчеркнуты красным карандашом.

— Пишем еще плоховато,— говорил редактор.— Ну, научимся!..

Раздался новый звонок. Женский голос спрашивал, можно ли видеть Алексея Максимовича. Покинув нас, Горький вышел в большую комнату. В неплотно задернутую портьеру нам были видны широкие поля шляпы, четкий очерк тонкого, бледного лица.

По уходе гостьи-писательницы Алексей Максимович сказал с восхищением:

— Замечательная женщина! Перенесла сложнейшую операцию, буквально вся изрезана, а как работает, как велик запас ее духовных сил!..

Жизнь причинила Горькому много зла, но ее удары не исказили его мощной и доброй души. Как никто другой, он умел видеть в людях черты человека, самое имя которого звучало для него гордо. Та неистребимая вера в человеческий разум и волю, которая наполняла книги Горького, теперь слышалась в его голосе, выражалась в улыбке и взгляде.

— Да, удивительные люди, удивительная страна,— задумчиво сказал он, покачав головой.

К обеду должен был приехать В. И. Ленин, но время шло, а его все не было.

Максим позвонил в Кремль. Ответили, что Владимир Ильич уже выехал.

Разговор не вязался.

Прошло с полчаса.

Екатерина Павловна пригласила всех к столу.

После выяснилось, что В. И. Ленин подъехал к дому, вошел в подъезд, но лифт был испорчен, а взойти на чет-

вертый этаж Владимир Ильич не мог: помешала незажившая рана. Он сел в автомобиль и уехал.

Композитор, о котором так одобрительно отзывался Горький, оказался совсем молодым человеком с миндалевидными, влажно блестевшими глазами. Он принес с собой чьи-то ученические пастели. Горький радостно любовался их мягкими тонами; он находил, что начинающий художник несомненно талантлив.

Одна из пастелей, изображавшая деревянные домики, заборы, разноцветное тряпье на веревках, называлась «Стерлитамак». Вспомнились одноименные стихи:

Приятный город! Грязи по колено,
Ядреной и зернистой, как икра.
В оковах знойных солнечного плена
Томятся улицы. Из-за двора
Спустилась гроздь лиловая сирени.
На жердочках белье висит с утра... (...)

Стихи и фамилия автора были знакомы Горькому [15].

— У него есть отличная поэма о семинаристе, который сватает невесту [16],— сказал Алексей Максимович.— Читали?

И продолжал:

— Я хочу составить несколько книг о сословиях старой России: крестьянстве, купечестве, духовенстве. Нужно собрать лучшие вещи нашей литературы о быте этих сословий. В одну из книг войдет и поэма.

А январский день смеркался. Включили свет. Музыкант сел за пианино. Он играл и классиков, и новых композиторов. Горький говорил:

— Вы добились больших успехов. Раньше у вас не было такой четкости, такой чистоты звука.

Было видно, что Алексей Максимович понимает и чувствует музыку так же глубоко, как и литературу, живопись, театр.

— Классиков, классиков давайте,— требовал он, обращаясь к пианисту.

В этой же самой комнате слушал любимые сонаты Бетховена и В. И. Ленин [17],— музыка вызывала в нем восторженное удивление пред человеческим гением.

В тот вечер тоже звучал Бетховен.

Горький сидел, опираясь на ручки кресла и немного подавшись вперед, в ту сторону, откуда шли звуки. По его лицу катились слезинки. Когда последний аккорд замер, он произнес взволнованно:

— Ах, какая это дивная вещь!

Еще в Финляндии я увидал, как неотразимо действует на Горького все прекрасное: старинная гравюра, стихотворение Пушкина, барельеф редкой монеты. А раз он упомянул о встреченной им где-то в Италии статуе — гармония линий, их благородная чистота до слез тронули его.

Даря музеям картины, коллекции монет, восточные вазы, Горький стремился сделать искусство доступным народу. Он хотел, чтобы заключенная в искусстве творческая энергия человека вызвала в массах еще более мощную волну творчества.

## А. Е. БАДАЕВ

### НА РЕВОЛЮЦИОННОМ ПОСТУ

⟨...⟩ В последние годы перед войной Горький жил в Финляндии, недалеко от Петербурга. Сюда к Горькому часто приезжали наши партийные товарищи, здесь происходили встречи и необходимые деловые свидания революционеров-подпольщиков. У Алексея Максимовича в Финляндии мне пришлось побывать летом 1913 года [1]. Чтобы не «провалить» Горького и не подвести его под новые полицейские преследования, надо было соблюдать крайнюю осторожность. Прежде чем поехать к Горькому, я принял все меры, чтобы избавиться от неотступно следовавших за мной шпиков. Я благополучно запутал их и добрался до стоявшей в лесу уединенной дачки Алексея Максимовича без неприятных и опасных провожатых.

К Горькому я приехал по поручению наших партийных центров. Нужны были его помощь и содействие по целому ряду вопросов партийной работы. Алексей Максимович чрезвычайно живо откликнулся на обращенную к нему просьбу и обещал сделать все, что в его силах. Он принял энергичное участие в проведении тех дел, о которых мы с ним говорили, и помог в получении необходимых связей и средств, нужных в то время для партийной работы.

Когда мы покончили с деловой частью разговора, Алексей Максимович забросал меня рядом вопросов о жизни партии, о состоянии революционного движения, о подпольной работе, о деятельности нашей думской фракции, о внедумской работе депутатов-большевиков, о положении рабочей печати и т. д. С огромным вниманием он расспрашивал и об общем положении революционной борьбы, и об отдельных деталях. Но особенно настойчивый и живой интерес Горький проявлял к тому, что де-

лалось на фабриках и заводах, в гуще рабочей жизни. Я, хорошо знавший настроения питерских рабочих, не успевал отвечать на все новые и новые вопросы Алексея Максимовича.

Со стороны Горького это не было простой любознательностью. Сам прошедший суровую трудовую жизнь, испытавший на себе все преследования, которым подвергался русский рабочий, Алексей Максимович чувствовал свое кровное родство с рабочим классом. Всюду, где это можно было, он стремился узнать, чем в данный момент живет и дышит рабочая масса. Он глубоко переживал все победы и поражения русского пролетариата в тяжелые годы царизма.

После Октябрьской революции мне пришлось часто и подолгу встречаться с Алексеем Максимовичем по целому ряду вопросов нашей советской работы. До своего отъезда за границу Горький жил в Петрограде [2], переживавшем в первые годы революции жесточайший голод. Пшено, вобла и селедка были главным и основным блюдом петроградцев. Пролетарии Петрограда вели отчаянную борьбу па продовольственном фронте, завоевывая один участок за другим.

Алексей Максимович, принимавший в этот период деятельное участие в советском строительстве, много своего времени и сил отдал и продовольственному делу. Очень часто он появлялся у нас в продовольственном органе и говорил со мной о необходимости помочь той или иной особенно голодавшей группе населения. Часто по этим вопросам он ездил в Москву к Владимиру Ильичу, с которым говорил о нуждах Петрограда. Предметом его особых забот были ученые, во главе снабжения которых он стоял.

Как и все петроградцы, сам Горький в это время жестоко голодал. Лишняя пара селедок или два-три фунта пшена, которыми мы время от времени старались поддержать Алексея Максимовича, конечно, не могли заменить питания, необходимого для истощенного болезнью организма нашего великого писателя.

В последний раз перед отъездом Горького за границу мне пришлось видеться с ним летом 1920 года на II конгрессе Коминтерна [3]. Алексей Максимович присутствовал на заседаниях конгресса и с величайшим вниманием слушал сообщения о росте и развитии революционного движения во всем мире.

# М. В. БАБЕНЧИКОВ

## СЛОВО ДОЛЖНО БЫТЬ ВЛАСТНЫМ

⟨...⟩ Всюду, где бы Алексей Максимович ни появлялся, его окружали люди. Вечно с упрямой настойчивостью он искал и открывал новые и новые таланты, кого-то устраивал и выручал, кем-то восхищался.

Таким я увидел Горького впервые, когда он, вскоре после возвращения из-за границы в декабре 1913 года, пришел в редакцию журнала «Современник», которая помещалась в тесной и низкой комнатушке, и, быть может, потому Алексей Максимович с первого же раза показался мне чуть ли не великаном. Высоким он, положим, выглядел всегда из-за костистой худобы и сутулой манеры держаться. И все-таки я не помню другого человека, в котором бы нескладность фигуры так уживалась с эластичностью и непринужденностью походки и движений. Легко и свободно входил Горький в комнату и так же легко находил для себя уютную и какую-то свою, «горьковскую» позу. Легко и, казалось, нежно, словно боясь причинить боль, Алексей Максимович прикасался к любимым предметам. Подобная непринужденность движений встречается у людей, привыкших долго колесить по белу свету и волей-неволей вынужденных приспосабливаться к случайной обстановке. Еще одна особенность Горького всегда поражала меня — его умение носить одежду. Все казалось на нем красивым, добротным и одетым впервые. Платье было выглажено так, что не имело ни одной лишней складки. Синева сорочки оттеняла смуглый цвет лица. Обувь сияла, начищенная до отказа. И даже домашние мягкие туфли, не теряя своей

первоначальной формы, выглядели только что принесенными из магазина.

Черты его скуластого лица были угловаты, но в них содержалась неотразимая привлекательность. Особенно способствовало этому выражение его глаз, пристально смотревших на собеседника. Говорил он теплым грудным голосом, сочно и выпукло, а сама речь его пестрела старомодными оборотами. Но все эти необычные слова придавали его речи острую емкость.

— Мир прекрасен,— любил повторять Алексей Максимович, неохотно расставаясь с только что прочитанной книгой или же рассказывая о полученном от неизвестного читателя письме.

Алексей Максимович, как бы любуясь этим выражением, всякий раз произносил его на иной лад, вкладывая особое значение и внушительность. И больше всего поэтому Горького привлекали люди, украшавшие жизнь. Причем к ним он относил не только деятелей красоты — художников, артистов, писателей, музыкантов, но и людей красивой жизни — тех, кого он называл ее украшателями. Он мог часами говорить о них, восхищаясь их человеческими подвигами, и в беседах об искусстве часто в качестве примера приводил «творцов выдумки».

— Я человек страстный и пребуду таковым дондеже есмь,— лукаво улыбаясь, отшучивался Алексей Максимович, когда кто-либо укорял его за излишне восторженное отношение к людям.

Появлялся Горький в столице довольно редко, и его каждое публичное выступление превращалось в событие. Я был на некоторых из них, в том числе на вечере в «Бродячей собаке», куда Алексея Максимовича привезли падкие до сенсации футуристы. Как сейчас вижу торжествующую физиономию Б. Пронина, хозяина «Собаки», встретившего Горького у порога этого злачного артистического логовища, и насупленный, недовольный взгляд Алексея Максимовича, с трудом пробиравшегося сквозь назойливую толпу.

Раздраженное состояние не покинуло Горького и тогда, когда он, настойчиво опекаемый Давидом Бурлюком и Василием Каменским, занял место за председательским столом. Я сидел близко, и мне было хорошо видно, как Алексей Максимович хмурился, беспокойно поворачивал голову и теребил ус, что всегда служило у него знаком внутреннего волнения. Это был один из

первых выходов Горького после возвращения из-за границы в малознакомую ему актерскую среду. А он физически не выносил богемы, духом которой была проникнута вся атмосфера «Бродячей собаки».

Но вот началось чтение стихов. Дерзкий пыл молодых поэтов заставил Алексея Максимовича невольно насторожиться. В своем выступлении на этом вечере он, как известно, так и сказал: «В них что-то есть». «Что-то» в горьковских устах было своеобразной похвалой и означало молодость, которую он всегда отождествлял с проявлением героической воли к лучшему будущему. Вот почему Горькому и на этот раз больше других понравился Маяковский [1].

— Силач, далеко пойдет, даром что молод и неугомонен, такие в самый раз нужны,— говорил он спустя несколько дней. И вместе с этим резко осуждал нарочитую грубость выражений и заумность футуристического языка.

# О. К. МАТЮШИНА

## ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ВСТРЕЧИ

*(Из воспоминаний)*

⟨...⟩ В этот день была большая почта. Я решила вечером разобрать письма. Много было заказов на книги Горького. Заказчики часто писали о своем отношении к писателю и жаловались на трудность получения его книг. Зазвонил внутренний телефон.

— Как хорошо, что вы еще здесь! — услышала я голос Владимира Дмитриевича [1].— Будьте добры, возьмите вышедшие книги Алексея Максимовича и поднимитесь ко мне!

Я отобрала книги Горького и пошла в верхний этаж. Здесь довольно часто по вечерам заседала редакционная коллегия. Владимир Дмитриевич постоянно вызывал меня для справок.

В кабинете Владимира Дмитриевича было много народу. Облокотившись на спинку стула, весело что-то рассказывала Мария Ильинична Ульянова [2].

Темный абажур настольной лампы закрывал лицо собеседника. Доносился только негромкий его смех. Марию Ильиничну я очень любила, и мне хотелось знать, с кем она так оживленно беседует.

— Как вы загляделись на Алексея Максимовича, Ольга Константиновна! Идите, идите, я познакомлю вас с ним! Алексей Максимович, вот кто работает больше всего по распространению ваших книг! — сказал Владимир Дмитриевич, обращаясь к сидевшему за абажуром человеку.

Встреча с Горьким, о которой я так мечтала, произошла неожиданно и просто. Со стула приподнялся худой че-

ловек. Он протянул мне руку и что-то сказал. От смущения я не разглядела его и не слышала, что он сказал.

— Что, трудно двигать мои книги?

Голос у него был глухой, но ободряющий. Я перестала бояться и восторженно сказала:

— Ваши? Понятно, нетрудно!

— Почему — понятно? — спросил он улыбаясь.

Я удивилась: неужели он сам-то не знает, как любят его книги? А может, кокетничает?

Выручила меня Мария Ильинична, наблюдавшая за нами.

— Алексей Максимович, вы, видимо, поразили ее своим вопросом. Давайте я вам за нее объясню. За десять лет работы ей приходилось возиться с такими трудными книгами, что работа с вашими для нее удовольствие. Верно я объяснила? — спросила она.

— Алексей Максимович, ваши книги, как коренник, все другие издания за собой тащат.

Они засмеялись. Горький внимательно посмотрел на меня.

— А вы уже десять лет работаете с книгой?

— Почти. С небольшими промежутками.

— Промежутки «по не зависящим от нас обстоятельствам»,— добавила Мария Ильинична.

— И для них бывают «непредвиденные обстоятельства»? — спросил он Марию Ильиничну.

Она кивнула головой. Горький уже с тревогой обратился ко мне:

— Неужели из-за моих книг пострадали вы?

— Нет, что вы! Нас сажают «вообще» за книги в магазине. Хотят отбить охоту служить в таких издательствах.

Меня поразили тревога и сочувствие в его голосе. Марию Ильиничну кто-то позвал, и я осталась одна с Горьким. Он молчал; я не решалась заговорить и хотела уйти.

— Вы в отдаленные, маленькие города России посылаете книги или работаете с крупными центрами?

— Работаем, Алексей Максимович. Пожалуй, в провинцию мы даже больше посылаем книг.

— Это очень хорошо. Я по себе знаю, как трудно достать книгу, особенно в наших трущобах.

— Алексей Максимович, вас интересует, как мы работаем? — спросил подошедший Владимир Дмитриевич.

— Я спросил, куда вы посылаете литературу.

— Посмотрите на эту карту, Алексей Максимович!

И Владимир Дмитриевич подвел его к висевшей на стене карте России. С воодушевлением принялся он показывать карту Горькому.

— Флажками мы отмечаем места, куда отправляем книги.

Меня поразило, с каким вниманием Алексей Максимович рассматривал карту. Он радовался, если видел флажок там, где когда-то жил или бывал. Он так увлекся, что хотел посмотреть заказы из этих городов. Его интересовало, кто выписывал книги и нет ли среди них знакомых имен.

— Вы знаете, Алексей Максимович, наше издательство молодое, а его уже знают. Число заказов растет, и на карте появляются все новые флажки.

— Ольга Константиновна, кого мы сегодня завоевали?

— Из Сибири несколько заказов, с юга России и большой заказ на книги Алексея Максимовича из Канады.

— Из Америки? — удивился он.

— Как же, в Канаде у вас есть горячие поклонники!

— Вот уж не думал! Как вы посылаете туда? Наверно, пересылка дороже книг обходится?

— Нет. Бандеролями по нескольку фунтов — это дешево.

— Кто же там выписывает?

— Эмигранты. Их много там, есть даже русский книжный магазин.

Постепенно у карты собралось много народа. Владимир Дмитриевич показывал карту подошедшим, а Горький отошел. Прислонившись к стенке, он курил, внимательно прислушиваясь к разговорам.

Как он смотрел на людей — просто и в то же время глубоко-глубоко!

Мне показалось, что он точно насквозь видит человека. ⟨...⟩

Горький очень интересовался нашей работой.

Перед Новым годом мы пристали к Владимиру Дмитриевичу:

— Разрешите нам устроить вечер!

— Какой вечер? — удивился он.

— Соберемся, поиграем, попляшем. Мы все работаем и совсем не веселимся. Позвольте!

Скоро Владимир Дмитриевич сам увлекся нашей затеей и деятельно помогал в устройстве вечера.

Алексей Максимович и другие писатели охотно согласились быть у нас.

Ну и волновались мы в этот день! Посуды не хватает — несли из столовой. Булок забыли — несколько человек летели за покупками. Самое трудное было — переделать рабочие комнаты в гостиные.

Начали собираться гости. Мы поделили обязанности: одни занимались хозяйством, другие занимали гостей. На мою долю досталось последнее. Страшно было чувствовать себя в роли хозяйки. Вышло как-то все само собой. Ко мне подошел пожилой писатель с умными печальными глазами. Мы сели с ним на диван, я увлеклась разговором и забыла о других гостях.

— В других книжных магазинах условия работы такие же, как у вас? — спросил он меня.

— Нет, там побои, ругань, муштра.

— Среди ваших товарищей есть муштрованные?

— Кажется, только я работала у хозяев.

— Вам тоже доставалось?

— Всего бывало. За людей нас не считали — это, пожалуй, самое тяжелое.

— Какой-то случай из прошлого, видимо, мелькнул перед вами. Вы так задумались!

— Я вспомнила, как меня обвинили в краже перчаток.

— Если нетрудно, расскажите!

Тихий, ласковый голос писателя, его печальные глаза всегда заставляли меня уделять ему особое внимание. Он давал мне книги, спрашивал о прочитанном. Просил рассказывать об интересных встречах. Я всегда охотно ему рассказывала.

— В магазине, где я работала, ходила за новинками одна генеральша. Хозяйка считала ее важной покупательницей, уделяла ей исключительное внимание. Однажды, отбирая книги, генеральша сняла свою дорогую шубу и бросила ее на мой стол.

— Вот эти книги пришлите мне!

— Сейчас пришлем,— засуетилась хозяйка, подавая ей шубу.

— Где мои перчатки? Я их на этот стол положила.

Все бросились искать.

— Это вы взяли? — обратилась генеральша ко мне.

Я вспыхнула.

— Стыдно так поступать молодой девушке!

До боли закусив губы, молча стояла я. Сотрудники, испуганные, возмущенные, везде искали перчатки.

— Что это торчит у вас из рукава?

— Ах, я и забыла, что положила их в рукав!

Она распрощалась с хозяйкой и ушла. Хозяйка на протесты товарищей сказала:

— Что особенного? Всякий может забыть.

Вскоре снова вошла генеральша.

— Это вам! — Она подала мне коробку конфет.

Я отказалась от них.

— Подумаешь, какая гордячка!

Через несколько минут генеральша вернулась с хозяйкой, которая набросилась на меня. Должно быть, вид мой не говорил о раскаянии. Не докончив наставления, хозяйка поблагодарила генеральшу и от моего имени приняла у нее коробку.

После их ухода я убежала в склад и там в углу дала волю своему горю и гневу.

Там и нашла меня Мария Ильинична. Она похвалила меня за выдержку. В магазине была явка ЦК, нельзя, чтобы меня выгнали. Мария Ильинична утешала меня, заплела растрепавшиеся косы, велела умыться и идти в магазин.

Как я ей была благодарна!..

— Она — сестра Ленина! — произнес кто-то с большим чувством.

Все повернулись на голос. Позади нас, прислонившись к стенке, стоял Горький. Видимо, он давно подошел и не хотел мешать, а может, и самому интересно было. Поздоровавшись, он подсел к нам.

— Я в молодости тоже хотел поступить в книжный магазин, чтоб иметь возможность читать книги... Мало приходится вам читать?

— В нашем-то издательстве мы читаем и авторов видим и знаем, над чем они работают. В других книжных магазинах требуется наизусть знать автора, название, цену, издание. На содержание книги хозяева не считали нужным тратить время.

— Но читать-то вам все же удавалось?

— Урывками. Больше в конке. При двенадцатичасо-

вом рабочем дне не разойдешься. Мне еще сами книги рассказывали о себе, когда я одна вечером уставляла их на полки. Правда, и внутрь иногда заглядывала и рисунки смотрела.

— Хорошо рассказывали книги? — серьезно спросил Горький.

Все засмеялись. Смех смутил меня, и я замолчала. Алексей Максимович недовольно посмотрел на смеющихся и опять заговорил со мной:

— Книги у вас воровали в магазине?

— Еще как! Только, знаете, и воровали-то по-разному. Один — из озорства, другие — с голоду, воровали и из любви к книге.

— Были и такие?

В вопросе Горького звучал не только интерес, а точно он вспоминал что-то из своей жизни.

— Расскажите о голодных ворах и любителях книг.

— Хорошо. У меня сегодня день такой — все о ворах получается. Однажды я принимала из типографии литературу. Это была брошюра Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

Я взяла на плечи четыре пачки, пятую не могла поднять и поставила в передней. Прихожу обратно, а пачки нет. Бросилась к двери. Смотрю: по лестнице с моей пачкой спускается плохо одетый парень. Перепрыгивая через несколько ступенек, я бежала за ним. Швейцар стоял у закрытой двери, наблюдая за нами. Парень испугался. Заметался. На пойманного зверя стал походить. Неожиданно для себя я сказала: «Вы перепутали пакеты. Ваш пакет остался в магазине, а это другой.— Швейцар подозрительно посмотрел на меня.— Поднимитесь наверх переменить пакет!»

Он нерешительно, озираясь, пошел за мной. Быстро из старого картона я свернула пакет.

— Возьмите это для швейцара! Тогда он поверит вам.

Парень стоял, переминаясь с ноги на ногу. Уходя, тихо сказал: «От голода...»

— Книжку выбрал подходящую — против собственности,— сказал кто-то.

Нас позвали пить чай. Занятая делами по хозяйству, я долго не могла освободиться. Придя в гостиную, увидела Горького, разговаривающего с Владимиром Дмитриевичем. Вскоре Горький подошел ко мне.

— Я жду продолжения,— сказал он.

Меня поразила его настойчивость.

— Вы, должно быть, очень любите книги, Алексей Максимович?

— Люблю и ценю.

Мы уселись с ним в уголке.

— Теперь слушайте о книжных любителях. В книжный магазин ходят не только покупать, а и посмотреть интересную книгу. Хозяйка энергично боролась с такими покупателями. «Господин, здесь магазин, а не библиотека»,— смешно поджав губы, говорила она.

Покупатель поспешно платил, а если денег не было — уходил.

Я заметила одного посетителя. С первого взгляда он казался прилично одетым. Вглядевшись, вы видели прикрытую нищету, так тщательно было заштопано и подкрашено пальто. Он приходил, когда не было хозяйки. Спросив Дарвина «Происхождение видов», весь погружался в чтение. Он точно на свидание ходил к Дарвину, и я привыкла без требования давать ему книгу. Однажды он пришел странным, задумчивым. Я подала книгу, он не хотел брать, потом порывисто взял и пошел к окну. Меня вызвали в склад. Когда я пришла, не было покупателя, не было и Дарвина.

— Знакомо и это мне,— задумчиво сказал Горький.— Он приходил потом?

— Нет, я его больше не видела.

Горький молча курил. Опять мне показалось, что мои рассказы о книгах разбудили в нем воспоминание о прошлом.

— Вы особенно будьте внимательны в своей работе к запросам одиночек, — сказал он.

— Мы стараемся.

— Так ли? Наверно, гоняетесь за большими заказами, а маленькие, дескать, подождут? — И добавил мягко: — Знаете ли вы, как ищет книгу человек, живущий в глуши один? Она, книга, ему больше хлеба, может быть, нужна.

Стыдно мне стало. Верно сказал. Большие заказы мы выполняли в первую очередь.

— Даю вам слово, Алексей Максимович, я буду крепко помнить об «одиночках».

— Вот это хорошо.

Начались игры. Мне пришлось принять участие в них.

Через несколько дней после нашей вечеринки Горький прислал для нас всех билеты в Мариинку.

Ну и обрадовались мы! Тронуты глубоко были вниманием великого писателя к нам, простым продавцам. Как мы наслаждались оперой! Большинство из нас впервые видело Шаляпина, да еще в «Борисе Годунове»!

— Вот Горький знает, что надо показать! Всю жизнь не забуду сегодняшнего вечера,— сказала мне молодая работница.

У нас много бывало писателей, поэтов, художников. Горького мы любили больше всех. Не потому, что он был знаменит, а за его внимательное, человеческое отношение к нам.

Подвели итоги работы издательства за истекший год. Результаты хорошие. Решили отпраздновать.

Приехал Горький. В этот вечер я его почти не видела. Он сидел среди солидной публики, разговоры у них были тоже солидные. У нас что-то не ладилось с хозяйством, и весь вечер прошел в суете. Ужинать сели поздно. Молодежь, весело болтая, заняла отдельный угол стола. Центр стола мы всегда уставляли лучшей посудой, хорошей закуской. Он предназначался почетным гостям. Кончив приготовления, я подсела к своим. Они требовали скорее пирога. Я их дразнила замечательным пирогом. Неожиданно смех оборвался, и товарищи незаметно делали мне знаки. Каково же было мое удивление, когда рядом с собой я увидела Горького.

— Алексей Максимович, ваше место не здесь, а в центре, среди почетных гостей!

— Мне и здесь хорошо. Разрешите остаться с вами.

— Пожалуйста, пожалуйста! — закричали все. А сами, вижу, посмеиваются. «Попалась»,— думают.

Мне хотелось удрать, и я искала предлога улизнуть. Горький все заметил. Был доволен, что влез в наше гнездо и устроил замешательство. Принесли пирог. Горький положил мне большой кусок. Сбежать было нельзя, и я покорно принялась за пирог. Горький шутил с товарищами, а потом дружески заговорил со мной.

— А сейчас вам рассказывают о себе книги? — тихо спросил он.

Думаю — смеется. Нет. В глазах интерес.

— Алексей Максимович, вы вспомнили, как я слышу книги?

— Мне показалось, это возможно. Понятно, при силе воображения,— добавил он.

— Я по-прежнему люблю оставаться вечером одна среди книг. Мне кажется, я становлюсь умнее, думаю как-то остро. Знаете, среди книг тишина совсем особенная!

— Согласен. Мне хотелось бы вечером побывать в вашем складе.

— Это просто сделать. Кончится ужин — пойдемте!

— С удовольствием.

— Только вы никому не говорите, а то за нами потащится публика, и тогда тишина пропадет.

— Хорошо. Будем заговорщиками.

Достав ключи, мы незаметно спустились в склад. Зажигая электричество, мы шли из комнаты в комнату. Книг было много. Иногда штабеля новых книг загораживали нам путь. Горький всем интересовался. Спрашивал о технике работы, о способах отправки.

Осветив большую комнату, я сказала:

— Здесь лежат ваши произведения.

С полок высоких штабелей на нас смотрели объемистые книги с ослепительно белыми обложками. Они точно рапортовали о себе: «Мать», «Жизнь ненужного человека», «Городок Окуров», «Детство», «Матвей Кожемякин», «По Руси».

Горький стоял среди них. Заметно волновался. Он брал книжку, листал что-то, читал, брал другую, лез по лестнице, чтобы достать с верхней полки, и смотрел, смотрел. Точно объясняя мне, сказал:

— Странное впечатление производят свои же мысли, сложенные на полки!

Я всегда относилась к произведениям Горького с почтительным восхищением. Я с изумлением смотрела на книги и на живого Горького, такого простого и человечного. В первый раз я соединила их в одно существо. И существо это мне казалось прекрасным.

Молча шли мы по складу дальше. Каждый думал о своем.

В последней комнате я остановилась, указав Горькому на красивую анфиладу комнат, заполненных книгами.

— Теперь я вас оставлю одного. Так вы лучше почувствуете книжную тишину и поймете, о чем я говорю.

— Хорошо,— задумчиво сказал он.
— Меня вы найдете в первой комнате.
Горький довольно долго оставался один. Пришел сосредоточенный, но довольный.
— Хорошо ли вам рассказывали книги?
— Я понимаю вас. Я вам очень благодарен. Здесь воздух полон больших человеческих мыслей.
Мне было приятно, что Горький не смеялся, а сам почувствовал «книжный воздух». Мне хотелось поговорить с Алексеем Максимовичем о книгах. Но нас хватились наверху. Пришлось уходить.

В 1915 году мы решили устроить книжную елку. Молодежь всегда находит предлоги повеселиться. Быстро прибрали рабочие комнаты. Зажарили гуся. Купили большую елку и вместо украшений повесили на разноцветных ленточках книги нашего издательства. Правда, с верхних веток солидные книги падали или сгибали их. Мы их укрепили на нижних ветках, а наверх повесили пеструю народную библиотечку. Разноцветные ленты, свечи сделали елку нарядной и красивой. Авторам понравилась наша затея. Они с удовольствием отыскивали свои вещи.
Меня товарищи отправили встретить Горького и задержать его, пока окончат все приготовления. К Алексею Максимовичу я уже привыкла и с радостью встретила его в гостиной. Заговорили о вышедших книгах. Я предложила ему пойти в склад, посмотреть последние новинки. Он согласился, и мы пошли во второй этаж.
За нами увязался один поэт. Он обычно издевался над всем новым. И больше всего, кажется, любил свои произведения. Вещи его не были оригинальны.
Горький просматривал новинки. Я подсовывала ему самые интересные. Поэт, пришедший с нами, вытащил книгу Маяковского и, держа ее за кончик, презрительно сказал:
— «Облако в штанах»! Черт знает какое название выдумал!
С Маяковским я была знакома. Он поражал меня своей огромной силой и смелостью... Я видела его на митингах, в спорах, в дружеской беседе. Везде он был оригинален, смел, горд, и трусам здорово от него попадало. «При Маяковском,— подумала я,— такой поэт не решился бы на критику, а, наверно, похвалил бы».

— Знакомы вы, Алексей Максимович, с этой футуристической штукой?

Презрительный жест, издевательский тон взорвали меня. Горький же спокойно взял книгу и сказал:

— Я читал ее. Книга интересная.

Скисло лицо поэта.

— Маяковский,— продолжал Алексей Максимович,— еще очень молодой. В нем много лихачества, задора, но много и наблюдательности, любви к жизни и несомненной талантливости. Мне кажется, он скоро заставит о себе говорить.

Поэт что-то промямлил, не решаясь опровергать мнение Горького. Я была счастлива: выпад поэта против Маяковского не удался.

Как легко бьют молодое маленькие людишки и как бережно относятся к талантам настоящие люди жизни! Алексей Максимович тогда уже видел в Маяковском большого поэта.

Однажды, приехав к нам, Алексей Максимович спросил про работу.

У меня настроение было кислое и какое-то безрадостное. Я вяло ответила и не старалась поддерживать разговор. Он тоже замолчал. И вдруг меня точно прорвало:

— Мне так надоела эта работа! Убежать хочется. Есть большие, настоящие дела, а мы, как муравьи, здесь копаемся!

— Вы думаете, ваша работа не нужна жизни?

— Может, и нужна, но мне хочется чего-то большего.

— Напрасно вы так недооцениваете свою работу. Вы делаете настоящее дело. Вы несете в жизнь знание — передовую, боевую книгу.

Он говорил резко. Глаза смотрели требовательно, сурово. Видимо, разговор ему был неприятен. Он отошел от меня и больше не подходил весь вечер.

Слова — даже не слова, а суровый тон Горького — заставили меня здорово задуматься. Казалось, мой порыв, жажда больших дел заинтересуют Горького. А он рассердился! Работая долго в одном деле, привыкаешь к нему. Кажется все просто и обычно. Так было и со мной. Работая постоянно под огнем, я привыкла к обыскам, арестам, тюрьмам. Горький увидал «большое дело» в работе, которую я считала маленькой, обычной.

Я с новыми силами принялась за отправку книг по огромной бескнижной Руси.

В одну из следующих встреч я рассказала Алексею Максимовичу, как он спустил тогда меня с небес на землю. Он запротестовал:

— Я просто высказал свое мнение о вашей работе. Нет маленьких дел. Надо уметь полюбить — тогда всякая работа делается большой и нужной. ⟨...⟩

# А. П. ЧАПЫГИН

## БЕСЕДЫ С М. ГОРЬКИМ

⟨...⟩ Я не знал писателя, а знавал их много, кто бы так внимательно, по-дружески и товарищески относился к начинающему писателю.

Помню, в 1908 году или 9-м я послал ему в Италию на Капри оттиски своих рассказов и как быстро и вместе обстоятельно написал он мне с указаниями — что худо, и что хорошо [1].

«Все это в свое время в журналах я уже прочел»,— писал он.

Потом, кажется в 1916 году, мне сказали в редакции «Современного мира» [2], что на вечере сегодня будет Горький.

Я встретился с А. М.[3], и он начал говорить со мной о моей большой повести «Белый скит» [4].

Помню только несколько слов:

— Написано у вас, как говорят,— золотом вышито.

Потом некоторое время я не видал его — он жил где-то в Финляндии.

Я не помню — кажется, В. А. Базаров сказал:

— Что же не зайдете к Горькому? Он хочет вас видеть в редакции.

Тогда начал выходить журнал «Летопись».

Я пришел. А. М. отвел меня в отдельную комнату и долго расспрашивал, как я живу и что делаю.

Я написал рассказ «Бегун», принес ему, дал и ушел. Когда пришел за ответом, А. М. сидел у себя в кабинете, за письменным столом, поглядел на меня,— мне показалось, сурово, и коротко сказал:

— Ругать буду!

Потом начал говорить:

— А почему он у вас, этот бегун, пришел в лесную избу без спичек и как-то вдруг развел огонь?

Указав мне на несколько подобных промахов, рассказ он принял и напечатал [5].

Те рассказы, которые я давал ему, всегда были мною исправлены в разных частях, там, где он делал замечания. Читает А. М. рукопись так, что не пропустит ни одной строчки, не проглядит ни одного промаха.

Он мне не раз говаривал:

— Знаете вы много, а пишете очень мало, лентяй вы.

В начале 1917 года я принес ему повесть в восемь печатных листов — «На лебяжьих озерах», он прочел ее и сказал:

— В наше время с таким напряжением писать трудно. Вы молодец.

— Алексей Максимович не раз мне говорил, что я лентяй,— сказал я.

— Ну, что ж, на этот раз я ошибся.

Я заходил часто к А. М., он жил на Кронверкском проспекте, недалеко от Каменноостровского. Однажды пришел я... Он стоит у окна, по улицам разъезжали автомобили с красногвардейцами. На глазах его были слезы, и, видимо, он был радостно взволнован совершившимся. Чтобы скрыть эти слезы, сурово стал говорить:

— Гляжу я... ночи белые, стою у окна, а на проспекте проститутки с калеками всякими торгуются... И вон там ангел,— указал на шпиль Петропавловской крепости,— смотрит на них... И грустно, и смешно все это... Торгуются...

Потом, после Октября было... Я сидел в его кабинете против стола на низеньком стуле. А. М. сидел за письменным столом и что-то кончал писать.

Я молчал, чтобы не мешать ему. В это время в кабинет почти вломился человек в галифе и френче новеньком — типа анархиста с дачи Дурново [6].

— Что вам нужно? — спросил А. М.

— Вы — Горький? У меня от нашего общества, организации, если хотите, есть большая просьба,— заговорил человек в галифе,— мы устраиваем библиотеки и клубы для революционных воинов, так помогите нам, мы берем книги, мебель... словом, все, что необходимо для нашего дела.

А. М. сказал, поглядывая на его руки в перстнях, иные из них были распилены, чтобы влезли на пальцы.

— У вас много очень перстней...

— О, неугодно ли, можно подарить.

А. М. сказал:

— Я краденого не беру.

Потом встал из-за стола и крикнул, стукнув по столу кулаком:

— Идите от меня вон, ничего я вам не дам... Вы и книги, и мебель продадите!

Человек так же быстро исчез, как и вошел.

А. М. сказал мне:

— Пойдемте обедать.

Стало голодно и холодно. Редакции закрылись, новые открывались медленно, не было бумаги.

Я приходил к А. М., он, вероятно, чтобы помочь мне, выдумал работу:

— Соберите поговорки Даля... Книги возьмите у меня... У Даля все есть, но нам всего не надо... Нам надо собирать только те поговорки, где о боге, о работе, о пьянстве и семье, и лени, а также и о мире как вселенной [7].

Он дал мне денег. Я забрал книги, выписывал и приносил ему:

— Вот, вот, так,— говорил А. М.,— потом мы соберем то, что говорили о народе писатели-народники, и будет книжка... хорошая книжка, а предисловие к ней напишет какой-нибудь ученый [8].

Поговорки я собрал, выписал, но когда окончил, мне надо было поехать в Харьков,— туда меня звали от голода, там было еще всего много. Я зашел к А. М. проститься. Он сказал:

— Знаете что? Теперь товарищи принялись выворачивать мощи, все ищут целого человека и удивляются, что находят только грязные кости и гнилые тряпки, а в Патерике сказано: «Мощи есть кости честные», и не в костях дело... Надо показать, какие это были люди, дело не в их святости или какой-либо мистике... Надо показать, как эти святители за Россию стояли и за народ — это герои, они ничего не боялись. Так вот для кинематографа вы и напишите... ну хотя бы о Феодосии Печерском [9].

Я пообещался сделать и, приехав в Харьков, засел за летописи, перечитал многое, прочел и житие Феодосия Печерского, но он меня не заинтересовал. Меня заинтересовал князь Олег Святославич, приятель половецких

ханов, безбожник, так как разорял монастыри и несколько раз приводил половцев на русских князей, и я написал десять драматических картин XII века на языке того времени. Назвал его прозвищем созвучным тому времени, которым прозывали князья и народ Олега Святославича Тьмутараканского: «Гориславич». Пьесу я посвятил Горькому. В 1920 году из Харькова я вернулся в Петроград и с Горьким не видался — он, кажется, тогда был в Москве. Вскоре я уехал на родину в Олонецкую губ.

Пьесу «Гориславич» Горькому переслал из Харькова профессор А. И. Беленький, и А. М. очень с нею бился: он отдал ее переписать на машине и всю от начала до конца, где было неясно написано или пропущено, поправил красным карандашом. Это была адская работа: помимо описок в трудном языке XII века, были еще перевраны слова, и А. М. все это исправил. Потом говорил актерам и даже читал им из пьесы кое-что, хотел, чтоб сыграли, но актеры решительно заявили, что тут и суфлер не поможет [10].

А. М., устроив дела с пайками научным работникам, заболел и уехал в Италию [11]. Я же, вернувшись в Ленинград в 1922 году, его уже не застал. ⟨...⟩

# В. Я. ШИШКОВ

## МОИ ВСТРЕЧИ С М. ГОРЬКИМ

Мое знакомство с Алексеем Максимовичем относится к зиме 1914 года[1]. В журнале «Заветы» появились мои первые рассказы; я приехал из Сибири в отпуск в Петербург.

Мне, начинающему писателю, очень хотелось встретиться с Горьким. Мы пошли к нему с сибиряком-литератором.

К нам вышел, с гордо откинутой головой, усатый, коротко стриженный, широкоплечий человек. Но почему же это? Горький, а на нем нет длинной, вышитой по подолу рубахи с красным кушаком, нет болотных сапог с высокими голенищами, нет длинных кержацких волос на голове. Я, провинциал, привык носить в сердце иной образ Максима Горького, автора «Челкаша», «Мальвы» и других рассказов,— предо мной же был в европейском костюме джентльмен. Да уж Горький ли это? Туда ли мы зашли? Не завел ли меня подслеповатый товарищ этажом ниже?

Но поток моих смущенных размышлений был прерван мужественно-ласковым голосом хозяина:

— А-а, вот отлично. Пойдемте в кабинет.

Кабинет хозяина обширен, прост, богат, уютен.

— Ну-с, как в Сибири? Как Потанин?

— А вы разве знаете Потанина?

— Григория-то Николаевича? Отлично знаю. Хотя ни разу не встречался с ним. Такие люди, как Потанин, редки [2]. Их надо беречь, любить.

Алексей Максимович, дымя папиросой и основательно покашливая, рассказывал нам про свои встречи с разными недюжинными людьми России.

Рассказывает он необычайно увлекательно, и, видимо, сам любит прислушиваться к тому, что говорит. Рассказ его, сопровождаемый мимикой, сдержанными но всегда характерными жестами, звучит сочно, фразеология правдоподобна, выразительна, речь украшена. Вы прежде всего наблюдаете игру мышц его лица. Вот он ведет рассказ о том, как муж истязал свою жену, и лицо рассказчика хмуро, строго, грозно, глаза в гневе, и басистый, чуть глуховатый голос вздрагивает на низах. Вас захватывает его рассказ, и вам становится даже жутковато. Но вот в волне повествований иная тема: голодающий крестьянин сознательно бросил на ярмарке свою трехлетнюю дочь Акульку; девочка не может сообщить, кто она, где ее родители; полицейский уводит ее в часть. Очевидно, что девочка никогда, никогда не будет знать, кто она, в какой стороне ее родители. И вы видите, как Горький весь преобразился: серо-голубые глаза его, теряя гнев, вдруг становятся трогательно добрыми, они начинают загораться нежной любовью к этой брошенной Акульке, а через Акульку — случайную героиню этого рассказа — к человеку вообще, серо-голубые глаза увлажняются слезами.

Алексей Максимович вздыхает и говорит:

— Да, да. Темно у нас на Руси, темно. Да. В особенности в деревне у нас плохо.

Далее Горький начинает выхватывать из памяти живые образы разных дельцов России, козырных финансистов, фабрикантов, строителей, подрядчиков, архиереев,— целая галерея этих типов прошла пред нами, как живая.

Он рассказывает о купцах и крупных промышленных людях нижегородских, саратовских, московских, тульских — об их отцах, дедах, сыновьях, об их изобретательных плутнях, скандалах, блуде, о том, как это все кроется золотом, все дозволено и гласности запечатан цензурой рот.

Я с удивлением глядел на Горького, наконец не выдержал, сказал:

— Однако как вы тонко знаете Россию: она вся у вас как на ладошке...

Хозяин улыбнулся, покрутил правой рукой левый ус и сказал:

— Да, кой-что знаю. Кой-что знаю. Без знания вообще нельзя быть писателем: чушь получится, неправда.

Уходил я с переполненной впечатлениями головой. Горький давал не простые фрагменты к широкому полотну царской России,— он всякий раз своими рассказами подтверждал какую-нибудь свою мысль, у него всегда обобщения, всегда за анализом — синтез. Вот поэтому-то наша двухчасовая беседа, да и всякая беседа с ним, являлась и поучительной, и в высшей степени интересной. ⟨...⟩

Первые бурные дни Февральской революции... Завтракало у Горького человек десять. К концу завтрака послышались с улицы «ура» и музыка. Крики ликования ясно доносились через двойные рамы четвертого этажа. Мы подбежали к окнам. По улице, по дорожкам Александровского парка валил народ и строем шли солдаты.

— Пойдемте на улицу. Это фронтовики,— сказал Алексей Максимович.

Мы оделись и вышли. Колонны оборванных, в истрепанных сапогах солдат с винтовками и красными флагами стройно, в ногу, огибая Народный дом, густо двигались по направлению Каменноостровского проспекта. Их шли многие тысячи. Перенесшие ужас войны солдаты пришли сюда с позиций на защиту свободы. Они шли молча, закаленные и суровые, неся в себе большую силу. Недаром, приветствуя войско, так радостно кричит народ, на лицах у всех бодрая уверенность.

Я взглянул на Горького. Он стоял, высоко подняв голову, и почмыкивал носом; подбородок его дрожал.

— Трогает все это меня, трогает... Да, да... Трогает,— говорил он.— Стройно идут, чинно... ⟨...⟩

## И. Э. БАБЕЛЬ

### НАЧАЛО

Лет двадцать тому назад, находясь в весьма нежном возрасте, расхаживал я по городу Санкт-Петербургу с липовым документом в кармане и — в лютую зиму — без пальто. Пальто, надо признаться, у меня было, но я не надевал его по принципиальным соображениям. Собственность мою в ту пору составляли несколько рассказов — столь же коротких, сколь и рискованных. Рассказы эти я разносил по редакциям, никому не приходило в голову читать их, а если они кому-нибудь попадали на глаза, то производили обратное действие. Редактор одного из журналов выслал мне через швейцара рубль, другой редактор сказал о рукописи, что это сущая чепуха, но что у тестя его есть мучной лабаз и в лабаз этот можно поступить приказчиком. Я отказался и понял, что мне не остается ничего другого, как пойти к Горькому.

В Петрограде издавался тогда интернационалистский журнал «Летопись», сумевший за несколько месяцев существования сделаться лучшим нашим ежемесячником. Редактором его был Горький. Я отправился к нему на Большую Монетную улицу [1]. Сердце мое колотилось и останавливалось. В приемной редакции собралось самое необыкновенное общество из всех, какое только можно себе представить: великосветские дамы и так называемые «босяки», арзамасские телеграфисты, духоборы и державшиеся особняком рабочие, подпольщики-большевики.

Прием должен был начаться в шесть часов. Ровно в шесть дверь открылась, и вошел Горький, поразив меня своим ростом, худобой, силой и размером громадного костяка, синевой маленьких и твердых глаз, заграничным

костюмом, сидевшим на нем мешковато, но изысканно. Я сказал: дверь открылась ровно в шесть. Всю жизнь он оставался верен этой точности, добродетели королей и старых, умелых, уверенных в себе рабочих.

Посетители в приемной разделялись на принесших рукописи и на тех, кто ждал решения участи.

Горький подошел ко второй группе. Походка его была легка, бесшумна, я бы сказал — изящна, в руках он держал тетради; на некоторых из них его рукой было написано больше, чем рукой автора. С каждым он говорил сосредоточенно и долго, слушал собеседника с всепоглощающим, жадным вниманием. Мнение свое он высказывал прямо и сурово, выбирая слова, силу которых мы узнали много позже, через годы и десятилетия, когда слова эти, прошедшие в душе нашей длинный, неотвратимый путь, сделались правилом и направлением жизни.

Покончив с авторами, уже знакомыми ему, Горький подошел к нам и стал собирать рукописи. Мельком он взглянул на меня. Я представлял тогда собой румяную, пухлую и неперебродившую смесь толстовца и социал-демократа, не носил пальто, но был вооружен очками, замотанными вощеной ниткой.

Дело происходило во вторник. Горький взял тетрадку и сказал:

— За ответом — в пятницу.

Неправдоподобно звучали тогда эти слова... Обычно рукописи истлевали в редакциях по нескольку месяцев, а чаще всего — вечность.

Я вернулся в пятницу и застал новых людей: как и в первый раз, среди них были княгини и духоборы, рабочие и монахи, морские офицеры и гимназисты. Войдя в комнату, Горький снова взглянул на меня беглым своим, мгновенным взглядом, но оставил меня напоследок. Все ушли. Мы остались одни — Максим Горький и я, свалившийся с другой планеты, из собственного нашего Марселя (не знаю, нужно ли пояснять, что я говорю об Одессе). Горький позвал меня в кабинет. Слова, сказанные им там, решили мою судьбу.

— Гвозди бывают маленькие,— сказал он,— бывают и большие — с мой палец.— И он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец.— Писательский путь, уважаемый пистолет (с ударением на «о»), усеян гвоздями, преимущественно крупного формата. Ходить по ним придется босыми ногами, крови сойдет довольно, и

с каждым годом она будет течь все обильнее... Слабый вы человек — вас купят и продадут, вас затормошат, усыпят, и вы увянете, притворившись деревом в цвету... Честному же человеку, честному литератору и революционеру пройти по этой дороге — великая честь, на каковые нелегкие действия я вас, сударь, и благословляю...

Надо думать, в моей жизни не было часов важнее тех, которые я провел в редакции «Летописи». Выйдя оттуда, я полностью потерял физическое ощущение моего существа. В тридцатиградусный, синий, обжигающий мороз я бежал в бреду по громадным пышным коридорам столицы, открытым далекому темному небу, и опомнился, когда оставил за собой Черную Речку и Новую Деревню... ⟨...⟩

Краткость содержания соперничала в моих творениях с решительным забвением приличий. Часть из них, к счастью благонамеренных людей, не явилась на свет. Вырезанные из журналов, они послужили поводом для привлечения меня к суду по двум статьям сразу — за попытку ниспровергнуть существующий строй и за порнографию. Суд надо мной должен был состояться в марте 1917 года, но вступившийся за меня народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с ним и самое здание окружного суда.

Алексей Максимович жил тогда на Кронверкском проспекте. Я приносил ему все, что писал, а писал я по одному рассказу в день (от этой системы мне пришлось впоследствии отказаться, с тем чтобы впасть в противоположную крайность). Горький все читал, все отвергал и требовал продолжения [2]. Наконец мы оба устали, и он сказал мне глуховатым своим басом:

— С очевидностью выяснено, что ничего вы, сударь, толком не знаете, но догадываетесь о многом... Ступайте-ка посему в люди...

И я проснулся на следующий день корреспондентом одной неродившейся газеты, с двумястами рублей подъемных в кармане. Газета так и не родилась, но подъемные мне пригодились. Командировка моя длилась семь лет, много дорог было мною исхожено и многих боев я был свидетель. Через семь лет, демобилизовавшись, я сделал вторую попытку печататься и получил от него записку: «Пожалуй, можно начинать...» [3]

И снова, страстно и непрерывно, стала подталкивать меня его рука. Это требование — увеличивать непрестан-

но и во что бы то ни стало число нужных и прекрасных вещей на земле — он предъявлял тысячам людей, им отысканных и взращенных, а через них и человечеству. Им владела не ослабевавшая ни на мгновенье, невиданная, безграничная страсть к человеческому творчеству. Он страдал, когда человек, от которого он ждал много, оказывался бесплоден. И счастливый, он потирал руки и подмигивал миру, небу, земле, когда из искры возгоралось пламя...

# Р. АРСКИЙ

## ГОРЬКИЙ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 1914 ГОДА

⟨...⟩ Роль самого Горького в журнале была исключительной. Мало того, что он сам руководил работой литературно-художественной части, он принимал живейшее участие в общей работе, фактически направляя весь журнал по интернационалистическому пути [1].

Можно сказать, что Горький интересовался каждой строкой. В журнал приходило много нового и живого материала не только и не столько от установившихся и определившихся писателей (последние почти все сплошь ушли в лагерь патриотов и шовинистов) [2], сколько от молодежи и начинающих писателей. Горький все прочитывал сам. Молодым начинающим талантам он открывал широкий путь в журнал, а тех, кого нельзя было печатать по различным соображениям, тоже не оставлял без поддержки и ободрения. К нему заглядывали десятки разных лиц, и со всеми он подолгу говорил, отрывая для этого часы от своего перегруженного работой дня.

В «Летописи» Горький напечатал несколько своих вещей — «Страсти-мордасти», «В людях» и несколько мелких рассказов.

Чрезвычайно характерной для Горького была его скромность и щепетильность в отношении журнала. Бесспорный его основатель, руководитель и вдохновитель, он сравнительно неохотно давал для него свои вещи, указывая на то, что могут быть нарекания, что он превратил «Летопись» в свою трибуну, и только. «Пусть лучше печатается молодежь»,— повторял он неоднократно.

В разговорах и на заседаниях Горький очень часто указывал и на то, что молодежь, а не заправские литера-

торы приводят наиболее типичные сценки, слова, картины. С другой стороны усиленное его внимание привлекал вопрос автобиографии замечательных и выдающихся чем-либо людей [3]. В этом отношении мы выдержали целый бой из-за автобиографии Шаляпина.

К Шаляпину у всей редакционной публики было заведомо отрицательное отношение. Мы все видели его талант, восхищались им на сцене, но... наряду с этим мы видели его отрицательные черты, угодливость перед сильными, грубость с лицами, зависящими от него, и пр. Мы считали, что Ф. И. Шаляпину все же не место в журнале, а особенно такого типа, как «Летопись». Вопрос об этом обсуждался в течение довольно длительного времени, и, наконец, нас переубедил Горький: «Шаляпин в своей области большой человек. Он может рассказать много интересного. У него сложная и интересная жизнь». Мы уступили [4].

Когда мне пришлось прочесть первые страницы «Автобиографии», я убедился в правоте Алексея Максимовича.

Каким образом строил свой отдел Горький? Он старался подбирать материал таким образом, чтобы всегда и неизменно проводилась в нем мысль о необходимости борьбы с войной и противодействия ей. Все заметки и рассказы служили этой основной цели. Само собой разумеется, все они подвергались постоянным наскокам со стороны цензуры. ⟨...⟩

Как уже говорилось, сам Горький писал в это время довольно много, хотя максимум времени уделял редакционной работе. Не только в области литературно-художественной можно было чувствовать его руководство, но и в политическом отделе. Правда, он неоднократно повторял, что в политике смыслит мало, но таким уж было время, что нельзя было быть нейтральным и безразличным к происходящему.

В отделе публицистики мы в «Летописи» взяли определенное направление. Мы решили пользоваться каждой возможностью, каждой заметкой, чтобы подчеркивать свое непримиримое отношение к войне, при помощи цифр и фактов доказывать ужас войны и ее преступления. При этом мы резко отмежевались от других журналов, которые старались доказать, что во всем виноваты только немцы. ⟨...⟩

В то же время происходила известная дифференциация публики, посещавшей Горького. Постепенно начали от

него отходить представители патриотов, которым сильно не нравилось общее направление «Летописи». Как-то все больше давало себя чувствовать то, что нет и быть не может общего языка между знаменитым писателем, для которого так важны и незабываемы были общечеловеческие интересы, и теми, кто бесповоротно встал на путь шовинизма. Зато тем более крепкими становились с каждым днем связи в нашей редакционной семье и стремление поделиться с Горьким каждой новостью.

Никогда мне до тех пор не приходилось встречаться с человеком, который бы так жадно и непосредственно воспринимал каждую весточку, каждую мысль, каждый намек о пробуждении критической мысли в среде рабочих. Для того чтобы дать мне возможность остаться в Питере и избавиться от военщины, Горький через Л. Б. Красина устроил меня на заводе Сименс-Шуккерт [5] (на Васильевском острове). Это дало мне возможность соприкасаться с рабочей массой не только на нелегальной почве, но и на заводе, где удалось установить самые тесные и дружеские отношения с очень многими рабочими (несмотря на то, что за мною пристально наблюдала администрация). Значительную часть бесед и разговоров с рабочими я передавал Горькому, который искал в них признаков и доказательств пробуждения и отрезвления масс от шовинистического угара.

Поскольку мне удавалос наблюдать Горького на редакционных собраниях, а еще в большей степени в домашней обстановке, он с таким же огромным интересом относился и ко всем другим сведениям. Мне приходилось присутствовать не раз во время его бесед с военными (по преимуществу с врачами и прапорщиками военного времени), приезжавшими к нему с фронта. Он жадно и внимательно впитывал в себя все эти рассказы, типичные жесты и словечки. Кроме того, эти беседы давали ему богатый материал для публицистических статей (особенно в период его редакционной работы в «Новой жизни»), когда он начал клеймить проявления дикости и некультурности [6].

Во время империалистической войны за Горьким велось неотступное и докучливое наблюдение [7]. Тем не менее ему удалось сохранить связи с партийными верхами за границей и посылать кое-какие ценные и интересные материалы. Так, напр., мне удалось передать ему материалы, собранные мною о настроениях в обществе завод-

чиков и фабрикантов, протоколы второго собрания для выборов в Военно-промышленные комитеты и некоторые другие, впоследствии напечатанные в «Сборниках Социал-демократа» за границей [8].

Десятки и сотни людей шли к Горькому с рассказами о своих впечатлениях. Из этих рассказов он брал самое ценное и интересное. Жизнь развертывалась перед ним даже в те моменты, когда он сидел безвыходно в своей квартире на Кронверкском, а у ворот большого серого дома, в котором жил он, неотступно стояли шпики.

Совершенно бесспорно Горький был центром и душой всего предприятия. Если бы его изъяли даже на время, если бы тогда он не мог почему-либо работать, журнал несомненно захирел бы и развалился. В наиболее тяжелые моменты Горький поддерживал и утешал всех.

Мне живо вспоминается годовщина «Летописи» (декабрь 1916 года). Мы праздновали ее в помещении редакции на Монетной. Собралось большое количество сочувствующих нам лиц, сотрудники, ближайшие друзья журнала и т. д. Речей, правда, не было (по причинам понятным), но была полная уверенность в том, что революция приближается быстрыми шагами. Мы все были убеждены, что следующая годовщина уже произойдет в революционной обстановке. В этот вечер Алексей Максимович был особенно оживлен и весел. Еще бы. Исполнилась годовщина его бесспорного детища. Мы стояли на пороге крупнейших событий, в которых получили бы проверку все те принципы и лозунги, которым служила «Летопись».

На следующий день мы снова принялись за еще более безнадежную и беспросветную работу. Глупость и тупоумие цензоров (политических и военных) достигали невероятного, убийство Распутина еще пришпорило усердие мракобесов.

Между тем революция приближалась быстрыми шагами. Фабрики и заводы начали останавливаться. Всюду шли демонстрации. Я уехал с завода на улицу, где тогда были все, а затем заехал к Горькому на Кронверкский. Здесь уже вечером, когда большинство демонстраций было согнано с улиц или разбрелось по домам, я застал почти в полном составе редакцию и ближайших сотрудников. Судя по всему, все они пришли с улиц, еще обвеянные воздухом революции. Мы все рассказывали о сценах дикой расправы и о непобедимости движения, которое нельзя разогнать. Алексей Максимович сильно волно-

вался. Он неоднократно подходил к телефону, узнавая, что делается в городе, и сам собирал кое-какие известия.

В это время опять получила наглядное подтверждение огромная популярность Горького в Питере. Кто к нему не звонил в течение первых дней революции, когда чаша весов еще колебалась и неизвестно было, кто победит в схватке с правительством! Пожалуй, в эти дни у Горького было больше сведений, чем у официальных представителей власти или у других общественных деятелей.

Так продолжалось все эти три дня. Наконец, 12 марта [9] определилось общее положение. В этот момент революция победила. В конце дня мы все собрались, как и в предыдущие дни, у Горького. Пришел А. Г. Шляпников и предложил всем пойти в Таврический дворец, где собрались представители революционных организаций и где начала конструироваться новая власть (шли выборы в Совет).

Мы вышли уже вечером из высокого серого дома. По улицам шли десятки тысяч людей, носились автомобили и грузовики. Волна людей разбросала нас в различные стороны. Горький ушел с Шляпниковым и А. Н. Тихоновым, а я, с тов. Базаровым, кажется, задержались и добрались в Таврический дворец значительно позже, уже глубокой ночью. И ночью я встретил еще раз Горького. Он очень устал от впечатлений дня и вечера. Тем не менее он настаивал на том, чтобы по возможности скорее наладить издание газеты. Горький понимал, что нужно поскорее объяснить массам смысл происходившего. Сам он не поехал в «Копейку», где печатались первые номера «Известий», но ночью 12 марта там очутились все его ближайшие сотрудники во главе с А. Н. Тихоновым, которые и наладили выпуск первого номера [10]. В течение первых дней Февральской революции именно они делали газету, а затем были устранены меньшевиками-оборонцами.

В это время Горький положительно горел в огне революции. Кажется, не было ни одного крупного общественного начинания, в котором он не принимал бы участия. Но наши пути стали расходиться. Я ушел в партийную работу, и наши встречи с Горьким стали более редкими. ⟨...⟩

Ко времени работы в «Летописи» относится организация Горьким издательства «Парус», которое явилось эмбрионом будущей «Всемирной литературы». ⟨...⟩

Я наблюдал не раз целые фаланги просителей, которые стремились попасть к нему. Никто не уходил от него, не повидав его и не поговорив, не заручившись обещанием помощи или рассмотрения часто совершенно бестолковой и никому ненужной рукописи.

— Почему вы ничего сейчас не пишете? — спрашивал я неоднократно, приезжая из Москвы и заходя в «Новую жизнь» или в «Парус».

— Некогда все,— неизменно отвечал Алексей Максимович.

Видно было, что этот вопрос не совсем ему приятен, что он сам тяготится своим бездействием [11].

Однако вряд ли можно сказать, что этот период времени пропадал для него даром. Нетрудно было убедиться в том, что творческая мысль его работает непрестанно. Об этом свидетельствовала та жажда что-либо услышать и узнать нового, с какой он подходил к каждому новому человеку. Во время наших встреч после Октябрьской революции Алексей Максимович с огромным интересом расспрашивал меня о всех деталях моей работы, о всем, что приходилось видеть и слышать в Комиссариате труда, где я тогда работал. С таким же интересом расспрашивал о всяких на первый взгляд мелочах новой жизни. Чувствовалось при этом, что для него все эти детали отнюдь не мелочь, что в этих рассказах он видит все многообразие тогдашней жизни.

Стремление понять человека, разобраться во всех деталях его психики являлось в этот период наиболее характерной чертой Горького. Он неизменно видел в людях лучшее, а это неоднократно приводило к тому, что его обманывали люди недостойные, которые умели надеть маску и использовать доверие Горького к человеку вообще. Десятки и сотни раз его обманывали самым недобросовестным и гадким образом, а он верил опять и опять людям, приходившим к нему за помощью.

Таковы были мои встречи с Горьким во время войны и в начале революции. Эти встречи, довольно частые иногда, позволяли мне сравнительно хорошо присмотреться к этому большому писателю и человеку.

Алексей Максимович в личной жизни чрезвычайно чуткий и отзывчивый человек. Нет такого человека, который не мог бы к нему обратиться, говорить с ним, полу-

чить от него слова утешения, поддержки. В этом отношении чрезвычайно характерно его отношение к начинающим писателям. Ни на один момент Горький не дает почувствовать человеку, что ему приходится говорить с писателем мирового масштаба, он так просто и умело подходит к каждому.

Другой отличительной чертой Горького является его исключительная скромность. Писатель, пожалуй, самый популярный в мире, чрезвычайно скромно, а иногда прямо как бы стесняясь, говорил с людьми несравнимо ниже его стоящими во всех отношениях. С такой же скромностью он относился и к своим произведениям, которые готов был всегда подвергнуть всестороннему обсуждению коллегии, как это бывало, например, в «Летописи».

Поражало также его уменье вдуматься и вникнуть в психологию самых разнообразных людей. Он умел понимать каждого человека и взвесить все мотивы того или иного поступка. Для него нет непонятных людей: он в равной степени поймет и чрезвычайно чутко подойдет к филеру, провокатору, проститутке, как и к мудрецу или философу. У каждого из них он возьмет что-то ему нужное, что и претворит затем в своих изумительных рассказах. Отсюда Горький и черпает то богатство типов, психологических положений, которыми поражают его книги.

Очень характерной чертой его является принципиальность.

Нельзя сказать, чтобы Алексей Максимович был совершенно прямолинейным в политике, чтобы в его политической деятельности не было компромиссов или фактов соглашательства. Бывали моменты, когда он переходил с одной позиции на другую по тому или иному вопросу, но эти переходы его всегда и неизменно обусловливались твердым и решительным убеждением в правоте того дела, которое он защищал. И если Горький вставал на известную позицию, сбить его с нее было уже нелегко. Таким он был и в своей личной жизни. Если считал что-нибудь неправильным, он готов был бороться с этим решительно, и тогда уже личные отношения отступали на задний план, он отстранялся от данного лица и старался не поддерживать с ним отношений.

С Алексеем Максимовичем очень легко было работать. Его личное обаяние, очень большое, сразу же предрасполагает к нему всякого, кому только приходится с ним

сталкиваться. Такими были его отношения со всеми работниками в «Летописи» и «Новой жизни», не только с наиболее близкой семьей постоянных сотрудников, но и с техническим персоналом и с низшими служащими. Именно потому все окружающие, все сотрудники так сильно любили Горького.

В своих книгах и рассказах первого периода Горький говорил о Человеке, искал его. Мне кажется, что в этом он остается верен себе до конца. В каждом, кто так или иначе приходит с ним в соприкосновение, Горький ищет этого Человека или, по крайней мере, его лучшую частицу. Именно этим продиктовано его высокое уважение к личности человека и стремление узнать все, что только может дать то или иное лицо. Именно это и определяет его отношение к жизни, при котором каждое, даже мелкое, ее явление дает крайне ценный и интересный материал. 〈...〉

# Е. Д. ЗОЗУЛЯ

## БЕЗ ШТАМПА

Я не был в Сорренто и, конечно, жалею об этом: видеть Горького очень интересно и даже больше — это большая радость.

Но сейчас, когда я пишу о нем, я доволен, что не был в Сорренто. Из Сорренто уже сделали Ясную Поляну. Уже начинается «радушие хозяина», «необычайная простота», «остроумие», «исключительная любезность» и все то, что, собственно, не дает никакого представления о Горьком, а заслоняет захватанным штампом вполне конкретный, живой образ. ⟨...⟩

Так вот, я видел Горького в первый раз еще в Петрограде, на Кронверкском, за несколько дней до Февральской революции. Время было очень тревожное. В Петрограде бушевали очереди, разбивали поленьями лавки на Лиговке. Зловещий вид имели солдаты, в особенности из так называемых выздоравливающих рот, подлежащих отправке на фронт. В бурых, мятых шинелях, с плохо замытыми следами крови, кое-как залеченные, они бродили по Петрограду, ожидая новой отправки в окопы. Как известно, они и начали Февральскую революцию. А именно: четвертая рота эвакуируемых знаменитого Волынского полка [1].

Было что-то тревожное во всем облике города. Тревожно лежал на крышах снег. Из окна горьковской квартиры он казался не настоящим, что-то скрывающим.

Пол в кабинете Горького был ярко натерт. Горький хотел работать. Он хотел тишины и покоя. Так мне казалось. Он бережно, привстав со стула, собирал какие-то бумажечки с края стола. Бережно сгреб в большую ладонь и аккуратненько бросил в корзинку.

Мне показалось, что он любит писать в чистой комнате спокойно, прилежно, со сдвинутыми ногами, сильно наклонившись над столом, в застегнутом пиджаке. Я тогда понял его почерк — старательный, добросовестный, немножко неуверенный в себе, с расстояниями между буквами — чтобы легче было читать адресату. Он при мне написал что-то — кажется, адрес. Прилежный наклон стриженой головы дополнял впечатление полной, почти ученической добросовестности.

Я подумал, что он любит писать, любит самый процесс письма. Пожалуй, без этого нельзя было бы вести такой исключительной переписки, какую ведет Горький. Он пишет и отвечает всем. Кто только не получает от него писем! И все письма он пишет собственноручно, вплоть до адреса.

И тогда, в это утро, Горький хотел писать. И обстановка была деловая, будничная. На маленьком столе лежала стопка исписанной бумаги. Рукопись говорила о том, что он писал ее не торопясь. Каждое письмо Горького говорит об этом же: ни одной торопливой строчки, ни одного торопливого слова. Между тем Горький, несомненно, принадлежит к типу «быстрых» людей. На нем был крахмальный воротничок с большим желтым пятнышком впереди — от прикосновения во время сушки чего-то ржавого.

Такой воротник можно было надеть только торопясь... Я почему-то все время смотрел на это ржавое пятнышко и старался сдержать улыбку... Что-то умиляло меня в этом пятнышке...

— Что же вы,— говорил Горький,— видел я недавно в одном журнале ваши рассказы — про грустное пишете. Зря. Ведь вы здоровый мужик.

Мне хотелось сказать Горькому, что и он здоровый мужик, а пишет про грустное, и разве можно писать о людях без грусти,— но я, конечно, не сказал этого: не посмел. Да он бы, может быть, и не обиделся, а просто не хотел бы воспринять, не хотел бы понять этого. Горький находился тогда в зените своей бодро-гуманистической полосы. Впрочем, она характерна для него и сейчас. ⟨...⟩

В открытую форточку лился сияющий, свежий, опьяняющий воздух февраля. И вдруг обрывки солдатской песни стали доноситься с улицы. Горький подошел к окну. Подошел и я. По улице шли солдаты.

— Идут солдаты с ружьями (ударение Горький поставил на «я»). Ох, не люблю я этого!..

Я смотрел на Горького внимательно и — не знаю — может быть, это было от молодой самоуверенности (какникак дело происходило одиннадцать лет тому назад), но мне казалось, что я четко вижу Горького, «насквозь», все стороны его многогранной, действительно богатой личности. Изумительно, как это в нем умещается: громадный писатель, гуманист, человек, влюбленный в науку, покровитель всех искусств, ценитель прошлого, воспитатель начинающих, редактор и крепкий первоклассный издатель, издававший всегда толково, умело, счастливо. И не только потому, что он сам украшал свои издания своими вещами,— он умел привлечь и сотрудников, умел делать свои издания обаятельными. Сборники «Знание», «Летопись», «Парус», «Всемирная литература» [2], «Беседа» (совсем недавно, в Берлине) [3] и многое другое — ведь все это первоклассные предприятия.

Я тогда почувствовал также в этом человеке наличие огромных доз любопытства к жизни — любопытства острого и упорного. 〈...〉

Бесконечную жадность и любовь к жизни и сложнейший интерес к ней я почувствовал в Горьком тогда, в семнадцатом году, когда в первый раз видел Горького, и сейчас это подтверждает каждое его письмо.

Но глядя на него тогда, я не мог предположить, что увижу его таким встревоженным и возбужденным на второй или третий день Февральской революции, сейчас же после образования Временного правительства, на ступеньках Таврического дворца.

Вокруг был прекрасный февральский хаос. По всем направлениям носились люди, приводили арестованных, кого-то выводили, с музыкой и красными знаменами подходили все новые и новые полки. Стреляли со всех концов, и никто не знал, откуда и кто стреляет, и как-то не было дела никому до этого.

Но я помню лицо Горького в это солнечное утро в этой незабываемой обстановке: оно, повторяю, было очень взволнованное, но в то же время энергичное, ясное, а главное, деловитое. Он говорил группе окружавших его людей, что радоваться и ликовать можно и нужно, но надо закрепить победу. Надо позаботиться об этом. Жизнь не так проста, предстоит чрезвычайно много трудного, серьезного и, может быть, кровавого.

В этот же день мне говорил по поводу того же ликования другой писатель:

— Рано ликовать. На цоколе памятника Александру III будут еще рубить головы и собаки будут лизать кровь, стекающую на камни [4].

Почему-то после этой пышной и зловещей чепухи я понял и еще более оценил истоки горьковской деловой озабоченности. Они были подлинно серьезны и основаны на глубоком знании людей и их взаимоотношений.

Затем шли дни, недели, месяцы, и вдруг образовался во времени прекрасный островок, когда мне удалось создать журнал и печатать его на хорошей бумаге, и думать о шрифтах, и подыскивать изысканные рисунки и иллюстрации к свежим, свободным рассказам...

Странно теперь об этом вспомнить! Вокруг стреляли все, кто хотел, Керенский не мог справиться с бременем власти, начинался голод, а я печатал поэму Горького в стихах «О графине Эллен де Курси»... [5]

И непросто печатал, а печатал так: фабульную часть корпусом, а сентенции петитом: очень мне это правилось!! А художник В. Лебедев иллюстрировал. И Горькому понравилась печатная игра, и он улыбался приятной своей улыбкой...

Он тогда написал повесть под названием «Все то же» и конфузливо говорил о ней, что не может еще писать о новом, а пишет о старом, все о «том же» [6].

И так приятно, хорошо и радостно, что при всех встречах моих с Горьким обстановка была будничная, простая, деловая.

И я имею представление о Горьком как о быстром, живом, работящем человеке, а не «радушном хозяине», говорящем гостям афоризмы. ‹...›

Самое главное: Горький был высокий, костистый, озабоченный, будничный. Глядя на него, я тогда думал, как и теперь думаю, что он будет долго жить, несмотря на болезнь, будет писать своим добросовестным почерком, прилежно нагнув стриженую голову, будет писать прекрасные свои вещи, будет усердно работать, торопиться, собирать бумажечки в ладонь, ругаться, радоваться, читать книги, писать письма и оставаться тем, что он есть. ‹...›

# В. А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

## А. М. ГОРЬКИЙ

Человек он был...

*В. Шекспир*

⟨...⟩ Я в свои гимназические годы знал о Горьком и много, и почти ничего... «Многое» относилось к шумной легенде, созданной вокруг его имени, а «немногое» — и самое истинное — открыл мне Боря Юрковский. ⟨. . .⟩

Легендарный образ принял в моем воображении конкретные черты. Я уже заранее полюбил Алексея Максимовича и начал относиться к нему с той же юношеской восторженностью, как и Боря.

Познакомился я и с тетками Бори — Марией Федоровной и Екатериной Федоровной, стал бывать у них запросто дома, а несколько позднее, к концу 1915 года, когда Алексей Максимович, вернувшийся из-за границы, стал обитателем кронверкской квартиры, я уже был своим человеком в их семье. Произошло это настолько естественно, просто и постепенно, что память моя совершенно утратила первое впечатление от встречи с Горьким. Я помню его в уже привычном домашнем обиходе: сдвинув на лоб очки, со свежей газетой в руках, он беседует за чайным столом или, напевая под нос, бродит широкими шагами по комнате и на ходу набивает табаком свою коротенькую трубку. Помню его улыбку, блуждающую в рыжеватых усах, глубокую сеть морщинок, бегущих от уголков глаз к вискам, когда он беззвучно смеется, большие угловатые руки, бережно берущие книгу, слегка сутулую спину, острые плечи, осторожные покашливания и низкий, слегка хрипловатый голос, в котором проскальзывает круглое волжское «о».

Уже с первых дней научился я угадывать за внешней суровостью и замкнутостью Алексея Максимовича удиви-

тельную мягкость и сердечность этого человека, умеющего для каждого найти близкое, понятное ему слово. Я ощутил всю прелесть горьковской непринужденной беседы, очарование его бесконечных рассказов о прошлой своей жизни в годы нищеты и скитаний, о ярких, незабываемых людях, встречавшихся ему на пути.

Неисчерпаемой, сказочно обогащенной была память Горького. С первых же дней поразило меня то, что для нее как бы не было существенного и несущественного, главного и второстепенного. Говорилось, казалось бы, о самых незначительных мелочах, малопримечательных людях, легко мелькающих событиях, а в конечном итоге вставала такая яркая картина и быта, и людей, и пейзажей, которую долго не забудешь.

Едкой, убийственной иронией звучали его слова, обращенные к косности и глупости человеческой. Ударив широкой ладонью по развернутым листам «Сатирикона» или какого-либо другого юмористического журнала, Алексей Максимович бурчал сквозь нависшие усы:

— Не понимаю. Другим это смешно, а меня берет такая досада...

Он не стыдился своих чувств и не скрывал их. Простота и прямота высказываний были присущи ему органически. Хитрость — защита слабых — казалась совершенно ему чуждой. Если и случалось хитрить, то только в шутку, да и то лукаво сузившиеся глаза и чуть вздрагивающие морщинки вокруг рта сразу же обнаруживали скрытые замыслы. А он любил пошутить.

Особенно интересно было наблюдать за ним, когда он беседовал с детьми. Горький говорил с ними совершенно серьезно, как со взрослыми, даже с оттенком некоторого иронического почтения. И это открывало ему детские сердца. Однажды он сказал семилетней девочке, не расстававшейся с огромной, довольно уже потрепанной куклой:

— Вот ты зовешь ее Машкой — это не дело. Она женщина почтенная. Двенадцать лет служила горничной в хорошем доме, копила деньжонки, откладывала на книжку, а потом вышла замуж за швейцара Кондрата Семеновича, старого скобелевского солдата [1], и теперь ее зовут уже не Машка, а Мария Филипповна.

Девочка смеялась, хлопала в ладоши, а с нею так же заразительно смеялся и сам Алексей Максимович.

Как-то июньским вечером (это было уже после Октябрь-

ской революции) сидел он на скамеечке Кронверкского сада. Вокруг суетилась детвора, занятая своей песочной кулинарией. Горький заговаривал с нею, пускал смешные затейливые словечки, но на него не обращали внимания. Тогда он концом своей палки начал подгребать к себе мелкие сучки и щепочки, а затем чиркнул спичкой и поджег кучу хвороста. Синеватый дымок легко поднялся к вечереющему небу. Дети столпились вокруг костра, а Алексей Максимович, радуясь вместе с ними, осторожно подталкивал к бойкому огоньку то один, то другой сучок. Подошел солидный усатый милиционер:

— Гражданин, кто вам позволил в саду костры жечь?

— А разве нельзя?

— Ежели кажный станет кострами интересоваться, то и город спалить можно. Вот возьму отведу вас в отделение, там вам разъяснят.

— Извините, пожалуйста,— и Горький вежливо приподнял шляпу,— мы больше не будем. Ну, ребята, ничего не поделаешь, надо тушить.

Десяток детских ножек бойко затоптал крошечное пламя.

— Ну, вот так, правильно! — одобрил все еще ворчавший милиционер.— Беспорядок производить и хулиганить в общественном месте строго воспрещается. Вот об этом и на доске написано.

Алексей Максимович встал со скамейки и снова поднял свою черную шляпу:

— Еще раз извините. Мы неграмотные. Нас еще учить надо. Будьте здоровы!

И медленно побрел к выходу, чему-то улыбаясь в усы.

Меня всегда поражала его способность в разговоре слушать собеседника (искусство, не такое уж частое в обиходе). Его короткие реплики всегда обнаруживали проникновение в чужие сокровенные мысли. Беседа была его родной стихией.

Собеседника приводила в изумление широта его познаний часто в таких областях, которые доступны только узкому специалисту. Ботаник, астроном, архитектор, профессор истории, светило медицины, экономист-проблематик находили в Горьком человека, превосходно разбирающегося не только в итогах накопленного знания, но и в широких дальнейших его перспективах.

О будущем Алексей Максимович любил говорить, пожалуй, даже больше, чем о прошлом и настоящем.

Он любил все красивое, сильное, украшающее, исправляющее жизнь. И когда при нем говорили о его писательском реализме, он только усмехался в ответ:

— Ну какой же я реалист? Это великое дело Льва Толстого. А я неисправимый романтик. Меня бабушка в детстве ушибла — так оно и осталось. ⟨...⟩

Дом Горького всегда был полон и шумен. Кто только не приходил к нему со своими горестями, сомнениями, восторгами! И он с кроткой терпеливостью выслушивал всех, потому что все так или иначе были ему интересны. Только деспотическое вмешательство домашних спасало Алексея Максимовича от «окончательного растерзания». Его природной мягкости никогда бы не хватило на то, чтобы оградить себя от докучливых пустословов и самовлюбленных фантазеров.

Каждый день утренняя почта приносила Горькому вместе с газетами груду писем. Писали со всех концов обширной нашей родины. Писали из-за границы. Наряду с Роменом Ролланом, Стефаном Цвейгом, Бласко Ибаньесом [2] и другими представителями передовой интеллигенции Запада подавали свой голос и совсем малозаметные люди. Всем был нужен Горький, его ответное дружеское слово. Но всего больше, разумеется, шло писем из России, из самых глухих, захолустных ее уголков. Давали знать о себе сельские учителя, врачи, рабочие, железнодорожные служащие, студенчество, а порою и вовсе малограмотные люди. Иногда Горький расцветал лукавой улыбкой, разрывая грязноватый, сильно истрепанный конверт: «Вот, не забывают старые друзья!» И, пробегая кривые строки, бурчал под нос: «Так, так, отлично!» Случалось, на этих страничках не было ничего, кроме традиционных приветов и поклонов, а в конце просьба: прислать «рублика три».

— Надо дать,— добавлял Горький уже серьезно.— Это Иван Иваныч. Если бы не водка, замечательной был бы личностью. Мешки с крупчаткой как перышко поднимал, песни волжские знал, как никто. В тюрьме два раза сидел за бродяжничество. Интересный вообще человек.

Помню, однажды ожидали Горького в столовой знатные посетители-иностранцы. Беседа велась чопорно, с учтивой сдержанностью. Было скучно и томительно. А Горький все еще не появлялся из своей рабочей комнаты. Уже два раза Мария Федоровна подходила к двери, и оттуда слышалось добродушно-суровое: «Сейчас, сейчас. Я занят».

«Чем он так неотложно занят, не пойму»,— недовольно роняла она домашним и вновь вступала в дипломатическую беседу с гостями.

А Алексей Максимович следил в это время за ловкой работой столяра, Матвея Никаноровича, кудлатого, облаченного в зеленоватый фартук старика, выставлявшего зимние рамы. Он помогал ему убирать куски прошлогодней замазки и побуревшую вату, продолжая какой-то захвативший обоих разговор. Неумолимая Мария Федоровна снова появилась на пороге:

— Алексей, это уже, наконец, неудобно...

— Ну что же делать,— вздохнул Алексей Максимович,— надо идти.

И нехотя стряхнул с пиджака опилки и шагнул к двери. Потом быстро повернулся к своему собеседнику: «Матвей Никанорович, пойдемте с нами чай пить!»

Столяр смутился необычайно. В полураскрытые двери ему прекрасно было видно чопорное общество в столовой. Он упирался как мог, но Горький не слушал никаких возражений. Так, под руку со смущенным стариком, едва успевшим сбросить свой фартук, он и вошел в столовую, где тотчас же поднялись при его появлении.

Алексей Максимович обошел присутствующих и с некоторой церемонностью представил им своего спутника: «Мой друг, Матвей Никанорович, столяр, познакомьтесь, пожалуйста!» Потом посадил его рядом с собой, придвинул ему стакан крепкого чаю. С приходом Горького беседа тотчас оживилась, натянутые, скучные лица словно согрелись изнутри. Даже у бедного Матвея Никаноровича пропали последние следы смущения, и он с видимым интересом следил за перекрестным разговором.

Знатный гость, рыхлый, грузный англичанин, писатель Г. Уэллс, чьи фантастические романы с остро поставленными социальными проблемами были известны всему европейскому читающему миру, любезно улыбался и с необычайной вежливостью задавал вопросы. А вместе с тем он неустанно наблюдал за невзрачным «другом» Горького. В его маленьких умных глазках сквозило тщательно скрываемое недоумение.

По лицу Алексея Максимовича было заметно, что он очень доволен смущением иностранца. В его голубом, казалось бы, ничего этого не замечающем взгляде вспыхивал и так же быстро потухал озорной огонек.

Горького посещали многие, и многообразны были его беседы. Приходили почтенные профессора университета, известные и начинающие писатели, художники, фанатичные изобретатели, доморощенные философы, люди навязчивых идей. Иногда случалось и так, что, несмотря на все домашние кордоны, пробивались к нему любопытствующие журналисты, при одном виде которых Алексей Максимович мрачнел и терял дар речи, назойливые фотографы и какие-то по-мушиному липкие, словоохотливые личности, так и пышущие безудержным восторгом. Эти беззастенчивые «почитатели таланта» раздражали Горького, заставляли его забывать привычную мягкость и обходительность. Необычайно разговорчивому старику вегетарианцу, убеждавшему его «идти путем Толстого», Алексей Максимович, не выдержав, заметил не без едкости:

— Ну, куда уж мне за Толстым! У него крепкая кость, он мужик двужильный. А я здоровьем слаб. Он вон какой богатырь. В Ясной Поляне часов по пяти с посетителями беседовал. А меня и наш короткий разговор утомил до чрезвычайности. И, кроме того, я грешный человек, никак от мяса отказаться не могу. Знаете, если поджарить кровяной мягкий лоскуток в своем соку на сковородочке, да картошку обрумянить, да сверху луком присыпать...

Старичок вегетарианец уже не стал дослушивать и поспешил откланяться.

За чайным столом собиралось немало народу — родные, близкие, завсегдатаи. Часто соседями оказывались люди, мало знакомые друг с другом. И Горький со всеми был приветлив, каждому говорил хотя бы одно-два слова. Даже ловкий, пронырливый комиссионер и делец, добывавший для Алексея Максимовича столь любимые им бронзовые статуэтки индусских божков и китайскую керамику, неизменно пользовался его вниманием, не меньше, чем почтенные старики букинисты, приносившие выкопанные в бумажной трухе редкостные старинные издания. И с самой зеленой молодежью — со мной и Борей Юрковским — вступал Горький в дружеские беседы, расспрашивал об университете, о профессорах, о радостях и горестях нашего студенческого существования.

— Н-да! — говорил он, постукивая сухими пальцами по скатерти.— Было время, когда и я мечтал о синей

фуражке. Ходил мимо белых колонн Казанского университета да облизывался, как лисица на виноград. И паршивейшей я был лисицей в то время — кожа да кости. Не вышло это дело. Другие у меня пошли университеты... ⟨...⟩

Как-то вечером весной 1916 года сидел я один в белесых сумерках огромной горьковской столовой. Дверь на балкон была открыта, и оттуда набегал свежий невский ветерок, принося легкий запах тополиных почек. Глухо, по-шмелиному, гудел удалявшийся трамвай.

Алексей Максимович неслышно вышел из своей рабочей комнаты и, пошлепывая мягкими туфлями, прошелся раза два из угла в угол. И вдруг повернулся ко мне:

— А скажите, юноша, вам в такую погоду не хочется стихи писать?

Я смутился неожиданностью его вопроса, тем более что именно о стихах и думал я в эту минуту. И как он только угадал мои мысли!

А Горький продолжал, подсаживаясь рядом:

— Вот, скажем, цветут тополя. Облака распускаются в небе, как цветы. Пух какой-то плавает над улицами. И тебе, скажем, девятнадцать лет. Неужели тут без рифм обойдется? Вот, юноша, смотрю я на вас и думаю: почему бы не захлопнуть вам вот эту книжищу (он ласково выдернул у меня из рук толстый латинский словарь) и не вытащить свою заветную тетрадку — есть ведь такая? — и не показать ее, скажем, мне, старому волку?

— Тетрадка есть, Алексей Максимович,— пробормотал я в смущении.

— Ну конечно, по глазам вижу. Давайте-ка ее сюда!

Он перелистал несколько моих рифмованных упражнений, сосредоточенно шевельнул усами, читал некоторое время молча, а потом начал мурлыкать что-то под нос.

— А можно, я ее к себе возьму? Стихи надо пить маленькими глотками, не торопясь, а то и вкуса не почувствуешь.

И унес рукопись к себе в кабинет.

Примерно через неделю, поймав мой вопрошающий взгляд, он улыбнулся и кивнул в сторону своей комнаты. Мимо строгих книжных полок прошли мы вместе к маленькому рабочему столу. Моя тетрадка лежала сбоку, на видном месте. Взяв ее в руки, я уже с первого взгляда

мог убедиться, с каким кропотливым вниманием была она прочитана с начала до конца. На каждой странице пестрели карандашные заметки, подчеркивания, вопросительные и восклицательные знаки. Вероятно, мое волнение сразу же стало понятно Горькому, потому что он тотчас прогудел успокоительно над самым моим ухом:

— Ну вот, юноша, прочел я все это и постарался вникнуть. В стихах я знаток небольшой, но люблю их. Так уж позвольте мне судить о них просто, как рядовому читателю. Стихи ваши на поэзию похожи, это мне ясно. Но зачем вы так увлекаетесь звонкими именами, исторической бутафорией? Ради красивости, что ли? Бойтесь красивости! Опасное это дело. За декорациями можно проглядеть жизнь, а она куда значительнее и интереснее любого театра. И право, у вас эта березка над обрывом куда живее получилась, чем описание рыцарского турнира. Где вы всей этой «романтике» учились? Подозреваю, что в детстве у Жуковского, а позднее у Гумилева и цеховых его подмастерьев. Стоит ли? И так уж у вас в стихах много университетской премудрости. Вы с Борей какие-то неистовые филологи. Печатное слово сейчас ценнее жизни. Сущее недомыслие, судари мои! Книги должны идти от жизни и возвращаться в жизнь. За каждой книгой стоит живой человек — не забывайте этого. Стихи для стихов — пустяковое дело.

— А что касается Гумилева,— продолжал Горький,— то, надо отдать ему справедливость, стихослагатель он очень ловкий, и притом человек обширных поэтических знаний. Суховат и строг, правда. Брюсовская косточка. Жаль только — не русский он писатель. Настоящий француз в манжетах. Описывает всякие убийства и страсти, упивается римским кровопролитием, а сам вот такой высоты крахмальные воротнички носит.

Я не мог не улыбнуться,— до такой степени все это было верно.

— И притом,— продолжал Алексей Максимович,— не мешало бы вам строже к родному языку относиться. Слово русское строптиво по природе своей. Его где лаской, где строгостью, но всегда с умом брать нужно. Богат наш язык, богат и коварен. Чуть не так повернешь, как фраза вкривь пошла. А главное, не любит он притворства. Соврешь в мысли — и сразу выдает тебя с головой. Вот вы пишете: «Пестроцветные узоры стекол в занесенных снегом теремах». Неправда! Не продумано. Морозные

узоры во всяком случае одноцветны: белые, синие, розовые, в зависимости от погоды, от освещения. А что касается стекол, то и тут не так. В допетровских теремах употреблялась слюда или бычий пузырь, а не стекло. Я думаю, и самому царю Алексею Михайловичу стекла были в диковинку. Дальше: у вас мороз — русский витязь, облаченный «в ледяную сверкнувшую бронь». То, что он не обычный дед с бородой, какие висят на елках, а краснощекий парень, это неплохо. Но зачем же говорить так торжественно — «бронь», когда есть простое русское слово «броня»? Неужели только для звонкой рифмы «огонь»? Вы не обижайтесь на меня, что я придираюсь к вам по мелочам, а не беру в расчет общего замысла, звучания и т. д. Это и само собой понятно. А вот об отдельном слове — как его ставить — поговорить стоит. На то ведь мы с вами и литераторы...

Тут он улыбнулся и ласково тряхнул меня за плечо.

Он вообще любил подтрунивать над моей и Бориной «университетской филологией».

— Ну как,— спрашивал он иногда,— опять пишете про слонов Ганнибала и сады Семирамиды? Имейте в виду, юноши, что сия великолепная царица, которую, вы, конечно, изобразили во всем блеске красоты на висячей террасе среди разных опахал и курений, в пору создания знаменитых садов была довольно дебелой бабищей с весьма капризным, сварливым характером. Да и в том, что эти сады висячие, нет ничего удивительного. Просто они были расположены уступами по крутому склону горы, сообразно с тогдашней системой орошения. Такие сады и в наше время нередко можно встретить в Закавказье или в Персии. Помню, и на Капри их было немало.

Утренние разговоры в столовой всегда были занимательными и оживленными. Среди домашних и близких Алексей Максимович бесследно терял свою обычную суровость. Отодвинув в сторону ворох газет, подняв на лоб очки, он шутил, рассказывал что-нибудь забавное, а иногда и предавался далеким воспоминаниям. Его неизменными и любимыми собеседниками в это время были В. А. Десницкий и А. Н. Тихонов.

В. А. Десницкий, узколицый, с реденькой бородкой на коричневых, словно из ореха выточенных скулах, слушал внимательно, изредка поблескивая умным взгля-

дом. Золотые очки придавали ему докторский, профессорский облик, острая, ироническая речь, пересыпанная замысловатыми византизмами, выдавала великого спорщика и книгочия. Издатель горьковских книг А. Н. Тихонов приводил возражения точно и суховато. Вся его крепко сложенная фигура, резкий, энергичный жест дышали непоколебимой уверенностью, когда он развивал перед Горьким свои грандиозные издательские планы.

Оба настолько хорошо и близко знали Алексея Максимовича, что любая его мысль или намек подхватывались ими на лету.

В тот утренний час, когда приносили почту и свежие газеты, беседа, естественно, касалась происходящих в стране событий. Шел третий, изнуряющий год войны. Лицо Алексея Максимовича мрачнело, когда он просматривал сводки с театра военных действий.

— Ну-с, чем все это кончится, господа хорошие?

Газеты пестрели тогда сообщениями о новых и новых репрессиях, о жестоком подавлении рабочих стачек и забастовок. Слушая рассказы прибывшего в отпуск с германского фронта племянника М. Ф. Андреевой, юного поручика Жени Кякшта, он неизменно прерывал его: «А что говорят солдаты в окопах?» И удовлетворенно улыбался, когда Женя передавал ему острый солдатский фольклор, касающийся немки-императрицы и всемогущего пьяницы и дебошира Григория Распутина.

О литературе говорил Горький меньше, чем можно было ожидать, и притом гораздо охотнее о Льве Толстом и Чехове, чем о современниках. Но я помню один спор, в котором он горячо защищал Ивана Бунина от обвинений в холодности и бесстрастии:

— Бунин вовсе не холодный писатель. Он весь как натянутая струна, и его сдержанность — показатель большой внутренней силы. Бунин жесток и крепок. В жестокости достигает он какого-то беспощадного изящества. А какой талант! Какой язык! Быть может, это лучшее, на что способна современная проза.

О Леониде Андрееве он говорил так:

— Леонид промотал свой огромный талант, как пьяница в ресторане, который расплачивается, не глядя, скомканными кредитками. Не понимаю, откуда у человека неглупого эта безудержная страсть ко всему чудовищному, грандиозному, раскрашенному в странные тона. Его в детстве ушибли Виктором Гюго, и он вообразил себя

гением преувеличений и контрастов. В сущности, он пишет только самого себя. А это гибель. Все эти «бездны» и «стены»[3] — плохо переваренный Достоевский с его склонностью блуждать по тупикам и лабиринтам. А русская литература не прощает оторванности от быта, от жизни. Не принимаются на нашем черноземе столь экзотические цветы. Всему есть историческое возмездие. Вот увидите: Куприн переживет громкую славу Леонида Андреева.

Горького в писателях интересовала, главным образом, способность трезво и точно видеть окружающую жизнь. И конечно, внимание к родной почве, к народу, родине.

Небольшая книга Александра Блока «Стихи о России»[4] долго лежала у Горького на рабочем столе, и он не раз открывал ее, чтобы процитировать ту или иную строфу.

Среди поэтов той, предреволюционной, поры Горький особенно выделял Валерия Брюсова и Александра Блока, причем последний интересовал его еще и тем, что в то время уже резко обозначалась отчужденность Блока от окружающей модернистской среды. Горький, конечно, хорошо понимал и причины этой отчужденности, которая проявилась в непримиримости со «страшным миром» и неумолимой честности поэта перед самим собой.

В 1916 году они еще не были связаны близким знакомством[5]. Я не помню Блока на горьковской квартире. Их непосредственное общение приходится на более позднее время, на период совместной общественной работы уже в послеоктябрьский период.

В 1919—1920 годах мне не раз приходилось видеть Горького, беседующего с Блоком в издательстве «Всемирная литература» — и в обычной деловой обстановке, и просто так, как любил Алексей Максимович беседовать с кем-либо из приятных ему, интересующих его людей.

Надо сказать, что общение с Блоком в те дни было делом нелегким. Обычно сдержанный, замкнутый, всегда сосредоточенный в себе, чувствующий близкую болезнь и усталость, Блок неохотно вступал в беседы. Очевидно, и с Горьким у него не сразу наладились те отношения, которые позволили ему стать прежним «живым» Блоком. Но таков уж был талант у Алексея Максимовича — редкая способность раскрывать себе навстречу самые замкнутые, сдержанные души! Со свойственной ему чуткостью Горький сумел увидеть в Блоке то, что являлось самым сущест-

венным для поэта в тот трудный для него, переломный период. И Блок не мог не ощущать с чувством глубокой благодарности безмолвную моральную поддержку Горького. Это было видно даже по его лицу, когда он говорил о чем-либо с Алексеем Максимовичем, отойдя несколько в сторону, к высокой нише окна. Строгая, подтянутая фигура Блока во всех своих очертаниях становилась как бы мягче, добрее, а его многим казавшееся «погасшим» лицо словно озарялось изнутри. И прежней голубизной оживали глаза.

Когда после такой беседы приходилось мне возвращаться вместе с Блоком по пустынным улицам тогдашнего Петрограда, он казался и непривычно оживленным, и словно посвежевшим. Редко говорил он непосредственно о Горьком, но, если это случалось, слова его были проникнуты не только привычным уважением. В них было нечто большее.

Утомленный сложностью и нелегкостью своих отношений с людьми, Блок ценил в Горьком способность понимать его в самом существенном для него в ту пору — в стремлении выйти из путаницы сложнейших индивидуалистических переживаний на яркий свет нового мира. Немногие так, как Горький, разгадывали его тогдашнее состояние.

Вспоминается характерный эпизод.

Издательство «Всемирная литература» решило чествовать, в связи с юбилейной датой, своего основателя и руководителя А. М. Горького. Это было в марте 1919 года. Собрались сотрудники и гости, заполнившие до отказа три тесные комнаты в издательстве Гржебина на Невском проспекте. За более чем скромным банкетом, в атмосфере дружеского оживления, произносились бесконечные тосты и речи. Захотел взять слово и обычно молчаливый Блок. Он говорил немного, но очень вдумчиво. Вспоминая литературный путь Горького, рассказал о впечатлении, которое производили его произведения на молодежь девятисотых годов, и кончил тем, что Горькому, писателю двух эпох, как никому другому, удалось услышать «музыку русской жизни» и донести ее до нас, современников великой революции.

Эта речь [6], к удивлению Блока, возбудила во многих недоумение. «Что он хотел сказать этой своей «музыкой»? — перешептывались кругом. Блок опять стал жертвой привычной для него манеры выражать свои мысли

несколько необычно, избегая досадных штампов. Он сразу как-то увял, помрачнел и отошел к окну. Долго и сумрачно глядел он на тяжелый профиль Аничкова дворца.

— Дорогой Александр Александрович, при чем тут музыка? — спросил кто-то.— Вы изволили выразиться довольно туманно.

Блок резко повернулся:

— Простите, но я иначе объяснить ничего бы не мог. Мне хотелось сказать, что Горький — единственный большой русский писатель, который органически связывает наше прошлое и будущее. Он для меня прекрасное воплощение той цельности, которой напрасно и мучительно искало мое поколение. Но я не успел сказать самого главного: это далось ему потому, что он — это народ. А что касается музыки, то без нее ничего нельзя понять из происходящего сейчас в мире. Она была всегда. Но раньше нам было суждено слышать лишь ее отдельные голоса. И может быть, лишь теперь начинаем мы понимать, что революция — это симфония. Симфония народа.

Собеседник не удовлетворился этим ответом. Покинув Блока, он почему-то решил поделиться своим недоумением с Горьким.

Алексей Максимович усмехнулся не без лукавства и прогудел, чуть наклонив голову, в свои мохнатые усы:

— Ну, вы... как бы это сказать... не поняли Блока. Это у него такая привычная манера выражаться. Музыка? Хм... Ну пускай будет «музыка», если ему так больше нравится. Важно не это. А то, что Блок, привыкший почему-то считать себя символистом, связывает эту дорогую для него «музыку» с жизнью народа, с его душой. Вот что достойно внимания и уважения. Да, именно уважения. У Блока и трудный путь, и трудные слова. Но говорит-то он правду. Да-с... Сущую правду, сударь мой!

Далеко не все литераторы-современники пользовались таким сочувственным вниманием Горького.

Мережковского с его исторический трилогией он не признавал вовсе: «Это не литература, а научный реферат, да и то с подозрительными предпосылками» [7]. Эпопею Андрея Белого «Петербург» считал «написанной не по-русски», «пляской святого Витта» [8]. Но он ценил обличительный роман Ф. Сологуба «Мелкий бес» [9], вероятно узнавая в нем знакомые черты погрязшего в мещан-

ской тине городка Окурова. А о футуристах еще в 1916 году говорил так:

— Грубость и хулиганство у них наигранные, поверхностные. В душе это совершенно иные люди, умные, славные ребята [10]. Поверьте, умнее нас. Но мы им надоели, осточертели с нашими моралями и этиками. Они повернулись к нам спиной, но зорко следят за всем, что кругом происходит. На нас им наплевать, и со своей точки зрения они правы, конечно. У них свои мысли, свои чувства. В них ходят какие-то туманы, и, во всяком случае, хорошо то, что глядят они не в прошлое, а в будущее. Скоро неясное им самим станет ясным для всех. От пафоса отрицания они неизбежно перейдут к утверждению. Конечно, далеко не все, но те, кого не удовлетворит эта детская игра в словесные бирюльки. Во всяком случае, в одном из них я уверен. Это — Владимир Маяковский. В его наивности есть настоящая серьезность. Его интересы шире «Литературы»*.

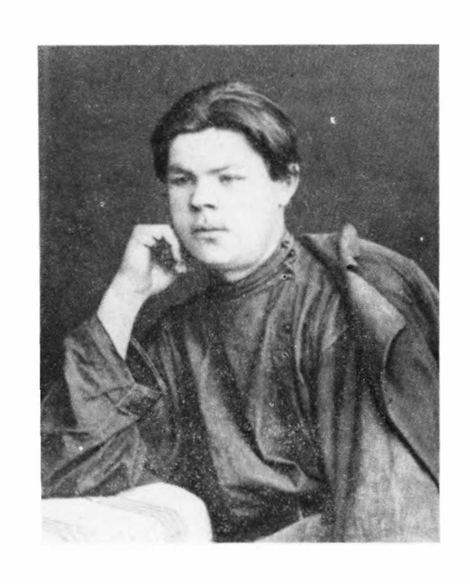
Тема протеста в творчестве Маяковского, его исключительный поэтический темперамент и боевая целеустремленность, постепенно берущая верх над личными мотивами, сразу же стали ясны Горькому по первым же стихам поэм «Флейта-позвоночник» и «Война и мир». Не следует забывать, что именно Горькому обязан Маяковский появлением в свет своей книги «Простое, как мычание», выпущенной горьковским издательством «Парус» в 1916 году. Существовавшие в то время издательства прошли мимо этой замечательной рукописи.

Вот выписка из дневника тех дней (осень 1916 года):

«Алексей Максимович за последнее время носится с Вл. Маяковским. Он считает его талантливейшим, крупным поэтом. Восхищается стихотворением «Флейта-позвоночник»: «Представьте себе, это действительно «флейта» и в то же самое время именно «позвоночник». Совсем как у Гольбейна. Смерть, то есть война, играет на костях». Говорит о размахе Маяковского, о том, что у него «свое лицо»: «Собственно говоря, никакого футуризма нет, а есть только Вл. Маяковский. Поэт. Большой поэт». Восхищаясь им, Алексей Максимович не закрывает глаз и на его недостатки: «Он часто хулиганит. Но это особое

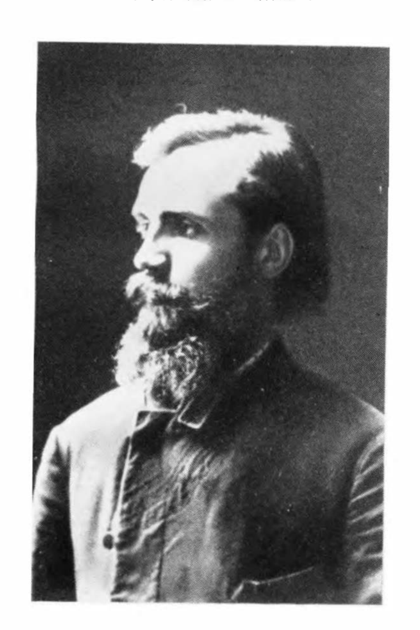
---

* В этом месте, так же как и в других, я пользуюсь не только личными записями и воспоминаниями, но и дневниками Б. Н. Юрковского, относящимися к августу — октябрю 1916 года. *(Примеч. В. А. Рождественского).*

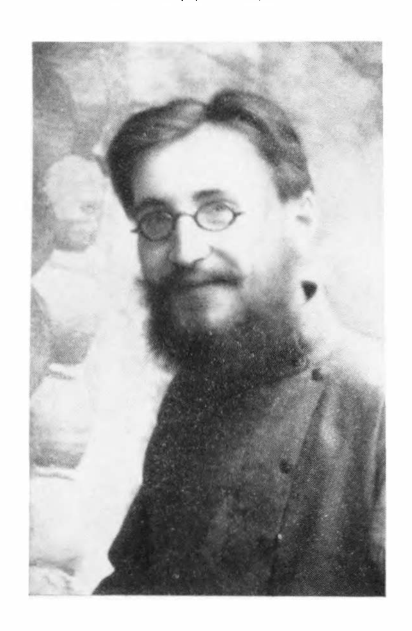


А. М. Пешков. 1887. Первая фотография.

А. М. Калюжный.



В. А. Десницкий.



Вторая булочная А. С. Деренкова. Казань.

А. М. Горький в редакции «Самарской газеты». 1895. Крайний справа — М. Горький.



А. М. Горький с сыном Максимом. Нижний Новгород. 1899. На обороте фотографии дарственная надпись А. П. Чехову: «М. Горький и лучшее из его произведений».

Дом в Арзамасе, где А. М. Горький жил летом 1902 г. На обороте фотографии надпись рукою Горького: «Арзамас. Дом, где Г. жил под надзором полиции. Надзор, как видно по снимку, осуществлялся».



А. М. Горький. Нижний Новгород. 1899.

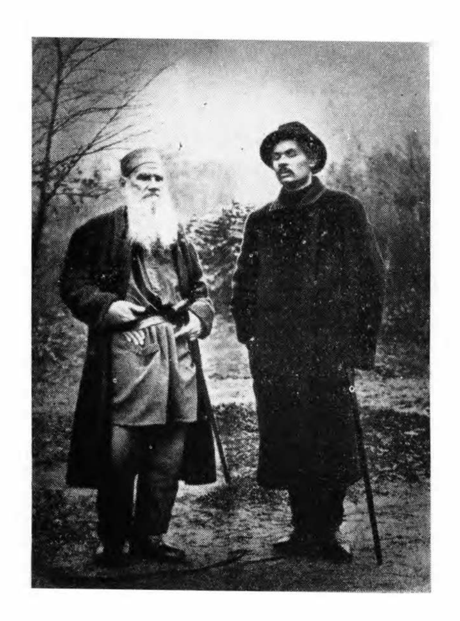
А. М. Горький среди детей бедноты на новогодней елке. Нижний Новгород. 1901.



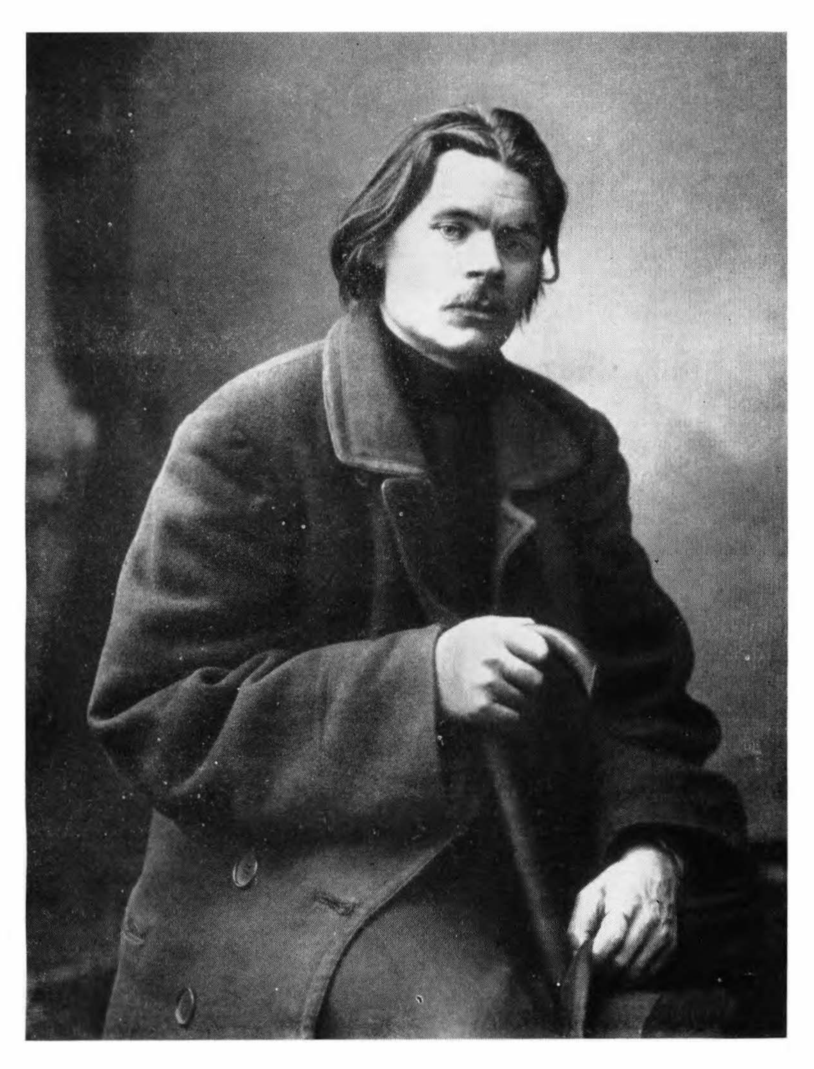
А. М. Горький и Ф. И. Шаляпин. Нижний Новгород. 1901. На фотографии автограф Шаляпина: «Как бы желал я, дорогой мой Алексей Максимович, быть с тобой всегда вместе, не только здесь на земле, но и там...... где вечность и жизнь бесконечная. «Люблю» — вот все, что я тебе скажу. М. Горькому. Ф. Шаляпин. Н. Новгород. 30/VIII—901».



А. П. Чехов. На фотографии автограф: «Милому другу Максиму Горькому. Антон Чехов. Ялта. 4 января 1902 г.»



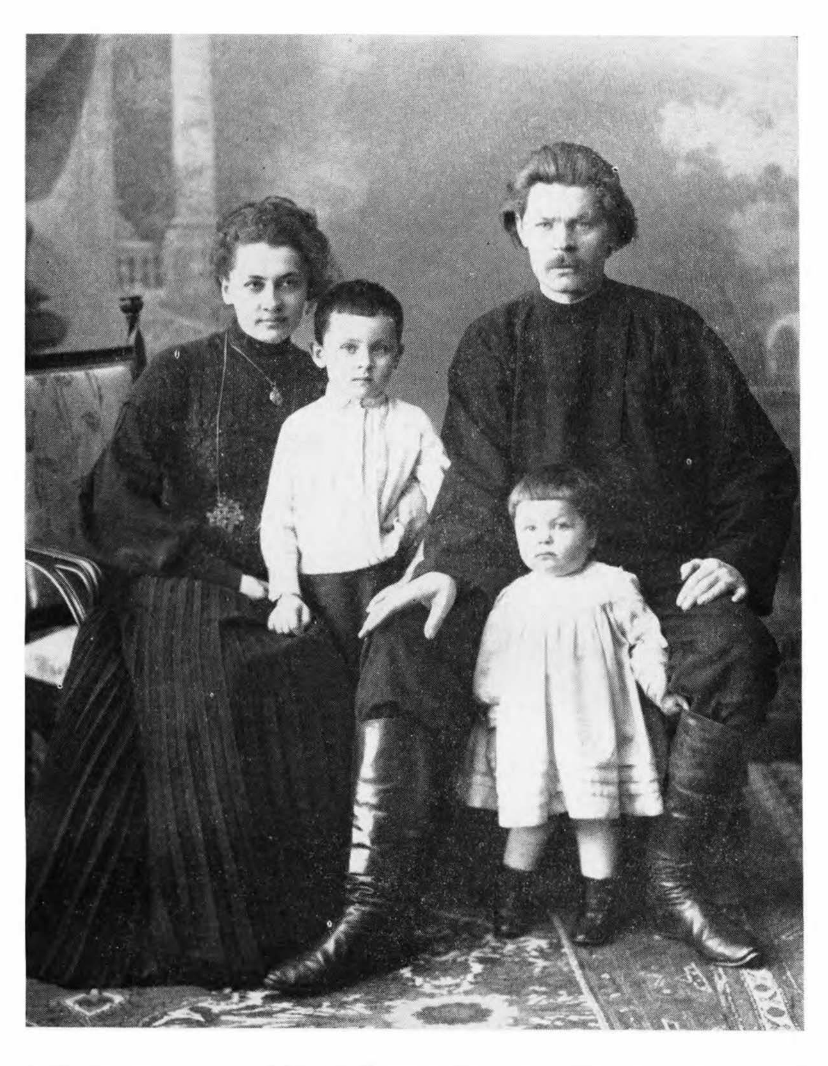
Л. Н. Толстой и А. М. Горький
Ясная Поляна. 1900.



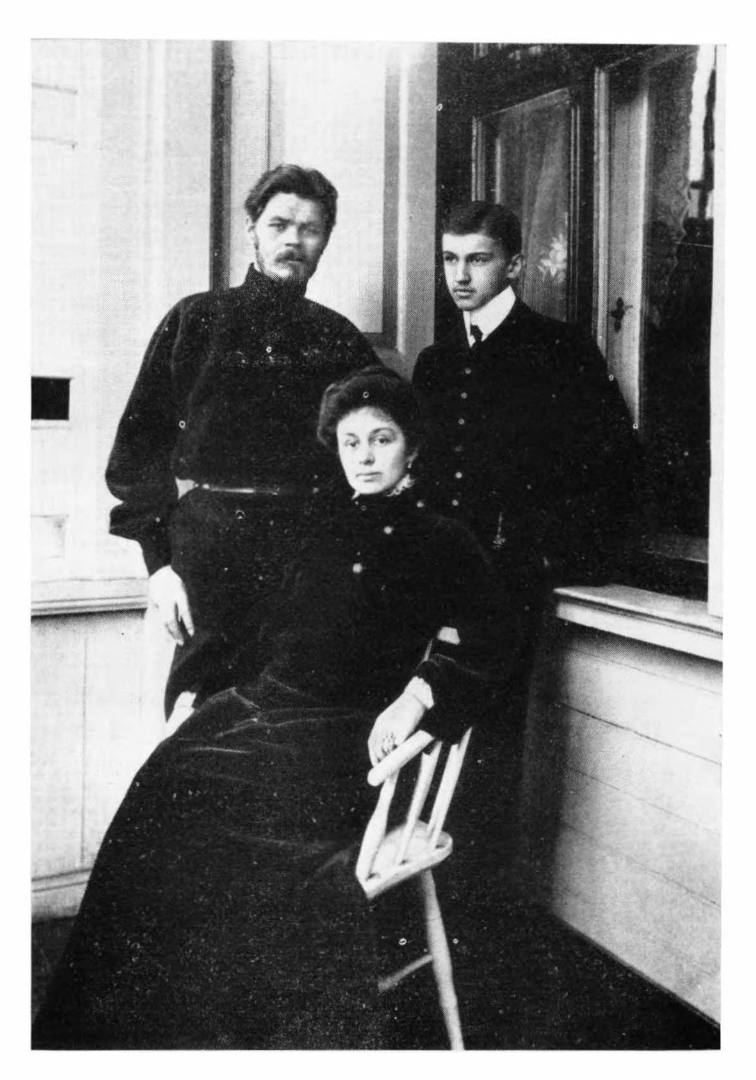
А. М. Горький. Нижний Новгород. 1901.

Группа литературного кружка «Среды». Москва. 1902. Слева направо: Скиталец (С. Г. Петров), К. П. Пятницкий, Л. Н. Андреев, А. М. Горький, Н. Д. Телешов, Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин, Е. Н. Чириков.

А. М. Горький, В. В. Стасов и И. Е. Репин в Куоккале (ныне Репино Ленинградской обл.). 1904.



А. М. Горький с женой Е. П. Пешковой, сыном Максимом и дочерью Катюшей. Нижний Новгород. 1903.



А. М. Горький, М. Ф. Андреева и Ю. А. Желябужский.
Рига. 1905.



А. К. Заломова, мать П. А. Заломова. Прототип Ниловны в романе М. Горького «Мать».

Ж. Э. Гашер — невеста, а затем жена П. А. Заломова. Одна из прототипов Сашеньки в романе «Мать».



П. А. Заломов — прототип Павла Власова в романе «Мать».



Вилла «Соммер брук», где А. М. Горький работал над романом «Мать». Адирондакс (Америка). 1906.

А. М. Горький наблюдает за работой рыбаков на набережной Неаполя. 1906.



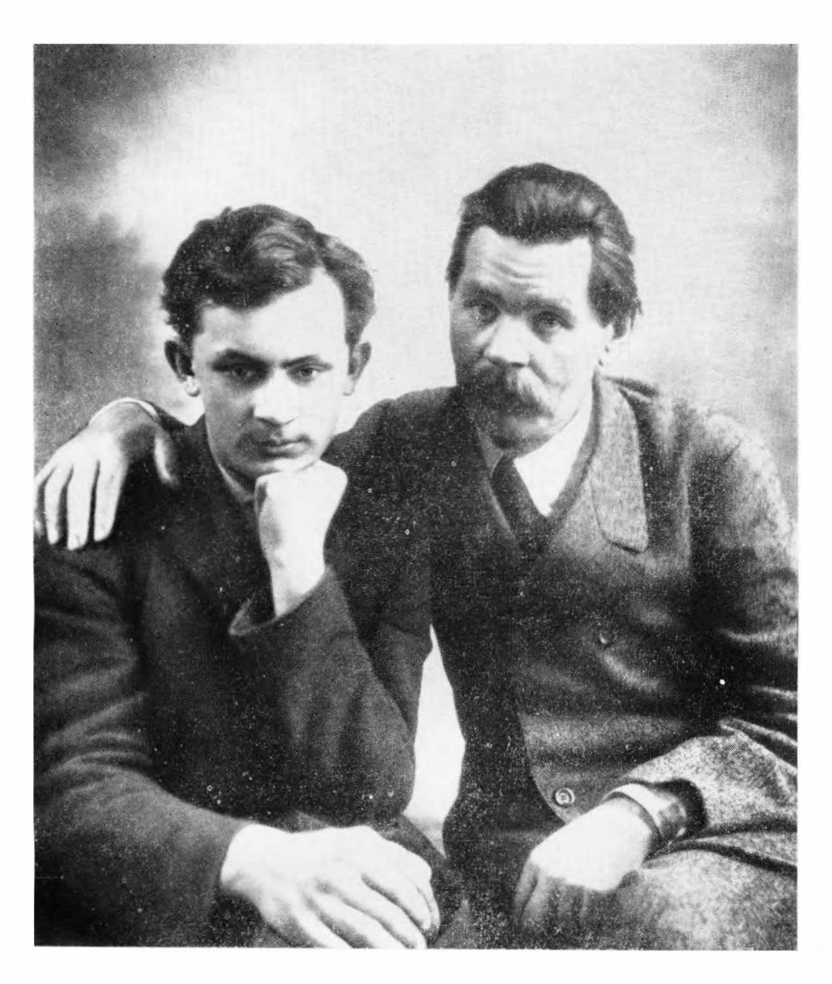
В. И. Ленин у А. М. Горького на Капри. 1908.

Художники в гостях у А. М. Горького. Капри. 1910. Слева направо: Я. М. Павлов, Н. А. Шлейн, Г. Попович, И. И. Бродский, А. М. Горький, С. М. Прохоров, И. Я. Дмитриев-Челябинский, М. В. Печаткин. Внизу на паспарту автографы художников и дарственная надпись: «Глубокоуважаемому Алексею Максимовичу Горькому художники-почитатели».




Каприйский учитель Энрико и его сестра Кармела исполняют тарантеллу. Капри. 1908.

Капри. Марина Гранде.



А. М. Горький с сыном М. А. Пешковым. Париж. 1912.



В. А. Серов. Портрет А М. Горького Москва. 1905.

хулиганство. От застенчивости. Представьте себе, что это так. Маяковский болезненно чуток, самолюбив и обидчив, а потому ему и свойственно прикрываться дикими выходками. Но все это пройдет, как только он почувствует, что его слушают, что ему есть к кому обратить свое слово».

Осень 1916 года, последняя предреволюционная осень, особенно была богата литературными беседами, спорами, чтением неизданных рукописей. У Горького бывало много народу, и среди других — суховатый, несколько манерный И. А. Бунин, малоподвижный, чего-то всегда стесняющийся А. И. Куприн.

Чем ближе подходил к концу 1916 год, тем явственнее ощущалась в воздухе надвигающаяся лавина каких-то еще небывалых событий. Утренняя почта приносила письма и газеты, которые каждый развертывал с безотчетной и острой тревогой. Полнее всего выразил это чувство в одном из своих стихотворений Блок:

Что-то в мире происходит...
Утром страшно мне раскрыть
Лист газетный... [11]

Было ли оно смутным предчувствием грядущих потрясений? Блок говорил со свойственной ему символистической неопределенностью, Маяковский, жадно вглядываясь в будущее, назначал точные календарные сроки:

...В терновом венце революций
Грядет шестнадцатый год... [12]

Алексей Максимович меньше работал в эти дни, но газеты читал внимательно и долго. Я видел его уже реже, потому что сам тогда носил солдатскую шинель и проходил тяжелую военную учебу на Крестовском острове. Встретились мы только в первые дни Февральской революции, когда я подъехал на ощетиненном штыками грузовике вместе с солдатами своего взвода к подъезду кронверкского дома. Алексей Максимович был непривычно оживлен, подвижен, но не обнаруживал особой, стихийной, тогда всем свойственной восторженности и встречал чью-нибудь слишком эмоциональную фразу многозначительными словами:

— Погодите. Это не конец. Это только начало!

Одно только упоминание о Временном правительстве вызывало его тонкую усмешку.

Отчетливо запомнилась мне такая сцена.

На выцветшем от жары июльском небе распластанное маленькое рваное облачко. Тускло поблескивает Петропавловский шпиль над мутноватой зеленью парка. Тускло отсвечивает слева глянцевитый изразцовый минарет мечети [13]. У Алексея Максимовича гости. Мы сидим на узеньком балкончике. Прямо под нами, поднимая пыль, движется пестрая возбужденная толпа. Люди идут, спорят на ходу, останавливаются кучками. Больше всего толпятся у входа в полотняный цирк «Модерн» (обычное место тогдашних митингов и летучих собраний). Отчаянно звоня, трамваи с трудом очищают себе дорогу. Невероятный гул стоит над улицей. Мы наблюдаем сверху за этим людским потоком и жадно ловим слабое дыхание свежести, долетающее с Невы.

На балконе идет бесконечно тягучий спор.

Горький, скрипнув стулом, поворачивается к собеседнику — толстому либеральному профессору, безвестно впоследствии погрязшему в эмигрантском болоте.

— Вы говорите, народ — это загадка? А по-моему, никакой загадки нет. Погодите, он еще скажет слово.

— Какое же слово, Алексей Максимович? — недоумевает профессор.— Трон опрокинут. Революция совершена, и теперь остается...

— Вот именно «остается»...— прервал профессора Алексей Максимович и хитро прищурил глаза. По его лицу разбежалась сеть мелких морщинок.— Революция, уважаемый, только теперь и начинается.

— Как? Как? — изумился профессор.

Но Алексей Максимович уже не слушает его. Он встает во весь рост и говорит медленно, веско, указывая куда-то в пространство своей потухшей трубкой:

— Вон там, у заводских застав, еще скажут это последнее слово. И скажут именно так, как того хочет народ.

Иногда я забегал в гостеприимный дом на Кронверкском, да и то на краткое время. Но мне помнится, как живо расспрашивал Алексей Максимович о настроении казармы, об успехах большевиков в солдатских рядах.

Однажды я пригласил его на открытие первого в городе солдатского театра на Крестовском острове. Он охотно согласился поехать со мной, тем более что давали его пьесу «На дне». Когда мы отправились на медлительном извозчике в далекий путь, Горький был необычайно

оживлен и всю дорогу не прекращал беседы. Стоял душный летний день, ветер подхватывал пыль и нес ее вдоль замусоренных улиц городской окраины. Посеревшая, сморщенная зелень тяжело свешивалась над кривыми заборами деревянных домишек.

Мы подъехали к чахлому саду, в глубине которого, уже окруженная гудящей солдатской толпой, высилась наскоро сколоченная сцена. Занавес был сделан из грубошерстных интендантских одеял. И на них было вышито восходящее солнце.

Присутствие автора пьесы, скоро ставшее известным за кулисами, воодушевило доморощенных актеров. Играли они с необычайным подъемом. Алексей Максимович с интересом следил за всем происходящим на подмостках, но с еще большим любопытством приглядывался к публике, не стеснявшейся громко и непринужденно выражать свое одобрение. В антракте мы пошли к актерам. Исполнители плотным кольцом обступили Горького. Он снял шляпу, провел ладонью по седеющему ежику волос и откашлялся. Все молча ждали, что он скажет.

— Вот, друзья,— начал Горький,— много раз видел я эту пьесу, и на самых различных сценах. Играли ее, конечно, лучше, чем играете вы, это само собой понятно. Но суть сейчас не в этом. Суть в том, что в вашем исполнении слышу я подлинную правду. Все вы поняли, что́ я хотел сказать о той мерзостной подвальной жизни, в которой живут и движутся мои герои. Много меня в свое время упрекали за то, что я будто бы любуюсь этой особой породой людей, которая живет на самом дне общества человеческого. И не замечали самого главного. Живут люди мерзко, дышат гнилью и сыростью, но у каждого из них есть своя мечта, уверенность в том, что жизнь должна быть лучше. Это не «философия со сцены». Нет, совсем нет! Это правда. Без мечты не может жить человек. Сейчас она близка к нам. Но не думайте, что легко будет взять ее в руки. Еще долог и труден путь. Будьте же мужественны, чтобы идти к цели до конца!

Дружным, горячим взрывом аплодисментов были покрыты слова Горького. Распахнулся занавес, и к приветствию актеров присоединился весь обширный амфитеатр.

Домой мы ехали молча.

Занятый военной службой, в последующие два года я все реже мог видеть А. М. Горького. Мою часть пере-

вели на фронт, правда близкий, обороняющий Петроград. Только после окончательного разгрома банд Юденича удалось мне вернуться в родной город и возобновить занятия в университете.

Помнится одна из встреч с Горьким в то время, когда только рождалась Красная Армия.

Осень 1918 года была мутной и холодной. Летний сад осыпал последние ржавые листья. Дул влажный ветер с залива, и Нева, нехотя набухая, тяжело переваливала гривастые волны. Мы идем через Троицкий мост[14] к Марсову полю, идем молча, с трудом преодолевая бьющую нам в лицо колкую изморось. Алексей Максимович поднял воротник пальто, низко нахлобучил шляпу. Я едва поспеваю за его быстрыми, широкими шагами, и мне все время видна его сутулая, словно ежащаяся от сырости спина. Навстречу нам по горбизне моста поднимается взвод красноармейцев. Алексей Максимович хочет что-то сказать, но я делаю ему знак рукой (дома им дано торжественное обещание не раскрывать рта на ветру, чтобы не схватить губительной для его легких простуды). Он улыбается одними глазами.

Красноармейцы подходят все ближе и ближе. Когда их первый ряд равняется с нами, Горький вдруг останавливается, вытягивается во весь рост и быстрым движением подносит сухие длинные пальцы к широким полям своей шляпы. Это жест военного приветствия.

Кое-кто из проходящих недоуменно оглядывает с головы до ног его странную, необычную фигуру. Некоторые готовы рассмеяться. Но командир взвода — плотный, скуластый парень — серьезно, сосредоточенно сам берет под козырек, ничуть не удивляясь приветствию странного худощавого прохожего в старомодной черной одежде. Он, конечно, не знает, что перед ним Максим Горький. Красноармейцы «дают ногу», и весь взвод проходит мимо Горького, словно на параде. Алексей Максимович снимает шляпу, поворачивается им вслед и долго смотрит на удаляющиеся последние ряды. Ветер порывисто треплет концы его развевающегося серого шарфа, а он все стоит, молча и сосредоточенно. Теплая улыбка блуждает где-то в кончиках его повисших усов.

Повеяло холодной сыростью с Невы. Горький плотнее запахнул пальто, нахлобучил шляпу. И мы, преодолевая ветер, зашагали дальше. ⟨...⟩

# П. И. НЕРАДОВСКИЙ

## ⟨ВОСПОМИНАНИЕ О ГОРЬКОМ⟩

⟨...⟩ В семье Комаровских, которые были потомками поэта Веневитинова, хранились семейные реликвии поэта. Между прочим, его портрет в профиль, сделанный гуашью неизвестным художником, и портреты его близких, исполненные О. Кипренским, К. Брюлловым, Ф. Бруни, П. Соколовым, а также чудесный альбом автографов, принадлежавший Анне Евграфовне Шиповой (Комаровской), с многими автографами знаменитых людей восемнадцатого и первой половины девятнадцатого века, русских и иностранцев; стихотворения: Виктора Гюго, Пушкина, Жуковского, Языкова — стихотворение «Элегия», переписанное Гоголем, Крылова — басня «Ручей»; письма П. А. Вяземского, А. В. Суворова, И. И. Дмитриева, М. Н. Загоскина, Шатобриана, Гумбольдта, Бальзака; записки: мадам де Сталь, Мейербера, Г. Р. Державина, Дениса Давыдова, Карла Брюллова, Н. М. Карамзина и другие.

Художник В. А. Комаровский, последний владелец этих вещей, кажется, в 1918 году обратился ко мне с просьбой помочь ему продать Пушкинскому дому или другому подобному же учреждению этот альбом автографов, который ранее был описан хранителем Пушкинского дома Б. Л. Модзалевским. Это описание альбома с его статьей было напечатано в издании «Пушкин и его современники» [1].

Известный тогда петербургский антиквар М. М. Савостин, работавший в антикварной комиссии, подал мне мысль показать альбом Горькому [2]. А я знал, что Горь-

кий приобретает у художников картины, знал, что он собирал их для Нижегородского музея. Я знал также, что Алексей Максимович собирает античные монеты, но был очень удивлен, когда однажды увидел у него на квартире большое количество предметов русской старины, показанное мне художницей В. М. Ходасевич и ее мужем. Там я видел коллекцию старинных русских вышивок бисером и другие коллекции старинных предметов русского прикладного искусства. А потому я так и сделал, как посоветовал мне Савостин.

В условленный день и час я был у Алексея Максимовича в его квартире на Кронверкском проспекте (ныне проспект Максима Горького). Я вошел через кухню, как тогда было заведено, где толстая кухарка готовила на плите обед. Меня провели в небольшую узкую комнату в одно окно, служившую Алексею Максимовичу спальней. Он был болен и полулежал в постели. На одеяле лежали книги. Горький отложил книгу, которую читал, и после нескольких слов приветствия я передал ему принесенный альбом. Взяв его у меня, он начал его перелистывать, а немного спустя, углубляясь в его рассматривание, с умилением покачивая головой и улыбаясь, читал особенно понравившиеся ему автографы. Иногда, перевернув страницу, сосредоточенно вчитывался, а дойдя до стихотворения «Муза», написанного в альбом самим Пушкиным, просиял. Чтение его здесь сопровождалось восклицаниями разных оттенков, при этом он слегка откашливался от спазм, сжимавших его горло...

— Как это прелестно! Как это прелестно! — повторял Алексей Максимович, покачивая головой, и, отрываясь от альбома, говорил мне: — Чудесно! Какая интересная вещь!

Просмотр альбома продолжался довольно долго.

А я смотрел на освещенное рефлексом от белой бумаги лицо Горького, которое мне было видно из-за раскрытого альбома, и наблюдал, как на его лице менялись выражения.

Моя миссия кончилась тем, что Горький сказал мне:

— Нужно, чтобы альбом этот был в Пушкинском доме. Это необходимо, знаете... Я приобрету альбом,— немного еще подержу его у себя, посмотрю его и передам. Это непременно, непременно. Какая прелестная вещь!

Я недолго еще беседовал с Алексеем Максимовичем, сидя у его постели. Он мне рассказал, между прочим,

что художник Чехонин делал с него миниатюрный портрет (помнится, на пергаменте) [3].

— Знаешь, неплохо, неплохо, правда, не совсем похоже... Я так и позировал ему здесь, сидя в постели... Беда! Доктор не велит вставать. Скучно это, но приходится слушаться.

Альбом был приобретен Горьким и передан им в Пушкинский дом к большому удовольствию его сотрудников, а также и самого Алексея Максимовича, которому эта покупка и принесение альбома в дар Академии наук доставляли большое удовольствие.

В 1929 году, направляясь в Москву из-за границы, Горький остановился в Ленинграде. С сыном и его женой он пришел в Русский музей [4]. Осматривали весь музей, обходя по порядку все залы. Останавливались, если какая-либо картина или статуя привлекала внимание. Иногда я указывал на пропущенные, незамеченные картины Венецианова или его учеников, Федотова и других художников и рассказывал о них. У передвижников я обратил внимание Алексея Максимовича на маленькую картину Морозова «В летний день». Она висела в нижнем ряду. Алексей Максимович нагнулся и начал всматриваться в нее, затем подозвал своих спутников и, показывая им картину, сказал:

— Посмотри, Максим, как хорошо, и как просто взято... Как передано настроение летнего жаркого дня.

Проходя мимо статуй, Горький остановился и стал рассказывать о выставке Коненкова в Риме в декабре прошлого года.

— Эта выставка пользовалась там большим успехом. Мне рассказывали, что она была очень интересная. Коненков меня звал, но я не мог поехать в Рим.

Мне помнится, Алексей Максимович особенно хвалил бюст Илэны Серра Каприола [5].

— Это замечательная работа Коненкова. Она сделана из мрамора и с большим мастерством. На выставке была также статуя Коненкова, которую он назвал «Пророк». Это изображение Христа. Мне говорили, что она не производит впечатления, хотя от нее и нельзя отнять то, что она оригинально трактована.

И Алексей Максимович, заканчивая свой рассказ, добавил:

— Коненков — мастер, да он и выделяется среди современных скульпторов.

Когда окончили осмотр музея, прощаясь, я передал уже в вестибюле музея всем трем посетителям по комплекту изданий Русского музея. Но Алексей Максимович, возвращая мне два комплекта книг, сказал:

— Мы живем все вместе — книги у нас общие. Спасибо — нам довольно одного экземпляра.

# К. И. ЧУКОВСКИЙ

## ГОРЬКИЙ

⟨...⟩ Горького я впервые увидел в Петрограде зимою девятьсот пятнадцатого года. Спускаясь по лестнице к выходу в одном из громадных домов, я засмотрелся на играющих в вестибюле детей.

В это время в парадную с улицы легкой и властной походкой вошел насупленный мужчина в серой шапке. Лицо у него было сердитое и даже как будто злое. Длинные усы его обледенели (на улице был сильный мороз), и от этого он казался еще более сердитым. В руке у него был тяжелый портфель огромных, невиданных мною размеров.

Детей звали спать. Они расшалились, не шли. Человек глянул на них и сказал, не замедляя шагов:

Даже кит
Ночью спит!

В эту секунду вся его угрюмость пропала, и я увидел горячую синеву его глаз. Взглянув на меня, он опять насупился и мрачно зашагал по ступеням.

Позже, когда я познакомился с ним, я заметил, что у него на лице чаще всего бывают эти два выражения.

Одно — хмурое, тоскливо-враждебное. В такие минуты казалось, что на этом лице невозможна улыбка, что там и нет такого материала, из которого делаются улыбки.

И другое выражение, всегда внезапное, всегда неожиданное: празднично-застенчиво-умиленно-влюбленное. То есть та самая улыбка, которая за секунду до этого казалась немыслимой.

Я долго не мог привыкнуть к этим внезапным чередованиям любви и враждебности. Помню, в 1919 или 1920 году я слушал в Аничковом дворце его лекцию о Льве Толстом [1]. Осудительно и жестко говорил он об ошибках Толстого, и чувствовалось, что он никогда не уступит Толстому ни вершка своей горьковской правды. И голос у него был недобрый, глухой, и лицо тоскливо-неприязненное. Но вот он заговорил о Толстом как о «звучном колоколе мира сего», и на лице его появилась такая улыбка влюбленности, какая редко бывает на человеческих лицах. А когда он дошел до упоминания о смерти Толстого, оказалось, что он не может произнести этих двух слов: «Толстой умер»,— беззвучно шевелит губами и плачет. Так огромна была нежность к Толстому, охватившая его в ту минуту. Слушатели — несколько сот человек — сочувственно и понимающе молчали. А он так и не выговорил этих слов: покинул кафедру и ушел в артистическую. Я бросился к нему и увидел, что он стоит у окна и, теребя папироску, сиротливо плачет о Льве Николаевиче. Через минуту он вернулся на кафедру и хмуро продолжал свое чтение.

Впоследствии я заметил, что внезапные приливы влюбленности бывают у Горького чаще всего, когда говорит он о детях, о замечательных людях и книгах.

Перебирая книги в своем кабинете на Кронверкском проспекте (в Ленинграде), он каким-то особенным, почтительным и ласкающим жестом брал с полок то ту, то другую книгу и говорил о ней певуче и страстно, гладя ее, как живую: о Кирше Данилове (которого он знал наизусть), о «Плачах» Барсова, о тимирязевской «Жизни растений», о «Русской истории» Ключевского, о «Калевале» [2], о «Мадам Бовари» [3].

К нам, сочинителям книг, он относился с почти невероятным участием, готов был сотрудничать с каждым из нас, делать за нас черную работу, отдавать нам десятки часов своего рабочего времени, и, если писание наше не клеилось, мы знали: есть в СССР переутомленный, тяжко больной человек, который охотно и весело поможет не только советами, но и трудом.

Лично я пользовался его помощью множество раз, эксплуатируя, как и другие писатели, его кровную заинтересованность в повышении качества нашей словесности. ⟨...⟩

В сентябре 1918 года Горький основал в Петрограде издательство «Всемирная литература». Руководить этим издательством должна была «ученая коллегия экспертов», первоначально из девяти человек. В качестве «специалиста по англо-американской словесности» вошел в эту коллегию и я. Сперва редакция наша ютилась в тесноватом помещении на Невском (№ 64), невдалеке от Аничкова моста (бывшая редакция газеты «Новая жизнь»), но к зиме переехала в великолепный особняк на Моховой (№ 36), с мраморной лестницей, с просторными и светлыми комнатами. Мы собирались по вторникам и пятницам вокруг длинного стола, покрытого красным сукном, и под председательством Алексея Максимовича тщательно обсуждали те книги, которые надлежало выпустить в ближайшие годы. Горького захватила широкая мысль: дать новому, советскому читателю самые лучшие книги, какие написаны на нашей планете самыми лучшими авторами, чтобы этот новый читатель мог изучить мировую словесность по лучшим переводным образцам. К зиме наша коллегия разрослась, и мы с удесятеренными силами принялись за работу, чтобы возможно скорее поставить на рельсы многосложное дело.

Словесность чуть не каждой страны имела в нашей коллегии своих представителей. Индийцы были представлены академиком Ольденбургом. Арабы — академиком Крачковским. Китайцы — академиком Алексеевым. Монголы — академиком Владимирцевым. Александр Блок вместе с двумя профессорами-германистами ведал германскую словесность, Николай Гумилев вместе с Андреем Левинсоном — французскую. Я с Евгением Замятиным — англо-американскую. Акиму Волынскому была вверена словесность итальянская. Директором издательства был Александр Николаевич Тихонов (Серебров), многолетний сотрудник Горького и близкий ему человек.

Каждый из них делал доклады по своей специальности. Гумилев тогда же написал в мою книгу «Чукоккалу»: [4]

Уже подумал о побеге я,
Когда читалась нам Норвегия,
А ныне пуще страдания:
Рассматривается Испания.
Но, к счастью, предстоит нам далее
Моя любимая Италия.

В течение нескольких лет мы вели эту работу под председательством Горького, и тут впервые для меня

обнаружились такие его черты, о которых я и не подозревал до тех пор.

Раньше всего оказалось, что он первоклассный знаток иностранной словесности. В публике издевались: «Пролетарий, не знает ни одного языка, а председательствует в ученой коллегии!» Но этот пролетарий оказался ученее иного профессора. О ком бы ни заговорили при нем — о Готорне, Вордсворте, Шамиссо или Людвиге Тике,— он говорил об их писаниях так, словно изучал их всю жизнь, хотя часто произносил их имена на нижегородский манер. Назовут, например, при нем какого-нибудь мелкого француза, о котором никто никогда не слыхал, мы молчим и конфузимся, а Горький говорит деловито:

— У этого автора есть такие-то и такие-то вещи. Эта слабовата, а вот эта (тут он расцветает улыбкой) отличная, очень сильная вещь.

Второй неожиданной чертой его личности оказалось его безжалостное, я бы сказал — свирепое отношение к себе. Многие со стороны полагали, что он у нас лишь номинальный председатель, а между тем он был чернорабочий, не брезговавший самым невзрачным и нудным трудом. После каждого заседания он уносил с собою полный портфель чужих рукописей, которые мы просили его «просмотреть», но он не только «просматривал» их, а все перерабатывал заново, до неузнаваемости исчеркивал каждую рукопись своими поправками.

С удивлением разглядывали мы эти рукописи. Иногда в них сотни страниц, требующие многодневной работы. Все плохое аккуратно вычеркнуто синим карандашом, и над каждой неудачной строкой лепятся старательные, отрывистые и четкие буквы, которые так характерны для почерка Горького. И в каждую такую рукопись вложена написанная его рукою рецензия — результат столь же большого труда.

Естественно, что едва только мы увидели, как беспощадно он относится к себе, мы старались оградить его от подобной поденщины, но это не удавалось почти никогда, особенно если дело шло о так называемой «народной» серии книг, предназначенной для широких читательских масс. «Народную серию» Горький принимал к сердцу ближе всего остального и требовал, чтобы мимо него не проходила ни одна из этих книг. Иногда, чтобы выбрать для маленького томика семь или восемь наиболее подходящих рассказов какого-нибудь иностранного автора,

он прочитывал вдесятеро больше, чуть не все собрание его сочинений.

Но всего примечательнее в его тогдашней работе была ее чудесная веселость. Он делал работу как бы шутя и играя. Когда мы, писатели и профессора, собрались впервые по его приглашению за общим столом, мы конфузились и чувствовали себя словно связанные. И он вначале тоже все больше молчал. Профессора были помпезны и чопорны, а писатели мрачны и как будто обижены. Но вот однажды, после нескольких предварительных встреч, среди заседания, которое шло напряженно и туго, он вдруг засмеялся и сказал виновато:

— Прошу прощения... ради бога, извините.

И опять засмеялся.

— Я ни об ком из вас... это не имеет никакого отношения к вам. Просто Федор * вчера вечером рассказывал... ха, ха, ха... я весь день смеюсь... ночью вспомнил и ночью смеялся... как одна дама в обществе вдруг вежливо сказала: «Извините, пожалуйста, не сердитесь, я сейчас заржу»,— и заржала, как лошадь, а за нею другие, кто робко, кто гневно... Удивительно это у Федора вышло.

Шутка Горького рассмешила и сблизила нас. Мы заговорили между собой по-другому.

Горький ввел эту дружественную шутливость в систему наших совместных работ. Впоследствии, когда мы сблизились с ним более тесно, у нас установился обычай: после всякого заседания, если он никуда не спешил, он усаживался у камина и, подтянув выше колен свои высокие белые валенки и сунув в них руки, начинал по случайному поводу рассказывать нам какую-нибудь историю из собственной жизни. Начинал конфузливо, в усы, обращаясь к одному из нас, чаще всего к академику Ольденбургу или к профессору Батюшкову, но потом оживлялся и рассказывал с большим одушевлением. Помню, Александр Блок любил эти рассказы и всегда вспоминал их, когда мы возвращались домой. ⟨...⟩

Столько души вкладывал он в будничную, мелочную работу, что у него не хватало минуты для творчества. А между тем «Всемирная литература» в ту пору была для

* Шаляпин. *(Примеч. К. И. Чуковского.)*

него далеко не единственным делом. Вскоре он затеял обширную организацию Дома ученых и создал ряд театральных и литературных предприятий, к участию в которых привлек и нас, «всемирных литераторов». Часто бывало так, что до заседания «Всемирной» мы заседали с ним в качестве «Правления Союза художественных деятелей» или в качестве «Секции исторических картин», а после заседания «Всемирной», не сходя с места, превращались (за тем же столом) в «Высший совет Дома искусств», и во всех этих организациях Горький опять-таки не только председательствовал, но и делал черную работу, отнимавшую у него столько часов, что зачастую было непонятно, когда же выкраивает он время для сна и еды.

При такой нечеловеческой нагрузке он за все эти три года ни разу не дал себе отдыха.

Хотя в девятнадцатом году он выхлопотал дачи для писателей на Ермоловке близ Сестрорецка и сам одно время хотел поселиться на даче, но так захлопотался с Домом ученых, что ни разу за все лето не покинул раскаленного города. На следующее лето то же самое: хотел уехать в Павловск на три дня, но произошли какие-то пертурбации в Доме ученых, и он остался в Петрограде,— так и трех дней не отдохнул за весь год.

Однажды он задал нам задачу: составить для издательства Гржебина [5] список «Ста лучших русских книг, вышедших в девятнадцатом веке». Обсуждение этого списка вызвало у нас много споров.

Когда заговорили о Загоскине и Лажечникове, Горький сказал:

— Не люблю. Плохие Вальтер Скотты.

Когда заговорили о Василии Слепцове, к которому Горький всегда относился с любовью, он вспомнил, что Лев Толстой, читая один из слепцовских рассказов («Ночлег»), отозвался о сцене на печи:

— Похоже на моего «Поликушку», только у меня хуже.

Знания Горького оказались и в этой области больше тех, какие мы предполагали у него. Кто-то, например, упомянул о «малоизвестном писателе» Вельтмане. Обнаружилось, что Горький не только превосходно знаком с этим «малоизвестным писателем», но помнит даже, в котором году в «Отечественных записках» появился роман его жены или дочери Елены Вельтман «Приключения Густава» [6]. Оказалось, что никто из нас романа не читал.

На следующий день Горький принес эту книгу и подарил мне:

— Стоящая книга. Солидная. Привлечен большой исторический материал...

В другой раз принес Замятину «Владимирку и Клязьму» Слепцова:

— Прочтите! Капитальная вещь — и чертовски талантливая!

У большинства самоучек знания поневоле клочковатые. Сила же Горького заключалась именно в том, что все его литературные сведения были приведены им в систему. Никаких случайных, разрозненных мнений его ум вообще не выносил, он всегда стремился к классификации фактов, к распределению их по разрядам и рубрикам. Во время совместной работы над списками русских писателей я убедился, что Горький не только лучше любого из нас знает самые темные закоулки русской литературной истории (знает и Воронова, и Платона Кускова, и Сергея Колошина!), но до тонкости разбирается в «течениях», «направлениях», «веяниях», которые и делают историю литературы историей. Байронизм, натурализм, символизм — вообще всевозможные «измы» были досконально изучены им.

Как это ни странно, некоторых тогдашних писателей даже раздражала огромная его эрудиция. Один из них говорил мне еще до того, как я познакомился с Алексеем Максимовичем:

— Думают: он буревестник... А он — книжный червь, ученый сухарь, вызубрил всю энциклопедию Брокгауза, от слова «Аборт» до слова «Цедербаум».

Эти люди не хотели понять, что первым истинно революционным поэтом может быть лишь писатель величайшей культуры, образованнейший человек своего поколения, что одного «нутра», одной «стихийности» здесь недостаточно.

Книг он читал сотни по всем специальностям — по электричеству, по коннозаводству и даже по обезболиванию родов,— и нас всегда удивляло не только качество усваиваемых им элементов культуры, но и самое количество их. В день он писал такое множество писем, сколько иной из нас не напишет в месяц. А сколько он редактировал журналов и книг! И как самоотверженно он их редактировал! К стыду моему, должен сказать, что когда в шестнадцатом году один начинающий автор принес

мне свое сочинение, написанное чрезвычайно безграмотно, я вернул ему его рукопись как безнадежную. Он снес ее к Горькому. Горький сказал мне через несколько дней:

— Свежая, дельная, хорошая вещь.

Я глянул в эту рукопись: почти каждая строка оказалась зачеркнутой, и сверху рукою Горького написана новая.

— Жаден я на редактуру! — сказал Горький кому-то при мне.

Эта жадность доходила порою до страсти; всякую книгу, какая попадалась ему на глаза, он хотел не только прочитать, но по возможности переделать, исправить. Красно-синий карандаш был у него всегда наготове, и я видел в двадцатом году, как он, читая только что полученное от одного литератора ругательное письмо, написанное сумбурным неврастеническим слогом, машинально выправил это письмо: ругательства остались, но запутанная фразеология заменилась отчетливой.

Даже когда читал он газеты, он, сам не замечая того, нет-нет да и поправит карандашом не понравившийся ему оборот в мелкой репортерской заметке — до такой степени его творческой личности было чуждо пассивное отношение к читаемому.

Как-то он взял у меня грузную рукопись — чьи-то переводы рассказов английского писателя Джерома. Я просил его бегло перелистать их, не годятся ли они для «Всемирной». Он же тщательно отделал всю рукопись, всю испещрил ее своими поправками, а в конце написал: «Не годится». 〈...〉

30 марта 1919 года мы, «всемирные литераторы», праздновали в тесном кругу пятидесятилетие Горького *. Бокалы для шампанского были налиты чаем (без сахару), каждый участвующий получил по роскошной лепешке величиною с пятак.

Присутствовало человек сорок — не больше. В том числе Александр Блок, Гумилев, Федор Батюшков, Евгений Замятин, Аким Волынский, Андрей Левинсон, Алек-

* Хотя Горький родился в 1868 году, датой его рождения в ту пору ошибочно считался 1869 год. См. репортерский отчет в газете «Жизнь искусства», 1919, № 109 от 2 апреля: «Литературное чествование Максима Горького». *(Примеч. К. И. Чуковского.)*

сандр Тихонов (Серебров), а также рабочие из типографии «Копейка», печатавшей наши издания.

Чествование вышло задушевное. Александр Блок записал в мою «Чукоккалу»: «Сегодняшний юбилейный день Алексея Максимовича светел и очень насыщен — не пустой день, а музыкальный».

Но к концу этого «музыкального» дня Горький вдруг вспылил и разгневался и стал вести себя совсем не юбилейно.

Дело в том, что профессор Батюшков, милый и почтенный человек, имел одну простительную слабость: любил произносить юбилейные речи, причем каждому юбиляру-писателю всегда говорил главным образом о гуманности его произведений, о его нежной любви к падшим и униженным людям.

С такой речью он обращался когда-то и к Мамину-Сибиряку, и к Короленко и теперь обратился к Горькому.

Алексей Максимович слушал его терпеливо, но когда оратор, ссылаясь на горьковскую пьесу «Старик», стал восхвалять героя этой пьесы, утверждая, будто Горький озарил своего старика каким-то «ласковым и кротким сиянием», Горький сердито встал, перегнулся через стол и сказал, сильно ударяя на «о»:

— По́звольте, по́звольте... Про́шу про́щения... Это не так... Да, не так. Униженных и падших я терпеть не могу. А этого старика не-на-ви-жу.

Через минуту Горький смягчил свою резкость улыбкой, но Батюшков сконфуженно потупил глаза и еле досказал свою речь.

Никогда в жизни, ни раньше, ни после, я не видел, чтобы юбиляр полемизировал с теми, кто пришел славословить его, но никакие юбилеи не могли помешать Алексею Максимовичу громко осудить ту идею, которая была враждебна ему.

Домой я возвращался с группой типографских рабочих. Рабочие шли и смеялись.

— Здо́рово он отбрил этого старичка! — говорили они.— Так и сказал ему прямо в лицо: «Я тебя, милый друг, ненавижу!»

В их представлении Батюшков и был тот старик, о котором Горький говорил с такой ненавистью.

Ненависть Горького была вызвана либеральным гуманизмом профессора. Горький в то время не раз говорил, что эра дряблого гуманизма христианской Европы за-

кончилась, что этот гуманизм разоблачен и дискредитирован всеми событиями нашей эпохи.

На ближайшем заседании Горький рассказал мне тихим шепотом, что по случаю его 50-летия один заключенный прислал ему из тюрьмы такое прошение:

«Дорогой писатель!

Не будет ли какой амнистии по случаю вашего тезоименитства? Я сижу в тюрьме за убийство жены, убил ее на пятый день после свадьбы за то, что она (тут следовали очень откровенные подробности). Так нельзя ли мне устроить амнистию?»

Таких писем получал он много. В 1920 году он получил телеграмму от неизвестного ему человека:

«Максиму Горькому.

Сейчас у меня украли на станции Киляево две пары брюк и 16 000 рублей денег».

Через неделю после юбилея Александр Блок читал на квартире у А. Н. Тихонова (Сереброва) доклад о роли гуманизма в современной культуре. Доклад был по поводу Гейне, и в нем говорилось, что теперь «колокол антигуманизма громче и звучнее, чем прежде»[7]. Горький очень взволнованно слушал, а потом, обращаясь к Блоку, сказал:

— Я человек бытовой, и, конечно, мы с вами люди разные, и вы удивитесь тому, что я скажу, но мне тоже кажется, что гуманизм, именно гуманизм в христианском смысле, должен полететь ко всем чертям...

На заседаниях «Всемирной литературы» с теми, кто высказывал враждебные Горькому взгляды, он старался быть бесстрастным и терпимым. Споря с ними, он постоянно уснащал свою речь всевозможными учтивыми фразами: «Я позволю себе заметить», «Я позволю себе указать». Но эта учтивость давалась ему нелегко. Если кто-нибудь высказывал суждения, представлявшиеся ему вопиюще неверными, он с трудом обуздывал свой гнев и в течение всей речи противника нетерпеливо стучал своими тяжелыми пальцами по столу — то быстрее, то медленнее, будто исполнял на рояле дьявольски трудный пассаж, и лишь изредка отрывался от этой работы, чтобы сердито закрутить свой рыжий ус. А если неприятная речь тянулась дольше, чем он ожидал, он схватывал

лист бумаги и с яростной аккуратностью, быстро-быстро разрывал его на узкие полосы и делал из каждой полосы по кораблику. Раз! Раз! Раз! Раз! Восемь корабликов — целый флот.

Если же оратор не замолчит и тогда, рассвирепевшие пальцы хватают из пепельницы груду окурков и сокрушительно вдавливают каждый окурок в корабль, словно расправляясь с ненавистным оратором.

Я сохранил один из таких корабликов, вклеив его в свою «Чукоккалу».

В нашу Студию художественного перевода нахлынуло множество слушателей, и среди них оказалось немало таких, которые и не думали стать переводчиками. Это были начинающие авторы: они нисколько не интересовались переводами, а жаждали писать свои собственные рассказы, статьи и стихи. Поэтому Студия постепенно оторвалась от «Всемирной литературы» и перекочевала в Дом искусств, где и сформировалось так называемое «Серапионово братство», куда вошла талантливая молодежь: Константин Федин, Михаил Слонимский, Михаил Зощенко, Николай Тихонов, Николай Никитин, Вениамин Каверин и другие [8].

Горький дружески сблизился с ними и, как мог, помогал им работать. Задача у него была большая: сплотить этих будущих писателей на общей работе для новых читательских масс. Вскоре у него возникла мысль напечатать сборник их стихов и рассказов. Сборник должен был называться «1921 год» [9].

Я часто видел их вместе — этих юных литераторов и Горького. Разговоры у них шли непринужденные, товарищеские, причем Горький с большой осторожностью применял к ним свою «педагогику». ⟨...⟩

...Горький заговорил о рассказах, написанных этой молодежью для сборника, то есть о том, ради чего вся она собралась у него. Сборник должен был выйти под редакцией Алексея Максимовича.

— Позвольте поделиться моим мнением о сборнике. Не в целях дидактических, а просто так, потому что я никогда никого не желал поучать. Начну с комплиментов. Это очень интересный сборник. Впервые такой случай в истории литературы: писатели, еще никогда не печатавшиеся, дают литературно значительный сборник. Любопытная книга, всячески любопытная. Мне, как бытовику, очень дорог ее общий тон. Очень сильно и прав-

диво. Есть какая-то история в этом, почти физически ощутимая, живая и трепетная. Хорошая книга.

Тут Горький заговорил о том, что в книге, к сожалению, нет героя, нет человека.

— Человек предан в жертву факту. Но мне кажется, не допущена ли тут — в умалении человека — некоторая ошибка? Кожные раздражения не приняты ли за нечто другое? Ведь и при коллективизме роль личности оказалась огромной. Например, Ленин. А у вас герой затискан. В каждом данном рассказе недостаток внимания к человеку, а в жизни человек все-таки свою человечью роль выполняет...

Дальнейшие слова Алексея Максимовича я, к сожалению, не мог записать, так как, заметив у меня в руке карандаш и узнав, что я записываю его слова для потомства, он подошел ко мне и сердито сказал:

— Я и сам немного умею писать. Что будет нужно, я и сам кое-как напишу.

Я готов был провалиться сквозь землю и только лет десять спустя с облегчением узнал, что при таких обстоятельствах Алексей Максимович обрушивался не на меня одного.

В его семье долгое время проживал живописец Иван Николаевич Ракитский [10], скромный, чистосердечный, молчаливый, услужливый. Этот Ракитский (или, как звали его в семье, Соловей) вел очень подробный дневник, где записывал высказывания Горького о разных книгах, событиях, людях, вещах, так что у него собралось несколько драгоценных тетрадей.

Зайдя как-то к Ракитскому в комнату и увидя у него эти тетради, Алексей Максимович с негодованием потребовал, чтобы Ракитский немедленно бросил их в печку, и тот, испытывая мучительную душевную боль, беспрекословно подчинился требованию Алексея Максимовича, понимая, что здесь не каприз, а принципиальное нежелание фигурировать в роли оракула, чьи изречения записываются в назидание грядущим векам.

Все это поведал мне сам Соловей, и семья Горького подтвердила его грустный рассказ. ⟨...⟩

Я познакомился с Горьким за два года до возникновения «Всемирной литературы» — 21 сентября шестнадцатого года. Мы встретились на Финляндском вокзале для

совместной поездки к Репину. В вагоне он был пасмурен, и его черный костюм казался трауром. Чувствовалось, что война, которая была тогда в полном разгаре, томит его, как застарелая боль. В то время он редактировал «Летопись» — единственный русский легальный журнал, пытавшийся протестовать против войны.

До обеда мы сидели у Репина в мастерской — Репин взял небольшой «крупнозернистый» холст и стал писать Горького в профиль. Горький ни минуты не сидел спокойно, вертелся и все время рассказывал разные истории — то смешные, то трогательные. ⟨...⟩

Гости у Репина были случайные: какие-то молчаливые прапорщики, адвокат из Казани, костлявая певица из Киева. Зашел разговор о войне. Оказалось, все они жаждут «войны до победы». Горький слушал их сумрачно, а когда они наконец замолчали, стал медленно и монотонно говорить об ужасах затеянной империалистами бойни:

— Сколько полезнейших мозгов разбрызгивается зря по земле каждый день... французских, немецких, турецких... да и наших, тоже не дурацких...

Пошли обедать. Среди гостей был худосочный поручик, только что вернувшийся с фронта. Он слушал Горького спокойно и учтиво. И вдруг его словно прорвало: он ни с того ни с сего, не глядя на Горького, судорожно и напряженно заговорил о том, что наши французские союзники доблестны и наши английские союзники доблестны... И Россия, давшая миру Петра Великого, Пушкина, Репина, должна быть грудью защищена и т. д.

— Этот человек,— сказал Горький,— кажется, вообразил, будто я командую немецкой армией...

Поручик почему-то вспылил, неожиданно для всех и, кажется, для самого себя, вскочил из-за стола, подбежал к Алексею Максимовичу и, зажмурив глаза, замахнулся, как бы собираясь ударить. Его удержали. Он стал фальцетом выкрикивать, что Горький пораженец, предатель, агент кайзера Вильгельма II.

Репин был в отчаянии, но Горький только усмехнулся угрюмо:

— Ничего, Илья Ефимов, я привык!

Врагов у него всегда было вдоволь, и это внушало ему спокойную гордость. В тот же вечер в своей квартире на Кронверкском он дал мне широкий конверт, на котором его рукою было написано: «Читатель отвечает».

В конверте были письма, сплошь ругательные. К ним было приложение — петля из тончайшей веревки. Такая тогда установилась среди черносотенцев мода — посылать «пораженцу» Максиму Горькому петлю, чтобы он мог удавиться. Некоторые петли были щедро намылены. Получив подобное письмо, Горький надевал свои простенькие в серебряной оправе очки и читал его тщательно, от слова до слова (получаемые письма он никогда не просматривал бегло, а вчитывался в каждую букву, подчеркивая красно-синим карандашом наиболее выразительные строки).

У «Летописи» были в ту пору частые препирательства с военной цензурой. В один из тех же сентябрьских дней Алексей Максимович пошел объясняться к начальнику цензурного ведомства. Начальник не знал, что перед ним Горький, и с большим раздражением, даже не пригласив его сесть, выслушал его резкие отзывы о цензоре «Летописи».

— Неумный... да, неумный господин,— говорил об этом чиновнике Горький.

— Как вы смеете! — рассердился начальник.

— Потому что это правда, сударь.

— Я вам не сударь, а ваше превосходительство.

Горький закашлялся и сквозь кашель отрывисто, но отчетливо выговорил:

— Идите, ваше превосходительство, к черту!

Начальнику шепнули, что его посетитель Горький, и он заулыбался почтительно. Кашель у Горького стал еще более удушливым, но, сотрясаемый кашлем, он делал те же непримиримые жесты:

— Идите, ваше превосходительство, к черту! 〈...〉

Как было сказано выше, именно из-за детской литературы он и познакомился со мною. Когда я пытался печатно обличать ее беспринципность и дрянность, я и не подозревал, что Горький сочувственно следит за моими попытками. Но однажды, в сентябре 1916 года, ко мне пришел от него художник Зиновий Гржебин, работавший в издательстве «Парус», и сказал, что Алексей Максимович намерен наладить при этом издательстве детский отдел с очень широкой программой и хочет привлечь к этому делу меня. Было решено, что мы встретимся на Финляндском вокзале и вместе поедем в Куоккалу, к Репину, и по дороге побеседуем о «детских делах».

Я пришел к поезду в назначенный час. Первые минуты знакомства были для меня тяжелы. Горький сидел у окна за маленьким столиком, угрюмо упершись подбородком в большие свои кулаки, и изредка, словно нехотя, бросал две-три фразы Зиновию Гржебину. А потом, не поднимая головы, стал хмуро глядеть в окно на унылые клочья паровозного дыма — ни разу даже не посмотрел в мою сторону. Я затосковал от обиды.

Но вдруг в одно мгновение он сбросил с себя всю угрюмость, приблизил ко мне греющие голубые глаза (я сидел у того же окошка на противоположной скамье) и сказал повеселевшим голосом с сильным ударением на *о*;

— По-го-во-рим о детях.

И стал рассказывать о своих встречах с детьми, о своих наблюдениях над ними. Говорил о трех девочках Зиновия Гржебина (я тоже знал этих талантливых девочек — Капу, Бубу и Лялю), говорил о мальчике-калеке, которого он вывел в рассказе «Страсти-мордасти», о нижегородских, итальянских детях, воспроизводя их забавные речи, а порою и мимику. Я видел: самое воспоминание о том, что в этом мире существуют дети, чудотворно расплавило его недавнюю хмурость, словно он был благодарен кому-то, что существует на свете такое поэтичное, неиссякаемое, вечно обновляющее всю нашу жизнь, творческое, непобедимое племя детей.

Что Горький может быть *такой*, я не знал. Он оказался совершенно не похож на того, каким его изображали мне его друзья и враги, каким я представлял его себе по его сочинениям.

Тут-то он и заговорил о борьбе за полноценную детскую книгу. Оказалось, что он, единственный из всех литераторов, которых я в то время встречал, так же ненавидит всех этих Тумимов, Елачичей, Александров Кругловых, врагов и душителей детства.

— Детскую литературу,— говорил он,— у нас делают ханжи и прохвосты, это факт. Ханжи и прохвосты. И разные перезрелые барыни. Вот вы все ругаете Чарскую, Клавдию Лукашевич, «Путеводные огоньки», «Светлячки», но ругательствами делу не поможешь. Представьте себе, что эти мутноглазые уже уничтожены вами,— что же вы дадите ребенку взамен? Сейчас одна хорошая детская книга сделает больше добра, чем десяток полемических статей. Если вы в самом деле хотите, чтобы эта гниль уничтожилась, не бросайтесь на нее с кулаками,

а создайте нечто свое, настояще художественное, и она сама собою рассыплется. Это будет лучшая полемика — не словом, а творчеством.

Я давно носился с соблазнительным замыслом — привлечь самых лучших писателей и самых лучших художников к созданию хотя бы одной-единственной «Книги для маленьких», в противовес рыночным изданиям Сытина, Клюкина, Вольфа. В 1912 году я даже составил подобную книгу под сказочным названием «Жар-птица» [11], пригласив для участия в ней А. Н. Толстого, С. Н. Сергеева-Ценского, Сашу Черного, Марию Моравскую, а также многих первоклассных рисовальщиков, но книга эта именно из-за своего высокого качества (а также из-за высокой цены) не имела никакого успеха и была затерта базарною дрянью.

Оказалось, что Горький знаком и с «Жар-птицей».

— Но этого мало,— сказал он,— тут нужна не одна книга, а по крайней мере триста — четыреста самых лучших, какие только существуют в литературе всех стран,— и сказки, и стихи, и научно-популярные книги, и исторические романы, и Жюль Верн, и Марк Твен, и Миклухо-Маклай... Только таким путем и возможно бороться с этой мерзостью... И рисунки в детских книгах должны быть высочайшего качества — не каракули каких-нибудь Табуриных, а Репин, Добужинский, Замирайло... ⟨...⟩

# В. И. ШУХАЕВ

## ⟨ВСТРЕЧИ С ГОРЬКИМ⟩

⟨...⟩ В первый раз я видел Горького в 1905 году. Алексей Максимович приехал в Московское Строгановское училище, которое я в том году кончал. Горький ходил в сопровождении тогдашнего директора Николая Васильевича Глоба. В то время писатель еще носил длинные волосы, одет он был в темного цвета толстовку, подпоясанную тонким ремешком, в высоких сапогах. Словом, это был тот Горький, которого очень хорошо все знали по бесчисленным фотографиям, имевшим в то время большое распространение. Вторично я увидел Алексея Максимовича в 1917 году после Февральской революции [1], когда я был приглашен к нему на квартиру на Кронверкском проспекте. В тот вечер собрались у Горького Ф. И. Шаляпин, А. Н. Бенуа, К. С. Петров-Водкин, С. К. Маковский, А. Е. Яковлев, В. В. Маяковский и другие. Алексей Максимович взял слово, но из речи, которую он пытался произнести, ничего не вышло. Затем взял слово Сергей Константинович Маковский, редактор журнала «Аполлон» [2]. Его речь все время прерывалась Маяковским. В конце концов рассердившийся Маковский спросил: «Вы, вероятно, тоже хотите поговорить?» — «Да, наконец-то можно поговорить!» — отвечал Маяковский своим красивым басом. Одетый в красную рубаху, он представлял собой революционную фигуру, контрастирующую с фигурой Маковского, который явился к Горькому чуть ли не в визитке.

Сам Алексей Максимович был в простом пиджаке, да еще плохо сшитом, с коротко остриженными волоса-

ми,— совсем не тот образ писателя, что мне запомнился с 1905 года.

После Маяковского говорили все, кому хотелось. Петров-Водкин в солдатской форме пытался произнести серьезную речь (если он выступал, то всегда с серьезными речами), Федор Иванович Шаляпин и не пытался что-либо сказать, он предлагал что-нибудь спеть. Характерная особенность горьковских собраний — все чувствовали себя как дома.

В этот период я стал часто бывать у Горького — я работал над иллюстрациями к его произведениям. Потом мне пришла мысль сделать несколько подготовительных рисунков к задуманному мною портрету. Мне не хотелось писать портрет прямо с натуры. Такие портреты, мне казалось, носят случайный характер, они не дают образа, мало характерны. Я любил делать подготовительные рисунки, чтобы изучить форму головы, характерные особенности лица, найти освещение, подчеркивающее или ослабляющее те или иные части головы, а затем уже на основании проделанной работы писать портрет, который должен передать сущность изображаемого человека.

Алексей Максимович охотно позировал для моих рисунков. Во время сеансов всегда наступает момент, когда модель начинает скучать. Я по мере возможности развлекал Алексея Максимовича разговорами, но дело все-таки не клеилось. Я заговорил об иллюстрациях Владимира Васильевича Лебедева, который параллельно со мной иллюстрировал рассказ Горького «Дружки». Персонажу этого рассказа «Пляши нога» он придал портретное сходство с Алексеем Максимовичем. Я спросил Горького, будет ли уместным, если я тоже придам портретное сходство герою рассказа «Мой спутник», который ведется от лица автора [3]. Алексей Максимович согласился. «А знаете, история на самом-то деле не кончилась, как в рассказе»,— сказал он и стал рассказывать, как было дело в действительности [4]. Это было настолько замечательно, что я и молодой скульптор Блох, который лепил его портрет одновременно со мной [5], забыли о работе, а Горький, казалось, забыл о нас. Он создавал образы какими-то неуловимыми жестами, непередаваемыми интонациями, и герой его рассказа оживал. «Шакро был жалок, толстые губы, вместе с поднятыми бровями делали его лицо детским, робко удивленным»,— и мы видели перед собой не Алексея Максимовича, а Шак-

ро, его толстые губы и его робкие детски-удивленные глаза.

«Вокруг нас царила та напряженная тишина, от которой всегда ждешь чего-то и которая, если бы могла продолжаться долго, сводила бы с ума человека своим совершенным покоем и отсутствием звука...»[6] — и мы вдруг начинали ощущать жуть тишины, и становилось страшно. Если он описывал жаркий день, мы чувствовали зной и видели перед глазами ту собаку, которой было лень от жары проглотить надоевшую ей муху. Когда Алексей Максимович рассказывал, он заставлял нас жить, переживать, чувствовать, ощущать и видеть вместе с ним. Это была какая-то магия, колдовство, а он был волшебником, который своей волшебной палочкой переносил нас туда, куда хотел. ⟨...⟩

Во время сеансов Алексей Максимович много рассказывал увлекательных историй из своей жизни. К сожалению, я не записал их, а теперь за давностью времени они стерлись из памяти.

Часто бывая у Горького, я перезнакомился с лицами, окружавшими его в те годы. Среди них встречались любопытные фигуры, похожие на тех типов из его скитаний, которых мы знаем по его рассказам. Встречал я там молодого человека, который жил и кормился у Горького, носил костюм и пальто, а возможно и белье Алексея Максимовича. Горький очень восторгался им: «Подумайте, он по звездам расскажет вам всю вашу судьбу!» Помимо звездочета, его окружила толпа щеголеватых молодых людей.

Мне долгое время было непонятно такое неразборчивое отношение к окружающей его публике. Невольно вставал вопрос: неужели Горький не видит этих людей? Почему он не выгонит их? Подобные вопросы преследовали меня, пока я не понял, что Горькому, как писателю, интересны были и отрицательные явления, и отрицательные герои. Он был одарен острой наблюдательностью и, конечно, великолепно разбирался в людях. И звездочет, и щеголеватые дельцы были для него объектом, материалом, который он изучал, которому он внутренне давал оценку. Это была богатая жизнь со своими светлыми и темными сторонами, которую Горький хорошо знал, которую он умел так реалистически, подлинно, глубоко передать в своем творчестве. Но не надо думать, что Горький был только безучастным наблюдателем. Зная его, вы видели,

как остро он все переживает и выносит моральную оценку тому или иному явлению. Он видел человеческие слабости, но судил их мягко, потому что он был необыкновенно человечен и очень жалел людей.

Во время моего пребывания во Франции я познакомился с приемным сыном Алексея Максимовича — Зиновием Алексеевичем Пешковым (братом Якова Свердлова), потерявшим руку в первую империалистическую войну. Обожавший своего названого отца, Зиновий Пешков много рассказывал об Алексее Максимовиче. Они вместе были в Америке, Зиновий Алексеевич ездил к Горькому почти ежегодно в Сорренто [7]. Он рассказывал, что в Сорренто к Горькому съезжались люди со всех частей света, и так как в доме у себя он всех поместить не мог, то для гостей снимались комнаты в соседней гостинице. Некоторые живали очень подолгу, и хоть Горький получал довольно большие суммы за свои книги, тем не менее денег в доме часто не бывало... ⟨...⟩

# ПРИМЕЧАНИЯ

Воспоминания о Горьком представляют собой огромный фонд рукописных и печатных произведений, разбросанных по разным источникам и хранилищам. Фонд этот недостаточно выявлен, систематизирован и изучен. К настоящему времени количество зарегистрированных воспоминаний о Горьком — начиная от объемистых книг и рукописей до мелких газетных заметок — составляет несколько тысяч.

Особенно возросло количество мемуарных публикаций о Горьком в советское время. Немало воспоминаний появилось в связи с юбилейными датами — в 1928 году (шестидесятилетие писателя), в 1932 году (сорокалетие литературной деятельности), а также сразу после смерти писателя 18 июня 1936 года. Ряд мемуарных публикаций связан с широко отмечавшимся в 1968 году столетием со дня рождения писателя. Естественно, публиковались и публикуются воспоминания о Горьком и вне связи с указанными датами. Уходят из жизни уже и младшие современники великого писателя, поэтому естественно в последние годы преобладают архивные публикации.

Многие из воспоминаний о Горьком затеряны на страницах старых — центральных и периферийных — газет и журналов, часть еще не опубликована (хранится в Архиве А. М. Горького). Воспоминания о писателе печатались также за рубежом.

Укажем основные сборники воспоминаний о писателе.

Сборник «В. И. Ленин и А. М. Горький» (Изд. 3-е, М., «Наука», 1969) содержит специальный раздел, представляющий мемуарный материал об отношениях В. И. Ленина и А. М. Горького.

В 1928 году вышли два сборника: «Горький. Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком. Под редакцией И. Груздева» (М.—Л.,

Госиздат) и «О Горьком — современники. Сборник воспоминаний и статей» (Моск. тов-во писателей).

Воспоминания, относящиеся к жизни Горького в родном городе, опубликованы в сборниках «М. Горький в Нижнем Новгороде» (1928), «М. Горький на родине» (1937), «М. Горький в воспоминаниях нижегородцев» (1968), «А. М. Горький нижегородских лет. Воспоминания» (1978).

Мемуарные свидетельства о самарском периоде жизни писателя представлены в сборниках «Горький в Самаре» (М., 1938) и «Максим Горький и Самара» (Куйбышев, 1968).

Литературная деятельность Горького началась на Кавказе, с культурной жизнью которого писатель был связан на протяжении многих лет. О пребывании писателя на Кавказе рассказывают воспоминания, собранные в книгах «Горький и Армения. Статьи, письма, воспоминания и «Хроника» (Ереван, «Митк», 1968) и «Максим Горький и деятели грузинской культуры» (Тбилиси, «Ганатлеба», 1970).

Воспоминания об участии А. М. Горького в событиях первой русской революции собраны в книге «М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов» (М., Изд во АН СССР, 1957).

Вышедшая в 1955 году в Гослитиздате книга «М. Горький в воспоминаниях современников» (серия литературных мемуаров) содержала большое количество воспоминаний о писателе. К сожалению, многие материалы сборника не носили мемуарного характера и были по существу не воспоминаниями, а статьями.

Тесная дружба с художниками, продолжавшаяся всю жизнь писателя, широко отражена в воспоминаниях, вошедших в книгу «Горький и художники. Воспоминания, переписка, статьи» (М., «Искусство», 1964).

Взаимоотношения Горького с учеными освещены в мемуарах, включенных в книгу «М. Горький и наука. Статьи, речи. письма, воспоминания» (М., «Наука», 1964).

Приходится пожалеть, что не оставил обстоятельных воспоминаний о Горьком И. А. Груздев, тесно связанный с писателем последние полтора десятилетия его жизни и работавший над его биографией, а мемуары В. А. Десницкого, близко знавшего Горького на протяжении почти всей жизни писателя, связаны главным образом с дореволюционным периодом.

Не все известные и даже уже публиковавшиеся мемуары возможно было привлечь в сборник. Так, не включены воспоминания А. Н. Тихонова (Сереброва) «Время и люди» (М., Гослитиздат, 1955), недостоверность которых неоднократно отмечалась исследователями. То же можно сказать и о воспоминаниях В. А. Поссе. Сам Горький отмечал, что в них «немало фактических неточностей»,

«многое он забыл, много рассказал не совсем так, кое-что — совсем не так» [1]. Время, события меняют многое, да и личность мемуариста не стабильна: отношение к объекту воспоминания, как правило, подвижно, нередко в момент работы над мемуарами оно является совсем не тем, чем в то время, которое описывается в них. Например, скептические и желчные мемуарные заметки Бунина о Горьком, написанные в эмиграции, совсем не похожи на высказывания Бунина в интервью 1910—1913 годов, которые свидетельствуют о большой близости обоих писателей.

Не было возможности использовать все воспоминания о писателе, даже заслуживающие внимания,— это потребовало бы увеличить объем сборника в несколько раз. В него вошли лишь избранные страницы мемуаров, дающие в то же время наиболее полное и разностороннее представление о писателе.

Включенные в настоящее издание материалы охватывают весь жизненный путь Горького — от его детских лет (воспоминания И. А. Картиковского) до последних дней (В. М. Ходасевич, Н. А. Пешковой) и позволяют увидеть жизнь писателя в перспективе исторического развития русского общества, русского революционного движения, нашей многонациональной культуры.

Чтобы дать возможно больше воспоминаний непосредственно о Горьком, в приводимых текстах сокращены второстепенные детали и информация общеизвестного характера, не имеющая отношения собственно к мемуарам.

Нередко воспоминания о Горьком превращаются в статью, которую могло написать и лицо, никогда не видевшее писателя, кое-кто из мемуаристов рассказывает о событиях, свидетелем каковых они не были и быть не могли и знают о них лишь от другого лица или из печатных источников. Подобного рода материалы, к тому же порой устаревшие, равно как и рассуждения публицистического характера, опускаются.

Мемуары подчас повторяют в чем-то друг друга — это неизбежно в публикациях подобного рода —. В ряде случаев так ие повторения исключены.

Воспоминания печатаются в хронологической последовательности; если какие-то воспоминания охватывают различные годы жизни Горького, они отнесены к периоду, когда общение мемуариста с писателем было особенно интенсивным. Во втором томе несколько воспоминаний посвящены исключительно непосредственному общению В. И. Ленина с А. М. Горьким. Эти мемуары объединены в рубрике «В. И. Ленин и А. М. Горький».

Примечания состоят из кратких справок о мемуаристах и

[1] *Архив*, т. XI, с. 211.

историко-литературных, биографических и реальных примечаний к тексту; в начале каждого примечания указан источник, по которому печатается данный текст.

В тексте мемуаров под строкой даются только авторские примечания и переводы иноязычных текстов.

Сокращения обозначаются, как это принято в изданиях серии,— ⟨. . .⟩.

Мемуары, вошедшие в первый том, относятся в основном к дореволюционному периоду жизни Горького, мемуары второго тома — к советскому времени. Все даты до 25 октября (7 ноября) 1917 года даются по старому стилю; события, происходящие за рубежом, имеют двойную датировку.

Заголовки воспоминаний, заключенные в угловые скобки, принадлежат составителю.

Предлагаемый вниманию читателей сборник представляет собой наиболее полный свод воспоминаний о Горьком из всех, издававшихся до сих пор.

## И. А. КАРТИКОВСКИЙ

### ЮНОШЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

(стр. 31)

Картиковский Иван Андреевич (1869—1931) — друг детства Горького.

Печатается по тексту: *Горький в восп. нижегородцев*, с. 13—17.

[1] Ныне Звездинская ул., д. 11.

[2] У В. С. Сергеева — племянника бабушки писателя — Горький с перерывом жил в 1880--1884 гг.

[3] Теперь — ул. Свердлова.

[4] Горький с юных лет проявлял большой интерес к народным песням, записывал их. В 1929 г. он сообщал Груздеву, что записал десятки песен, и жалел, что эти записи не сохранились: «...песен этих нет нигде у собирателей» (*Архив*, т. XI, с. 193).

[5] Имеются в виду «Очерки бурсы» (1862—1863) Н. Г. Помяловского.

[6] В иконописной мастерской ремесленников-богомазов Горький работал с ноября 1882 по апрель 1883 г.

[7] Горький уехал в Казань осенью 1884 г.; о его дальнейших встречах с Картиковским ничего неизвестно.

## А. С. ДЕРЕНКОВ

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ВЕЛИКОМ ПИСАТЕЛЕ

(стр. 36)

Деренков Андрей Степанович (1855—1953) — казанский булочник. Сочувствуя радикально настроенной молодежи, решил помочь ей, открыв булочную и при ней библиотеку революционной литературы, которой пользовались казанские гимназисты и студенты. Позднее Горький писал о Деренкове: «Это тот самый Андрей Деренков, который в 80-х годах, в Казани, организовал нелегальную библиотеку, питавшую молодежь. Революционная роль этой библиотеки была весьма значительна. Кроме того, Деренков организовал булочную, и она давала немалый доход, который употреблялся на обслуживание местных студенческих кружков, помощь политссыльным и т. д.» (*Архив*, т. XI, с. 362).

По донесению начальника полицейского управления полковника Гангардта булочная эта «имела чисто конспиративный характер, служа местом подозрительных сборищ учащейся молодежи, занимавшейся там, между прочим, совместными чтениями тенденциозных статей и сочинений для саморазвития в противоправительственном духе, в чем участвовал и Алексей Пешков...» (*Рев. путь Горького*, с. 20).

В 1929 году Деренков четыре дня гостил у Горького — это была их единственная встреча после Казани. В 1936 году по ходатайству писателя А. С. Деренкову была назначена персональная пенсия.

Воспоминания записаны со слов Деренкова 29—31 мая 1946 года сотрудниками Казанского музея имени А. М. Горького. Впервые опубликовано в *Гвс*, по тексту которого печатается, с. 80—84.

[1] В повести «Хозяин» (1912) Горький писал, что поступил к Семенову потому, что другой работы не было («делать было нечего»).

[2] Рассказ из жизни босяков.

[3] У Семенова Горький работал с ноября 1885 до середины 1886 г., когда перешел в булочную Деренкова, где работал до июня 1888 г. В отчете фабричного инспектора за 1885 г. о булочной Семенова сказано, что рабочих в ней 12, а часы их работы — «круглые сутки с неопределенными перерывами» (Илья Груздев. Горький и его время. М., Гослитиздат, 1962, с. 117).

[4] «Подлиповцы» Ф. М. Решетникова, «Бунт Стеньки Разина» Н. И. Костомарова.

[5] Теперь здесь (ул. Горького, д. 10) мемориальный музей.

[6] Ул. Пушкина, д. 38/2.

[7] Горький пытался покончить с собой 12 декабря 1887 г. в 8 часов вечера, о чем сообщал 14 декабря 1887 г. «Волжский вестник». Попытка самоубийства была вызвана предельной душевной и физической усталостью, а также до болезненности обостренным незнанием того, как изменить тяжелую жизнь людей. Отрицательное влияние на А. М. Пешкова оказало и чтение некоторых книг, в частности сочинений немецкого философа-пессимиста А. Шопенгауэра. В оставленной записке (см. примеч. 8) в качестве «виновника» покушения упоминается «немецкий поэт Гейне». Здесь имелись в виду преувеличенно воспринятые и неверно истолкованные мотивы поздней лирики Гейне, пронизанной настроениями грустной иронии и скорби.

[8] В записке, найденной в кармане А. М. Пешкова, было сказано: «В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. Прилагаю при сем мой документ, специально для сего случая выправленный. Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел во мне за последнее время. Из приложенного документа видно, что я А. Пешков, а из сей записки, надеюсь, ничего не видно».

[9] Н. Е. Федосеев, по определению В. И. Ленина, был «одним из первых, начавших провозглашать свою принадлежность к марксистскому направлению. ⟨...⟩ Федосеев пользовался необыкновенной симпатией всех его знавших, как тип революционера старых времен, всецело преданного своему делу...» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 324—325). Знакомство Горького с Федосеевым было очень недолгим, но тот успел укрепить в юноше разочарование в деятельности деренковского кружка, в конечном счете сводившейся к просветительской работе и не ставившей задачу коренного изменения общественного устройства. В связи со следствием по делу Федосеева в октябре 1889 г. в Нижнем Новгороде был арестован и Пешков.

[10] Революционер-народник М. А. Ромась, вернувшись в 1885 г. из якутской ссылки, обосновался в Казани, где сблизился с кружками радикально настроенной молодежи, организовал подпольную типографию. В июне 1888 г. Горький, приняв предложение Ромася, поехал с ним в село Красновидово вести пропагандистскую работу. Ромась открыл в селе торговлю, поскольку положение лавочника позволяло ему ближе сойтись с мужиками. Но лавку окружали вражда и недоверие. Дело кончилось тем, что кулаки разгромили лавку. Ромась и Горький в августе — сентябре 1888 г. уехали из Красновидова. О своих отношениях с Ромасем Горький подробно рассказал в повести «Мои университеты».

## С. А. ВАРТАНЬЯНЦ

### М. ГОРЬКИЙ В ТИФЛИСЕ

(стр. 42)

Вартаньянц Сергей (Саркис) Аркадьевич (1870—1942) — педагог. Участвовал в революционном движении, подвергался арестам. С 1918 года — член РСДРП(б). В период знакомства с Горьким учился в тифлисском Александровском учительском институте.

Воспоминания опубликованы в газете «Бакинские известия», 1903, 16 января, № 13, и в том же году — в журнале «Мир божий», № 3 (в сокращении). Печатается по тексту: «Горький и Армения. Статьи, письма, воспоминания и «Хроника». Ереван, «Митк», 1968, с. 93—96, где воспроизводится газетная публикация.

[1] *Читадзе Гига* (Гола) — один из пропагандистов марксизма среди тифлисской молодежи и рабочих, знакомых с революционерами-народовольцами. Сын крестьянина, он страстно хотел получить образование, но потерпел неудачу. Нервное переутомление и материальные лишения вызвали психическое расстройство. Читадзе — прототип Кравцова в рассказе Горького «Ошибка» (1895).

[2] Речь идет о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863).

[3] В Тифлисе Горький жил «коммуной» вместе с Ф. Афанасьевым, С. Вартаньянцем и др. в доме № 7 по Ново-Арсенальной улице.

[4] Один из персонажей пьесы Горького «Мещане».

[5] Идея создания самодеятельного театра к тому времени уже несколько лет занимала передовую молодежь Тифлиса, устраивавшую любительские спектакли. Кроме того, существовало «Товарищество мастеровых — любителей сцены», с участниками которого Горький тоже был знаком. О создании труппы странствующих актеров во главе с Горьким ничего неизвестно.

## А. М. КАЛЮЖНЫЙ

### СТАРЫЙ ДРУГ

*(Из воспоминаний о Горьком)*

(стр. 46)

Калюжный Александр Мефодиевич (1853—1939) — народоволец, со студенческих лет участвовал в революционном движении, неоднократно подвергался арестам и ссылке. Калюжный посоветовал Горькому попробовать свои силы в литературном творчестве. Поддержку эту Горький высоко ценил: «Вашему толчку я обязан тем, что вот уже слишком тридцать лет честно служу русскому искусству»,— писал он Калюжному в 1925 году. В 1903 году

Горький подарил Калюжному свою фотографию с надписью «Другу и учителю».

Впервые опубликовано в «Известиях», 1938, 28 марта, № 73. Печатается по тексту: *Гвс*, с. 87—89.

[1] В Тифлис Горький пришел 1 ноября 1891 г. В главные мастерские Закавказских железных дорог был принят 10 декабря 1891 г. маляром, а 1 февраля 1892 г. назначен отметчиком.

[2] С М. Я. Началовым Горький познакомился в Казани в 1887—1888 гг. В Тифлисе Началов служил в управлении Закавказской железной дороги. Прибывшего сюда Горького он приютил на первое время у себя и устроил его на работу в железнодорожные мастерские.

[3] Первое издание книги И. А. Груздева вышло в 1926 г.

[4] «*Кавказ*» — первая политическая и литературная газета на русском языке, издававшаяся в Тифлисе в 1846—1918 гг. «Макар Чудра» напечатан здесь 12 сентября 1892 г., № 242.

[5] В газете «Кавказ», как позднее и в «Волжском вестнике» (в 1893 г.), поэма не была помещена по цензурным условиям, впервые она опубликована в газете «Новая жизнь», 1917, 23 июля, № 82.

[6] Горький покинул Тифлис 21—22 сентября 1892 г.

[7] Горького арестовали в ночь с 6 на 7 мая 1898 г. в Нижнем по делу тифлисского революционера Ф. Е. Афанасьева. 12 мая Горького доставили в Тифлис и заключили в Метехский замок — тюрьму, где он содержался до 28 мая.

[8] В сферу жандармского наблюдения Горький попал при первом аресте в Нижнем Новгороде в октябре 1889 г. Освобожденный за недостаточностью улик, он был оставлен под негласным надзором, который не прекращался до февраля 1917 г.

## С. И. МИЦКЕВИЧ

### ИЗ ВСТРЕЧ С МОЛОДЫМ ГОРЬКИМ
(стр. 49)

Мицкевич Сергей Иванович (1869—1944) — участник первых марксистских кружков в Нижнем Новгороде, по профессии врач.

Печатается по тексту: *Гвс*, с. 91—94.

[1] В 1888—1890 гг. в Московском и Казанском университетах произошли волнения среди революционно настроенной молодежи. Власти расправились со студентами, многих исключили из университетов и выслали из Москвы и Казани.

[2] Организатор казанских и нижегородских народнических кружков А. В. *Чекин* в Казани жил в квартире над булочной Семенова, где работал Горький (см. восп. Деренкова, с. 36—37) и куда Чекин ходил покупать хлеб. Встретившись с Чекиным в Нижнем Новгороде, Горький поселился с ним и С. Г. Сомовым «на коммунальных началах».

[3] Кризис народничества породил в некоторых слоях интеллигенции неверие в возможность революционного переустройства общественной жизни. Это неверие выразилось, в частности, в пропаганде теории «малых дел», «культуртрегерства», цель которых была заменить социальную борьбу культурно-просветительской деятельностью.

[4] Горький примкнул к народническому движению уже на его закате. Участие в казанских кружках, недолгое «хождение в народ» с Ромасем показали будущему писателю бесплодность попыток сближения народнической интеллигенции с народом, породили стойкое неприятие Горьким народнической теории и практики, обусловили его сближение с социал-демократией (об этом он писал в очерках «Из воспоминаний о В. Г. Короленко», 1918, и «Время Короленко» (1923).

[5] У А. И. Ланина, нижегородского присяжного поверенного (адвоката), либерального общественного деятеля, председателя совета Нижегородского общества распространения начального образования, Горький работал письмоводителем в 1889—1893 гг. (с перерывами). О Ланине Горький неизменно отзывался с большой теплотой: «Влияние его на мое образование было неизмеримо огромно. Это высоко образованный и благороднейший человек, коему я обязан больше всех...» (*Горький*, т. 23, с. 438). Ланину Горький посвятил первый том «Очерков и рассказов», вышедших в 1898 г.

[6] *Балчуг* — толкучий рынок в Нижнем Новгороде, где торговали хозяйственной мелочью, поношенной одеждой и т. п.

[7] Н. К. Михайловский действительно совсем не понимал творчества А. П. Чехова. Не отказывая писателю в большом таланте, он постоянно упрекал его в объективизме, равнодушии, отсутствии больших идей, требуя от него прямолинейной тенденциозности, без которой не мыслил настоящей литературы. В одной из характернейших своих статей «Об отцах и детях и о г. Чехове» («Русские ведомости», 1890, 18 апреля, № 104) Михайловский так сформулировал свое отношение к творчеству Чехова: «...г. Чехов с холодною кровью пописывает, а читатель с холодною кровью почитывает».

А. М. Горький, напротив, очень тонко чувствовал дарование Чехова и высоко ценил его не только как «знатока психологии «маленьких людей». В статье «По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге», опубликованной в 1900 г. («Нижегородский лис-

ток», 30 января, № 29), Горький дал настоящий бой за Чехова всей либерально-народнической и реакционной прессе, доказал несерьезность предъявляемых ему упреков и поставил имя Чехова вровень с именами Пушкина и Тургенева.

## Е. П. ПЕШКОВА

### (ГОРЬКИЙ В САМАРЕ)

(стр. 52)

Пешкова Екатерина Павловна (1878—1965) — дочь самарского дворянина П. Н. Волжина. Окончив с золотой медалью гимназию в Самаре, Е. П. Волжина работала корректором в «Самарской газете», где и познакомилась с Горьким, замуж за которого вышла в 1896 году. Принимала активное участие в революционной и общественной жизни Нижнего Новгорода, в работе Общества Красного Креста. В начале 1904 года А. М. Горький и Е. П. Пешкова разошлись, но на всю жизнь остались близкими друзьями.

Е. П. Пешкова написала ряд воспоминаний о Горьком, участвовала в издании наследия писателя, была консультантом Архива А. М. Горького.

Опубликовано более шестисот писем Горького к Пешковой (V и IX тома *Архива*).

Впервые опубликовано в газете «Волжская коммуна», 1957, 15 декабря, № 292. Печатается по тексту: сб. «Максим Горький и Самара». Куйбышев, 1968, с. 64—67.

[1] Горький приехал в Самару 22 февраля 1895 г.

[2] В «Самарскую газету» Горький был приглашен по рекомендации В. Г. Короленко.

[3] Марии Сергеевне Позерн посвящен второй том горьковских «Очерков и рассказов», вышедших в 1898 г.

[4] Очерки печатались 4, 6, 11 и 20 июня 1895 г.

[5] Популярная студенческая песня.

[6] Очерки напечатаны «Самарской газетой» 9, 11 и 16 июля 1895 г.; все три публикации подписаны: «Два-ге».

[7] Критические заметки Горького о быте и нравах жителей Самары печатались в «Самарской газете» с 14 июля 1895 г. по 21 апреля 1896 г.; все они подписаны «Иегудиил Хламида»; опубликовано было около двухсот фельетонов.

[8] В «Самарской газете» Горький выступал в качестве фельетониста, очеркиста, автора рассказов, рецензента и благодаря своему таланту вскоре занял в редакции ведущее положение. Используя свое влияние, Горький стремился превратить либеральную «Самарскую газету» в передовой демократический орган. Однако этому

препятствовал новый редактор газеты — сменивший Ашешова А. А. Дробыш-Дробышевский. Плохие отношения с Дробыш-Дробышевским, преследования цензуры, назойливый полицейский надзор — все это заставило Горького задуматься о переезде в другой город.

[9] В. Н. Маракуев приглашал Горького на постоянную работу в редакцию «Одесских новостей»; Горький думал принять предложение, но потом отказался от него, однако согласился работать специальным корреспондентом газеты на Нижегородской выставке.

[10] С середины 90-х гг. «*Нижегородский листок*» — одна из наиболее прогрессивных провинциальных газет, в 1895 г. в ней печатался Короленко, в 1896—1902 гг.— Горький. Горького в газету пригласили знакомые ему по Самаре редактор Н. П. Ашешов и Е. М. Ещин.

[11] «Всероссийская промышленная и художественная выставка» в Нижнем Новгороде сыграла большую роль в становлении Горького как журналиста и писателя. «Больше всего знаний о хозяевах дал мне 96 год»,— вспоминал он. В то же время Горький видел, что «выставка народного труда — не народна, и что народ в ней никакого участия не принимает» (*Горький*, т. 25, с. 317). В корреспонденциях с выставки Горький не раз упоминал о тяжелом положении рабочих.

[12] Н. М. Баранов, нижегородский губернатор в 1883—1897 гг., «прославился» жестокостью при подавлении крестьянских волнений в холерные и неурожайные 1891—1892 гг.; он описан Горьким в рассказе «Экзекуция». Под непосредственным управлением Баранова находилась также и Нижегородская выставка. Сначала он несколько заигрывал с прессой, но потом стал выражать недовольство критическими материалами «Нижегородского листка». 27 мая 1896 г. Горький писал Е. П. Волжиной, что беседовал с губернатором часа полтора.

## А. А. СМИРНОВ

### МАКСИМ ГОРЬКИЙ В САМАРЕ

(стр. 58)

Смирнов Александр Александрович (псевдоним — Треплев; 1864—1943) — поэт, журналист и литературный критик, вместе с Горьким сотрудничал в «Самарской газете». Неоднократно встречался с писателем и позднее.

Впервые опубликовано в сб. *О Горьком*, затем с добавлениями в журнале «Штурм» (1932, № 1—9), третий вариант — в *Гвс* II, наконец, в сб. «Максим Горький и Самара». Куйбышев, 1968, с. 25—50, по тексту которого печатается.

[1] См. восп. Пешковой и примеч. 1 и 2 к ним, с. 52 и 392.

[2] То есть палка странника. Возможно, по Козьмодемьянскому монастырю в Крыму, который был местом массового паломничества.

[3] Горький жил тогда в доме Перина по адресу: Вознесенская ул., д. 126 (ныне — ул. Степана Разина, 126).

[4] См. вступит. статью, с. 22.

[5] Речь идет о книге «Разговоры с Гете в последние годы его жизни» (1837—1848) — запись бесед с Гете, сделанная его секретарем и другом Иоганном Петером Эккерманом. Первый русский перевод (сокращенный) сделан в 1891 г.

[6] Рассказ Горького «Возвращение норманнов из Англии» напечатан в «Самарской газете», 1895, 27 августа, № 185. Сам Горький в 1933 г. сделал такое уточнение к мемуарам Смирнова: «...А. А. Смирнов... сообщает, что «Возвращение норманнов из Англии» написано мною по «Рассказам о Меровингах», тогда как «рассказы» эти о норманнах не говорят, и писал я, конечно, по «Истории завоевания Англии норманнами», тоже А. Тьерри, по Стриндхольму и др.» (*Архив*, XI, с. 314). Горький имел в виду книги Тьерри «История завоевания Англии норманнами» (СПб., 1868) и А. М. Стриндхольма «Походы викингов, государственное устройство, нравы и обычаи древних скандинавов» (ч. I и II, М., 1861).

[7] «Песня о Соколе» напечатана 5 марта 1895 г. в «Самарской газете» (№ 50); «Песня о Буревестнике» — в № 4 журнала «Жизнь» за 1901 г.; о том, что она написана в Самаре, данных нет.

[8] Такой книги у Масперо нет. Видимо, речь идет о его книге «Древняя история народов Востока» (три тома, русский перевод 1895 г.).

[9] Личность библиофила не установлена.

[10] Цитата из «Пира во время чумы» (1830) А. С. Пушкина.

[11] Роман П. Мериме «Хроника царствования Карла IX» (1829, русский перевод 1882).

[12] В современном переводе известны как «Утраченные иллюзии».

[13] Петра Якубовича.

[14] Отвечая на вопросы анкеты в 1926 г., Горький заявил, что К. М. Фофанова «когда-то очень любил», что в «свою эпоху Фофанов был несомненно крупным поэтом» и имел влияние на последующие литературные течения (декаденты, футуристы). Однако тут же отметил и неровность творчества поэта: «Наряду с образцами подлинного мастерства, у него часто встречались безвкусные образы, безграмотные обороты речи» («Русская литература», 1968, № 2, с. 205).

[15] Отношение Горького к Д. С. Мережковскому было неизменно отрицательным. В 90-х гг. он подарил Смирнову книгу стихотворений Мережковского с замечаниями на полях иронического и неодобрительного характера.

[16] Пароходного общества «Кавказ и Меркурий».

[17] Рассказ опубликован в «Самарской газете», 1895, 2 апреля, № 71.

[18] Рассказ «Дело с застежками» («Самарская газета», 1895, 2 и 7 июля, № 139, 143).

[19] При попытке самоубийства (см. с. 38, 40, 388) Горький прострелил себе левое легкое.

## А. Д. ГРИНЕВИЦКАЯ

### ГОРЬКИЙ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

(стр. 69)

Гриневицкая Александра Дмитриевна (1877—1949) — жена редактора «Нижегородского листка» и сотрудница редакции газеты. Краевед, автор книг и статей о Горьком, Короленко. Позднее с Горьким не встречалась.

Впервые опубликовано в сб. «Горький на родине». Горький, 1937. Печатается по тексту: *Горький в восп. нижегородцев*, с. 35—55.

[1] См. примеч. 10 на с. 393.

[2] См. примеч. 11 на с. 393.

[3] Горький шел с Е. П. Волжиной (Пешковой).

[4] Первый том «Очерков и рассказов» вышел в конце марта 1898 г., второй — в конце апреля того же года.

[5] С похвалой на двухтомник рассказов Горького откликнулись такие солидные журналы, как «Русское богатство» (1898, № 9, 10; статья Н. К. Михайловского), «Мир божий» (1898, № 7; статья А. И. Богдановича) и др.

[6] В начале октября 1899 г. в издательстве Дороватовского и Чарушникова вышли из печати I и II тома «Очерков и рассказов» во втором издании и III том — в первом.

[7] Первые переводы произведений Горького за рубежом появились в 1899 г.

[8] Имеется в виду, вероятно, Собрание сочинений А. П. Чехова (в издании А. Ф. Маркса), которое начало выходить с 1899 г.

[9] Позднее Горький относился к роману Пшибышевского резко отрицательно.

[10] См. восп. Скитальца и примеч. 7 к ним, с. 91, 397.

[11] Выступая против безгеройности и пошлости современной ему драматургии, Э. Ростан воскрешал на сцене высокие чувства

и страсти, прославляя отвагу, верность в любви и дружбе. Его пьесы были мастерски переведены Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Комедию «Сирано де Бержерак» (1897) Горький смотрел в Нижегородском театре 30 декабря 1899 г. и тотчас же откликнулся на спектакль в печати («Нижегородский листок», 1900, 5 января, № 4).

[12] Мемуаристка неточна: пьеса «Мещане» была встречена публикою очень хорошо, однако огромный успех второй пьесы М. Горького «На дне» (1902) заслонил впечатление от постановки «Мещан».

[13] В Нижний Новгород Горький приехал 15 мая 1896 г. и окончательно уехал 15 мая 1904 г.

[14] В газете Горький не имел твердого оклада и получал только гонорары.

[15] Концерты в пользу Народного дома Ф. И. Шаляпин дал 4 сентября 1901 г., 3 сентября 1902 г. и 5 сентября 1903 г.

[16] *Народный дом* — культурно-просветительное учреждение, открытое 16 декабря 1903 г. по инициативе местной интеллигенции, при активном участии Горького.

[17] Горький был арестован за то, что по поручению Нижегородского комитета РСДРП приобрел мимеограф (аппарат для печатания листовок).

[18] См. восп. Скитальца и примеч. 15 к ним, с. 93, 398.

[19] Описываемый случай произошел 19 декабря 1903 г.

## Е. П. ПЕШКОВА

(О ней см. на с. 392)

### В УКРАИНСКОМ СЕЛЕ МАНУЙЛОВКА

(стр. 81)

Впервые напечатано в «Литературной газете», 1948, 27 марта, № 25. Печатается по тексту: *Гвс*, с. 115—116.

Горький жил в Мануйловке с 10 мая по 23 октября 1897 года и с 19 июня по 30 августа 1900 года. Его украинские впечатления отразились в рассказе «Ярмарка в Голтве» (1897).

[1] Литературный фонд, организованный группой писателей в 1859 г., оказывал материальную помощь нуждающимся литераторам и ученым. Горький просил ссуду в письме к члену правления фонда Н. Ф. Анненскому 28 апреля 1897 г.; ссуда в размере 100 рублей была предоставлена ему 5 мая того же года.

[2] Максим Пешков родился 27 июля 1897 г.

[3] «*Мартын Боруля*» (1886—1891) — пьеса И. К. Карпенко-Карого, «*Назар Стодоля*» (1843) — пьеса Т. Г. Шевченко, «*Чужое добро впрок не идет*» (1855) — пьеса А. А. Потехина.

[4] Пьеса Г. Гауптмана «*Возчик Геншель*» (1898) была поставлена в Московском Художественном театре 5 октября 1899 г.

## С. Г. СКИТАЛЕЦ

### МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(*Встречи*)

(стр. 83)

Скиталец (псевдоним Петрова) Степан Гаврилович (1869—1941). Скиталец познакомился с Горьким в 1898 году. Летом 1900 года жил в Мануйловке, где работал над одним из своих лучших произведений — повестью «Октава». Вместе с Горьким 17 апреля 1901 года Скиталец был арестован (см. примеч. 17 на с. 396). Сотрудничал в издательстве «Знание»; в 1902—1910 годах в «Знании» вышло трехтомное собрание его произведений.

Встречи с Горьким описаны Скитальцем в автобиографической повести «Метеор» (1913) и в воспоминаниях.

Впервые напечатано в журнале «Октябрь», 1937, № 2. Печатается по тексту: *Гвс*, с. 156—167.

[1] См. примеч. 4 на с. 395.

[2] Во время странствий Горького в 1888—1890 гг.

[3] Летом 1899 г. Горький с семьей жил в Васильсурске на даче.

[4] См. восп. Пешковой и примеч. к ним, с. 81, 396.

[5] С химиком Н. З. Васильевым Горький сблизился в Нижнем Новгороде в 1890 г. Возможно, некоторые черты Н. З. Васильева отразились в образе Протасова (пьеса «Дети солнца»).

[6] Об издательстве «Знание» см. вступит. статью, с. 11—12.

[7] История взаимоотношений А. М. Горького и Л. Н. Андреева была сложной. Горький восторженно приветствовал талант Андреева, считал его «человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины» (М. Горький. Полн. собр. соч., т. 16. М., «Наука», 1973, с. 357). Первая книга Андреева выпущена горьковским «Знанием». Андреев говорил о Горьком: «Ему я обязан бесконечно в смысле прояснения моего писательского мировоззрения» («Литературное наследство», т. 72. М., «Наука», 1965, с. 532). Именно об Андрееве написан Горьким один из лучших «литературных портретов».

В период подготовки первой русской революции Горький и Андреев несмотря на большие различия в их мировоззрении были

союзниками, боролись против общего врага под общим знаменем. Однако после поражения революции Андреев занял органически чуждую Горькому пессимистическую позицию неверия в человека, в его возможности. Опубликованный им рассказ «Тьма» (1908), клеветавший на революцию, возмутил Горького и привел к разрыву личных отношений с писателем. Разрыв этот оба тяжело переживали. Переписка их возобновилась только в августе 1911 г. (опубликована в 72-м томе «Литературного наследства». М., «Наука», 1965).

[8] Московская популярная газета (1897—1904), выражавшая настроения радикальной интеллигенции, отстаивавшая демократические идеалы русской литературы и общественной мысли. На страницах «Курьера» было напечатано более четырехсот судебных репортажей, более двухсот фельетонов и более тридцати рассказов Л. Андреева.

[9] Горького очень интересовала личность Н. А. Бугрова; в 1919 г. он просил Н. И. Вишневского собрать материалы о Бугрове, в 1922—1923 гг. написал очерк «Два купца» (о Н. А. Бугрове и С. Т. Морозове), включив его в «Мои университеты». Однако из верстки книги он изъял очерк и первую часть его («Н. А. Бугров») опубликовал в «Красной нови» в 1924 г., № 2.

[10] Повесть С. Скитальца «Октава» напечатана в ноябрьской книжке журнала «Жизнь» за 1900 г.

[11] См. примеч. 17 на с. 396.

[12] Директор департамента полиции телеграфировал Нижегородскому жандармскому управлению: «...обыщите и арестуйте Алексея Пешкова и Степана Григорьева Петрова обязательно» (*Рев. путь Горького*, с. 54).

[13] «Песня о Буревестнике» напечатана в апрельском номере журнала «Жизнь» за 1901 г. «Песня» — заключительная часть рассказа «Весенние мелодии» (цензура запретила печатать рассказ, разрешив — вероятно, по недосмотру — опубликовать лишь «Песню о Буревестнике»). «Песня о Буревестнике» стала популярнейшим произведением, о чем свидетельствуют многие современники. Царский цензор доносил: «Означенное стихотворение произвело сильное впечатление в литературных кружках известного направления, причем самого Горького стали называть не только «буревестником», но и «*буревозвестителем*», так как он не только возвещает о грядущей буре, *но зовет бурю за собою*» (*Рев. путь Горького*, с. 50—51).

[14] Арест в 1901 г. был уже четвертым в жизни писателя: первый раз его арестовали в Нижнем 13 октября 1889 г., второй раз — в 1891 г. в Майкопе, третий — в Нижнем в мае 1898 г.

[15] Против ареста писателя поднялась широкая волна протеста.

В защиту Горького написал письмо товарищу министра внутренних дел Лев Толстой. В тюрьме резко ухудшилось здоровье писателя. «...дальнейшее пребывание его под стражей может губительно повлиять не только на его здоровье, но и на жизнь»,— гласил акт медицинского освидетельствования (*Рев. путь Горького*, с. 59). 17 мая 1901 г. властям пришлось заменить тюремное заключение домашним арестом.

## А. Е. БОГДАНОВИЧ

### ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ПЕШКОВА

(стр. 94)

Богданович Адам Егорович (1862—1940) — историк и этнограф, отец известного белорусского поэта Максима Богдановича. Являясь одним из близких знакомых Горького по Нижнему Новгороду, был связан с ним и родственными отношениями — его вторая жена Александра Павловна Волжина (ум. в 1899 г.) — сестра Е. П. Пешковой.

Многочисленные письма Горького к мемуаристу сгорели во время гражданской войны.

Впервые напечатано в сб. «М. Горький на родине». Горький, 1937. Печатается по тексту: *Горький в восп. нижегородцев*, с. 67—146.

[1] Богданович был переведен в Нижний Новгород из Гродно.

[2] С писателем Е. Н. Чириковым Горький познакомился в Царицыне в 1888 или 1889 г. В 1896 г. они оба были корреспондентами на Всероссийской торгово-промышленной выставке.

[3] Теперь — угол улиц Гоголя и Карла Маркса, д. 12.

[4] Богданович тоже болел туберкулезом. В 1896 г. от туберкулеза умерла его первая жена.

[5] Слова *«удрученный ношей крестной»* — из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

[6] Горький, очевидно, имеет в виду ложные представления о социальной природе и духовном предназначении русского крестьянства, выдвигавшиеся и поддерживавшиеся представителями различных религиозно-философских течений (славянофильства, почвенничества и т. п.).

[7] Критик и публицист А. И. Богданович, живя в Нижнем Новгороде в 1883—1890 гг., был близок с Короленко. В 1894—1906 гг. редактировал журнал «Мир божий», где опубликована его статья «Очерки и рассказы М. Горького» (1898, № 7) — одна из первых серьезных критических работ о писателе.

[8] Трюмо принадлежало Е. П. Волжиной, с которой Горький обвенчался в Самаре 30 августа 1896 г.

[9] Архиепископ *Хрисанф* (Ретивцев В. Н.) — церковный деятель и писатель. А. Е. Богданович имеет в виду его книгу «Религии древнего мира в их отношении к христианству» (т. I—III, СПб., 1872—1878). Доброе отношение Горького к Хрисанфу объясняется тем, что, посетив в 1877 г. Кунавинское начальное училище, архиепископ заступился за маленького А. Пешкова и предотвратил исключение будущего писателя из училища.

[10] Видимо, имеются в виду «Буддийские легенды» (1894) С. Ф. Ольденбурга.

[11] На русском языке были изданы книги М. Мюллера «Религия как предмет сравнительного изучения» (1887), «Шесть систем индийской философии» (1901).

[12] Сборник буддийских изречений и псалмов.

[13] Эта книга в издании А. С. Суворина (1891), с многочисленными пометками Горького, была в числе других передана писателем Нижегородской общественной библиотеке.

[14] Имеется в виду «Собрание сочинений избранных иностранных авторов», издававшееся Г. Ф. Пантелеевым в 1882—1903 гг. в Петербурге.

[15] См. примеч. 7 на с. 394.

[16] О *А. И. Ланине* см. примеч. 5 на с. 391.

[17] *С. В. Щербаков* — нижегородский преподаватель физики, директор мужской гимназии, один из организаторов нижегородского общества любителей астрономии и «Русского астрономического календаря», издававшегося в Нижнем Новгороде с 1895 г. Горький видел в нем «очень знающего» и «прекрасного популяризатора» (*Горький*, т. 28, с. 49).

[18] Имеются в виду собрания парижских литераторов второй половины XIX в., нашедшие отражение в «Дневнике» писателей братьев Ж. и Э. Гонкур.

[19] См. примеч. 17 на с. 396.

[20] Жирондисты и монтаньяры — противостоящие друг другу политические группировки во время французской буржуазной революции конца XVIII в. Жирондисты выражали интересы крупной торговой и промышленной буржуазии и, естественно, в конечном счете перешли на сторону контрреволюции. Монтаньяры (якобинцы) являлись представителями демократических кругов буржуазии, отличались более левыми взглядами и политическими требованиями. В Конвенте они занимали места в самых верхних рядах, отсюда и их название — монтаньяры (от la montagne — гора). Иногда эту группировку так и называли — «Гора».

[21] «*Тащить*» и «*не пущать*» — слова будочника Мамырцева из рассказа Г. И. Успенского «Будка» (1868), в которых отражена реакционная политика царского правительства.

[22] У Пешковых в то время было двое детей: сын Максим и дочь Катя, умершая в пятилетнем возрасте в 1906 г.

## В. А. ДЕСНИЦКИЙ

### ИЗ КНИГИ «А. М. ГОРЬКИЙ»

(стр. 106)

Десницкий Василий Алексеевич (1878—1958) — литературовед. С 1897 года вел революционную работу в Сормове и Нижнем Новгороде, был делегатом II и IV съездов РСДРП, с 1919 года вел педагогическую и научную работу в Ленинградском педагогическом институте имени А. И. Герцена, Ленинградском университете, в Институте русской литературы (Пушкинский дом).

На протяжении десятилетий, вплоть до кончины писателя, искренняя, ничем не омраченная дружба связывала В. А. Десницкого с Горьким. В. А. Десницкий первым из мемуаристов показал, как Горький, много искавший в жизни, познакомившийся с разными философскими и общественно-политическими течениями и школами, нашел свое место в революционном рабочем движении, в марксизме.

Печатаются отрывки из книги В. Десницкого «А. М. Горький. Очерки жизни и творчества». М., Гослитиздат, 1959. с. 5—59, 190—217.

[1] Теперь — ул. Горького, д. 82.

[2] Речь идет о студенческом вечере, доход с которого шел в помощь нуждающимся студентам и на революционные нужды.

[3] Теперь — ул. Семашко, д. 19.

[4] *Зимогор* — босяк.

[5] Нижегородский миллионер Н. А. Бугров построил ночлежный дом-приют для босяков; рядом с приютом стараниями городской общественности была открыта бесплатная читальня, пользовавшаяся популярностью среди босяков (в 1901 г. в ней побывало около 50 тысяч человек).

[6] В. А. Десницкий не прав в отношении В. Г. Короленко. Его утверждение опровергается всем творчеством писателя, который уже и в нижегородские годы проявил свой яркий гражданский темперамент, выступив с разоблачением «мужиконенавистнической» политики правительства, самоуправства помещиков и т. п. По словам Горького, Короленко «отдал энергию свою непрерывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища», русского самодержавия (*Горький*, т. 15, с. 50).

[7] Осуждая сословные и кастовые претензии дворянства, Горький очень высоко ценил достижения дворянской культуры.

[8] Об отношениях Горького с Андреевым см. примеч. 7 на с. 397.

[9] Об отношениях Горького с Шаляпиным см. примеч. 5 на с. 425 и примеч. 4 на с. 435.

[10] Горький, начавший переписку с А. В. Амфитеатровым после ссылки последнего в Сибирь за опубликование антимонархического памфлета «Господа Обмановы» (1902), на протяжении ряда лет поддерживал с ним деловые отношения и несколько раз принимал его на Капри. В 1912 г. Алексей Максимович дал согласие на участие в петербургском ежемесячнике «Современник», основанном Амфитеатровым, с условием коренной реорганизации журнала в демократическом духе. Амфитеатров не выполнил этого условия, и в начале 1913 г. Горький ушел из «Современника», а затем порвал и с Амфитеатровым (последнее письмо Горького, адресованное ему, датировано мартом 1914 г.).

[11] 23 марта 1917 г. на Марсовом поле, в центре Петрограда, под орудийные залпы с Петропавловской крепости были похоронены 180 человек, погибших в дни Февральской революции.

[12] Студент исторического факультета Московского университета А. В. Яровицкий играл ведущую роль в подготовке общероссийского студенческого съезда. На второй день его работы, 21 апреля 1899 г., все участники съезда были арестованы. Яровицкого выслали на два года в Нижний Новгород под гласный надзор полиции без права выезда из города. В Нижнем Яровицкий вошел в комитет РСДРП, стал сотрудником «Нижегородского листка», где и познакомился летом 1899 г. с Горьким. Горький возлагал на Яровицкого как на писателя большие надежды и, уезжая в Крым, 7 ноября 1901 г. подарил ему свою фотографию с надписью: «Без сомнения, с полной уверенностью пишу: будущему крупному писателю Алексею Васильевичу Яровицкому. М Горький с уважением и любовью». Умер Яровицкий от брюшного тифа 22 ноября 1903 г. На гроб его был возложен венок от Горького с надписью: «Дорогому товарищу от Алексея Пешкова — Максима Горького».

[13] Горький не раз передавал историко-художественному музею родного города (основан в 1896 г.) собранные им произведения живописи. Среди них «Весенний пейзаж» М. В. Нестерова, картины Н. К. Рериха: «Конь счастья», «Твердыня стен», «Мощь пещер», «Знамя грядущего», «Шепоты пустыни», «Красные кони», Б. М. Кустодиева: «На приеме», «Вербный торг у Спасских ворот», «Купчиха, пьющая чай», «Купец», «Русская Венера» и др. В настоящее время подаренные Горьким картины хранятся в горьковском Художественном музее.

[14] В Горьковской областной библиотеке выявлено около тысячи переданных А. М. Горьким книг.

[15] Имеется в виду составление Горьким подробных списков книг для Института мировой литературы АН СССР, открытого в 1937 г. (теперь носит имя А. М. Горького).

[16] Говоря о *«Собрании отцов и детей»*, Десницкий разумеет собрание молодежи и общественных деятелей в Нижнем Новгороде в 1901 г., подробно описанное в воспоминаниях Войткевича, с. 136—137.

[17] Первая бесплатная елка для детей бедноты была устроена 4 января 1900 г. в зале Нижегородской городской думы; вторая елка — в 1901 г. в кремле, и потом такие елки устраивались до 1904 г.

[18] Сохранилось несколько горьковских набросков либретто оперы о Василии Буслаеве, относящихся, видимо, к 1912 г. Предполагалось, что в опере будет петь Шаляпин, а музыку напишет А.К. Глазунов. Горький сообщал О.Д. Форш, что писать пьесу о Василии Буслаеве начал в 1897 г.; в 1908 г. он говорил о своем замысле А. А. Золотареву и Ю. А. Желябужскому. В воспоминаниях о Чехове Горький приводит отрывок из пьесы.

[19] К. А. Федин вспоминает, что Горький отказался от своего замысла, потому что на эту тему написал пьесу А. В. Амфитеатров, но о новгородском озорном богатыре вспоминал до последних лет жизни (см. т. 2 наст. изд., с. 61).

[20] В. И. Ленин приехал в Россию 8 ноября 1905 г. для непосредственного руководства работой Центрального Комитета РСДРП и партийной печатью, для практического проведения взятого партией курса на вооруженное восстание.

[21] В Петербурге Горький останавливался у директора-распорядителя издательства «Знание» К. П. Пятницкого на Знаменской улице (ныне — ул. Восстания), д. 20, кв. 29.

[22] О кавказской дружине, охранявшей Горького, см. восп. Арабидзе, с. 221—225.

[23] Ежедневная газета «Новая жизнь», первый легальный орган партии большевиков, выходила с 27 октября по 3 декабря 1905 г. в Петербурге. Тираж газеты достигал 80 тысяч экземпляров. «Новая жизнь» подвергалась многочисленным репрессиям; из 27 номеров газеты 15 было конфисковано и уничтожено. Последний, 28-й номер вышел нелегально. Одним из первых редакторов газеты был член ЦК РСДРП П. П. Румянцев.

[24] III съезд РСДРП, съезд большевиков, происходил в апреле 1905 г. под руководством В. И. Ленина (меньшевики созвали отдельную конференцию). Съезд определил характер, движущие силы и задачи начавшейся революции, тактику организации пролетариата для вооруженной борьбы с самодержавием, курс на перерастание мас-

совых политических стачек в вооруженное восстание. Съезд поставил задачу — довести начавшуюся буржуазно-демократическую революцию до ее победы и перевести ее в революцию социалистическую.

[25] «Новая жизнь» начала издаваться на основе договора, заключенного между партией большевиков (по поручению партии вел переговоры А. М. Горький) и беспартийным поэтом Н. М. Минским, имевшим разрешение властей на издание ежедневной общественно-политической газеты (партия такого разрешения не имела). По условиям договора газета должна была вестись по марксистской программе, руководство литературно-философским отделом поручалось Минскому с тем, что материал этого отдела не должен был «противоречить программе газеты». Минский нарушил указанный пункт договора и начал на страницах «Новой жизни» проповедовать мистицизм как доктрину, якобы совместимую с идеологией социал-демократии. После возвращения В. И. Ленина из эмиграции в Петербург на ближайшем же расширенном заседании редакции, состоявшемся 9 ноября 1905 г., был поставлен вопрос об отстранении Минского от руководства газетой. С девятого номера, вышедшего 10 ноября 1905 г., «Новую жизнь» редактировал В. И. Ленин, а публицистику в газете вел М. Горький. Газета полностью перешла в ведение ЦК РСДРП и фактически являлась центральным органом партии.

[26] Эти мысли В. И. Ленин развивал в опубликованной 13 ноября 1905 г. статье «Партийная организация и партийная литература», в которой писал о том, что после «дарования» царем в «Манифесте» 17 октября 1905 г. гражданских свобод печать может и должна стать открыто и последовательно партийной (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, с. 99—105).

[27] В. И. Ленин, А. М. Горький, М. Ф. Андреева и В. А. Десницкий ехали в Лондон, где 30 апреля — 19 мая 1907 г. под руководством В. И. Ленина проходил V съезд РСДРП (в помещении баптистской церкви Братства на Саугейт-Род). Большинство на съезде принадлежало большевикам, которых поддерживали польские и латышские социал-демократы. Съезд принял ленинскую тактику решительной борьбы с буржуазными партиями, указал на необходимость последовательного и систематического разоблачения мелкобуржуазных иллюзий эсеров и трудовиков, поддерживая в то же время их революционный демократизм. Съезд осудил меньшевистскую идею «широкой рабочей партии», которая означала отказ от нелегальной партии.

Свои встречи с В. И. Лениным на V съезде и впечатления от съезда Горький описал в очерке «В. И. Ленин» (1924—1930).

[28] В очерке «В. И. Ленин» Горький пишет об этом.

[29] «Страшно нравятся мне рабочие, особенно наши, большевики. Удивительно живой, разнообразный, интеллигентный народ, с такой яркой жаждой знаний, с таким жадным, всесторонним интересом к жизни. Я устроил им в Гайд-парке митинг, говорил о современной литературе, был очень удивлен их чуткостью и остротой внимания»,— писал Горький Е. П. Пешковой 20 мая (2 июня) 1907 г.

[30] Члены партии Бунд, мелкобуржуазной националистической организации сепаратистского характера, объединявшей главным образом еврейскую бедноту. В 1898 г. на I съезде РСДРП Бунд на автономных началах вошел в РСДРП (в 1903 г. вышел, а в 1906-м — снова вошел).

[31] Горький посетил В. И. Ленина в начале сентября 1918 г.

[32] Я. М. Свердлов тоже был нижегородец.

## А. Ф. ВОЙТКЕВИЧ

### ИЗ ВСТРЕЧ С М. ГОРЬКИМ

(стр. 134)

Войткевич Антон Феликсович (1876—1951) — участник революционного движения. В 1899 году выслан из Москвы в Нижний, где продолжал вести пропагандистскую работу.

В советское время — профессор химии.

Воспоминания написаны в 1936 году, впервые опубликованы в сб. «М. Горький на родине». Горький, 1937. Печатается по тексту: *Горький в восп. нижегородцев*, с. 194—206.

[1] В 1901 г. Войткевич был арестован и после заключения выслан из Нижнего Новгорода.

[2] Летом 1896 г. нижегородская полиция произвела — в связи с ожидавшимся приездом на Всероссийскую выставку Николая II — массовые аресты и обыски, чем нанесла серьезный удар по социал-демократическому движению.

[3] Разразившийся на грани веков экономический кризис обострил социальные противоречия в России, вызвал подъем революционного движения, массовые стачки, политические демонстрации. Так, в первомайской демонстрации в 1900 г. в Харькове участвовали 100 тысяч человек, в 1901 г. стачка рабочих Обуховского завода в Петербурге переросла в вооруженное выступление («Обуховская оборона»), и т. д.

[4] См. примеч. 17 на с. 396.

[5] 8 апреля 1899 г. Герман Ливен сжег себя в Бутырской тюрьме в Москве; его похороны в Нижнем превратились в большую политическую демонстрацию, в которой участвовал и Горький.

[6] Совещание состоялось 7 апреля 1901 г. во Всесословном клубе.

[7] См. примеч. 5 на с. 416.

[8] Ныне — пр-т Калинина, д. 4.

[9] Московский мебельный фабрикант Н. П. Шмит неоднократно давал средства большевистской партии. В 1905 г. через А. М. Горького он передал 20 тысяч рублей на вооружение рабочих и создал на свои средства рабочую дружину. 17 декабря 1905 г. Шмит был арестован и 13 февраля 1907 г. зверски убит в тюрьме. Похороны Шмита превратились в крупную политическую демонстрацию. Все свои средства Шмит завещал партии большевиков.

## Н. Д. ТЕЛЕШОВ

### ИЗ «ЗАПИСОК ПИСАТЕЛЯ»

(стр. 141)

Телешов Николай Дмитриевич (1867—1957) — писатель и общественный деятель. Познакомился с Горьким в Нижнем 13 декабря 1899 года, после чего между ними установились близкие отношения и завязалась переписка. В 1903 году в «Знании» вышел том «Рассказов» Телешова, отобранных и отредактированных Горьким. Телешов был организатором и с 1923 года директором музея МХАТа.

Печатается по тексту: Н. Телешов. Избр. соч. в 3-х томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1956, с. 96—115.

[1] Заметка «На бесплатном катке» опубликована в «Нижегородском листке», 1899, 13 декабря, № 342.

[2] Речь идет о собраниях литературно-художественного кружка, возникшего в Москве по инициативе Н. Д. Телешова в 1899 г. и объединившего писателей главным образом реалистического направления (И. А. Бунин, А. С. Серафимович, С. Г. Скиталец, А. И. Куприн, Е. Н. Чириков, С. С. Юшкевич, В. В. Вересаев и др.). Почетными гостями «Сред» были С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин, их посещали А. П. Чехов, В. Г. Короленко, П. Д. Боборыкин, Д. Н. Мамин-Сибиряк. Члены кружка на собраниях читали свои произведения, обсуждали их. Вступив в кружок, Горький внес в споры его участников политическую остроту и революционный дух. По его инициативе, в частности, кружок в 1901 г. выступал в защиту бунтовавших студентов. Существовали «Среды» до 1916 г.

[3] МХТ открылся 14 октября 1898 г.

[4] Инцидент произошел 28 октября 1900 г. На страницах газеты «Северный курьер» Горький 18 ноября 1900 г. сам рассказал о случившемся и воспроизвел свои слова, сказанные в театре:

«Как профессионалу-писателю мне обидно, что вы, слушая полную огромного значения пьесу Чехова, в антрактах занимаетесь пустяками»,— заявил Горький собравшимся. Слова писателя в искаженном виде обошли буржуазную прессу, которая воспользовалась инцидентом для злобных нападок на Горького.

[5] В Ялту Горький приехал 16 марта 1900 г.

[6] Жандармское управление, запретив Горькому в сентябре 1901 г. проживать в Нижнем Новгороде, разрешило ему, однако, в связи с плохим состоянием здоровья зиму находиться в Крыму (до 15 апреля 1902 г.), после чего писатель до 3 сентября 1902 г. вынужден был жить в Арзамасе.

[7] Из Нижнего Горький уехал 7 ноября, в Подольске был 8 ноября.

[8] Характеризуя легкомысленное, безразличное отношение читателя к литературе, Н. Д. Телешов вспоминает слова, ставшие крылатыми, из «Пестрых писем» (1884—1886) М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Русский читатель, очевидно, еще полагает, что он сам по себе, а литература — сама по себе. Что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает. Только и всего. Попробуйте сказать ему, что между ним и литературной профессией существует известная солидарность — он взглянет на вас удивленными глазами».

[9] Популярная в передовых кругах России песня на слова Н. А. Некрасова «Назови мне такую обитель...» (отрывок из стихотворения «Размышления у парадного подъезда», 1858).

[10] *Ф. Д. Трепов* в 1896—1905 гг. московский обер-полицмейстер, по характеристике В. И. Ленина, «один из наиболее ненавидимых всей Россией слуг царизма, прославившийся в Москве своей свирепостью, грубостью и участием в зубатовских попытках развращения рабочих» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, с. 238).

[11] 6 сентября 1902 г.

[12] 18 декабря 1902 г.

[13] Рассказ «Пегля».

[14] См. восп. Арабидзе, с. 221—225.

## А. С. СЕРАФИМОВИЧ

### ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРЬКОМ

(стр. 154)

Серафимович (псевдоним Попова) Александр Серафимович (1863—1949) — писатель, участник телешовских «Сред», печатался в «Знании».

Печатается по тексту: *Гвс*, с. 63—66.

[1] Описана встреча в квартире Л. Н. Андреева в конце сентября 1902 г. Серафимович приехал в Москву по приглашению Андреева сотрудничать в газете «Курьер».

[2] Речь шла об издательстве «Знание» (о нем см. вступ. статью, с. 11—12).

## И. А. БЕЛОУСОВ

### МАКСИМ ГОРЬКИЙ СРЕДИ ЛИТЕРАТОРОВ

### (стр. 157)

Белоусов Иван Алексеевич (1863—1930) — поэт и переводчик. Печатается по тексту: *О Горьком*, с. 89—106.

[1] См. примеч. 4 на с. 406.

[2] «Журнал для всех» (1898—1906) пользовался большой популярностью в демократических кругах (тираж достигал 80 тыс. экз.) за оппозиционные настроения, за сочувственное освещение революционных событий. В журнале принимали участие лучшие русские писатели того времени. Первое произведение Горького, напечатанное в «Журнале для всех» (1898, № 10) — «Дружки». В 1906 г. за публикацию статей о революционном движении журнал был закрыт.

## Ж. Э. ЗАЛОМОВА

### ВСТРЕЧИ С А. М. ГОРЬКИМ

### (стр. 160)

Заломова (урожденная Гашер) Жозефина Эдуардовна (1878—1963) — учительница, жена П. А. Заломова (о нем см. на с. 417), вместе с мужем участвовала в революционном движении.

Печатается по тексту: *Горький в 1905—1907*, с. 73—74.

[1] Суд происходил 28—29 октября 1902 г.

[2] А. М. Кекишева, участница социал-демократического движения в Нижнем Новгороде, невеста А. В. Яровицкого, входила в круг близких знакомых писателя.

[3] Речь, видимо, идет о стихотворении «На свадьбу моей сестры Паолины», где есть строки:

Когда же день сраженья наступал,
Вручала меч супругу дорогому
Бестрепетно любимая жена...

(Л е о п а р д и Д ж. Стихотворения. Полное собрание. М., 1893, с. 25).

[4] *Куоккала* (теперь Репино) — дачный поселок под Петербургом.

## М. Ф. АНДРЕЕВА

### ПОЕЗДКА В КРЫМ
(стр. 162)

Андреева Мария Федоровна (1868—1953) — артистка МХТ. Горький познакомился с нею в Крыму, во время гастролей театра. В конце 1903 года она стала женой писателя, его другом и помощником. Активный член большевистской партии, М. Ф. Андреева принимала участие в революционной работе, в советское время руководила театрами Петрограда, работала в Наркомате внешней торговли, в 1931—1948 годах руководила Московским Домом ученых.

Личные судьбы Горького и Андреевой разошлись в 20-е годы, но дружеские отношения сохранились до конца жизни писателя.

Впервые опубликовано 26 октября 1938 года в «Литературной газете», № 59.

Печатается по тексту: «Мария Федоровна Андреева. Переписка, воспоминания, статьи, документы, воспоминания о М. Ф. Андреевой». М., «Искусство», 1968, с. 39—41.

[1] МХТ ездил на гастроли в Крым в 1900 г.

[2] Знакомство с Горьким состоялось 18 апреля 1900 г.

[3] Высоко ценя великий талант Толстого и Достоевского, смелое обличение ими российской действительности, Горький страстно выступал против идеализации этими писателями покорности, пассивности и смирения, отвергал их религиозные искания.

## А. А. СПЕНДИАРОВ

### М. ГОРЬКИЙ В КРЫМУ
(стр. 165)

Спендиаров (Спендиарян) Александр Афанасьевич (1871—1928) — армянский композитор.

Воспоминания написаны в 1927 году, опубликованы впервые в журнале «Музыка и революция», 1928, № 4; печатается по сборнику «Горький и Армения. Статьи, письма, воспоминания и «Хроника». Ереван, «Митк», 1968, с. 107—110.

[1] Горький жил в Крыму с 11 ноября 1901 г. по 23 апреля 1902 г.; со Спендиаровым познакомился зимой 1902 г.

[2] На протяжении многих лет Горький писал стихи, но, как правило, прятал их. При его жизни были опубликованы «Девушка и Смерть», ⟨Легенда о Марко⟩, «Баллада о графине Эллен де Курси...», написанные ритмической прозой «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике»; много стихов включено Горьким в прозаические произведения. В основном же стихи при жизни Горького не публиковались. В 1963 г. в малой серии «Библиотеки поэта» вышел сборник М. Горького «Стихотворения» (М.—Л., «Советский писатель»).

[3] Впервые баллада «Рыбак и фея» исполнялась в Ялте 21 апреля 1902 г.

[4] Фирма «Ф. Мельцер и К°» изготовляла мебель в стиле модерн.

## Вл. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

### ИЗ КНИГИ «ИЗ ПРОШЛОГО»

(стр. 168)

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943) — режиссер, один из основателей МХАТа. Познакомился и сблизился с Горьким в 1900 году в Крыму, во время гастролей МХТ. Немирович-Данченко и Чехов настойчиво советовали Горькому написать пьесу для МХТ; вскоре Горьким были созданы «Мещане», потом «На дне».

Печатается отрывок из книги Вл. И. Немировича-Данченко «Из прошлого». «Academia». 1936, с. 240—257.

[1] См. восп. Андреевой, с. 162.

[2] В этих словах Немировича-Данченко выразилось его недопонимание чеховской драматургии, сказавшееся и в постановках МХТ, против чего неоднократно возражал сам А. П. Чехов. В последние годы жизни писателя, совпавшие с преддверием революции 1905 г., бодрые, жизнеутверждающие ноты особенно усилились в его творчестве и, в частности, в его последней пьесе «Вишневый сад». Эту тональность чеховского творчества очень тонко почувствовал и А. М. Горький. В том же 1900 г., когда он познакомился с артистами МХТ, Горький писал, что каждое новое произведение Чехова «все усиливает одну глубоко ценную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви к жизни» (*Горький*, т. 23, с. 317).

[3] Имеются в виду слова Вершинина из пьесы А. П. Чехова «Три сестры» (1901): «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной».

[4] «Мещане» написаны Горьким в 1901 г., премьера в МХТ состоялась 26 марта 1902 г.

[5] «Нетронутым» босяцкий быт назвать было нельзя, ибо к тому времени о босяках уже писали А. И. Куприн, Вс. Крестовский, В. А. Гиляровский, И. И. Ясинский. Существовали и пьесы: «Птенцы последнего слета» А. Ф. Писемского, «Ночлежка» Е. П. Карпова, «Ракалы (Южные хулиганы)» Н. Шопина. Артистов МХТ привлекало новое отношение Горького к теме: умение в самом низменном, жалком, погибшем существе увидеть человека, его право на жизнь достойную, на счастье. Во всем этом звучал романтический призыв к борьбе, такой нужный в предгрозовую эпоху начала века.

[6] Имеется в виду великий князь Константин Константинович, с 1889 г.— президент Российской академии наук; при его участии в 1902 г. были отменены (по указанию Николая II) выборы Горького в почетные академики.

[7] 4 марта 1901 г. в Петербурге у Казанского собора состоялась большая студенческая демонстрация протеста против «Временных правил», предусматривавших исключение из университета и отдачу в солдаты студентов за участие в демонстрациях и забастовках. Многие студенты были избиты, арестованы, сосланы.

[8] Спектакль «Доктор Штокман» (по пьесе Г. Ибсена; премьера в МХТ состоялась 24 октября 1900 г.) стал крупным событием не только в истории театра, но и в общественной жизни России. В постановке были подчеркнуты антибуржуазная тенденция и активный гуманизм драматургии Ибсена, приглушены антидемократические, индивидуалистические черты героя, привнесено героическое начало, показано его проявление в повседневном. В условиях наэлектризованной политической обстановки в России передовой зритель воспринимал спектакль как злободневно политический, видел в нем намеки на современность.

[9] Пьеса «На дне» написана Горьким в 1902 г. и в том же году поставлена в МХТ.

[10] Приезжая в Москву из Нижнего Новгорода, Горький останавливался у книгоиздателя С. А. Скирмунта в Гранатном пер. (ныне ул. Щусева), д. 22.

## К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ

### «НА ДНЕ»

(стр. 174)

Станиславский (псевдоним Алексеева) Константин Сергеевич (1863—1938) — режиссер и актер, один из основателей МХАТа. Долгие годы был в добрых отношениях с Горьким, тесно сотрудничал с писателем при постановке его первых пьес. Встречался с ним на Капри и позднее, после возвращения Горького из Италии.

Печатается глава из книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1. М., «Искусство», 1954, с. 255—259).

[1] См. восп. Андреевой и Немировича-Данченко, с. 162, 168.
[2] Немировича-Данченко.
[3] Поход мхатовцев на Хитров рынок состоялся 22 августа 1902 г.
[4] См. восп. Немировича-Данченко, с. 171—172.
[5] Премьера «На дне» состоялась 18 декабря 1902 г.

## В. В. ЛУЖСКИЙ

### К ПОСТАНОВКЕ «НА ДНЕ»

(стр. 180)

Лужский (псевдоним Калужского) Василий Васильевич (1869—1931) — актер, один из основателей МХАТа.

Печатается по тексту: *Груздев*, с. 171—173.

[1] См. восп. Телешова, с. 150—151.
[2] Чтение пьесы «На дне» состоялось 6 сентября 1902 г.
[3] Музыка песни «Солнце всходит...» (слова народные) для пьесы «На дне» написана А. Б. Гольденвейзером на основе народной мелодии напетой композитору Горьким и Скитальцем.

## В. Р. ГАРДИН

### ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

(стр. 182)

Гардин Владимир Ростиславович (1877—1965) — актер и режиссер театра и кино, в 1904—1906 годах работал в театре В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге.

Печатается отрывок из книги В. Р. Гардина «Воспоминания», т. II. М., Госкиноиздат, 1952, с. 181—186.

[1] Как и свои первые пьесы, Горький предложил «Дачников» МХТ. Однако В. И. Немирович-Данченко воспротивился ее постановке. «Пьеса неудачна, в ней нет любви к человеку, неясно, во что верит автор»,— писал он 19 апреля 1904 г. в своем отзыве о пьесе. Горький в августе отвечал ему: «Внимательно прочитав Вашу рецензию на пьесу мою, я усмотрел в Вашем отношении к вопросам, которые мною раз навсегда, неизменно для меня решены,— принципиальное разногласие. Оно неустранимо, и потому я не нахожу возможным дать пьесу театру, во главе которого стоите Вы». Пьесу «Дачники» Горький отдал в театр В. Ф. Комиссаржевской. Читка пьесы в этом театре состоялась в августе 1904 г.

[2] В. А. Серов работал над портретом Горького осенью 1905 г.

[3] В сохранившемся цензурованном экземпляре «Дачников» семь цензорских вычерков и на полях много отметок против мест, все же оставленных цензором (С. Д. Балухатый. Драматургия М. Горького и царская цензура.— «Театральное наследие», сб. 1. Л., 1934, с. 220—221).

[4] «Дачники» прошли хорошим скандалом»,— телеграфировал Горький Е. П. Пешковой в Ялту 12 ноября 1904 г. и подробно рассказал о спектакле ей же в письме от 12—13 ноября: «Первый спектакль — лучший день моей жизни, вот что я скажу тебе, друг мой! Никогда я не испытывал и едва ли испытаю когда-нибудь в такой мере и с такой глубиной свою силу, свое значение в жизни, как в тот момент, когда после третьего акта стоял у самой рампы, весь охваченный буйной радостью, не наклоняя головы пред «публикой», готовый на все безумия — если б только кто-нибудь шикнул мне.

Поняли — и не шикнули. Только одни аплодисменты и уходящий из зала «Мир искусства». Было что-то дьявольски хорошее во мне и вне меня, у самой рампы публика орала неистовыми голосами нелепые слова, горели щеки, блестели глаза, кто-то рыдал и ругался, махали платками, а я смотрел на них, искал врагов, а видел только рабов и нескольких друзей».

[5] После событий 9 января 1905 г. постановка «Дачников» была запрещена полицией. Но к тому времени уже состоялось двадцать спектаклей. Комиссаржевская предъявила властям иск о взыскании причиненных убытков. Дело дошло до сената, который в иске отказал. Но опубликованный в печати отказ сената придал всеобщей гласности факт самоуправства властей, чего и добивалась Комиссаржевская. Осенью 1905 г. под давлением революционных событий, нараставших в стране, власти были вынуждены снять запрет. «Дачники» вернулись на сцену и шли с еще большим успехом.

## М. В. НЕСТЕРОВ

### ИЗ «ДАВНИХ ДНЕЙ»

(стр. 187)

Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942) — художник. Его знакомство с Горьким продолжалось с 1900 года до последних дней жизни писателя. В 1901 году Нестеров писал портрет Горького (Музей А. М. Горького, Москва).

Печатается отрывок из книги М. В. Нестерова «Давние дни. Встречи и воспоминания». М., «Искусство», 1959, с. 288—292.

[1] М. В. Нестеров познакомился с Горьким весной 1900 г. в Ялте, о чем художник писал 18 мая 1900 г. А. А. Турыгину.

[2] *Абас Туман* (Абастумани) — курортный городок в Грузии; в Абас-Тумане Нестеров в 1899—1904 гг. расписывал церковь Александра Невского. Горький был в Абас-Тумане в июне 1903 г.

[3] Нестеров родился в Уфе.

[4] На Сергиевской улице в Петербурге (ныне ул. Чайковского) жил Ярошенко.

[5] Нестеров хотел изобразить Горького как представителя народа в числе идущих к Христу. «Но позднее я убедился, что великая правда, к которой стремился М. Горький в своих произведениях, совсем не в плане моей «Святой Руси», и я изменил свое намерение»,— писал он в одном из вариантов воспоминаний (см. в том же издании «Давних дней», с. 368). Картина «Святая Русь» (1901—1905) находится в Русском музее в Ленинграде.

[6] Поэма «Человек» опубликована в первом сборнике «Знание», вышедшем в марте 1904 г.

[7] «Девушка у пруда», портрет дочери художника (1923); находится в собрании Н. М. Нестеровой.

[8] Картину «Больная девушка» (1928) Горький приобрел для музея родного города, но, как обычно, прежде чем передать в музей, на некоторое время оставил ее у себя — в рабочем кабинете в Горках. Передать картину в Музей он так и не успел (теперь находится в Музее А. М. Горького в Москве).

## Ю. А. ЖЕЛЯБУЖСКИЙ

### ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

*Отрывки из воспоминаний*

(стр. 191)

Желябужский Юрий Андреевич (1888—1955) — сын М. Ф. Андреевой, один из первых деятелей русского и советского кино, кинорежиссер, оператор, профессор. Ю. А. Желябужский на протяжении многих лет был дружески связан с Горьким.

Рукопись воспоминаний, как и переписка Горького с Желябужским, хранится в Архиве А. М. Горького. Публикуется впервые.

[1] 1905 г.

[2] Революция 1905 г. началась в Петербурге. 3 января забастовали рабочие Путиловского завода, 7 января все рабочие столицы. Гапоновское «Собрание русских рабочих» (см. примеч. 5 на с. 416) назначило на воскресенье 9 января шествие рабочих к царю с прошением об облегчении их тяжелой жизни. Власти решили потопить в крови это мирное выступление пролетариата. В Петербург было стянуто более 40 тысяч полицейских и солдат. Большевики вели активную разъяснительную работу, доказывая бесплодность

обращения к царю, но, видя, что они не могут предотвратить выступление, встали в ряды демонстрантов, чтобы по возможности руководить им. В шествии приняло участие около полутораста тысяч человек. Многие рабочие шли к «царю-батюшке» с женами и детьми. Царские власти жестоко подавили мирное выступление — более тысячи человек было убито, около пяти тысяч ранено. В это «кровавое воскресенье» окончательно была убита вера в царя даже у самых отсталых рабочих. Большевики возглавили начавшееся массовое движение против царизма. Уже к вечеру 9 января в Петербурге появились первые баррикады.

[3] Вечером 8 января, придя в редакцию либерально-народнической газеты «Наши дни», Горький застал там большое собрание, обсуждавшее предстоящее шествие рабочих к царю. Собравшиеся выражали опасение по поводу неизбежного столкновения рабочих с полицией и войсками. Писатель принял горячее участие в обсуждении и был избран в состав депутации, которая направилась к министру внутренних дел. В состав депутации вошли общественные деятели либерального толка. Депутацию принял помощник министра по полицейской части генерал-майор Рыдзевский, который нагло и самоуверенно заявил, что «правительство знает, что ему нужно делать». Подобное заявление сделал и председатель комитета министров граф С. Ю. Витте.

9 января, после кровавых событий, Горький написал воззвание «Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств», в котором рассказывал о хождении депутации к министрам и о расправе с безоружной толпой рабочих. Воззвание он передал для подписи другим членам депутации, рассчитывая затем опубликовать его в газетах. Но при обыске у одного из них воззвание было изъято. Экспертиза без труда установила почерк Горького, и это явилось основанием для ареста писателя (см. примеч. 7 на с. 416), которому инкриминировали вхождение в комитет, составленный якобы «из представителей всех действующих в империи противоправительственных фракций», и участие в действиях, направленных к «ниспровержению самодержавной власти». В. И. Ленин в газете «Вперед» 25 января 1905 г. писал, что арестованным «предъявили нелепейшее обвинение в намерении сорганизовать «временное правительство России» на другой день после революции», и сообщил об «энергичной кампании» за границей в пользу освобождения Горького (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, с. 239).

[4] 9 января в 6 часов утра Горький вместе с Л. Л. Бенуа, социал-демократом, знакомым ему по Нижнему Новгороду, отправился на Выборгскую сторону и с группой большевиков участвовал в шествии рабочих. Писатель стал свидетелем расстрела рабочих у Троицкого, Полицейского, Певческого мостов и на Дворцовой площади. Со-

бытия 9 января Горький описал в очерках «9-е января» и «Н. Ф. Анненский».

[5] Священник Г. А. Гапон, с 1902 г. агент царской охранки. в 1903 г. с ведома и при содействии властей создал «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», имевшее целью отвлечь рабочих от нараставшей революционной борьбы. В столице общество под видом чайных-клубов имело 11 отделений, существовавших за счет полиции. В начале 1905 г. по инициативе Гапона была выработана петиция и 9 января организовано шествие к царю, закончившееся кровавой расправой над рабочими.

По свидетельству Десницкого, Горький уже тогда относился к Гапону с недоверием (В. Десницкий. А. М. Горький. Очерки жизни и творчества. М., Гослитиздат, 1959, с. 95). Тем не менее после расстрела рабочих Гапон пришел на квартиру писателя.

[6] Вольно-экономическое общество, старейшее из научных обществ России, основано в Петербурге в 1765 г. с целью «распространения в государстве полезных для земледелия и промышленности сведений» (существовало до 1919 г.). Общество сыграло большую роль в развитии русской науки. В работе его участвовали видные ученые — Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, П. П. Семенов-Тян-Шанский, В. В. Докучаев, А. Н. Бекетов, М. М. Ковалевский и др.

9 января 1905 г. в помещении Вольно-экономического общества на собрании петербургской интеллигенции, которое и описывает мемуарист, происходил сбор средств в пользу пострадавших во время кровавой расправы.

[7] 10 января Горький уехал в Ригу, где в 3 часа дня 11 января был арестован, отправлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. В крепости Горький содержался до 12 февраля. Под давлением широких протестов русской и мировой общественности властям пришлось освободить писателя (см. примеч. 3 на с. 415). Но жить в столице ему не разрешили, и Горький с Андреевой уехали в Ригу.

## В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ

### ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

(стр. 198)

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — активный участник революционного движения, член Коммунистической партии со дня основания РСДРП, не раз подвергался репрессиям. В 1908—1918 годах руководил легальным большевистским издательством «Жизнь и знание». В 1917—1920 годах управляющий делами Совета Народных Комиссаров. Был организатором и первым директором Государственного литературного музея в Москве.

Описываемая встреча происходила 15 апреля 1905 года.

Печатается отрывок из кн.: В. Бонч-Бруевич. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1968, с. 105—111.

[1] Бонч-Бруевич ехал к Горькому в Крым по делам издания произведений писателей-знаньевцев за рубежом. Доход от этого издания должен был идти в партийную кассу.

[2] У Чирикова в Петербурге В. Д. Бонч-Бруевич узнал адрес Горького.

[3] Сам Горький утверждал, что работал над романом летом 1906 г. В апреле 1933 г. он писал В. А. Десницкому: «Собранный мною материал после 9-го января 5-го года куда-то исчез, может быть, жандармы не возвратили, а может, он остался на Знаменской, 20, у К. П. Пятницкого. «Мать» я писал в Америке, летом 6-го года, не имея материала, «по памяти»...» Однако М. Ф. Андреева свидетельствовала, что наброски романа Горький делал уже в 1903—1904 гг.

## С. Я. МАРШАК

### ТРИ ВСТРЕЧИ

(стр. 204)

Маршак Самуил Яковлевич (1887—1964) — советский писатель.

Печатается по изданию: *Гвс*, с. 412—418.

[1] Восьмидесятилетие В. В. Стасова отмечалось в день его именин 22 августа 1904 г.

[2] Стихи эти Маршак привел в письме брату (С. Маршак. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., «Художественная литература», 1972, с. 28—29).

[3] Отрывок из поэмы «Дзяды» (1833—1838).

[4] См. примеч. 7 на с. 416.

[5] В Крыму Горький жил с 29 марта по 7 мая 1905 г.

[6] А. И. Куприн в 1890—1894 гг. был офицером.

## П. А. ЗАЛОМОВ

### БУРЕВЕСТНИК РЕВОЛЮЦИИ

(стр. 209)

Заломов Петр Андреевич (1877—1955) — руководитель и организатор первомайской демонстрации 1902 года в Сормове (предместье Нижнего Новгорода). Горький внимательно следил за процессом над участниками демонстрации, выписал для них из Москвы адвокатов, помогал материально.

Речь, которую П. Заломов произнес на суде, была напечатана в «Искре» (1902, 1 декабря, № 29) и привлекла внимание В. И. Ленина (Полн. собр. соч., т. 7, с. 63—65). После бегства из ссылки, чему тоже способствовал Горький, Заломов продолжал революционную работу, в 1905 году участвовал в баррикадных боях на Пресне. Заломов — один из прототипов Павла Власова в романе «Мать».

Впервые напечатано в книге «Семья Заломовых» (М., «Молодая гвардия», 1948); печатается по тексту: *Гвс*, с. 168—169.

[1] См. примеч. 3 к восп. Бонч-Бруевича на с. 417.

## В. С. ЦЫЦАРИН

### В КУОККАЛЕ

(стр 211)

Цыцарин Василий Сергеевич (1880—1964) — токарь Невского судостроительного завода, активный участник революционного движения, был организатором Союза металлистов, делегатом Таммерфорсской партийной конференции.

Печатается по тексту: *Горький в 1905-1907*, с. 84—90.

[1] Из письма Горького мемуаристу от 13 декабря 1925 г.

[2] Находившийся на нелегальном положении и больной Цыцарин по просьбе нижегородской социал-демократки М. П. Иваницкой приехал к А. М. Горькому, чтобы в относительной безопасности пожить у него некоторое время.

[3] Стачка на Путиловском (ныне Кировском) заводе, проходившая под руководством большевиков, началась 22 июня 1905 г. и продолжалась полтора месяца. Горький внимательно следил за этими событиями. 14 июля он писал Е. П. Пешковой: «Вот теперь 13 000 рабочих Путиловского завода сидят без хлеба, они совершенно истощены забастовками, и дети их буквально мрут с голода» (*Архив*, т. V, с. 159), а 27 июля: «Здесь на Путиловском форменный голод, голод — индийский. Ребятишки умирают десятками. Женщины иссохли от слез, но — рабочие, несмотря на все это — держатся крепко».

[4] 30 июля в Териоках (ныне Зеленогорск Ленинградской обл.) в помощь бастующим был устроен литературно-музыкальный вечер с участием Л. Н. Андреева, М. Ф. Андреевой, А. И. Куприна и др. Горький читал на вечере свою поэму «Человек». Более 2000 рублей выручки за вечер было передано бастующим путиловцам.

[5] См. примеч. 3 и 7 на с. 415—416.

[6] С. Г. *Нечаев* в 1872 г. был арестован и приговорен к двадцати годам каторги. Умер при неясных обстоятельствах в Петропавловской крепости в 1882 г.

[7] Народоволка М. Ф. *Ветрова* была арестована в 1896 г. по делу тайной типографии и заключена в Петропавловскую крепость. В знак протеста против жестокого тюремного режима облилась керосином из лампы и подожгла себя.

[8] По словам современников, узнав о восстании декабристов, Ф. В. Растопчин сказал: «Во Франции повара хотели попасть в князья, а здесь князья — попасть в повара» (Н. О. Лернер. Растопчинская шутка о декабристах.— Сб.: «Бунт декабристов». Л., 1926, с. 398—399).

## Ф. И. ДРАБКИНА

### В ДНИ ДЕКАБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ
### (стр. 216)

Драбкина Феодосия Ильинична (1883—1957) в период первой русской революции состояла в Боевой технической группе при большевистском ЦК. В советское время — издательский работник, с 1938 года — персональный пенсионер.

Печатается по тексту: *Горький в 1905—1907*, с. 92—96.

[1] О. Д. Черткова была горничной-костюмершей М. Ф. Андреевой. Получив медицинское образование, в качестве домохозяйки и медсестры жила в семье Горького до самой его кончины, ухаживая за больным писателем и оказывая ему доврачебную помощь.

[2] Активная участница революционного движения, член большевистской партии, М. Ф. Андреева собирала также средства для партийной работы.

[3] Железная дорога между Москвой и Петербургом называлась Николаевской (теперь Октябрьская): соответствующие железнодорожные вокзалы в Москве и Петербурге назывались Николаевскими.

[4] В помещении училища с согласия его директора И. И. Фидлера большевиками устраивались лекции. 5 декабря здесь состоялась конференция большевиков, принявшая решение объявить всеобщую стачку, которая должна была перерасти в вооруженное восстание. При разгроме училища было арестовано более ста дружинников.

[5] См. восп. Войткевича, с. 140.

[6] Рабочие сытинской типографии активно участвовали в революционной борьбе, власти видели в типографии один из центров «крамолы» («Это перцовая лавка во всей московской массе»,— так характеризовали они сытинцев.— И. Д. Сытин. Жизнь для

книги. М., «Книга», 1968, с. 218) и потому подожгли типографию, под страхом расстрела запретив тушить пожар. Сам Сытин, опасаясь ареста или расправы черносотенцев, уехал в Петербург.

[7] См. восп. Арабидзе, с. 221—225.

[8] Горький уехал из Москвы 13 декабря 1905 г.

[9] *Дядя Миша* — Михайлов М. А. Через него Горький передавал деньги Московскому комитету РСДРП на приобретение оружия.

[10] Горький и Андреева уехали в Финляндию в январе 1906 г.

## В. О. АРАБИДЗЕ

### ГРУЗИНСКИЕ ДРУЖИННИКИ И МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(стр. 221)

Арабидзе Васо Окропирович (1881—[illegible]) — активный участник революционного движения, театральный деятель, один из первых грузинских киноактеров. В революцию 1905 года был командиром дружины, охранявшей Горького в Москве.

Воспоминания написаны в 1933 году, впервые напечатаны в «Салитературо газети» («Литературная газета»), Тбилиси, 1933, 4 мая, № 11. Печатается по изданию: «Максим Горький и деятели грузинской литературы». Тбилиси, «Ганатлеба», 1970, с. 42—49.

[1] О грузинской боевой дружине Горький упоминает в очерке «Камо» (1932), где пишет и об Арабидзе: «человек лет под тридцать, энергичный, строгий, требовательный и героически настроенный революционер...».

[2] Под давлением революционного движения в стране царское правительство 17 декабря 1905 г. издало «Манифест», «даровавший» гражданские «права» и «свободы». Передовые общественные круги воспользовались «Манифестом» и потребовали освобождения политических узников. Так, 18 октября 1905 г., когда в ресторане «Метрополь» по поводу «Манифеста» состоялся митинг, по предложению Горького была послана телеграмма Витте с несколькими сотнями подписей о немедленной амнистии «пострадавшим за политические убеждения». Именно здесь, а не в театре, как пишет Арабидзе, Шаляпин пел «Марсельезу» и «Дубинушку».

[3] В. Л. Величко в 1897—1899 гг. был редактором газеты «Кавказ», которая в этот период отличалась ярко выраженным национализмом. В 1903 г. Горький назвал Величко наряду с нововременцами Сувориным и Бурениным в числе тех журналистов, кто растлевал общественное мнение, способствовал погромам (М. Горький. Ранняя революционная публицистика. Госполитиздат, 1938, с. 110). Об оплеухе, якобы полученной Величко от Горького, других подтверждений нет.

## Н. Е. БУРЕНИН

### ИЗ КНИГИ «ПАМЯТНЫЕ ГОДЫ»

(стр. 226)

Буренин Николай Евгеньевич (1874—1962) — активный участник первой русской революции. С 1905 года его связывали с Горьким сначала деловые, а затем и дружеские отношения. По поручению Центрального Комитета партии и лично В. И. Ленина Буренин сопровождал Горького и Андрееву в Америку, а потом жил с ними на Капри. Встречи и переписка между ними продолжались до последних дней жизни писателя.

Переписка Горького и Буренина опубликована в *Архиве* (т. XIV, с. 200—287).

Воспоминания Буренина о Горьком печатались неоднократно и в разных редакциях. В частности, в книгах: *Гвс, Горький в 1905—1907*, «Мария Федоровна Андреева. Переписка, воспоминания, статьи, документы, воспоминания о М. Ф. Андреевой». М., «Искусство», 1968. Печатается по книге Н. Е. Буренина «Памятные годы», Л., 1967, с. 110—188.

[1] Боевая техническая группа при ЦК партии большевиков в период революции 1905 г. доставала оружие и распределяла его между рабочими отрядами.

[2] См. примеч. 7 на с. 416.

[3] Описываемая встреча состоялась в конце августа 1905 г. в имении финского политического деятеля, участника движения за независимость Финляндии доктора Тернгрена под Гельсингфорсом (теперь — Хельсинки). Тернгрен в период первой русской революции оказывал помощь большевикам в транспортировке оружия и нелегальной литературы.

[4] Находясь в 1906 г. в Финляндии, Горький ежедневно бывал в мастерской А. Галлен-Каллелы, позировал ему. Портрет Горького работы Галлен-Каллелы (1906) находится в музее «Атеум» в Хельсинки.

[5] Известная датская концертная певица Эллен Бэк в 1904 г. гастролировала в Германии и Скандинавии, в 1906 г.— в России.

[6] Связанный с революционерами гельсингфорсский полицмейстер Мальм сообщил устроителям вечера, что жандармы хотят арестовать Горького, и сам поставил следить за порядком сочувствующую русским революционерам полицейскую охрану, которая в случае опасности помогла бы Горькому скрыться.

[7] Возглавляемый А. Сайло отряд позднее охранял также дорогу, по которой уезжали из Финляндии Горький и Андреева.

[8] Концерт состоялся 19 января (1 февраля) 1906 г.

[9] В Финляндии, входившей до 1809 г. в состав Швеции, шведский язык широко распространен.

[10] В имение Варена Горький и Андреева уехали в конце января 1906 г., и жили там около месяца.

[11] В Швецию Горький и Андреева уехали 12 (25) февраля 1906 г.

[12] По поручению партии Горький ехал в США вести агитационную работу, разъяснять подлинный смысл и значение русской революции, разоблачать кровавые преступления царизма, помешать русскому правительству получить займы, необходимые ему для подавления революции, а также собирать средства на партийную работу.

[13] Горький со спутниками отплыл из Европы 22 марта (4 апреля) 1906 г.

[14] См. примеч. 3 к восп. Бонч-Бруевича на с. 417.

[15] В Нью-Йорк Горький и его спутники прибыли 28 марта (10 апреля) 1906 г.

[16] Обед в честь Горького состоялся 29 марта (11 апреля) 1906 г.

[17] В письме в американские газеты Горький писал: «...я женился церковным браком в 1896 г., и через семь лет по взаимному соглашению с женой мы разошлись. Церковный развод обставлен в России столь унизительными и позорными формальностями, что мы его не требовали и нужды в нем по условиям русской жизни не имели. С первой женой мы сохраняем добрые отношения, она живет на мои средства, и мы встречаемся как друзья. Со второй женой живу гражданским браком, принятым в России как обычай, хотя и не утвержденным как закон. Однако Сенат, высшая судебная инстанция, в своих решениях признает уже за гражданской женой наследственные права и, разумеется, эта форма брака скоро будет установлена законом, раз обычай уже вошел в силу» (*Архив*, т. XIV, с. 79).

[18] Н. В. *Чайковский* — один из лидеров партии эсеров, для которой он в США собирал денежные средства.

[19] Травля Горького в американской печати была организована при активном участии тайных агентов царского правительства, стремившихся сорвать миссию писателя. В антигорьковскую кампанию включились и раздосадованные эсеры: Н. В. Чайковский вторично обратился к Горькому и предложил передать половину собранных им в Америке денег партии эсеров, обещая при этом заставить замолчать американские «желтые» газеты, травившие Горького и Андрееву. Горький ответил решительным отказом.

[20] 1 (14) апреля.

[21] *Заволжский* — Зиновий Алексеевич Пешков (наст. имя — Зиновий Михайлович Свердлов, брат Я. М. Свердлова). В 1902 г. для поступления в императорское филармоническое училище принял православие. При крещении взял фамилию и отчество крестного отца — А. М. Горького, что дало повод считать его приемным сыном писателя. В 1904 г., не желая отбывать воинскую повинность, З. Пешков эмигрировал в Канаду, затем жил в США, Новой Зеландии, приезжал к Горькому, с которым переписывался много лет, на Капри. В период первой мировой войны, приняв французское подданство, был на фронте, в боях потерял руку, потом служил во французском министерстве иностранных дел, в 1921—1926 и 1937—1940 гг. командовал иностранным легионом в Марокко. С 1941 г. был одним из сподвижников де Голля.

[22] Марк Твен доброжелательно отнесся к Горькому, принял участие в создании фонда помощи русской революции, но существа поднятой реакционной печатью кампании против Горького не понял. Горький не осуждал за это старого писателя, и, когда в русской прессе наряду с возмущением травлей Горького появились нападки на М. Твена и его творчество, он в открытом письме заметил: «Не следует также нападать на почтенного Марка Твена. Это превосходный человек, но — он стар, а старики очень часто неясно понимают значение фактов...» (*Горький*, т. 23, с. 393).

[23] Политическая организация *фабианцев*, признавая лишь эволюционный путь развития и считая социализм неизбежным следствием экономического развития, отрицательно относилась к революции.

[24] В очерке «В. И. Ленин» Горький приводит ленинские слова о романе: «...книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя. Очень своевременная книга».

[25] Ассистентка известного физика Э. Резерфорда Гарриет Брукс вместе с Горьким, Андреевой и Бурениным позднее приехала из Америки в Италию не раз бывала у Горького на Капри. Теплые отношения с Горьким Брукс поддерживала много лет.

[26] Горький приехал в Неаполь из Америки 13 (26) октября и жил здесь до 20 октября (2 ноября) 1906 г.

[27] На Капри Горький поселился 20 октября (2 ноября) 1906 г.

[28] Цитата из «Сказок об Италии» М. Горького, из рассказа о Нунче, умершей во время танца.

[29] Это посещение театра состоялось 13 (26) октября 1906 г.

## Н. Н. НАКОРЯКОВ

### НА ПЯТОМ ПАРТИЙНОМ СЪЕЗДЕ

(стр. 247)

Накоряков Николай Никандрович (1881—1970) — революционер, делегат IV и V съездов РСДРП; в советское время издательский работник.

Печатается по тексту: *Горький в 1905—1907*, с. 117—123.

[1] См. примеч. 27 на с. 404.

[2] *«Лесные братья»* — партизанские отряды, руководимые Латышской социал-демократической партией, которые боролись против царских карательных войск в 1905—1907 гг.

[3] См. восп. Калюжного, с. 46—48.

[4] Подпольная Авлабарская типография в Тифлисе действовала с ноября 1903 по апрель 1906 г.

[5] *«Посессионное право»* — закрепление рабочих за промышленными предприятиями, сохранявшееся кое-где и после отмены крепостного права.

[6] Неточно: Горький плавал на пароходе «Добрый» в 1881 г. от Нижнего Новгорода до Перми, а в 1882 г. на пароходе «Пермь». В самой Перми Горький был летом 1894 г.

[7] После поражения вооруженного восстания в заводском поселке Мотовилиха Пермской губернии рабочий Лбов организовал партизанский отряд, действия которого носили в основном анархический характер. В конце 1907 г. Лбов был схвачен полицией и казнен.

[8] В. И. Ленин был выбран делегатом V съезда от верхнекамской организации РСДРП, объединявшей несколько заводов.

[9] Заем был предоставлен большевикам владельцем мыловаренных заводов Д. Фельцем. Долг возвращен партией наследникам Фельца в 1922 г.

[10] «Протоколы Пятого съезда РСДРП». Партиздат, 1935, с. 396—397

## И. И. БРОДСКИЙ

### ИЗ КНИГИ «МОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ»

(стр. 254)

Бродский Исаак Израилевич (1883—1939) — художник, автор нескольких портретов Горького; наиболее известны портрет 1910 года (находится в Музее А. М. Горького в Москве) и 1933—1936 годов — «Буревестник» (Третьяковская галерея, Москва).

Печатается по книге И. И. Бродского «Мой творческий путь» (Л., «Художник РСФСР», 1965, с. 66—74).

[1] Знакомство состоялось 17 (30) июля 1910 г.; с Капри Бродский уехал в августе — сентябре.

[2] См. восп. Буренина, с. 244.

[3] Второй раз Бродский был на Капри в мае — августе 1911 г.

[4] Первое письмо отправлено Горьким весной 1912 г., второе — в октябре 1910 г.

[5] См. примеч. 3 к восп. Лужского на с. 412.

[6] Случай, о котором идет речь, произошел на спектакле «Борис Годунов» 6 января 1911 г. Хористы решили подать прошение на «высочайшее имя» (на спектакле присутствовал Николай II) о прибавке жалованья и после одной из сцен спектакля, встав на колени, запели гимн. Вышедший на сцену раскланяться с публикой Шаляпин, растерявшись, тоже опустился на колено. Поведение артиста было воспринято газетами как проявление раболепия; вначале так думал и Горький. Поднятый прессой шум по поводу инцидента (с осуждением певца выступили и такие влиятельные и известные журналисты, как А. Амфитеатров и В. Дорошевич) вызвал у Шаляпина растерянность. Горький советовал ему объяснить все в печати, однако Шаляпин на это не решился.

[7] Картина Бродского «Италия» (1911) находится в Третьяковской галерее.

[8] Написано весной 1912 г.

[9] Эти стихи в пьесе читает Вагин. В своих письмах Горький приводил эти стихи как выражение собственных мыслей и чувств (в письмах Д. Н. Семеновскому от 9 марта 1916 г. и А. Н. Чаплыгину от 6 июля 1918 г.).

[10] С И. Е. Репиным Горький познакомился 9 октября 1899 г., и с этого времени их связывала личная дружба, несмотря на большую разницу в возрасте. Осенью 1899 г. Репин написал получивший широкую известность портрет Горького (экспонировался в 1900 г. на XXVIII передвижной выставке; сейчас находится в Институте русской литературы, Ленинград), в 1905 г.— портрет М. Ф. Андреевой (Художественный музей БССР, Минск).

В. А. Серов осенью 1905 г. написал портрет Горького, один из лучших во всей горьковской иконографии (Музей А. М. Горького, Москва).

[11] Из писем Горького Бродскому от конца декабря 1910 (начала января 1911 г.) и от 17 (30) сентября 1910 г.

[12] Горький собирал также старинное оружие (коллекцию подарил Шаляпину), восточные статуэтки и — в первую очередь — книги.

## С. М. ПРОХОРОВ

**‹У ГОРЬКОГО НА КАПРИ›**

(стр. 262)

Прохоров Семен Маркович (1873—1948) — художник. Портрет Горького его работы (Капри, 1910) находится в Харьковском музее изобразительного искусства; авторское повторение (1948) — в Музее А. М. Горького в Москве.

Переписка Горького с Прохоровым — *Гих*, с. 187—194.

Впервые опубликовано в журнале «Малярство и скульптура», Киев, 1938, № 5, с. 11—14; печатается по тексту: *Гих*, с. 35—39.

¹ См. примеч. 1 на с. 425.

² См. примеч. 6 на с. 386.

³ См. примеч. 10 на с. 425.

## М. Ф. АНДРЕЕВА

(О ней см. на с. 409)

**ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ**

(стр. 267)

Впервые напечатано в газете «Московский большевик», 1946, 16 июня, № 141; впоследствии неоднократно перепечатывалось. Печатается по изданию: *Гвс*, с. 44—48.

¹ Здесь и ниже о V съезде партии см. восп. Десницкого и Накорякова, с. 129—132, 247—253.

² В очерке М. Горького «В. И. Ленин» слова «Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш» говорит один из рабочих.

³ *Строев* — партийный псевдоним В. А. Десницкого.

⁴ Начало романа напечатано в XVI сборнике «Знание», вышедшем в свет 14 апреля 1907 г. В июне того же года роман «Мать» издан на русском языке в Берлине И. П. Ладыжниковым.

⁵ В Берлине Горький был проездом в Лондон в апреле — мае 1907 г.

⁶ В. И. Ленин посетил Горького на Капри между 23 и 30 апреля 1908 г.

⁷ Этот замысел Горький реализовал в автобиографической трилогии «Детство» (1915), «В людях» (1916), «Мои университеты» (1923) и в мемуарных очерках 20-х годов: «Время Короленко», «О Михайловском» и др.

⁸ Второй раз Ленин был на Капри 18—30 июня (1—13 июля) 1910 г.

[9] И. П. Ладыжников в 1901 г. вошел в состав Нижегородского комитета РСДРП. Познакомившись с Горьким, по его рекомендации, заведовал в Нижнем Новгороде книжным магазином, распространявшим книги «Знания». В 1905—1913 гг. за границей выполнял поручения партии по добыванию средств, организации транспорта и связи. В Женеве организовал издательство для выпуска марксистской литературы и произведений передовых писателей, в частности, Горького. Вернувшись в 1914 г. в Россию, работал в горьковском «Парусе», участвовал в организации «Летописи». После Октября член редколлегии «Всемирной литературы», сотрудник книгоиздательского и книготоргового акционерного общества «Книга», выпускавшего произведения советских писателей, в 1936—1943 гг. — научный консультант Архива А. М. Горького.

[10] В этот период А. А. Богданов и его группа (В. Базаров, А. Луначарский и др.) пытались ревизовать теоретические основы марксизма и проповедовали «богостроительство», идея которого заключалась в идеалистическом стремлении соединить социализм с религией. А. М. Горький некоторое время сочувствовал идеям «богостроительства», что нашло отражение, например, в его повести «Исповедь» (1908). В. И. Ленин самым решительным образом выступил против этих воззрений и в своем письме Горькому от 24 марта 1908 г. указал, что книга Богданова и других («Очерки по философии марксизма»), излагающая их ревизионистские домыслы — «нелепая, вредная, филистерская, поповская *вся* от начала до конца, от ветвей до корня...». И терпеливо, настойчиво разъяснял Горькому ошибочность этой теории, отвергая всякую попытку примирения с группой Богданова. «Какое же тут «примирение» может быть, милый А. М.? Помилуйте, об этом смешно и заикаться. Бой *абсолютно* неизбежен» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, с. 151). В. И. Ленин не только дал Горькому возможность понять антимарксистский характер воззрений Богданова, но и разоблачил попытки Богданова «опереться» на Горького, защитил само имя писателя, заявив, что, несмотря на отдельные ошибки и заблуждения, авторитет его «в деле пролетарского искусства» бесспорен (там же, т. 19, с. 252).

### ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
(стр. 271)

Впервые опубликовано в газете «Московский комсомолец», 1940, 17 июня, № 138. Печатается по изданию: «Мария Федоровна Андреева. Переписка, воспоминания, статьи, документы, воспоминания о М. Ф. Андреевой». М., «Искусство», 1968, с. 198—201.

[11] См. примеч. 27 на с. 423

[12] Замысел Горького написать трилогию о мещанской России воплотился в двух книгах: «Городок Окуров» (1909) и «Жизнь Матвея Кожемякина» (1911—1913); третья часть — «Большая любовь» — осталась незавершенной. Эпизод с убийством Марфы Посуловой вошел в четвертую часть «Жизни Матвея Кожемякина».

## Ш. Н. МАНУЧАРЬЯНЦ

### ЗНАКОМСТВО С ГОРЬКИМ

(стр. 276)

Манучарьянц Шушаник Никитична (1889—1969) — библиотекарь. Окончив Бестужевские курсы, в 1912—1914 годах жила на Капри с мужем, Л. Н. Старком.

С 1918 года член РКП(б). С марта 1920 года — библиотекарь В. И. Ленина, в 1924—1930 годах — библиотекарь Н. К. Крупской, затем научный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Впервые опубликовано в журнале «Дон». 1958, № 6. Печатается по тексту: «Горький и Армения. Статьи, письма, воспоминания и «Хроника». Ереван, «Митк». 1968, с. 116—121.

[1] Поэт и журналист Л. Н. Старк в 1912 г. за революционную деятельность был выслан из России, некоторое время жил на Капри, встречался с Горьким. Через Старка Горький поддерживал связь с Петербургским комитетом РСДРП.

[2] Стихи Л. Старка («Птица-ночь», «Не звени своим монистом...», «Вечером», «Ночью», «Зайдем? В кафе так много огней...») опубликованы в «Современнике» в 1912 г., № 10.

[3] Ф. И. Шаляпин был на Капри 8—15 (21—28) февраля 1913 г.

[4] А. Н. Тихонов (Серебров).

[5] В августе 1915 г.

[6] См. восп. Микаэляна, с. 282—285.

[7] Горький в 1914—1921 гг. жил на Кронверкском проспекте (ныне проспект Максима Горького), в доме 23 в квартире № 10, на шестом этаже; в советское время он жил в том же доме на четвертом этаже.

## М. М. ПРИШВИН

### ЛЮБИМАЯ ЗЕМЛЯ

(стр. 281)

Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954) — писатель.

Переписка Горького с Пришвиным в *ЛН*, с. 319—362.

Впервые напечатано в журнале «Огонек», 1945, № 44; печатается по тексту: ***Гвс***, с. 355—356.

[1] В сентябре 1916 г.

## К. С. МИКАЭЛЯН
### ВЕЛИКИЙ ДРУГ НАРОДОВ
(стр. 282)

Микаэлян Карен (Герасим) Сергеевич (1883—1941) — армянский писатель и переводчик.

Впервые опубликовано в журнале «Литературная Армения», 1967, № 2; печатается по тексту: «Горький и Армения. Статьи, письма, воспоминания и «Хроника». Ереван, «Мигк», 1968, с. 135—139.

[1] В. Терян, А. Цатурян, П. Макинцян, К. Микаэлян.

[2] Задумав издание сборников национальных литератур, Горький поднимал свой голос в защиту угнетенных царизмом народов, выступал за полное равноправие всех наций, их демократическое развитие, хотел познакомить русского читателя с литературой других народностей страны и тем укрепить их взаимное доверие. Сборники открывались вступительными статьями, отражавшими историю литературы на фоне развития национальной общественной мысли и культуры. Вводная статья к латышскому сборнику — ее автором был латышский революционер и литературный критик Я. Янсон — явилась первой работой о латышской литературе, написанной с марксистских позиций. Удалось выпустить только три сборника — армянской, латышской и финской литератур,— хотя планировалось значительно больше.

[3] Писатели и ученые из армянских объединений Венеции и Вены. Объединения основаны в 1701 г. ученым монахом-лингвистом Мхитаром Себастаци; существуют до сих пор. Мхитаристы собрали и издали много памятников армянской культуры.

[4] Писатели-армяне, проживающие в Турции.

[5] «Сборник армянской литературы», выпущенный под редакцией М. Горького в 1916 г. издательством «Парус».

[6] В 1909 г. Академия наук избрала И. А. Бунина почетным академиком.

[7] «Сборник пролетарских писателей» выпущен «Парусом» в 1917 г.; Горький активно содействовал и появлению «Первого сборника пролетарских писателей», вышедшего в 1914 г. в издательстве «Прибой». О пристальном внимании Горького к писателям из народа свидетельствовала его статья «О писателях-самоучках», опубликованная в 1911 г. в журнале «Современный мир» (№ 2) и изданная в 1914 г. отдельной брошюрой.

[8] Готовя антологию, В. Я. Брюсов упорно и настойчиво изучал армянский язык, знакомился с историей и культурой Армении, совершил поездку на Кавказ. К переводу стихов он привлек вид-

ных поэтов (А. А. Блока, Ф. К. Сологуба и др.). «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней в переводе русских поэтов» под редакцией со вступительной статьей и примечаниями В. Я. Брюсова издана Московским армянским комитетом в 1916 г. Рисунок для обложки (по мотивам средневековой армянской миниатюры) сделал Мартирос Сарьян. Этот сборник впервые представлял русскому читателю многовековую историю армянской поэзии. Востоковед И. Ю. Крачковский писал Брюсову, что ни в России, ни в Европе ни одна восточная поэзия не представлена так хорошо (в кн.: К. Н. Григорьян. В. Я. Брюсов и армянская поэзия. М., 1962, с. 18).

## Д. Н. СЕМЕНОВСКИЙ

### ИЗ КНИГИ «А. М. ГОРЬКИЙ. ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ»

(стр. 286)

Семеновский Дмитрий Николаевич (1894—1960) — поэт. Встречался и переписывался с Горьким в 1913—1935 гг.

Печатается по изданию: Дм. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи. «Советский писатель», 1940, с. 32—65, 97—105.

[1] Встреча состоялась в апреле 1915 г. в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, где Горький останавливался, приезжая в Москву в 1914—1921 гг.

[2] Встреча произошла в августе — сентябре 1915 г.

[3] См. примеч. 2 к восп. Спендиарова, на с. 410.

[4] В. Терян, окончив в 1906 г. Лазаревский институт восточных языков в Москве, учился на историко-филологическом факультете Московского университета, а с 1913 г. на восточном факультете Петербургского университета. В 1908 г. в Тифлисе вышел первый сборник стихов Теряна, который поставил его в ряд крупнейших современных армянских поэтов: в 1912 г. его стихи были изданы в Москве. Участвовал вместе с Горьким в подготовке «Сборника армянской литературы» (см. восп. Микаэляна, с. 282—285). В 1916 г. уехал на родину, где вел революционную пропаганду. В 1917 г. вступил в большевистскую партию, работал в Наркомате по делам национальностей и в Наркомате иностранных дел.

[5] С. А. Есенин.

[6] Идея генерала А. Л. Шанявского о создании народного университета, поддержанная депутатами-большевиками, вызвала острую политическую борьбу в Государственной думе: реакционеры были против. Однако в 1913 г. Московский народный университет имени А. Л. Шанявского был открыт. В нем полтора года учился

С. А. Есенин. Университет имел целью расширить сферу высшего образования в России, сделав его доступным для малоимущих слоев населения. Для поступления в него не требовалось ни документа об образовании, ни сдачи экзаменов. Занятия велись вечерами, так что можно было и работать, и учиться. Преподавание в университете было свободно от косности и формализма, характерных для системы казенного просвещения, велось на высоком уровне, в числе лекторов было немало известных ученых. Университет немало способствовал развитию народного образования в России; о нем одобрительно отозвался Горький (*Горький*, т. 24, с. 136). Учась в университете Шанявского, Семеновский получал от Горького стипендию.

[7] В «Летописи» (1916, № 2) напечатано стихотворение «Засушила засуха засевки...».

[8] Стихотворение А. С. Пушкина, написанное в 1829 г.

[9] Описываемая встреча происходила в конце января 1919 г.

[10] Как писал мемуарист выше, Горький предложил ему сделать «переложение старинных поэтических текстов на современный язык». Остается неизвестным, взялся ли Семеновский за эту работу.

[11] Мемуарист приехал в Москву из Иваново-Вознесенска, где работал в газете «Рабочий край».

[12] За неимением места для ночлега Семеновский ночевал в милиции.

[13] Трудно сказать, о каком спектакле идет речь. На профессиональной сцене пьеса шла тогда только в МХТ, но в старой постановке. Возможно, имеется в виду спектакль одного из самодеятельных театров (в Щелкове или в театре Пресненского района).

[14] Это был А. К. Воронский, который в 1918—1921 гг. редактировал «Рабочий край».

[15] Цитируются стихи П. А. Радимова «Стерлитамак» (1918).

[16] Горький имеет в виду поэму П. А. Радимова «Попиада» (1922).

[17] См. восп. Е. П. Пешковой, т. 2, с. 21.

## А. Е. БАДАЕВ

### НА РЕВОЛЮЦИОННОМ ПОСТУ

(стр. 299)

Бадаев Алексей Егорович (1883—1951) — член партии с 1904 года. В 1912 году был от рабочих Петербурга избран в Государственную думу, где представлял фракцию большевиков. В ноябре 1914 года вместе с другими депутатами-большевиками арестован и сослан в Туруханский край. После революции — комиссар продовольствия Петрограда и Северной области, с 1930 года —

председатель Центросоюза. Автор книги «Большевики в Государственной думе» (1929).

Впервые напечатано в «Известиях» 29 марта 1928 года, № 75. Печатается по тексту: *Гвс*, с. 279—281.

[1] Встреча состоялась летом 1914 г. (Горький вернулся из Италии в Петербург 31 декабря 1913 г.).

[2] Горький уехал из Петрограда за границу 16 октября 1921 г.

[3] *II конгресс Коминтерна* проходил с 19 июля по 7 августа 1920 г. Первое его заседание, на котором с докладом выступил В. И. Ленин, состоялось в Петрограде, последующие заседания проводились в Москве. Известна фотография В. И. Ленина и А. М. Горького, сделанная на конгрессе (см. иллюстрации).

## М. В. БАБЕНЧИКОВ

### СЛОВО ДОЛЖНО БЫТЬ ВЛАСТНЫМ

(стр. 301)

Бабенчиков Михаил Васильевич (1890—1957) — искусствовед.

Печатается по сборнику: «Забытым быть не может». М., «Известия», 1963, с. 97—100.

[1] Вечер в артистическом кафе «Бродячая собака» состоялся 25 февраля 1915 г. по поводу выхода из печати сборника «Стрелец». Одним из последних выступил Горький. Защищая футуристов от обвинений в безвкусии, бездарности, литературном хулиганстве, писатель признал в них приоритет молодости, жизненной активности, столь недостающей современной (декадентской) поэзии. Из-за кривотолков, которые вызвала в печати эта речь, Горький изложил ее содержание в первом (апрельском) номере «Журнала журналов», где писал: «Русского футуризма нет. Есть просто Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, В. Каменский. Среди них есть несомненно талантливые люди, которые в будущем, отбросив плевелы, вырастут в определенную величину. ⟨...⟩ Вот возьмите для примера Маяковского — он молод, ему всего двадцать лет, он криклив, необуздан, но у него несомненно где-то под спудом есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, и он будет писать хорошие, настоящие стихи. Я читал его книжку стихов. Какое-то меня остановило. Оно написано настоящими словами» (М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 71, 72).

## О. К. МАТЮШИНА

### ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ВСТРЕЧИ

*(Из воспоминаний)*

(стр. 304)

Матюшина Ольга Константиновна (1885—1975) — писательница, после окончания гимназии работала библиотекарем. Приехав в 1905 году в Петербург, поступила на работу в книжный магазин, служивший местом явок Петербургского комитета РСДРП. Затем работала в руководимых большевиками издательствах «Вперед», а с 1913 года «Жизнь и знание».

Впервые опубликовано в журнале «Звезда», 1941, № 6. Печатается по тексту: *Гвс*, с. 293—305.

[1] В. Д. Бонч-Бруевич, возглавлявший «Жизнь и знание».

[2] М. И. Ульянова также работала в издательстве.

## А. П. ЧАПЫГИН

### БЕСЕДЫ С М. ГОРЬКИМ

(стр. 316)

Чапыгин Алексей Павлович (1870—1937) — писатель. Познакомился с Горьким в 1914 году, с 1915 года активно сотрудничал в «Летописи». Вместе с Горьким редактировал второй «Сборник пролетарских писателей» (1917). Горький высоко ценил исторический роман Чапыгина «Разин Степан» (1926—1927).

Переписка между Горьким и Чапыгиным велась в 1910—1935 годах, см. ее в *ЛН*, с. 629—670.

Печатается по тексту: *О Горьком*, с. 22—27.

[1] Мемуарист, отправил письмо Горькому 6 февраля 1910 г., и уже во второй половине февраля получил от него ответ.

[2] *«Современный мир»* — литературный, научный и политический журнал, издавался в Петербурге в 1906—1918 гг.

[3] Встреча Чапыгина с Горьким произошла в апреле — мае 1914 г.

[4] Повесть «Белый скит» опубликована в журнале «Русская мысль» (1913, № 4—6).

[5] Рассказ «Бегун» опубликован в журнале «Летопись», 1916, № 6.

[6] *Дача Дурново* — особняк на Полюстровской набережной (д. 17), занятый после Февральской революции анархистами.

[7] В январе 1919 г. Горький предложил Чапыгину составить книгу поговорок «Как говорит русский народ о себе — о мире,

о труде, о лени, о пьянстве, о любви и о дружбе» на основе издания В. И. Даля: «Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч.», т. 1—8. М., 1862. Книга издана не была.

[8] Замысел Горького реализован не был.

[9] Здесь речь идет о Киево-Печерском патерике — памятнике древнерусской литературы (XIII в.), представляющем собой сборник рассказов об истории Киево-Печерского монастыря и его обитателях. Источниками этих рассказов были устные легенды о печерских подвижниках, различные монастырские записи и житие двух братьев Печерских, Антония и Феодосия. Горький, имея в виду близость этого памятника к устному народному творчеству, обращает внимание на ту атмосферу демократизма, бескорыстия и стоицизма, которая отличала жизнь некоторых обитателей монастыря, в частности, Феодосия Печерского.

После революции в целях антирелигиозной пропаганды в некоторых церквах были вскрыты мощи, так называемые «нетленные останки» святых. Вскрытия обнаружили массовую фальсификацию «мощей» и надувательство верующих.

[10] Драма Чапыгина ни поставлена, ни напечатана не была.

[11] См. примеч. 2 на с. 432.

## В. Я. ШИШКОВ

### МОИ ВСТРЕЧИ С М. ГОРЬКИМ

(стр. 320)

Шишков Вячеслав Яковлевич (1873—1945) — писатель. Печатается по тексту: *Гвс*, с. 347—352.

[1] Знакомство произошло в конце марта 1914 г.

[2] Г. Н. Потанин принадлежал к «сибирским областникам» — мелкобуржуазному сепаратистскому течению общественной мысли конца XIX — начала XX в. Сибирские областники, выступая против колониального царского гнета, в защиту «инородцев», в то же время говорили об особом пути развития Сибири, выступали за отделение ее от России.

## И. Э. БАБЕЛЬ

### НАЧАЛО

(стр. 323)

Бабель Исаак Эммануилович (1894—1941) — писатель. Приехал в Петроград в 1915 году; первые его рассказы появились в «Летописи» в 1916 году (№ 11).

Переписку Горького с Бабелем см.: *ЛН*, с. 38—44.

Впервые напечатано в «Литературной газете» 18 июня 1937 года, № 33. Печатается по изданию: И. Бабель. Избранное. М., «Художественная литература», 1966, с. 315—318.

[1] Описываемая ниже встреча произошла в конце 1916 г.

[2] Горький все же поместил в «Летописи» два рассказа Бабеля — «Мама, Римма и Алла» и «Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» (1916, № 11). В 1916—1917 гг. Бабелю удалось также напечатать несколько миниатюр в «Журнале журналов».

[3] С благословения Горького Бабель как писатель «начал» второй раз «Одесскими рассказами» (1921—1924) и прославившей его «Конармией» (1923—1926).

## Р. АРСКИЙ

### ГОРЬКИЙ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 1914 ГОДА
(стр. 327)

Р. Арский (псевдоним Радзишевского Андрея Теофиловича, 1886—1934) — редактор «Летописи», деятель русской, польской и литовской социал-демократических партий, в годы мировой войны пропагандист Петроградского комитета большевиков, активный участник событий 1917 года.

Печатается по тексту: *Груздев*, с. 283—301.

[1] О работе Горького в «Летописи» см. вступит. статью, с. 9.

[2] В первые месяцы мировой войны, которую развязала кайзеровская Германия, националистические настроения охватили довольно широкие круги русской интеллигенции. В поддержку войны выступили многие известные писатели. Л. Андреев возглавил литературно-художественный отдел шовинистической газеты «Русская воля». Однако постепенно своекорыстные и захватнические цели русского царизма стали очевидными, и с осуждением войны в той или иной форме выступили многие писатели: В. Короленко, И. Бунин, М. Пришвин, С. Сергеев-Ценский, А. Куприн.

[3] В эти годы Горький задумал издавать научно-популярные биографии замечательных людей, с предложением написать их обращался к Р. Роллану, Г. Уэллсу, К. А. Тимирязеву, сам думал написать о Гарибальди. Замысел этот осуществить удалось только в советское время, когда Горький основал серию «Жизнь замечательных людей», издающуюся и поныне.

[4] Замысел рассказать о своей жизни возник у Шаляпина в 1909 г. Горький поддержал этот замысел, предложив свою помощь. Но непосредственная работа над книгой относится к 1916 г. Шаляпин

хотел, чтобы сильно уставший от творческой и общественной деятельности писатель хоть немного отдохнул, и под предлогом работы над воспоминаниями уговорил его приехать в Крым, где отдыхал сам. В Форосе Шаляпин рассказывал Горькому о своей жизни, эти воспоминания записывала стенографистка, а Горький литературно обработал стенограмму, дополнив ее рассказами, слышанными им от Шаляпина ранее. 9 августа 1930 г. Горький писал Шаляпину: «...диктовал ты всего часов десять, не более. стенограмма обработана и редактирована мною, рукопись написана моей рукой...»

Объявление о предстоящей публикации мемуаров Шаляпина в «Летописи» вызвало ряд протестов, причиной которых было неправильное представление об инциденте 1911 г. (см. примеч. 6 на с. 425). Поэтому в предисловии к шаляпинским воспоминаниям Горький подробно остановился на важности их публикации. «Страницы моей жизни» появились в 1—12 номерах «Летописи» за 1917 г. Позднее многократно переиздавались, вошли в Академическое собрание сочинений Горького.

В 1930 г. Шаляпин, будучи в эмиграции, обратился в парижский суд с иском, усмотрев в перепечатке его мемуаров в СССР нарушение авторского права. В связи с этим Горький в нескольких письмах напоминал Шаляпину историю создания книги. Парижский суд в иске Шаляпину отказал.

[5] Ныне завод «Электроаппарат» в Ленинграде.

[6] В газете «Новая жизнь» Горький выступал с публицистическими статьями («Несвоевременные мысли» и др.), в которых, в частности, обращал внимание на вспышки анархизма, жестокостей, грабежей во время революционных событий 1917 г. Статьи эти, к сожалению, содержали и серьезные политические ошибки, обнаружившие непонимание автором коренных закономерностей революционного процесса (см. вступит. статью, с. 10—11). Когда «Новая жизнь» была уже закрыта, Горький сказал: «Ежели бы закрыли «Новую жизнь» на полгода раньше — и для меня, и для революции было бы лучше» («Правда», 1918, 16 октября, № 223).

[7] Под полицейским надзором Горький состоял с 1880-х годов. Во время первой мировой войны слежка за писателем усилилась.

[8] В 1916 г. вышли два «Сборника Социал-демократа» — приложения к большевистской газете «Социал-демократ», включившие материалы, которые газета не смогла опубликовать, в частности материалы информационного и статистического характера.

[9] 12 марта (по старому стилю — 27 февраля) 1917 г. было свергнуто самодержавие.

[10] Выпуск «Известий» организовали В. Бонч-Бруевич и Р. Арский (совместно с сотрудниками горьковского «Паруса») в ти-

пографии газеты «Копейка», которую заняли рабочие завода «Сименс — Шуккерт» и польские революционеры, жившие в Петрограде. Первый номер вышел тиражом более 200 тысяч экземпляров. Однако большевики, жестоко преследуемые царизмом, в первые недели после Февральской революции еще не могли приобрести решающего влияния в массах, и в Петроградском Совете временно (до июльских событий) преобладали меньшевики и эсеры, которые вскоре захватили газету в свои руки (тоже до июля).

[11] В годы революции Горький почти не писал художественных произведений, целиком отдаваясь публицистике и общественной деятельности.

## Е. Д. ЗОЗУЛЯ
### БЕЗ ШТАМПА
(стр. 335)

Зозуля Ефим Давидович (1891—1941) — с 1905 года участвовал в революционном движении, с 1911-го — писатель и журналист, некоторое время секретарь редакции «Сатирикона», в 1929—1932 годах заместитель редактора журнала «Огонек». Погиб на фронте в Великую Отечественную войну.

Переписку Зозули с Горьким 1925—1927 годов см.: *Архив*, т. X, кн. 2, с. 106—115.

Печатается по тексту: *Груздев*, с. 305—312.

[1] Солдаты Волынского полка первыми из воинских частей начали восстание, перешедшее в Февральскую революцию.

[2] Организованное Горьким в 1918 г. издательство «Всемирная литература» ставило своей целью ознакомить широкого читателя с лучшими образцами мировой литературы, с различными литературными школами, со «всем ходом литературной эволюции в ее исторической последовательности», как писал сам Горький в предисловии к каталогу издания. До 1924 г., когда издательство влилось в Госиздат, вышло немногим более двухсот книг — около десятой части предусмотренных грандиозным планом. (Обо всех перечисленных мемуаристом изданиях см. вступит. статью, с. 9—13.)

[3] «*Беседа*» — журнал, созданный по инициативе Горького (издавался на русском языке в 1923—1925 гг. в Берлине; вышло 7 номеров). Журнал стремился восстановить разорванные войной связи русской и западно-европейской интеллигенции, ставил целью познакомить русского читателя с научно-литературной жизнью Европы. В нем печатались произведения М. Горького, А. Блока, Р. Роллана, Д. Голсуорси, С. Цвейга и др.

[4] Памятник Александру III работы П. П. Трубецкого был установлен в 1909 г. перед Николаевским (ныне Московским) вокзалом

в Петербурге на Знаменской площади (теперь площадь Восстания), в 1937 г. перенесен во двор Русского музея. В февральские дни 1917 г. площадь была одним из главных центров революционных выступлений, местом многотысячных митингов и демонстраций.

[5] В 1917 г. в Петрограде Зозуля стал издавать журнал «Свободное искусство» и очень увлекался полиграфическим оформлением издания. В № 6 журнала за 1917 г. была напечатана «Баллада о графине Эллен де Курси, украшенная различными сентенциями, среди которых есть весьма забавные» М. Горького с иллюстрациями В. В. Лебедева.

[6] Повесть закончена не была, ее тема — судьбы интеллигенции в годы столыпинской реакции — получила развитие в «Жизни Клима Самгина». Отрывки из повести печатались в «Новой жизни» 24 декабря 1917 г. (№ 116) и 9 мая 1918 г. (№ 92), в сб. «Скрижаль», сб. первый, 1918, с. 59—130. Горький датировал ее 1915 г. Вошла в Полное собрание сочинений М. Горького (т. 11. М., «Наука», 1977, с. 354—424).

## В. А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

### А. М. ГОРЬКИЙ

(стр. 339)

Рождественский Всеволод Александрович (1895—1976) — поэт. В молодые годы был близок с племянником М. Ф. Андреевой Борисом Юрковским и бывал в доме Горького. В своих воспоминаниях «Страницы жизни» он рассказал о встречах и беседах с писателем в 1916—1921 годах.

Печатается глава из книги: Вс. Рождественский. Страницы жизни. М., 1974 , с. 136—164.

[1] Генерал М. Д. *Скобелев* — участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., военные заслуги которого сделали его весьма популярным в народе.

[2] Переписка М. Горького с Р. Ролланом началась в 1916 г., с С. Цвейгом — в 1923-м, переписка Горького с Бласко Ибаньесом неизвестна.

[3] Имеются в виду рассказы Л. Андреева «Бездна» (1902) и «Стена» (1901).

[4] Книга вышла в мае 1915 г.

[5] Горький и Блок познакомились в 1915 г., но сблизились они во второй половине 1918 г., когда Горький привлек поэта к сотрудничеству во «Всемирной литературе».

[6] Александр Блок. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6. М.—Л., Гослитиздат, 1962, с. 92.

[7] В трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» («Отверженный» — 1896, «Воскресшие боги» — 1901, «Антихрист»— 1905) искусственно сближены деятели разных эпох, а исторический бытовой материал подавлен заданной схемой.

[8] В художественной манере романа А. Белого «Петербург» сказалось влияние модернизма с его стремлением к вычурности и нарочитой усложненности письма.

[9] В романе Ф. К. Сологуба «Мелкий бес» в образе учителя гимназии Передонова с большой художественной силой выведен тип верноподданного обывателя, доносчика, пакостника, пошляка. В работе «К вопросу о политике министерства народного просвещения» (1913) В. И. Ленин использовал сологубовский образ (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, с. 132).

[10] См. восп. Бабенчикова и примеч. 1 к нему, с. 302—303, 432.

[11] Из стихотворения А. А. Блока «Как растет тревога к ночи!..» (1913).

[12] Из поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах» (1914—1915).

[13] Мечеть находится недалеко от дома, где жил Горький, на Кронверкском проспекте. Цирк «Модерн» располагался возле мечети.

[14] Теперь Кировский мост.

## П. И. НЕРАДОВСКИЙ
### (ВОСПОМИНАНИЕ О ГОРЬКОМ)
(стр. 357)

Нерадовский Петр Иванович (1875—1962) — живописец, с 1913 года член Академии художеств, в 1909—1932 годах хранитель художественного отдела Русского музея.

Печатается по тексту: *Гих*, с. 58—60, где впервые было опубликовано.

[1] Альбом описан Б. Л. Модзалевским («Альбом Анны Евграфовны Шиповой, рожд. графини Комаровской») в сборнике публикаций и исследований «Пушкин и его современники» (вып. XI. СПб., 1909, с. 79—94).

[2] 31 декабря 1918 г. была образована антикварно-оценочная комиссия, которая имела целью отбор художественных ценностей из национализированного и бесхозного имущества для музеев страны и создание антикварного экспортного фонда для устройства аукционов за границей. Председателем ее назначили А. М. Горького, который и включил в состав комиссии антиквара М. М. Савостина.

[3] Известно шесть портретов А. М. Горького работы С. В Чехонина 1919—1924 гг. Упоминаемый мемуаристом портрет написан

в 1919 г. (находится в Государственном литературном музее в Москве).

[4] Горький посетил музей 1 июля 1929 г.

[5] Дочери хозяина виллы в Сорренто, где жил Горький.

## К. И. ЧУКОВСКИЙ

### ГОРЬКИЙ

(стр. 361)

Чуковский Корней Иванович (псевдоним Николая Васильевича Корнейчукова, 1882—1969) — писатель и критик. Познакомился с Горьким в 1916 году.

Печатается по тексту: Корней Чуковский. Собр. соч. в 6-ти томах. т. 2. М., «Художественная литература», 1965, с. 123—164.

[1] С чтением очерка воспоминания о Л. Н. Толстом Горький выступил 19 июля 1919 г. На чтении присутствовал А. А. Блок, который записал в дневнике свое впечатление от горьковского чтения: «Это было мудро и все вместе, с невольной паузой (от слез) — прекрасное, доброе, увлажняет ожесточенную душу». В том же году очерк был издан отдельной книгой «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом». Ее прочитал В. И. Ленин, о чем Горький рассказал в очерке «В. И. Ленин» и дал ей высокую оценку (см. восп. Малкина в т. 2, с. 17—18).

[2] *«Калевала»* — карело-финский народный эпос.

[3] *«Мадам Бовари»* (1857) — роман Г. Флобера.

[4] Рукописный альбом с рисунками, стихами, шутками и другими записями встречавшихся с Чуковским деятелей литературы и искусства (И. Репина, М. Горького, В. Маяковского, А. Блока, Л. Андреева, А. Ахматовой, В. Каверина, Э. Казакевича и др.). К шуткам, экспромтам, рисункам Чуковский приписал разнообразные шуточные пояснения. В 1979 г. альбом издан (М., «Искусство»).

[5] Организованное в 1919 г. в Петрограде издательство З. И. Гржебина издавало русскую классическую и современную литературу, а также научную литературу и книги для детей. В издательстве выходили и книги Горького, в том числе «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом». Общее руководство осуществляли А. М. Горький, В. А. Десницкий, Н. А. Пинкевич; в работе издательства принимали участие А. А. Блок, К. И. Чуковский, А. Е. Ферсман, С. Ф. Ольденбург, А. А. Шахматов, Б. Л. Модзалевский. Вскоре основную деятельность издательство вынуждено было перенести в Берлин: в Советской России не хватало бумаги, европейские капиталисты не хотели продавать ее Советской стране, но продали ее частному издательству Гржебина, которому Советское

правительство предоставило ссуду в иностранной валюте; издательство Гржебина просуществовало до 1923 г.

[6] В романе Е. И. Вельтман, жены А. Ф. Вельтмана, «Приключения королевича Густава Ириковича, жениха царевны Ксении Годуновой» («Отечественные записки», 1867, № 1—8) занимательность изложения сочетается с достоверным и подробным описанием исторической эпохи и быта.

[7] 25 марта 1919 г. на заседании «Всемирной литературы» (на квартире А. Н. Тихонова) А. А. Блок читал доклад о переводах Г. Гейне, в котором коснулся и кризиса буржуазного гуманизма. Чуковский цитирует статью Блока «Гейне в России», написанную на основе доклада. В обсуждении доклада принял участие Горький. Блок записал в дневнике: «Горький говорит большую речь о том, что действительно приходит новое, и что тем гуманизму, в смысле «христианского отношения» и т. д., придется крепко стушеваться» (Александр Блок. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 7. М.—Л., Гослитиздат, 1963, с. 356).

[8] О группе писателей «Серапионовы братья» см. вступит. статью, с. 13—14.

[9] Сборник издан не был.

[10] Художник И. Н. Ракицкий познакомился с Горьким в 1917 г. в Коктебеле. Знаток и любитель искусства, он входил в возглавляемую Горьким антикварно-экспертную комиссию (см. примеч. 2 на с. 439). Ракицкий жил у Горького на Кронверкском, приезжал в Сорренто, часто бывал у писателя и позднее.

[11] Альманах для детей «Жар-птица», названный по включенной в него сказке А. Н. Толстого, вышел весной 1912 г. Он был с большим вкусом и изяществом оформлен С. Судейкиным, С. Чехониным, М. Добужинским и другими известными художниками.

## В. И. ШУХАЕВ

### «ВСТРЕЧИ С ГОРЬКИМ»

(стр. 377)

Шухаев Василий Иванович (1887—1960) — художник. Портрет Горького его работы (1921) находится в Государственном литературном музее в Москве.

Воспоминания написаны для *Гих*, где и были впервые опубликованы. Печатается по этому изданию, с. 44—47.

[1] 4 марта 1917 г.

[2] «*Аполлон*» — аполитичный, эстетский литературно-художественный журнал, выходивший в Петербурге в 1909—1917 гг. Был тесно связан с символизмом, позднее с акмеизмом.

[3] В основу рассказа «Мой спутник» (1894) положен один из эпизодов путешествия Горького из Одессы в Тифлис осенью 1891 г.

[4] В действительности спутник героя-рассказчика, князь Шакро Птадзе, придя в Тифлис, не сбежал от своего товарища, которому был многим обязан, а пригласил его к себе домой. Горькому нужна была иная концовка для типизации образа лентяя, эгоиста, подлеца. В письме Чуковскому он сам подчеркивал обобщающий характер центрального образа: «Князь Шакро — мой, *ваш*, *наш* спутник» («Молодая гвардия», 1938, № 6).

[5] Бюст Горького работы М. Ф. Блоха находится в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) в Ленинграде.

[6] Цитаты из рассказа Горького «Мой спутник».

[7] См. примеч. 21 на с. 423.

## СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

*Архив* — Архив А. М. Горького, тома I—XIV. М., «Наука», 1939—1976.

*Гих* — «Горький и художники. Воспоминания, переписка, статьи». М., «Искусство», 1964.

*Гвс* — «М. Горький в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1955.

*Горький* — М. Горький Собр. соч. в 30-ти томах. М., Гослитиздат, 1949—1955.

*Горький в восп. нижегородцев* — «М. Горький в воспоминаниях нижегородцев». Горький, 1968.

*Горький в 1905—1907* — «М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов. Материалы, воспоминания, исследования». М., Изд-во АН СССР, 1957.

*Груздев* — «Горький. Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком». Под ред. И. Груздева. М.— Л., Госиздат, 1928.

*ЛН* — «Горький и советские писатели. Неизданная переписка». — «Литературное наследство», т. 70. М., Изд во АН СССР, 1963.

*О Горьком* — «О Горьком — современники. Сборник воспоминаний и статей». М., Моск. тов-во писателей, 1928.

*Рев. путь Горького* — «Революционный путь Горького. По материалам департамента полиции». М.—Л., ГИХЛ, 1933.

## СОДЕРЖАНИЕ

Г 71 **Максим Горький в воспоминаниях современников.** В 2-х т. Т. 1. /Вступ. статья и примеч. И. С. Эвентова и А. А. Крундышева; Сост. и подгот. текста А. А. Крундышева.— М.: Худож. лит., 1981.— 445 с.

Воспоминания, включенные в первый том сборника, рассказывают о юности А. М. Горького, о времени хождения его по Руси, об участии писателя в революции 1905—1907 годов и в Великой Октябрьской революции, о его большой общественной работе в первые годы Советской власти.

Г $\frac{70202\text{-}378}{028\ (01)\text{-}81}$ 51-80 4603010102 8 Р2

МАКСИМ ГОРЬКИЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ
Том 1

Редактор
В. Пересыпкина

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технические редакторы
Л. Витушкина
О. Ярославцева

Корректоры
Г. Киселева
О. Наренкова

ИБ № 1197

Сдано в набор 01.10.79. Подписано к печати А06730 05.03.81. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 23,52+1 вкл.+ +альбом=24,412 усл. печ. л. 24,832 усл. кр. отт. 22,889 + 1 вкл. + альбом = 23,647 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 1059.
Цена 1 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство
«Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19

Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29, с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
В 1981 ГОДУ В СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕМУАРЫ»
ВЫПУСКАЕТ:

А. Г. Достоевская. Воспоминания.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Е. М. Чехова. Воспоминания.

